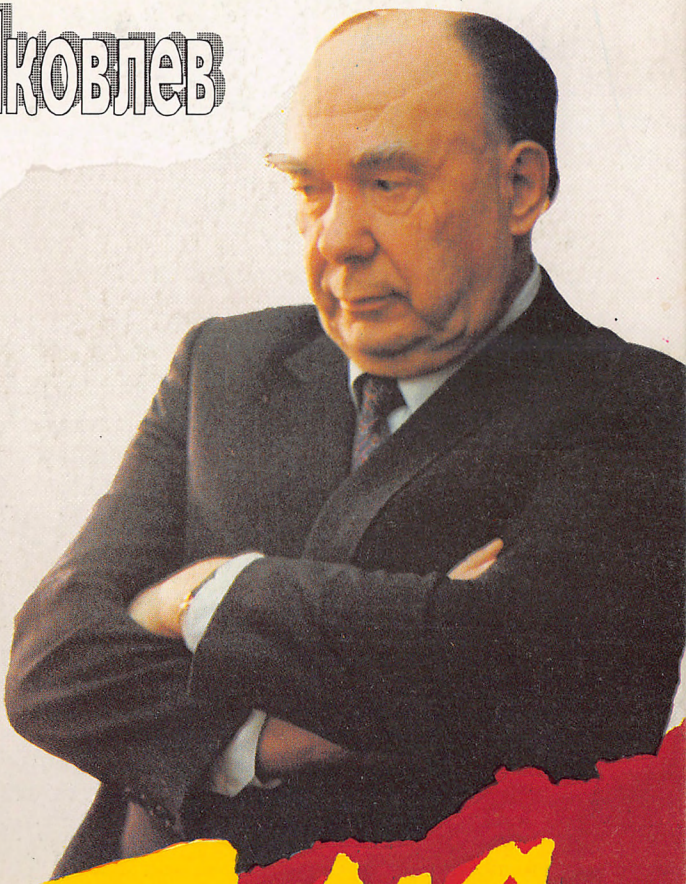
А. Н. ЯКОВЛЕВ

Горькая чаша

А.Н.Яковлев



Горькая чаша

А.Н.Яковлев

Большевизм и
Реформация
России

ЯРОСЛАВЛЬ
Верхне-Волжское
книжное издательство
1994

ББК 66.3(2)
Я47

Яковлев А. Н.

Я47 Горькая чаша: Большевизм и Реформация России. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1994. — 464 с.

ISBN 5—7415—0438—8

Новая работа крупного ученого и политика Александра Николаевича Яковлева — глубокий философский анализ Реформации России и злоемкой роли большевизма в судьбе народа.

Академик добровольно и осознанно принял на себя подвиг постановки и оглашения летального диагноза циничной системе порабощения человека, проросшей, в силу различных исторических обстоятельств, на российской почве.

Талантливо написанная книга рассчитана на читателя, готового к непредвзятому осмыслению прошлого и настоящего страны.

Я $\frac{0301040200}{М139—(03)—94}$ 94 **ББК 66.3(2)**

ISBN 5—7415—0438—8

© А. Н. Яковлев, 1994
© В. Куров — оформление.

К ЧИТАТЕЛЮ

Во времена душевного смятения, когда все сильнее угнетает произвол мертвящего одномыслия над живой реальностью, а пробудившиеся сомнения еще придавлены страхом, человек готов искать прибежище и утешение даже в суевериях и приметах.

Когда хоронили Л. И. Брежнева, я работал в Канаде. По тамошнему телевидению показали, как гроб, соскользнувший с веревок, ударился о мерзлую землю. Гулко ударился. Показалось, что нарочно уронили. Наверное, нет. Но от неожиданности я вздрогнул.

Очевидная случайность как бы обострила тревогу, давно сгущавшуюся в душе.

И подумалось мне в ту минуту, что нет ничего более унизительного, а, возможно, и аморального, когда в моей стране каждый раз именно похороны вождя возбуждают новую волну надежд. Трагедия смерти одного человека оживляет мечту о лучшей жизни. Не свободные выборы правителя, а смерть его!

Надежды от одной смерти до другой. Не мучительно ли?

Народ России давно стремится к тому, чтобы надежда обручилась с человеком, но его никак не пускают в ту церковь, где венчают на счастье.

И так уж повелось в нашей истории. Снова и снова повторяются гримасы власти, игры элит, леденящая душу неуверенность, снова то, с чем мириться совесть не разрешает.

Так кто же мы такие, если выворачиваем себя наизнанку вот уже многие столетия, корчимся в судорогах бесконечной гражданской войны и нетерпимости? И никак не приплывем к берегу, где человеку было бы просто спокойно.

Пытаемся по капле выдавливать из себя раба, но пьянеем от желания сделать рабами других.

Итак, представляю читателю свою работу «Большевизм и Реформация России». В ней содержится попытка как-то суммировать те мысли — прозрения и заблуждения, — которые подверглись жесткой проверке жизнью в период, когда народы Советского Союза, России сделали очередную в своей истории попытку вырваться к свободе.

Последние годы — это годы моего глубочайшего удовлетворения поиском Россией своей судьбы на новом пути. Но и годы многих неожиданностей, когда реальности российского бытия жестоко обошлись с некоторыми романтическими грезами о демократии.

Логика надежд во многом разошлась с логикой жизни.

Впрочем, тут нет ничего нового. Так всегда случалось в истории. Реальности не бывают копией сознания. Жизнь идет по собственным неисповедимым дорогам.

Для российского сознания, затуманенного гарью и дымом нетерпимости, особенно важно избавиться от мумий многочисленных догм, мифов и схоластических схем марксизма. Прежде всего от тех, которые послужили идеологической основой режима моновласти, монособственности и моноидеологии.

Необходимо и впредь говорить правду о большевизме, анатомировать причины его появления, его ложь и насильственную сущность. По моему глубокому убеждению, — это одно из условий социально-исторического освобождения России, успеха Реформации.

Я хорошо понимаю, что последние главы, в которых говорится о сегодняшней России, не могут претендовать на какие-то исчерпывающие оценки. События еще слишком горячи, они обжигают. Но мне хотелось сохранить не только холодные факты истории, но и взбаламученные эмоции, которые окрашивали эти события, часто придавая им самые невообразимые черты, вплоть до уродливых.

Книга эта — мое покаяние, мое свидетельство и мои надежды.

О марксизме и большевизме

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раздел первый

КОРНИ ЗЛА

Авторская вводка.

Пока будем рабами, пока сами спину не разогнем и голову не поднимем, большевизим не умрет.

Откуда он?

Еще долго этот вопрос будет жить с нами.

...Ученый может ошибаться. Более того, он обязательно в чем-то ошибается, и его ошибки становятся нередко тем плодородным слоем, который стимулирует рост и развитие знания в дальнейшем.

Ученый в большей мере, чем его другие современники, — пленник догм и заблуждений своего времени. Там, где рядовой человек просто не станет над чем-то задумываться или возместит свое незнание здравым смыслом, ученый по призванию своему обязан опираться на науку, в которой всегда есть немалая доля антиистин. Уже потом время расставляет по своим местам открытия и заблуждения.

Настоящий ученый не может не увлекаться. Увлекаться — значит придавать чему-то преувеличенное либо преуменьшенное значение, что-то идеализировать или абсолютизировать.

Ученый — заложник своих инструментов познания: интеллектуальных, методологических, практических. И несовершенство инструментария может отзываться неверными гипотезами и рекомендациями.

Наконец, всякий шаг в науке раздвигает границы непознанного. Но ретроспективно любого первооткрывателя можно без труда упрекнуть в том, что он чего-то не увидел, не понял, не оценил.

Все это так, и упреки едва ли правомерны в отношении тех, кто честно ищет истину, кто постоянно сомневается в

собственных заключениях, кто перепроверяет их снова и снова.

Иное дело, когда свои открытия ученый начинает считать конечным откровением, а себя — мессией. Важно, чрезвычайно важно понять, что превращение ученого в политического вожака может нанести его изысканиям смертельный удар, заставив подгонять жизнь под схему.

Грань тут зыбка и трудноуловима, ибо что же за ученый, если он не верит в правоту своих идей и открытий.

Наивно упрекать Маркса и марксизм за те пробелы, что обусловлены знаниями и представлениями своего времени.

Если твердо стоять на почве реальных фактов, то надо сказать, и вполне обоснованно, что в середине XIX века вообще было невозможно предвидеть проблемы, с которыми столкнется человечество в XX веке, определить наперед законы развития социальной реальности.

У марксизма останется свое место в истории. Но его научная критика неизбежна. Какая-то часть исходных положений уже демонстрирует свою несостоятельность, другая, возможно, подтвердит истинность. Во всем этом, по критериям науки, нет ничего необычного. Не о «вине» и «ответственности» Маркса идет речь.

Да и меня, собственно, интересует не критика марксизма сама по себе — это дело обществоведов-марксологов. Я беру из марксистского учения только те постулаты, которые, будучи доведенными до абсурда догмы, были использованы большевизмом в интересах завоевания власти, насильственного внедрения утопий в жизнь народа.

Нельзя сегодня уйти от ответа на вопрос, почему именно на это социальное мессианство пошла наша страна, и что из этого получилось?

А получилось то, что на основе политического монополизма и идеологической мифологии была сформирована военно-бюрократическая диктатура, полностью отторгнувшая человека от собственности и власти. Она показала свою некомпетентность во всех областях жизни. Россия во многом потеряла XX век, усилив горькую чашу судьбы, навязанной большевиками!

Глава первая, вступительная

ВМЕСТО ИСПОВЕДИ

Мучителен и противоречив путь от надежд и иллюзий Социального Эксперимента XX века к пониманию того, насколько глубокой оказалась пропасть судьбы народной. Мучителен и противоречив особенно для тех, кто верил — искренне, надеялся — искренне, заблуждался — искренне, трудился — честно.

Далась эта книга нелегко — и в анализе практической несостоятельности марксизма, и пропитанного кровью миллионов людей большевизма, и противоречивого опыта реформ, и нашей израненной духовной жизни.

Для меня эта книга — результат многолетних раздумий, сомнений, колебаний и мучений.

Я вступил в партию во время Отечественной войны. И сейчас убежден, что просто не имел права стоять в стороне. Это было время жестких испытаний на совесть. К тому же я верил в коммунистическую идею, полагая ее правдой жизни.

И тем свинцовее ложились на душу начавшиеся разочарования.

Умирающие от голода дети на моей Ярославщине. Деревню продолжали грабить до последнего зернышка, в городах сажали в тюрьму за 20-минутное опоздание на работу, а женщин в деревне — за сбор уже замерзшей и брошенной в поле картошки.

Я еще не осознавал тогда, что для меня наступает новая жизнь. Романтика юности уходила, война осталась позади. А в голове — каша.

Первые столкновения с ложью и цинизмом. Лгали все — и те, которые речи держали, и те, которые смиренно внимали. Для меня, деревенского парня, фронтовика, ушедшего на войну со школьной скамьи, все это было невыносимо. На фронте я считал себя вполне свободным, ибо смерть уравнивала всех. А с коммунистов действительно можно было брать пример.

А тут, в тылу, — другая жизнь.

Институт. Первое общежитие — комната для пяти инвалидов войны. Тайное чтение Есенина. Споры, сомнения, но сердце еще полно веры в правду, в порядочность, в добро и справедливость той жизни, которая впереди.

Но вот советских военнопленных погнали из немецких лагерей в свои, отечественные. Я ходил на станцию Всполье и видел плачущих женщин, надеявшихся встретить мужа, брата, отца, видел падающие из теплушек бумажные комочки, в которых сообщалось имя пищущего и адрес родных.

Это был тяжелейший удар по еще неокрепшим мозгам и мечущимся мыслям, удар безжалостный, жестокий.

Впрочем, всего не расскажешь. Да и кому это интересно?

Меня часто спрашивают, когда и почему я стал уходить от марксизма, прежде всего в его практическом исполнении, которое получило название социализм.

На последующих страницах книги я не раз возвращаюсь к этому вопросу. Он сложен, особенно для меня, отдавшего почти всю свою жизнь идеологии, общественной науке, дипломатии. Но именно потому, что я тщательно изучал классиков марксизма-ленинизма, год за годом тускнела «вечная истинность» этого вероучения, все чаще появлялись то черные, то белые пятна. Розовые тона заметно меркли.

Тут нет парадокса. Тут есть своя логика.

Огромную роль в своеобразном упорядочении и становлении новых оценок сыграл, конечно же, доклад Н. С. Хрущева на XX съезде Коммунистической партии в 1956 году. Затем — новые разочарования, но и крепнущее осознание, что так дальше продолжаться не может.

Кстати, уже осенью того же года я подал заявление с просьбой направить меня на учебу. Уход из ЦК по тем временам — дело необычное. Но я решил еще раз проштудировать классиков, теперь уже после «ледяного душа» XX съезда, что оказалось весьма полезным.

Между прочим, наследники И. Джугашвили-Сталина сразу же после его смерти начали вносить «исправления» в некоторые наиболее абсурдные, однако, «гениальные» решения, принятые до 1953 года. Выпустили из лагерей родственников членов правящей элиты. Сняли налоги на плодовые деревья и живность в индивидуальном секторе. Что-то еще.

Позднее Н. С. Хрущев мужественно поднял руку на «самого вождя». Но это не помешало ему пойти на военную авантюру в Венгрии.

Началась своеобразная духовная оттепель, но не прекратились гонения на инакомыслящих.

Иными словами, начался переходный период — период совершенствования социализма во имя его укрепления. Сама система большевизма оставалась незыблемой, что и привело к ее краху.

Десять лет (1973—1983), проведенные в Канаде в качестве посла Советского Союза, лишили меня возможности изнутри наблюдать эту агонию. Но я знал, что в моей стране быстро растут чувства недовольства, выражавшиеся в расплывчатом «что-то надо делать».

Кстати, я попал за океан тоже не по своей воле. В ноябре 1972 года в «Литературной газете» была опубликована моя статья «Против антиисторизма». Эта была во многом марксистская статья, другая и не могла быть напечатана в то время. Но за ортодоксальной фразеологией стояла одна очень важная для меня цель — привлечь внимание общественности к нараставшей опасности великодержавного шовинизма, местного национализма, антисемитизма. К глубокому сожалению, статья оказалась в известной мере пророческой, но в то время неугодной руководству страны.

К тому же, по сути русофобствующие партийные и беспартийные большевики, но лицемерно кличущие сами себя патриотами, при поддержке некоторых руководителей республик (Узбекистан, Украина), объявили меня человеком, обижающим «старшего брата».

В дальнейшем, уже в период перестройки, руководство Комитета государственной безопасности, увидев в моих взглядах угрозу устоявшимся структурам власти, стрежнем которых, наряду с партийным аппаратом, были силовые структуры, вновь начал скоординированную кампанию против демократии, ее лидеров.

Я оказался практически в центре этой разнузданной, клеветнической оргии, в которой до сих пор участвуют как бывшие штатные работники сил безопасности, так и их платные агенты в среде журналистов и писателей. Многих я знаю пофамильно.

Уверен, что в утверждении национализма во всех его формах и на всех уровнях — по горизонтали и по вертикали, а значит и в хаотическом развале Советского Союза,

значительную роль сыграли люди и группы, которые и тогда, и сегодня рядятся в одежды национальных «патриотов».

Нередко в статьях и листовках моих вконец обозленных «биографов» упорно разрабатывается, среди многих, и тезис о том, что все эти «вредные для России» преобразования завезены Яковлевым из-за океана, поскольку он учился в Колумбийском университете в США и работал послом в Канаде.

Упрек, вроде бы, имеет свою формальную подоплеку, поскольку авторы тезиса исходят из собственной психологии.

Увы, на самом деле все обстоит по-другому. Конечно, 11-летнее пребывание за границей прибавило определенную сумму знаний теоретического и практического характера.

Что же касается убеждений, то с ними обстояло дело куда сложнее, чем это изображается.

Во-первых, меня не посетило восхищение от того общества, в котором временно жил, а пустые или полные полки магазинов никогда не были для меня решающим признаком качества жизни. В то же время эффективность экономических отношений, особенно аграрных, была очевидной.

Во-вторых, в обоих случаях произошли повороты, видимо, парадоксальные с точки зрения моих критиков, непонятные для них.

Я поехал в США после XX съезда и доклада Хрущева на нем, относительно молодым человеком с крайне противоречивым сознанием, в котором уже вили свое гнездо идеи свободы человека.

Вернулся я, сильно поправев в идейном плане. Почему же? Два обстоятельства сыграли тут свою роль.

Первое: примитивизм пропаганды против Советского Союза. Я помню, например, фильм, в котором рассказывалось, что вход через главные ворота Парка культуры и отдыха имени Горького в Москве разрешен только начальникам, а рабочие и крестьяне могут входить только через калитку со стороны Нескучного сада.

Ложь всегда контрпродуктивна.

Другое обстоятельство заключалось в той правде о моей стране, которая передавалась и печаталась, правде о тех отрицательных сторонах жизни, о которых я и сам знал. Читать и слушать все это было невыносимо больно.

Чувство гордости за свою страну, неистребимая уверенность, что мы сами выберемся из тупиков, психологически обращали мой гнев не на источник бед, а на курьеров плохих вестей.

Не знаю, насколько все это понятно, но и до сих пор, участвуя в различных конференциях за рубежом, сам я открыто говорю о том, какие трудности нам приходится преодолевать, о тяжком прошлом и его деформациях. Но болезненно воспринимаю, когда о том же самом говорят иностранцы. Наверное, подобная реакция не является универсальной, но со мной происходит именно так. Избавляться от этого не собираюсь, хотя и понимаю, что правда — всегда и всюду правда.

Та же самая эволюция произошла и во время работы в Канаде. Казалось бы, настроения изгнанника, что я очень глубоко переживал, хотя теперь благодарен Л. Брежневу за то его решение, эти настроения должны были толкать меня к злорадному восприятию манипулятивной пропаганды, однако этого не случилось. Наоборот, демократические ростки в моем сознании увядали. Я вернулся домой с четким убеждением необходимости изменений в своей стране, но и с твердым пониманием, что слепое копирование чьих-то моделей будет губительным для России. Изменения эти мыслились мной как совершенствование социалистической практики.

Кстати, еще об одном недоумении, которое начало тормошить меня в то время. Я хорошо знал, что ложь — это неотъемлемая черта советской пропаганды. Она воспринималась как факт, диктуемый системой диктатуры. Но когда такая же ложь характеризовала заморскую информацию, неизбежно возникали сомнения в справедливости претензий на демократию.

Иными словами, процесс отрицаний и утверждений, прозрений и заблуждений, сомнений и надежд шел очень сложно, далеко не по прямой дороге.

Будучи в Канаде, еще во время правления Брежнева, я написал статью «Консерватизм и динамизм — их адепты», посвященную вредоносной роли догматизма, который отравил науку и практику. В качестве примера взял обществоведение и авангардистское направление в живописи.

Последнее представлялось для меня наиболее разительным свидетельством политического абсурда, когда авангардистское искусство в Советском Союзе, как и в

фашистской Германии, свирепо преследовалось, считалось «идеологической диверсией». Понять это было выше моих сил.

Содержание статьи здесь, в этой книге.

Уже работая над книгой по марксизму, я подготовил доклад о французской революции 1789 года, в котором на фоне исторических фактов двухстолетней давности попытался показать, что революции, основанные на насилии, в конечном счете тормозят прогресс, насыщают человеческую психологию агрессивностью и нетерпимостью.

Так что в идейном плане моя личная перестройка началась задолго до перестройки общественной. Хотя и не полностью, но я готов был к ней.

Однако все это, как говорится, личный срез мышления, его эволюции. Сущностной фактор лежал в другом, а именно в нараставшей эрозии господствовавших идей.

Становилось все более очевидным, что сугубо теоретические представления о социализме не могли не носить временный и преходящий характер. Хотя бы по той простой причине, что с самого начала были предварительными, спонтанными штампами, отражали прежде всего идейные и нравственные установки эпохи разлома, уровень знаний и степень предубеждений своего времени.

Рано или поздно должен был наступить момент самоисчерпания социализма-мечты, самоисчерпания мобилизационных возможностей его идей. Скомпрометировали себя идеи создания нового человека, рая на земле, принципиально новой формации. Идея скачка, которая зачаровала философию XIX века, прежде всего марксизм, оказалась чуждой практике жизни.

Шаг за шагом изживали себя идеи неизбежности и даже полезности насилия, враждебности, физического столкновения противоположных сторон.

Впрочем, это естественно. Если бы у человечества не было инстинкта самосохранения, оно бы давно погибло.

Только информационный голод лишал советского человека новых знаний, рождаемых жизнью. В угоду догме игнорировалось очевидное, например, то, что без многообразия нет движения, развития, что борьба с дифференциацией одновременно является борьбой с предпосылками прогресса. Вопреки ожиданиям некоторых мыслителей прошлого, происходило непрерывное усложнение организации общества, характера и условий его жизнедеятельно-

сти, рост разнообразия тех общественных структур, в рамках которых протекает жизнь человека.

Развязка близилась. Она была предопределена смертью Сталина, а затем докладом Хрущева на XX съезде КПСС. Он сумел увидеть и показать только верхушку зла, но и это толкнуло общество к серьезным раздумьям и действиям. Люди стали прозревать — медленно, с оглядкой, но прозревать.

На самом деле, когда на протяжении десятилетий тебя заставляют называть белое черным, то тут трудно устоять душой и не усомниться в идеологической цветовой гамме. Любой обладающий здравым смыслом студент, приступивший к изучению работ Маркса и Энгельса, не мог не видеть, что очень многое из того, о чем говорится в текстах, находится в противоречии с реальным опытом развития человечества в XX веке.

Я все отчетливее видел, что сама жизнь восстает против мессианской теории, обещающей земное чудо через очень простые решения, ключевая роль в которых отведена насилию, восстает против своеволия и гордыни марксизма, присвоившего себе право определять судьбы народов и классов, судьбы цивилизации.

Все чаще задавался вопросами, почему массами овладели утопии, почему история не захотела найти альтернативу насилию?

Почему столь грубо, цинично растоптаны идеи социальной справедливости и свободы?

Почему оказались общественно приемлемыми уничтожение крестьянства, кровавые репрессии против собственного народа, экологическое варварство, разрушение материальных и духовных символов прошлого?

Почему сформировалась особая каста партийно-государственных управителей, которая бесстыдно паразитировала на вечных надеждах человека на лучшую жизнь в будущем?

Почему человек столь слаб и беспомощен?

И можно ли было избежать всего, что произошло?

Хотел бы ответить и тем критикам Реформации, которые назойливо утверждают, что преобразования начались без всякого плана и даже без идей.

Что касается плана, то его и не могло быть. Во-первых, кто бы в то время мог воспринять «план» коренной реформации общественного строя, включающий в себя ликвидацию моновласти, моноидеологии и монособственности?

Кто? Аппарат партии и государства? КГБ? Генералитет? На мой взгляд, все эти требования предварительного «плана» порождены привычной традицией мышления. Во-вторых, как это можно заранее спланировать жизнь миллионов людей?! Снова мифы, иллюзии, снова обман?

Что же касается идей, то их было в достатке. И не только у людей, которые осознанно сделали свой патриотический выбор, бескорыстно встали на путь реформ. Эти идеи — идеи обновления — буквально витали в воздухе.

Пожалуй, надо обратить внимание еще на одну сторону вопроса. Жесточайшая борьба с инакомыслием, конечно же, тормозила и общественную мысль, и общественное развитие. Но любые запреты лишь возбуждают интерес к еще неизвестному. Да и наука по природе своей интернациональна.

И чем активнее преследовали носителей «враждебных идей», тем больше появлялось их сторонников. Все очевиднее становилось, что принуждение — это путь к фальши, лицемерию, безверию. Европейский атеизм своим появлением на свет, на мой взгляд, больше обязан инквизиции, нежели прогрессу естествознания.

Недавно я нашел в своем архиве стенографическую запись, в которой содержатся некоторые мои личные соображения о болезнях общества и необходимых лекарствах.

Диктовка датирована декабрем 1985 года. В ней немало противоречий, она непоследовательна — в одном случае социализм отвергается, в другом — содержатся предложения по совершенствованию этой системы. В одном случае марксизм отрицается, а в другом — критикуется только его догматическая интерпретация. И так далее.

И все же я счел необходимым опубликовать ее полностью, без изъятий и правки, ибо она отражает как контекст времени, так и суть ближайших и конечных намерений. Многие из этих идей нашли отражение в моих более поздних выступлениях и публикациях. В начале перестройки их публиковать было невозможно, хотя многие из этих непричесанных тезисов обсуждались с М. Горбачевым и находили понимание, обсуждались с близкими друзьями.

Прошу читателя извинить меня за пространность диктовки, но ничего не поделаешь. Документ есть документ. Сегодня он интересен только временем создания, да еще, возможно, тем, что поможет понять, как это все начиналось, по крайней мере, для меня.

Итак:

«Декабрь. 3. 1985 год.

1. О теории. Догматическая интерпретация марксизма-ленинизма настолько антисанитарна, что в ней гибнут любые творческие и даже классические мысли.

Люцифер, он и есть Люцифер: его дьявольское копыто до сих пор вытаптывает побеги новых мыслей. Сталинские догмы чертополошат, и с этим, видимо, долго придется жить.

Общественная мысль, развиваясь от утопии к науке, и на этапе марксизма осталась во многом утопической. Утопической, ибо механически виделись представления о временном лаге строительства социализма, быстром перескоке в коммунизм, об обреченности капитализма и т. д. Слишком жидкими были информационные поля, которые обрабатывались предшественниками.

В нашей практике марксизм представляет собой не что иное, как неорелигию, подчиненную интересам и капризам абсолютистской власти, которая десятки раз возносила, а потом втаптывала в грязь своих собственных богов, пророков и апостолов.

Но коль скоро речь идет прежде всего о самих себе, то необходимо хотя бы попытаться понять, как мы, стремясь ввысь, к вершинам благоденствия материального и совершенства нравственного, отстали. Обида и горечь не дают покоя.

Политические выводы марксизма неприемлемы для складывающейся цивилизации, ищущей путь к примирению, смягчению исходных конфликтов и противоречий бытия.

Мы уже не имеем права не считаться с последствиями догматического упрямства, бесконечных заклинаний в верности теоретическому наследию марксизма, как не можем забыть и жертвоприношений на его алтарь.

Столь необходимые прорывы в теории способны обуздать авторитарность, пренебрежение к свободе и творчеству, покончить с моноидеологией.

*2. **О социализме и социалистичности.** Хрущёвский коммунизм был разжалован в брежневский «развитой социализм», но от этого наши представления о социализме не стали убедительнее — это мягко говоря.*

Почему так? На мой взгляд, потому что все представления о социализме строятся на принципе отрицания. Буржуазность введена в сан Дьявола. С рвением более

лютым, чем святоинквизиторы, ищут чертей и ведьм в каждой живой душе. Ложью отравлена общественная жизнь.

«Руководством к действию» сделали презумпцию виновности человека. 200 тысяч подзаконных инструкций указывают человеку, что он потенциальный злоумышленник. Указано, какие песни петь, какие книги читать, что говорить. Свою порядочность нужно доказывать характеристиками и справками, а конформистское мышление выступает как свидетельство благонадежности.

Гегель, между прочим, свою спираль развития (полудиалектика, как, впрочем, и марксистская классика) строил на эвклидовых постулатах с их трехмерностью, и не мог знать, что в четвертом измерении историческое время может течь и в ту, и в иную сторону. Маркс и Энгельс понятия не имели, что Время есть искривление Пространства, а Ленин — что Время есть скорость передачи информации; материя в любом виде — это оболочка информации.

Умертвив опыт катком извращенной классовости (Сталин даже в нищей деревне «находил» постоянно рождающихся капиталистов), социализм тем самым отрезал себе путь в будущее — в вакуум дороги нет. И пошли назад — в феодализм, а в Магадане и в иных «местах, не столь отдаленных», опустились до рабства.

Наши классики, видимо, надеялись, что мы будем умнее, чем они, и верили, что на основе их метода разберемся, что к чему. Не разобрались. Запутались в лабиринтах наукообразности, возведенной на монолитных глыбах догматизма.

Монособственность и моновласть — не социализм. Они были еще в древнем Египте. К действительному социализму, на мой взгляд, нужно идти от рыночной экономики с ее оплатой по труду (ценность труда определяется потребителем), налаживая свободное, бесцензурное передвижение информационных потоков, создавая нормальную систему обратных связей.

Тысячу лет нами правили и продолжают править люди, а не законы.

Надо преодолеть эту старую парадигму, перейти к новой — правовой. Речь, таким образом, идет не только о демонтаже сталинизма, а о замене тысячелетней модели государственности.

Первая попытка изменить старый способ правления была предпринята в 1917 году. Но через 11 лет, в 1928 году, Сталин и его окружение навязали новые идеологические координаты, сотканные из марксистской фразеологии и предназначенные для оправдания моновласти.

Де-юре антиоктябрьский переворот был узаконен в 1932 году: введение паспортной системы, «зон оседлости» для крестьян, т. е. для большинства народа. Крестьянству была выписана феодальная рента: только барщина была заменена минимумом трудодней, а оброк — натуральный и денежный — стал именоваться налогом. Рабочим — принудительный труд, индустриализация проводилась точь-в-точь как при Петре I, по-феодальному.

*3. **Об экономике.** Как мы умудряемся в потенциально самой богатой стране мира десятилетиями жить в недостатке, дефицитно, занимая по уровню благосостояния место в мире где-то после пятидесятого?*

Два невиданных ограбления — природы и человека — основной экономический закон сталинизма. Действием этих законов — и только им — объясняются «грандиозные, фантастические, невероятные» и прочие успехи страны.

Есть ли вообще у социализма, хотя бы теоретически, основной экономический закон? Есть. От каждого по способностям — в общественном производстве, каждому по труду — в распределении, что возможно только в условиях свободного действия товарно-денежных отношений на базе закона стоимости.

У нас до сих пор считают, что распределение по труду — это специфический закон социализма. Этот закон всегда был капиталистическим, действовать он может только на рынке. Маркс и Ленин по этому поводу целые поэмы написали, у нас этот закон вообще в параличе — уравниловка задушила.

*4. **О пропорциях.** В 1928 году 60,5 процента продукции промышленности составляли предметы потребления (группа Б), в 1940 году — 39, в этом году — примерно 25. В ранг закона введено абсурдное положение — невозможно обеспечить непрерывный рост народного хозяйства без преимущественного развития производства средств производства.*

В итоге создана «экономика для экономики», развивающаяся уже независимо от Госплана: несколько пяти-

леток подряд съезды партии и Пленумы ЦК принимают решения об ускоренном развитии группы Б, но происходит все наоборот. Самоедство экономики столь разрушительно, что даже доведя рытье недр до 15 миллиардов тонн в год, по пульману на человека, мы фактически топчемся на очень отдаленном месте по благосостоянию.

Смелее надо оперировать такими понятиями, как экологоемкость экономики, мегасинтез товара, времяемкость, качество как непознанное количество, информационное облагораживание товара (то, что в приближении именуется наукоемкой продукцией). Еще нет понимания, почему информация должна стать главным товаром мировой торговли, почему производство средств информатики — это локомотив экономики.

Перестроечных пенкоснимателей у нас нынче предостаточно. Свои визуальные постулаты они выдают за трансцендентальную истинность. Еще многие, даже творческие по своему характеру, ученые находятся под опосредованным, но все равно угнетающим давлением такой злоемкой книги, как «Экономические проблемы социализма в СССР».

Политэкономия без анатомии рубля, без его генетики, без его умопомрачительных патологий — это нечто оригинальное.

Демократическое общество может быть создано только тогда, когда все его руководители и народ поймут, осознают, что:

а) Нормальный обмен трудовыми эквивалентами возможен исключительно на рынке: другого люди не придумали. Безрыночный социализм — утопия, причем кровавая.

б) Нормальной экономике нужен собственник, без него нет и свободного общества. Уйдет страх, и старое общество развалится, ибо отсутствует экономический интерес.

Человек — биосоциальное существо, движимое интересами. Есть интерес — горы свернет, нет интереса — спокойно проходит мимо своих годовых зарплат, валяющихся в металле или бетоне. В лучшем случае — в газету напишет.

Отчуждение человека от собственности и власти — ген наших пороков. Преодолеть это отчуждение — императив перестройки.

Кооперация и аренда — двигатели перестройки. Динамика развития арендных отношений и кооперативного движения — динамика перестройки экономики. В нынешних условиях через аренду земли, основных фондов, средств транспорта и связи реально осуществима народизация государственной собственности, разбюрокрачивание экономики.

Арендно-кооперативному развитию общества (это верный вектор обновления) огромную помощь оказала бы научная анатомия проблемы отчуждения человека от собственности и власти на основе марксистско-ленинской концепции антигосударственности. Ибо государство, по марксизму, — следствие незрелости коммунистической формации. Да к тому же Маркс и Энгельс жили в государственно-кисельной Англии, а Ленин в «зверской» империи, где ссыльным платили 6 рублей в месяц (немалые тогда деньги), и где он мог свободно писать книги. А за границу люди ездили, «оформляясь» у околоточного за 3 рубля — стоимость загранпаспорта.

в) Обществу, как воздух, нужен нормальный обмен информацией. Он возможен только в условиях демократии и гласности. Любой вид информационной автаркии, усеченность информации неминуемо ведут к самоотравлению общества. Феномен нехватки информации не исследован, в чем беда и нашего обществоведения.

г) Нормальная система обратных связей — это вестибулярный аппарат общества.

Так уж устроила природа: минимум 75 процентов наших решений ошибочны. И в этом нет ничего страшного: мы их видоизменяем — и всего делов-то. Но когда чьи-то решения не корректируются, это ужасно. Это сталинизм.

Итак, основные слагаемые перестройки:

1. Рыночная экономика с ее оплатой по труду.

2. Собственник как субъект свободы.

3. Демократия и гласность с их общедоступной информацией.

4. Система обратных связей.

Только так перестройщики смогут осуществить свои замыслы и поменять тысячелетнюю парадигму государственности. Порой утверждают, что философия — абстракция. Нет, она — сверхконкретна, как и любая истина, добываемая ею.

Однако «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

*6. **Управление.** Управление архаично. Оно гениальным образом связывает человека по рукам и по ногам.*

Будущее — в самостоятельных фирмах, межотраслевых объединениях.

Предприятие — фирма — объединение должны иметь дело только с банком: финансово-кредитная система — вершина управленческой пирамиды. А Госплан должен составлять государственные и общественные программы, конкурсно распределяя ресурсы и капитальные вложения. А для этого нужен нормальный рынок всего и вся, но прежде всего рынок капитала.

Отраслевые министерства — это монстры сталинизма, станина механизма торможения экономической реформы, это супермонополии, где словно в «черной дыре» гасится научно-технический прогресс.

Министерства могут только гнить. У нас практически нет государственной экономики. Есть отраслевая.

Во многом благодаря министерствам (однако не только им) Сталин поставил общество с ног на голову: надстройка (командно-бюрократическая система) стала базисом, а базис — надстройкой.

Переложение затрат на потребителя и на природу, инфляционно-дефицитный способ хозяйствования — императив отраслевой боярщины. Хрущев, разогнав министерства, был абсолютно прав. Но, к сожалению, сделал это, как и многое другое, в кавалерийском стиле.

О совершенствовании министерств не может быть и речи. Их должен упразднить хозрасчет. Их, одно за другим, надо выводить из бюджетного финансирования.

*7. **О партии.** Практика, когда партия в мирное время руководит всем и вся, весьма зыбкая. Соревновательность в экономике, личная свобода и свобода выбора на деле, а не на словах, неизбежно придут в противоречие с моновластью.*

Но власть есть власть. От нее добровольно отказываются редко. Так и с КПСС, особенно учитывая ее «орденоносный» характер.

Надо упредить события. Возможно, было бы разумным разделить партию на две части, дав организационный выход существующим разногласиям. Но это особая тема для тщательного и взвешенного обдумывания.

В конечном счете, пока очень много тревожащих неясностей. Жизнь постоянно обнажает противоречия. Некоторые из них, видимо, перерастут в антагонизмы. Все

ощутимее проявляется консерватизм, нетерпимость, некомпетентность, теоретическое верхоглядство. Жизнь стремительно обгоняет теорию, да и замыслы тоже».

Разумеется, это не «план», а всего лишь более или менее сформировавшиеся личные взгляды на некоторые проблемы общественного развития.

Много воды утекло с тех пор. Вроде бы, все вокруг, как вчера. Но, в сущности, все уже по-другому.

Слава Богу, США и Советский Союз проиграли холодную войну, но выиграли историческую возможность равноправного, вместе со всеми другими народами, участия в строительстве нового мирового демократического порядка. Вызревает императив единого мирового экономического пространства. Здесь ключ к устранению атавизмов прошедших веков, особенно националистического фанатизма, постоянно беременного фашизмом.

Индустриализм теряет свой авторитет. Революционное мессианство мертво. Сталинский вариант рефеодализма рухнул. Политика и политики XX века обанкротились. Холодная война закончилась.

Уже не размеры государств, не численность населений и армий, не мощь вооружений определяют величие государств, а технологии, наука, культура, образование, умение распорядиться информацией.

Но как бы ни относиться к великой драме XX века, он подвигнул человека к свободе, к его духовному, экономическому и политическому раскрепощению.

XX век внес качественные изменения не только в саму действительность, но и в сознание людей, в механизмы восприятия мира и своей жизни. Существенно изменились представления о прогрессе, о социальном благе, о том, что было, что есть, что мучает современного человека.

Человек устал от утомительной круговерти уходящего столетия. Он стремится остановить время, боится нового столкновения с неизвестным.

В этом историческом водовороте именно на долю Советского Союза, России, Москвы выпали все вообразимые и невообразимые тяжести решающей демократической Реформации, положившей конец смертоносному расколу мира. История принимает некую завершенность. Хотя какой-то цельной концепции миротворения в новых условиях не обнаруживается, ее просто нет, однако возможности человеческого раскрепощения приобрели реальные очертания уже в пределах мирового пространства.

Но в России еще многое не устоялось, а многое еще и не вздымалось. Преобразования даются с муками. Вязкая топь прошлого бездонна и опасна. Время как бы напоказ выставляет всю мерзость и безнравственность сложившегося бытия, издевается над человеком, подчеркивая его беспомощность, униженность, безнадежность угнетенной души.

Крепнут неофашистские настроения. Реакция вновь мобилизуется. Опять борьба, нетерпимость, воинствующий национализм, воспитанные большевизмом. Непреходящая ненависть, смещения в логике событий, смесь рационального и иррационального в материальном и духовном — и все это снова пало на Россию, где пока любой порядок пропитан анархией. Октябрьские события 1993 года еще раз подтвердили правомерность таких оценок.

В сущности, внутриполитическая жизнь и борьба до сих пор проходят «под знаменем марксизма-ленинизма». Авторитарность въелась не только в государственные, социальные, политические структуры. Она глубоко сидит в сознании и психике почти каждого из нас.

Возьмем некоторых демократов «второй волны», столь упорно боровшихся всеми доступными им средствами против монополизма аппарата КПСС. Стена обрушена. Образовалось относительно чистое поле власти, которое сама судьба велела засеять семенами подлинно демократических принципов, семенами экономической, политической и духовной свободы.

И что же? А ничего! Власть, ее опьяняющая и разлагающая сила, пытается вновь подмять нравственность.

И снова забывается давно известное: упоение властью делает демократию слепой.

Слишком многие еще верят в возможность и пользу «простых» решений, якобы способных навсегда снять мучительные противоречия нашей жизни. Здесь — корни наших бед и проблем, бедности, взаимного ожесточения, исторического хождения по замкнутому кругу, когда меняются формы власти, социально-политических институтов, но положение человека остается почти неизменным.

Едва получив возможность интеллектуальной свободы, мы опять начинаем загонять себя в шоры нового догматизма; начинаем с привычным рвением и наигранной убежденностью клясться в верности сменившимся лозунгам дня, так и не попытавшись понять по-настоящему, что же с нами произошло.

Конечно, то, что десятилетиями довлело над сознанием людей, не может уйти в одночасье. Иллюзии марксистской идеологии еще живы. В сущности, нет сегодня ни одной политической силы, которая была бы от них совсем свободна. Неоортодоксы пытаются соединить несоединимое, идею святой Руси с верой в истинность учения о классовой борьбе. Некоторые интеллектуалы, обществоведы продолжают верить в «чистого», «аутентичного» Маркса, который, по их разумению, не имеет отношения ни к Ленину, ни к Октябрю, ни к большевизму. Они полагают, что эпоха Маркса не позади, а впереди.

Истоки и корни этих иллюзий в неуемном желании и глубоко засевшей привычке прислониться к авторитету, который якобы все знает, понимает, освобождает от ответственности.

Иными словами, неоязыческая религия спасения с культом обожествленного вождизма еще жива как в доктринальном, так и ритуальном плане.

Но 1985 год состоялся. Его не отменишь. Он зажег факел свободы. Низверг тоталитаризм. Сорвал пелену и цепи рабского страха.

Сегодня появились тысячи и «умных», и «прозорливых», и даже, если судить по словам, вполне «бесстрашных демократов».

Не знаю и знать не хочу, кого они восхваляли и кого разоблачали до 1985 года, но уж больно горазды бросать камни в тех, кто столь «нерешительно» проводил Реформацию.

Говорю это вовсе не ради упрека. Не имеет смысла. Тем более, что история никогда не была обделена оловертящимися и околосуетящимися, готовыми стрелять в затылок, когда они у власти, и слезливо, по-собачьи, смотреть в глаза, если власть переменилась.

Мы не имеем права сбиться с пути. Это будет трагедией для нашего народа, трагедией для всего мира, столь взаимозависимого, но все еще не осознавшего полностью меру своего единства, все еще не ощущающего, что наступила эпоха взаимной ответственности. Подчеркну, взаимной.

Годы перестройки и реформ в известном смысле повторили опыт Октября: они стали периодом всеобъемлющего отрицания доставшегося социального устройства. Отрицание справедливо, но исчерпано. Нужна созидательная программа. Конечно, были попытки ее сформировать, но

каждый раз они тонули в рутине, в психологической инерции отторжения, столь органичном для старых структур, в реальных противоречиях преобразований. Это урок со многими значениями. Его еще предстоит осознать.

В России, наверное, многое будет зависеть и от того, насколько быстро сменится поколение нынешних политиков на всех уровнях.

Почему я так рассуждаю?

Не от недоверия к тем или иным политикам, они посильно несут свой крест, а потому что все они выросли и воспитаны на конфронтационности, на борьбе со старой властью, с государственно-партийными структурами, объявившими войну перестройке. Новая волна демократов до сих пор не может отделаться от запала разрушения, от митинговых методов, от необольшевизма в борьбе с большевизмом.

Мне уже приходилось говорить о том, что пока Реформа не станет имманентным содержанием демократического процесса, способом мышления и действия, до тех пор будет существовать опасность реванша. Если остается в практике насилие, конфликты, непомерная политическая амбициозность, борьба за власть любыми средствами и другие признаки революции, то саморегулирующаяся демократия вообще не наступит.

К демократии ведет только нарастающая демократия с идеологией здравого смысла. Демократия либерально-гражданского общества.

Я оптимистически смотрю на демократическое будущее России, но все же живет в душе опаска перед тем, а не окажутся ли Новые Надежды всего лишь Новыми Иллюзиями, а Новые и Старые Утопии снова поведут нас в Никуда.

Прошу читателя не пенять на то, что в разных местах я обращаюсь к одному и тому же вопросу. Я вижу это. Но мне хотелось показать, как те или иные аргументы действуют в разных ситуациях.

Вижу и противоречия, и свою неспособность полностью стряхнуть с себя груз многолетних верований и заблуждений, и стремление быть милосердным к обманам прошлого, хотя понимаю, что милосердие не может быть выше справедливости.

Глава вторая

КОНСЕРВАТИЗМ И ДИНАМИЗМ — ИХ АДЕПТЫ

Диалог неисчерпаем: это движение мысли, мука мысли, праздник мысли, ее свобода.

Приступая к размышлению о марксизме-большевизме, хотел бы предварить их главой, написанной задолго до перестройки. Она отражает в известной мере эволюцию личных взглядов по коренному мировоззренческому вопросу, хотя и строится не на сопоставлении марксизма с реальностью, а на противоборстве консерватизма и динамизма как жизненных явлений.

Повторю, глава написана еще до 1983 года. Сегодня в ней легко можно угадать «большевизм» под именем консерватизма, хотя это и не совсем точно.

I.

Прежде всего, необходимо оговориться, что определения — консерватизм и динамизм — весьма условны. Первый опирается на традиционные устои жизни, что не может быть однозначным упреком, в то же время создает систему догм, противопоставляемых динамическому началу в общественном развитии. Второй стремится к разрушению всего отжившего.

Клише очевидно. Принцип эволюции здесь естественен, нормален. Но беда в том, что оба актера человеческой драмы очень часто не знают меры — ни в защите старого, ни в борьбе за новое. Развитие взрывается революциями, кровавыми конфликтами, войнами, что лишает человечество права называть себя цивилизованным, оставляет его в эпохе варварства.

Само движение жизни порождает неисчислимые филиппики динамизму. Любой исторический момент полон ими. Но XX век, кажется, особенно настойчив в утверждении, что консерватизм переживает небывалую встряску, а дина-

мические начала постоянно демонстрируют свою убедительность.

Эта почти абсолютизированная категоричность, несомненно, связана с многосторонними кардинальными сдвигами нашего столетия и их общественными последствиями, порожденными революциями — социальными и антиколониальными, многочисленными войнами, включая две мировые, сумасшествием технологии, особенно военной, экологическим безумием, акселерацией жизни, урбанизацией, кризисом технократизма, упадком этики.

Доминирующие ветры эпохи постоянно раскачивают консерватизм, все время норовя свалить его с пьедестала истории. Но он упорен, закален критикой. Обладая прочными опорами в сознании, консерватизм обнаруживает порой удивительную жизнеспособность, изворотливость и маневренность. Лишь перед очередным взрывом динамизма, в условиях быстрого нарастания критической массы он начинает приспосабливаться, примерять одежды приемлемого компромисса.

Любое общественное устройство, независимо от социальной сущности, с течением времени накапливает инерционную массу, способную тормозить прогресс. Это фундаментальный вопрос. Очевидны и базовые основания, которые усиливают жизнеспособность консерватизма. Это:

а) **Кризис урбанизации.** Люди, кажется, не хотят сохранять безразличие, разделять с прежним интересом и восторженностью мало контролируемый и плохо предвидимый со всех точек зрения процесс роста городов. Заметно изменение отношения к этому со стороны общих и личных интересов. Экономические основы урбанизации могут претерпеть кардинальные изменения, как и взгляды на этот счет.

б) **Кризис окружающей среды.** Бесспорно, будет быстро нарастать убеждение, что требования технологического прогресса подрывают базовые, естественные условия, которые и сделали возможной саму жизнь. Все категоричнее призывы остановить индустриально-технологическое варварство, насилие над природой, добиться общепланетного консенсуса о пределах разумных потребностей для нормальной и достойной жизни. И тем самым разорвать путы метафизических взглядов на современную жизнь. Господство технологической идеологии становится все более угрожающим, а уничтожение условий естественной жизни — нетерпимым.

Иными словами, все меньше становится категорических и неуязвимых ответов на принципиальные вопросы относительно того, как гармонизировать индустриальную экспансию и здоровые условия жизни, причем не только экологические, как найти жизнеутверждающую меру между богатством материальным и богатством духовным.

Так или иначе, но становится все более очевидным, что бесконтрольный индустриализм принес много бед человеку и человечности, что хозяйственное развитие как самоцель, да еще подчас пожирающее само себя, является тупиком.

в) **Энергетический кризис.** Он дает выразительный урок практике безрассудного расхищения ресурсов Земли, практике нетерпимой и не оправданной какими-либо разумными доводами. Заставляет серьезно почувствовать опасность надменной, высокомерной манеры расточительства, которым пронизана современная жизнь.

г) **Кризис государственных и политических институтов.** Падение авторитета института власти неоспоримо, состояние неустойчивости и неопределенности в этой сфере укрепляется, процесс снижения общественного и нравственного авторитета политических лидеров и процесс театрализации политических институтов очевидны. Все более заметна нервозность политической элиты, понижение ее интеллектуализма.

д) **Растущий экстремизм в человеческих отношениях.** Общий прогресс технологии, социальные катаклизмы и национальные движения, порожденные наследием несправедливостей, делением человечества на относительно малую группу богатых и массы бедных, привели к преобладанию военных средств и методов решения социальных проблем, к эрозии подлинных свобод, к взрывам взаимной нетерпимости.

Освободительные процессы, часто сопровождаемые физическим насилием, повышают уровень настороженности к любым социальным изменениям. С другой стороны, стабилизирующие механизмы — или преимущественно, или часто — сводятся к насильственным методам утверждения власти, а демократические факторы никак не могут избавиться от «презумпции виновности». Это тоже феномен, связанный с консервативной инерцией.

Кризисы современности толкают к мысли, что догматическая, фатальная приверженность к «устоявшейся» структуре жизни, исключающая альтернативу (кроме неизбежного разрушения самих условий жизни), внешне более

безопасна, более надежна. Тем самым методы и ценности самого прогресса оказываются под вопросом. Но там, где эта ценность ставится под вопрос, консерватизм легко перехватывает если не историческую инициативу, то тактическое лидерство.

Изначально гораздо раньше, чем возникло само определение, мыслимым предназначением консерватизма было противление переменам, которые, согласно идее консерватизма, есть разрушение базисных устоев жизни. Консерватизм понимал себя не просто оппонентом шествия, поступи новых жизненных явлений. Истинная его беда в том, что, воюя против некоторых, наверное, почти неизбежных перехлестов и безрассудностей, присущих процессам преодоления прошлого, консерватизм редко находил разумную гармонию ценностей прошлого с неизбежностью развития, рождающего новые ценности.

Что же касается нового, то крутой его нрав хорошо известен. Начинающий динамизм обычно одет в неприглядные одежды, говорит грубым, жестким языком. Он героичен, но и нетерпим, беспощаден. Только потом, с высоты снисходительного времени, человек высаживает преимущественно розы на полях исторических событий. Так розовеют страницы истории. Впрочем, случается и наоборот.

Скажем, технологическому динамизму чужда сдержанность в его отношениях с природой. До сих пор на Земле продолжается безотчетная игра в технологический прогресс, его товарная эффективность затмевает разум. Ну, а если люди прозреют, осознают эфемерность «товарного счастья», потребуют, чтобы технология жила в гармонии с человеком и природой? Не станет ли это трубным призывом к консерватизму в различных его вариантах, возможностью спекулировать на знаменах «подлинных ценностей»?

Уже сейчас некоторые наблюдатели склоняются к тому, что под натиском реальных опасностей всему живому на Земле общественные дискуссии могут взять за исходные позиции не ценности движения вперед, а защиту существующего порядка вещей в социальной жизни в целом.

Благоразумие и сдержанность выдвигаются некоторыми футурологами в качестве фундаментальных ценностей на весь исторически предвидимый период человеческого существования, доминантная неизбежность которых пред-

определена инстинктом самосохранения человеческого рода.

Все больше людей, ратовавших доселе за быстрый, даже форсированный технологический процесс и постоянные социальные изменения (как эволюционно-реформистского, так и революционного порядка), начинают достаточно громко говорить о трагических возможностях неконтролируемого, несдерживаемого развития, теряя при этом перья прогрессизма, многоцветьем которых всегда так гордились.

В сущности, и само отношение к экономическому прогрессу претерпело не одну трансформацию. Верховенство конкуренции и прибыли пришло потом. Мыслители же древности — Аристотель, Платон, Сократ, например, — рассматривали экономику в единстве с политикой и этикой. Отсюда понятие — практическая философия. В средние века и позднее, скажем, Фома Аквинский и Адам Смит, экономику считали частью философии морали.

Но законы еще нерегулируемого капиталистического рынка, основанного на анархической конкуренции, стали вытеснять этику и нравственность из хозяйственной жизни.

Теологию, абсолютизирующую технократизм и отторгающую этику и человека, взял на вооружение и Сталин, что привело к кризисному варианту развития.

В последние два-три десятилетия общественная мысль начала бить в колокола, призывая остановить технологическое безрассудство и безоглядное расхищение ресурсов. Призывы жить в гармонии с природой не так уж редко можно слышать сегодня даже от людей, пребывавших доселе в экстазе от стремительных технологических изменений.

В контексте борьбы за общественное сознание можно обнаружить многообразие прогностических концепций, предлагающих тот или иной выход из кризиса, объявленного общим для всего человечества. Идеи «глобальной солидарности выживания», «нового всемирного гуманизма» получили свое развитие на почве оправданной озабоченности реальным ходом вещей. Многие похожести в развитии бессмысленно отрицать, но, к сожалению, разумные соображения обросли политическими махинациями вокруг споров на тему, чье солнце ярче.

К концу XX столетия стало больше политиков, которые в суетных поисках своего места под солнцем не думают о

суде истории, равно как и над тем, что их постоянно подстерегает опасность заблудиться в лабиринтах, которые они сооружают для других. И можно лишь сожалеть, что в наши дни научно-технического и прочего немыслия мы более или менее знаем, что делать, и гораздо меньше — чего не делать.

Массовое сознание приучается видеть интересы индивидуумов, групп и обществ в пределах кратковременных измерений, оперировать категориями повседневных потребностей, мало размышляя о смысле будущего, хотя именно в этом и проявляется ответственность перед временем и ценностями, которые суждено представлять тому или иному поколению в исторически обозримый период.

II.

Причудливость противоречий и кризисов века порождает мозаику явлений, взаимосвязей и в надстроечной структуре, особенно в ходе столкновения консерватизма и динамизма в сфере общественной мысли и культуры.

Консерватизм имеет свою систему взглядов — догматизм, отстаивающий статус-кво. Обращенный в прошлое, противостоя реальностям жизни, он не хочет и не может быть движителем социального прогресса.

Любая жизненная философская мысль, равно, как и более или менее приближенный к практике социологический вывод, могут возникнуть только в результате напряженных интеллектуальных борений.

Так случилось, что советское интеллектуальное бытие оказалось ограниченным сферой относительного знания основ общественной теории, да еще искаженной догматизмом. Формирование системы знаний носит сугубо утилитарный характер, подчинено решению политических задач, служит обоснованию идеала, а не анализу реальных жизненных проблем.

Как мало еще понимания, что голые обличения в «отступничестве» убивают теоретические исследования. На смену творчеству приходят скучные повторения банальностей, «доказательства» очевидного и давно доказанного, схематические повторения, схоластика и догматизм, оскорбляющие не только науку, но и обычный здравый смысл.

В обществоведение внедрена практика, когда критический анализ позиций, не укладывающихся в «общеприня-

тые» схемы, подменяется окриком, обвинениями, ярлыками. Не менее опасно и восхваление бездарности, помноженной на графоманство, да еще с учетом формально влиятельного положения этой бездарности в общественной жизни и науке. В подобных случаях прежде всего вдохновляются те, кому хочется порезвиться на стезе надзирательных функций. Примеров множество, но дело не в них. Сама общественная мысль пошла вкривь и вкось, а отсюда и мутная пена вульгарной публицистики и бесплодного теоретизирования.

Было бы, разумеется, непомерной глупостью противопоставлять фактические знания идее развития. Здесь не может быть формального примата. То, что знания служебны, необходимое, но лишь условие развития, — это ясно. Но всякая обособленность знания, статус его неприкасаемости, а еще хуже — непогрешимости, лишает его главной силы — динамического, пронизывающего влияния на развитие самого общества.

Знание — лишь преодоление незнания, понимание — лишь преодоление непонимания, то есть все это движение от старой незаконченности к новой незаконченности. Догме здесь места нет. Ритуальное освящение даже гениальной мысли в качестве вечной — не наука, а фетишизм.

Поясняющий пример. В ходу у нас клише: «чистота марксизма-ленинизма», ставшее практически «догмой о догмах», ибо усилиями представителей научной невежественности эта формула служит целям охранения постулатов от натиска жизни, ведет к омертвлению даже нужных, полезных идей, отравляет науки ядом неподвижности, то есть вылущивает из общественной теории главное — идею развития. Если термин «чистота» и применим к науке, то только и исключительно в контексте развития, то есть «чистоты самой идеи развития», свободной от «чистоты догматов», ослепляющих развитие.

Что же касается жизнестойкости той или иной идеи, то она подтверждает свою способность выживания единственно через обновление, диктуемое новыми явлениями жизни. Только жизнь властна держать в своем услужении ту или иную «догму», содержать ее в «чистоте», или, наоборот, предать забвению, как изжившую себя, видоизменить то или иное положение или отбросить его.

Заторможенность общественной мысли несет в себе опасность старения самого общества, постепенного внут-

реннего согласия с неоконсервативными тенденциями, имеющими прочные корневые опоры и связи в жизненной практике и психологии.

И. Джугашвили-Сталин, насаждая моноидеологию, убрал из научной практики диалог. Призывы к творчеству не предполагали реальных дискуссий по научным сущностям. Размывающую, разлагающую функцию исполнял и разрыв между теоретическими положениями и практикой.

Период торжества догматизма породил и своих адептов, боящихся диалога, как огня, ввиду своей научной несостоятельности, и отстаивающих монолог как единственное средство собственного выживания. Они продолжают цепляться за созданные ими же методы поверхностного и схоластического интерпретирования диалектики, что каменной тяжестью придавливает попытки творческого анализа новых явлений жизни. Под ревизионизм подверстываются любые незнакомые толкования тех или иных положений.

Догматики боятся любого спора, во-первых, по невежественности, во-вторых, по неверию. Догматики — эти «святые отцы» от марксизма — не верят в него, ибо в сконструированные ими же догмы, да еще в форме мистических заклинаний, верить всерьез нельзя. Отсюда и боязнь сопоставительного диалога, поскольку догматики знают, что они проиграют этот диалог, как, впрочем, и любой другой.

III.

Наиболее выпукло, остро, осязаемо, всегда шумно и многоголосо жизненные противоречия репродуцируются в культуре. Здесь напряжение достигает порой более видимых драматических пределов, чем в источнике — в жизни, ибо трагизм или драматизм последней полагается естественным.

Культура уже в миг своего рождения бросила вызов смерти, творя бессмертие человечества.

Трагедия человека мимолетна, как сама жизнь его. Драма человечества, отраженная в искусстве, непрестанно будоражит, мистифицирует, упрекает, атакует, лишает сна, и как бы возвышается над родом людским с того самого момента, как он стал творить звуки, символы и образы, понятные другим.

Проблема эта обширна, сложна, многообразна, проти-

воречива. В качестве объекта для размышлений о традиционализме и динамизме наиболее благодатной представляется мне судьба русского авангардизма. Он стал, пожалуй, наиболее ярким и запоминающимся явлением века, приобретшим в силу специфики революционного времени политическую масштабность.

Явление интересное, порой претенциозное, далеко не однозначное как с точки зрения его отношений с консервативной традицией, так и со своим современником — социумом, но от всего этого не перестающее быть Явлением.

Во многом из-за идеологизированного противостояния из «русского авангарда» сооружено нечто, возвышающееся над бренностью жизни, доступное пониманию избранных и посвященных. Это легко было сделать, поскольку у себя на родине с конца 80-х годов авангардное направление искусства преследовалось по политическим соображениям.

Я не ставлю своей задачей анализировать идеологические аспекты культуры. Это особая сфера. И все же избежать некоторых попутных ремарок нельзя, невозможно, поскольку рассуждения идут на ту же тему — о борьбе и связях нового и старого, но уже на опыте духовного развития.

Личные вкусы автора ближе к реалистическому искусству. Нравится средневековый примитивизм, французский импрессионизм, русская социальная живопись. Но все это не дает ни малейшего права отвергать значимость других школ и направлений, в частности, авангарда. Да и здесь, если говорить о личных вкусах, не могут не волновать те произведения Кандинского или Шагала, в которых с пронзительной силой показана жизнь, ее обнаженная правда, хотя и в непривычных для восприятия формах.

Конечно, русский авангард дал не один повод к его бутафорскому истолкованию. Пародийность, эклектизм, провокационность подачи, мистицизм, в принципе созвучные настроениям эпохи, — все это множило, сгущало восторги и проклятия. Абстракционизм, супрематизм, футуризм, конструктивизм, фигуративизм, имена русских художников — Кандинского, Малевича, Шагала, Поповой, Родченко, Бурлюка, Лисицкого, Филонова, Матюшина, Татлина, других — поминались с самыми противоречивыми эпитетами.

Нельзя отказать в напористости этому направлению искусства. Оно, пользуясь отсутствием внешней ясности,

подчеркнутой беспредметностью, вторгалось в философию, навязывая идею «интуитивного разума» как самой высокой и совершенной его модели.

Русский авангард пытался убедить современное ему общество, что игрой цвета и ритма, новыми взглядами на гармонию формы и содержания, уводом от обыденного сознания в мир «новых» мироощущений и переживаний он создает адекватную времени систему восприятия и осознания жизни, формирующую нового человека, который целиком порывает с прошлым, с «пошлостью» традиционализма.

Итак, новый человек дается через, например, сюрреалистическую реальность. Где он? В сочетаниях зыбких пятен и подсознательных конфигураций? Зрительное восприятие картины или слуховое — музыки и их дальнейшее духовное освоение — тоже символика, тоже условность, порой игра. Здесь — созерцательная отвлеченность, погружение в иное состояние, которые помогают оторваться от реальностей жизни, обнаружить зауженность привычного сознания, придать прозе действительности романтические оттенки, чтобы сыграть роль своеобразного зрительного или слухового транквилизатора, который помогает сложиться ощущениям в контуры желаемой действительности.

Авангард был постоянно озадачен обеспечением «социального алиби», но при декларируемой независимости от социума сам он расцвел на фоне острейшего социального конфликта первой четверти века. Часть авангардистов приняла революцию и поверила в нее как в определяющее условие торжества искусства. Другие увидели в ней возможность беспредельного эксперимента. Третьи проповедовали идею абсолютной свободы искусства — идею наивной культурной утопии.

Многие произведения до- и послереволюционного времени, сохраняющие свое истинное художественное значение, в раздражении объявляют теперь фольклором своеобразной эпохи, всего лишь данью времени, обвиняют в убийстве универсальной формы.

Наоборот, адепты современного авангардизма развивают тему о том, что у одиночки зрение точнее, чем у массы, что инакотворящий глубже выражает эпоху, чем сотни «отражателей», хотя бы и талантливых.

Причины создавшейся ситуации сложнее, чем кажутся на поверхности. Создание искусственной обстановки борь-

бы в искусстве и литературе служило и служит политике, а не культуре. В этих целях спекулятивно используются амбиции людей малоодаренных, разного рода групповые интересы. Представители «цеха серости» боятся развития, оно отодвигает их в сторону, и потому они громко кричат о своей приверженности к «истинным принципам», в которых и сами смыслят мало. Отрыжки этой суетности дали себя знать и во времена «оттепели» при Хрущеве (выставка в Манеже, встречи с писателями). Да и в целом власть продолжает сохранять известную подозрительность к художественной интеллигенции.

В жизни общепринятая точка зрения чаще выгоднее, чем что-то новое, еще не осознанное, малопонятное. Больше того, устоявшийся, наиболее распространенный на данном этапе взгляд не только полезен в дискуссии, но и нужен, важен, но в качестве голоса в споре, а не самодовольной истины или своеобразного языческого божества. Если концепция верна, она завоевывает признание в борьбе, в обсуждениях и только тогда убедительна в качестве руководства к действию. Иными словами, только на основе осознанной работы мысли в дискуссии выстраивается иерархия интеллектуальных ценностей.

Социальный реализм — это единство гносеологического и культурологического. Нарочитое выпячивание социального при игнорировании философии и принципа художественности неизбежно приводит к оргиям бездарности, примитивизируя само социальное и подрывая авторитет искусства.

Парадокс, убивший какую-то часть авангарда, состоит в том, что он на словах бежал от политики, а на самом деле жил с нею неравным браком.

Но суть проблемы не в этом. Ретроспектива, очищенная от искусственно сооруженных предрассудков, убеждает в том, что русский авангард (при всей его противоречивости) осуществил позитивную и великую миссию оплодотворяющего влияния на развитие мирового искусства XX века.

В данных рассуждениях судьба авангарда — лишь пример, не более. Пример наиболее громко прозвучавшей схватки между консервативной традицией и авангардистской атакой в искусстве, схватки, в которую грубо и безграмотно вмешалась политика.

Бросая вызов искусству традиционализма, авангард пощипал Титана, пощекотал, расшевелил его, разбудил и

принудил к беспокойству, продвинул к мысли о неизбежности разных форм в искусстве, то есть исполнил критическую миссию. На этом пути авангард претерпел и немало «камнепадов», в результате, как водится, приобрел ореол страдальца за «гонимое новое».

Вопрос, таким образом, об отношении к новому в искусстве и литературе — это вопрос судеб культуры и в нынешнем переходном мире.

Платон полагал число мерой гармонии. Блок верил, что поэзия вносит гармонию в хаос жизни. Иные рассуждают в том плане, что культура в целом — и в этом ее предназначение — усмиряет крайности «непросвещенной власти», экстремальные проявления социальности. Рассуждений на этот счет существует множество.

Но, несомненно, пожалуй, одно: культура — это духовный цемент нации, духовная опора рода человеческого, его пристанище при невзгодах и душевных неустройствах, его надежда, не оставляющая в беде, его праздник и горе, его голубые сны и жестокие реальности. Она оберегает тех, кто ищет интеллектуальную раковину для обитания. Она авторитетна и почтенна, формирует нормы мыслительной деятельности и поведения.

Культура бессмертна.

Глава третья

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРЕДТЕЧА

Упрекать прошлое можно, но бессмысленно. Особенно за то, что рядовые творцы его не знали и не могли знать, не поняли и не могли понять, не открыли и не могли открыть те истины, к постижению которых мы пробираемся еще и сегодня через темный лес предрассудков, через неоднозначность опыта, через познания таинств социального бытия.

История не может быть иной, но мы иными быть обязаны.

За тысячи лет цивилизации никто, нигде и никогда не смог построить достойное человека общество через насилие, которое рождало только насилие. Нравственность и свободу не взрастить плетью или палкой, казематом или страхом.

Насильственные революции — это кровь на розах трагических иллюзий.

Многое в марксизме-большевизме основано на том социально-экономическом опыте, который связан с периодом первоначального накопления капитала и эпохой европейских революций, особенно французских.

Что касается анализа «дикого капитализма», то он является серьезным вкладом в общественную мысль XIX века. А вот политико-идеологические выводы из революций оказались разрушительными.

Наиболее злоемкой догмой марксизма является догма о насилии и основанной на ней концепции классовой борьбы. Не Маркс все это придумал, но французские революции, начиная с 1789 года, и последующие европейские события послужили основанием для, казалось бы, убедительного вывода о том, что подобный ход истории является закономерностью общественной жизни.

Насилие было титуловано «повивальной бабкой истории».

I.

Французская революция 1789 года — не просто победивший переворот. Таких было немало. И даже не только драматический прорыв в новое общество — в некоторых странах такой прорыв произошел раньше, хотя и не носил столь раскаленных форм.

Суть отличия в том, что она сумела сконцентрировать в своем духовном арсенале, в своей практике, так или иначе преломить в себе важнейшие достижения европейского социального опыта, науки и общественного сознания. Она интегрировала в себе плоды Реформации и Просвещения, которые показали неизбежность глубоких интеллектуальных, нравственных и социальных поворотов в истории.

Это был век Вольтера с его отвержением деспотизма, едкой иронией над клерикальными предрассудками, с его гимном деятельной, борющейся личности.

Век Руссо, который острее, чем кто бы то ни было из его современников, возвысил идею равенства.

Век Монтескье, защищавшего демократические принципы разделения законодательной, исполнительной и судебной властей.

Век экономистов-физиократов Кенэ и Тюрго, возвестивших принцип, за которым стояла идея свободы инициативы, невмешательства государства в экономическую жизнь. Жаль только, что они пренебрегли в своих идеях великими заветами предшественников — Аристотеля, Сократа, Платона, Фомы Аквинского, Адама Смита и многих других, не мысливших экономику вне морали.

Век Гельвеция, считавшего «пользу» критерием новой этики и основанием всех законодательств.

Блестящая плеяда выдающихся мыслителей вынесла существующему строю нравственный приговор. И хотя они во многом расходились, но объективно делали одно общее дело — вспахивали и засеивали интеллектуальное поле для революции, размывали веру в традиционные авторитеты, традиционную нравственность, традиционные политические ценности.

С присущим им блеском и остроумием они показывали, что старый порядок, пронизанный аморализмом и лицемерием, вырождением правящих элит, мертвящим догматизмом и схоластикой, противоречит разуму, находится в конфликте с самой природой человека, его стремлением

к гармоничному обществу, свободному от сословного неравенства и монархического произвола, обществу, в котором частный интерес каждого совпадал бы с общечеловеческими интересами.

Наступят грозные годы конца века — и мы услышим их идеи в пламенных речах трибунов Учредительного собрания и Конвента, и найдем их мысли в текстах революционных деклараций и конституций.

Верно, что по своим результатам революция была буржуазной. Но это лишь часть правды. Революция с самого начала развивалась при активнейшем участии народных масс.

Вторжение народа — взрывное и созидательное — в политическую практику наполняло материальным содержанием передовые идеи Просвещения, формулировало различные варианты первоначальных конструкций нового общественного строя. Массы стремились не только к политическому равенству, но и равенству социальному.

Тогда, в тех условиях, порыв к социальной справедливости не мог увенчаться успехом. Но он стал мощной пружиной революционного процесса, а в дальнейшем стимулировал развитие социалистического учения.

Революции — особое состояние общества.

Как правило, справедливые по замыслу, они злокачественны по средствам. Будучи быстрыми и разрушительными, они одновременно закладывали тормозящие факторы в развитие общества, раскалывая его на враждующие части.

Извлечение уроков из прошлого нередко догматизируется: история из учителя становится служанкой политики. Но живая, нефальсифицированная история учит многому, дает богатую пищу для ума, помогает понять не только прошлое, но и настоящее, заглянуть в будущее.

Освобождающееся от догм сознание времени перестройки направлено на новое прочтение многих исторических явлений и событий. История встает не как омертвевшее прошлое, не как лубочная иллюстрация верности какой-то общей схеме, а как мысли и сомнения, успехи и просчеты, взлеты и падения живших до нас поколений. Уроки истории извлекаются не для возрождения или обновления прежней системы догматов, а для решительного отказа от них.

И «штурм Бастилии» в июле 1789 года, и «штурм Зимнего дворца» в октябре (7 ноября) 1917 года — это сим-

волы многотрудных и противоречивых процессов, имя которым революция, контрреволюция, эволюция. В своей конкретике они неповторимы. Их взаимное переплетение по-своему решало извечные проблемы человека как общественного существа: таких, например, как соотношение целей и средств, принуждения и убеждения, разрушения и созидания, идеалов и действительности, сравнительной «цены» революции и эволюции, взаимоотношений народа и власти, иерархии классовой и общечеловеческой мотивации.

Естественным следствием нравственного переворота и демократического обогащения жизни стало раскрепощение разума. Рядовой француз, совсем еще недавно экономически задавленный и политически третируемый, не только почувствовал себя полноправным членом общества, но и ощутил свою ответственность за судьбу этого общества. И гибли теперь многие не с заученным возгласом «Да здравствует король!», а с осознанным «Да здравствует нация!».

II.

Объединив идеи гуманизма и справедливости с принципами демократии и народного суверенитета, Французская революция создала основы современного правосознания, политической культуры, служащих объединяющим началом цивилизованного мира при сохранении его национального, социального и культурного многообразия.

Она поставила перед человечеством вопросы, многие из которых, по-видимому, принадлежат к числу вечных. Таким предстает вопрос о правах человека или о том, что есть человек в обществе себе подобных. Уничтожив сословные привилегии и перегородки, революция провозгласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». В этом — суть Декларации прав человека и гражданина.

Ее авторы, испытав на себе гнет вознесенного над человеком феодального государства, решительно перевернули систему ценностей, установив, что «цель каждого государственного союза составляет обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека».

Декларация прав человека и гражданина провозглашала принцип разделения властей, ответственность и подотчетность должностных лиц. Она фиксировала гарантии

прав личности и принципы законности, включая презумпцию невиновности.

Она утверждала: «Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может высказываться, писать и печатать свободно, под угрозою ответственности лишь за злоупотребления этой свободой в случаях, предусмотренных законом».

Молодой буржуазный класс произвел на свет документ такой силы и такого содержания, который далеко выходил за пределы интересов одного класса, воплощал общечеловеческие нравственные и правовые императивы.

Как показала двухвековая история, эти постулаты универсальны и неподвластны времени. Но даже такие основополагающие принципы, если они затрагивают — а они затрагивают — интересы различных групп, слоев, классов, не легко и не просто воплощаются в реальную жизнь.

Не избежали этой участи и идеалы революции французского народа. Лицемерие продолжало жить: на словах — одно, на практике — другое. Ох, как это до боли знакомо!

Прошло много десятилетий, прежде чем исчезло, да и то не полностью и не везде, неравноправие женщины перед законом.

В течение по крайней мере века неимущие вели борьбу за то, чтобы обладание правами и свободами не зависело от имущественного ценза. Пролегла длинная и не прямая дорога от сословных и имущественных привилегий к равенству.

Французская революция вплотную подошла к идее защиты государством не только политических прав, но и экономических интересов масс. Она не могла быть реализована в то время и стала как бы завещанием. В якобинских декларациях прав человека и гражданина и конституции 1793 года, так и не введенных в действие, всем гражданам обещалось равенство, свобода вероисповеданий, всеобщее обучение, свобода создания народных ассоциаций, предоставление права на труд неимущим гражданам и средств к существованию тем, кто не в состоянии трудиться.

Этот перечень оказался прообразом международных хартий, гарантирующих права человека, которые в наши дни получили одобрение мирового сообщества.

Прогрессирующая социализация общественной жизни придает концепции прав человека все более гуманный характер. Теперь это не только правовые гарантии борьбы за социальные интересы человека. Сами эти интересы стали признаваться естественными и неотъемлемыми и должны гарантироваться, говоря словами декларации, «каждым государственным союзом». Именно к этому обязывают Пакты о правах человека в статьях о праве на труд на справедливых условиях, социальное обеспечение, охрану и помощь семье, прожиточный минимум, охрану здоровья, образование и т. д.

III.

Итак, идеалы чисты и благородны. Но значение революций определяется прежде всего теми уроками, которые они преподают человечеству. Другой дело, если потомки оказываются слишком близорукими, самонадеянными или духовно эгоцентричными, чтобы усвоить их и скорректировать собственную социальную практику.

Один из главных уроков — в соотношении деклараций и поступков, намерений и действительности.

Ни одна из революций, которые предшествовали французской, не поднялась до таких нравственных лозунгов, как эта. Ни одна из них не провозгласила столь возвышенные демократические идеалы.

Но, может быть, и никакая другая не обнаружила столь очевидного разрыва между пробужденными ожиданиями и реальностями жизни, ее практикой.

Свобода оказалась ограниченной, царство разума — идеализированным, ожидания — обманутыми, возвышенность справедливости и равенства — низведенной до параграфов законоположений, благородство нравственности и совестливость — зараженными лицемерием, святая вера в идеалы — фарисейством.

Трагедия революционеров XVIII века в том, что они искренне хотели добиться торжества общечеловеческих идеалов, создать царство всеобщей добродетели, но логика надежд пришла в жестокое столкновение с логикой жизни.

Разве после упразднения в феврале 1791 года цехов, этого института средневековья, не был вскоре принят закон, запрещавший проведение стачек и создание рабочих организаций?

Разве из стен Учредительного собрания не вышел в

октябре 1789 года закон о применении военной силы для подавления народных выступлений?

Разве цензовое избирательное право, установленное конституцией 1791 года, не находилось в противоречии с Декларацией прав человека и гражданина, провозглашенной двумя годами ранее?

И разве крупная буржуазия не воспользовалась термидорианским переворотом для того, чтобы ликвидировать демократические институты народного суверенитета?

Эгоизм интересов взял верх, существенно потеснил идеалы.

Конечно, было бы наивным ожидать, что революции XVIII века могут быть иными. Но проблема выбора между интересами немногих и интересами общества в целом не раз обнаруживала свою актуальность и после французской революции.

Вожди французской революции — по крайней мере многие из них — были глубоко убеждены, что ведут борьбу за освобождение всего человечества, за вселенское торжество свободы и справедливости. «Погибни свобода Франции, — восклицал Робеспьер, — и природа покроется погребальным покрывалом, а человеческий разум отойдет назад ко времени невежества и варварства. Деспотизм, подобно безбрежному морю, зальет земной шар».

Дух мессианства обнаруживается едва ли не во всех великих революциях, когда восходящий класс претендует быть освободителем человечества, но в действительности освобождает лишь самого себя, да и то относительно и частично.

На практике французская революция не привела, да и не могла привести, не только к освобождению человечества, но и трудящихся слоев самой Франции. Феодально-сословные перегородки были разрушены. Но на их месте выросли новые — быть может, не такие грубые, но не менее ощутимые. Достижения социального прогресса оказались узурпированными меньшинством.

С этим связан, пожалуй, еще один урок французской революции — революции, как бы заблудившейся в многомерном мире. Практика ее международных отношений пришла в явное противоречие с теми принципами, которые были начертаны на ее знаменах.

В самом деле, разве итальянский поход Бонапарта 1796—1797 годов, еще не лишенный прогрессивных черт, не был вместе с тем и тревожным симптомом перераста-

ния освободительных войн в войны захватнические? Войны, которые повел Наполеон в начале XIX века, дают однозначно утвердительный ответ на этот вопрос. Революционная борьба с феодализмом обернулась покорением других народов. Страна, провозгласившая лозунги свободы, равенства и братства, становится колониальной державой. Идея собственного освобождения выродилась в имперский бонапартизм.

Такой исход событий вряд ли резонно рассматривать только в категориях «предательства» буржуазией дела революции и ее «измены» народу. Были и непоследовательность, и малодушие, и эгоизм, и трусость.

Но за всеми слабостями и пороками проступала логика революционного процесса, разводящая по разные стороны субъект социальных преобразований и субъект реальной власти, тех, кто разрушает старый порядок, и тех, кто реально обретает власть.

IV.

Выход на новый виток цивилизации не бывает безболезненным. Острые драмы порождаются и инерцией уходящих общественных структур, и психологическим неприятием нового, и левацким нетерпением радикалов.

Понять механизмы действия и противодействия далеко не всегда просто, вокруг этого идут споры и поныне. Но в любом случае плоха та наука и та политика, которые не чувствуют новых проблем, а ее носители не признают своего незнания и невежества. Сократ считал это свойством резонерствующих глупцов.

Потребность в радикальном обновлении вырастает из своего времени, но всегда обгоняет его. Свободные духом люди в своем порыве нередко ставят сверхзадачи, многим из которых не суждено быть решенными в бурлящем котле противоречивых событий.

Одним из уроков, которые дает история революций, является и тот, что попытки радикальной и быстрой смены старого строя неизбежно сопряжены с опасностью невольной подмены цели средствами. Нетерпение рискует смениться нетерпимостью, а классовая борьба перерасти в ненависть, которая, как известно, не терпит доводов рассудка. Подчинение догме, умозрительной схеме неизбежно порождает в обществе множество «несвобод», отодвигает на второй план не только революционный идеал, но и самих творцов революции — простых людей.

Французская революция рельефно продемонстрировала логику самоотрицания. Она ярко высветила проблему, с которой пришлось столкнуться едва ли не всем последующим революциям и которая остается, по-видимому, актуальной и в наши дни. Я говорю о проблеме границы революционных действий — той магической черте, за которой стремление к разумной, нравственной организации жизни начинает фактически отрицаться безнравственными способами достижения целей.

Французская революция убедительно показала, сколь значительна в процессе общественных преобразований роль вождей, трибунов — таких, как Марат, Мирабо, Дантон, Робеспьер, Сент-Жюст и многих других, «делавших» историю.

Но проявилось и иное: когда борьба групп, партий, классов перерастает в борьбу вождей, когда происходит чрезмерная концентрация событий вокруг личностного фактора, тогда направление борьбы меняется столь причудливым и неожиданным образом, что вчерашние соратники, единомышленники предстают друг перед другом разъяренными противниками, обезумевшими от фанатизма, презревшими терпимость и милосердие. Сегодня летят головы левых якобинцев Эбера и Шометта, завтра — «снисходительного» Дантона, послезавтра — самого Робеспьера.

Трагическую опасность представляет и концентрация страха или мести вчерашнему противнику, продолжающему существовать физически, но уже обессиленному, повергнутому, обесчещенному, обреченному политически и социально.

Следует заметить — и французская революция дает для этого немало оснований (как, впрочем, и другие), — что вопрос о врагах революции, как и вопрос о составе ее движущих сил и союзников, оказывается одним из самых сложных.

Праведные цели недостижимы неправедными средствами. Но так думали не все. Марат аппелировал к «топору народной расправы», который должен был без суда отрубить головы сотням тысяч «злодеев». «Террор, — по Робеспьеру, — есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость; тем самым он является проявлением добродетели».

Вот они, любимые мотивы большевизма.

Террор становился повседневностью, карал не только

врагов революции, но и просто равнодушных. Кто не с нами, тот против нас. Освобожденный от рамок законности, меч насилия произвольно использовался теми, кто находился у власти. Гильотина срубила головы двум гениальнейшим французам — химику Лавуазье и поэту Шенье. Побеждала злая воля властолюбцев, одетых в блистательные наряды борцов за свободу и права человека. Революция пожирала своих собственных детей.

Террор и власть насилия с неизбежностью выносили наверх людей, лишенных политических и нравственных принципов. Они повернули против республики множество ее прежних сторонников, ослабляли притягательную силу революции. Так революция, давшая соблазнить и увлечь себя насилием, диктатом, тормозила саму себя, закладывая предпосылки реставрации узурпаторской власти.

В результате режим якобинцев оказался в социальном вакууме, что и предопределило его падение.

Осмысливая почти через столетие перипетии революции, Энгельс в письме Марксу 4 сентября 1870 года писал: «... мы понимаем под последним (террором. — Авт.) господство людей, внушающих ужас; в действительности же, наоборот, — это господство людей, которые сами напуганы. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх» (Соч. Т. 33, С. 45). «Весь французский терроризм, по словам Маркса, был не чем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством» (Соч. Т. 6. С. 114).

Но это не помешало основоположникам марксизма объявить насилие двигателем истории, а террор — робеспьеровской добродетелью.

Сто лет назад, отмечая вековой юбилей французской революции, Г. В. Плеханов высказал предположение, что в грядущих пролетарских революциях террор пойдет на убыль. «Предстоящий теперь в цивилизованных странах «великий бунт» рабочего сословия, наверное, не будет отличаться жестокостью. Торжество рабочего дела до такой степени обеспечено теперь самой историей, что ему не будет надобности в терроре» (Соч. М., 1923. Т. IV. С. 64).

Но революционная история пошла, как теперь знаем, иным путем. Ошибка русского марксиста поучительна, поучительна вдвойне.

Она в том, во-первых, что «сама история», хотя и

создает предпосылки для победы определенных социальных сил, но отнюдь не гарантирует реальный успех.

Во-вторых, ошибка Плеханова говорит об опасности идеализации тех или иных революционных сил и революций, уровня общественного сознания. Говорит о том, что проблема целей и средств актуальна отнюдь не только для прошлых времен.

Ф. Энгельс считал предопределенными революционные потрясения в России. Как и то, что они во многом повторят опыт французской революции. В 1878 году в письме Беккеру он отмечал: «...безуспешная война или новые неудачи безусловно вызовут революцию в Петербурге. Она начнется с двора и с конституции, но это будет 1789 год, за которым последует 1793 год. Пусть только в Петербурге соберется национальное собрание — и лицо всей Европы изменится» (Соч. Т. 34. С. 246).

И еще через семь лет в письме В. Засулич: «То, что я знаю или думаю, что знаю о положении в России, склоняет меня к тому мнению, что страна приближается к своему 1789 году... Это один из исключительных случаев, когда горсточка людей может сделать революцию, другими словами, одним небольшим толчком заставить рухнуть целую систему, находящуюся в более чем неустойчивом равновесии... и высвободить актом, самим по себе незначительным, такие взрывные силы, которые затем уже невозможно будет укротить... Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, — что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать...

...По-моему, самое важное — чтобы в России был дан толчок, чтобы революция разразилась... В стране, где положение так напряжено, где в такой степени накопились революционные элементы, где экономическое положение огромной массы народа становится изо дня в день все более нестерпимым, где представлены все ступени социального развития, начиная от первобытной общины и кончая современной крупной промышленностью и финансовой верхушкой, и где все эти противоречия насильственно сдерживаются деспотизмом не имеющим себе равного, деспотизмом, все более и более невыносимым для молодежи, воплощающей в себе разум и достоинство нации, — стоит в такой стране начаться 1789 году, как

за ним не замедлит последовать 1793 год» (Соч. Т. 36. С. 260—263).

Надо отдать должное, это пророчество сбылось, революция свершилась, причем в еще более кровопролитном варианте, чем французская.

Знали ли об этих предупреждениях большевики? Конечно, знали. Но они знали и о том, что в том же письме Энгельс полагал революцию в России неизбежной, а главное — желательной, несмотря ни на что.

Октябрьская революция оказалась революцией сверхтеррора. В среде революционеров всех оттенков, прежде всего в партии большевиков, немало было тех, кто самозабвенно верил в насилие, в его очищающую силу, кто прямо обращался к опыту якобинцев, усматривал в повторении 1793 года благо, спасение для страны и народа. Средствами террора пресекали не только антиреволюционные действия, но и инакомыслие, безжалостно вырубали носителей старого режима — помещиков, купцов, капиталистов, священнослужителей, офицеров, всех подозрительных.

Жестоко пришлось расплачиваться за эти преступления, за аморализм необузданной революционности.

Но было и другое, о чем сегодня надо говорить ради того, чтобы видеть горький опыт. Многие чистые люди, наделенные возвышенной нравственной позицией, — эти люди искренне верили в острую необходимость слома старого строя, в моральную оправданность грядущей революции. Верили в ее созидательное начало, в скорое построение общества социальной справедливости. И потому без особых раздумий романтизировали происходящее.

Нельзя ставить эти чувства и надежды в укор тем, кто их разделял, да и оплачены они были очень дорогой ценой — сначала царскими застенками, лишениями, а затем — сталинским произволом.

Но революционный романтизм мешал реалистически оценивать античеловеческие стороны многих событий. Бездумная вера порождала фанатизм, насилие, кровь.

Было проигнорировано то, что любая социальная буря обладает объективной способностью не только поднять здоровые силы общества, но и активизировать социальное дно, наиболее опасное именно в периоды исторических перемен и потрясений, когда ослаблены прежние общественные связи, еще не созданы новые, когда не действует

с необходимой эффективностью система закона и правозащиты.

Сколько социальных переломов в мире страдало от того, что мерзость пристраивалась к благородству, невежество и цинизм брали на вооружение лозунги сил обновления, прикрывая этими лозунгами деяния, ничего общего не имеющие с изначальными идеалами, целями, средствами революции!

Сколько революций переродилось, не оставив после себя ничего, кроме безверия, нетерпимости и отброшенного назад общественного развития!

Эта глава в истории революций еще по-настоящему не исследована и не написана.

Партия, которая исповедует насилие, подменяет науку тщеславными иллюзиями, — такая партия обречена на поражение.

Далеко не случайным видится сегодня и тот факт, когда на каждом рубеже развития цивилизация неизменно выходила на идею ненасильственности. От библейского «не убий!» до безъядерного, ненасильственного мира. Их объединяет общечеловеческое начало, на котором только и может строиться достойная и духовно насыщенная жизнь людей.

Нетерпение, которым окрашивается стремление к прогрессу, понятно. Желание безоглядно перепрыгнуть через опостылевшие завалы времени тоже понятно. Но опыт учит необходимости взвешивать прежде всего потенциальную цену революционного рывка или технического прогресса. И не только в историческом масштабе времени, но и применительно к реальным, живым, жаждущим счастья людям.

Там, где нетерпение или эгоизм брали верх, становилось возможным самое чудовищное: преступление сегодня — во имя лучшего будущего. Безнравственность — во имя нравственности грядущего. Самодержавие мировоззрения — во имя вечности базальтовых истин. Жестокая несправедливость — во имя призрачного счастья.

Чем сложнее структуры человеческого сообщества, тем опаснее для него — и материально, но, особенно, духовно — необузданная стихия разрушения. И тем важнее инструментарий, позволяющий направлять процесс преобразований. Более того, при современном переплетении общественных структур игнорирование этого обстоя-

тельства превращает самых нетерпеливых и радикальных сторонников перестроечной революции, помимо их воли, в объективных противников ее целей и задач.

Нынешний мир небывало целостен, взаимозависим и в противоречиях, и в самом выживании. Ибо наша жизнь — часть единого общечеловеческого развития, в процессе которого начинаем постигать нелегкую истину, что любые кардинальные перемены должны быть гуманными, бережливыми к человеку, его жизни, его ценностям, к духовному и нравственному богатству общества.

V.

По мере накопления исторического опыта наше понимание событий прошлого приобретает все большую глубину и стереоскопичность. Обращаясь к грандиозной исторической драме, имя которой — Великая французская революция, можем со все большей и большей достоверностью понимать истоки многих достижений, проблем и коллизий современной цивилизации.

Революционное сверхожидание первой половины XX века сменилось гораздо более трезвым взглядом на перспективу радикальных общественных трансформаций в современном мире.

Исторический опыт последних десятилетий раздвинул горизонты, изменил систему координат, в которой оценивается развитие современной цивилизации.

Незадолго перед смертью В. И. Ульянов-Ленин заметил: «Для настоящего революционера самой большой опасностью, — может быть, даже единственной опасностью, — является преувеличение революционности, забвение граней и условий уместного и успешного применения революционных приемов. Настоящие революционеры на этом больше всего ломали себе шею, когда начинали писать «революцию» с большой буквы, возводить «революцию» в нечто почти божественное, терять голову, терять способность самым хладнокровным и трезвым образом соображать, взвешивать, проверять, в какой момент, при каких обстоятельствах, в какой области действия надо уметь действовать по-революционному и в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой области действия надо уметь перейти к действию реформистскому» (Соч. Т. 44. С. 223.).

Трудно сегодня понять, то ли это озарение, то ли покаяние?!

Реконструкция человеческой цивилизации на гуманистических началах, воплощенных в общечеловеческих идеалах и ценностях, переходит в практическую плоскость.

Ясно, что для понимания этих процессов нужны иные мерки, чем те, которыми оцениваются французская буржуазная революция и октябрьский переворот. Кооперация всех сил человечества на решении глобальных проблем, происходящая на ее основе перегруппировка социально-политических сил не могут быть сравнимы с тем, что происходило во Франции конца XVIII века или в России первой половины XX века.

По глубине и масштабности качественная перестройка сложившихся в мире общественных структур, вероятно, не будет уступать социальным революциям прошлого. Во всяком случае, перестройка советского общества ставит своей целью глубочайшие радикальные изменения во всех сферах общественной жизни.

Происходящие и грядущие перемены потребуют от мирового сообщества максимума знаний, проницательности, воли и ответственности во всех действиях. Особого мужества и особой квалификации хирурга, который еще до того, как подойдет к операционному столу, обязан представлять себе в деталях ход операции и последующего лечения, предвидеть возможные осложнения, трудности, неожиданности, учитывать вероятность ошибочного диагноза.

Что касается Советского Союза, России, то потребность в радикальном обновлении особенно остра, поскольку общество опасно запоздало с давно назревшими переменами. Общественный прогресс не просто развивался недостаточными темпами, он тормозился в угоду вполне определенным интересам. Система торможения не только сохранялась по инерции, но и совершенствовалась намеренно, тем самым усиливался ее разлагающий потенциал.

Но встает вопрос: сколь велика может быть цена перемен? Неизбежны ли издержки в условиях ненасильственной революции?

В какой-то мере, да. Но издержки прозябания во много раз опаснее.

В сущности, перестройка до сих пор расплачивается именно за остроту накопленных социально-экономических проблем, за разбалансированность экономики, ее милитаризацию, за недооценку системы товарно-денежных отношений. За низкую культуру — от быта до политики. За

нарастающее отставание по важнейшим параметрам от мировых уровней развития.

Все это не перестройкой заложено. Она лишь обнажила эти явления, их подлинные причины и масштабы.

VI.

Человечество почти незаметно для себя перешагнуло границу одной эпохи и вступило в другую, качественно иную. Законы, по которым этот мир развивается, вызовы, которые он бросает всему человечеству, совсем не те, что отличали период французской и Октябрьской революций. Стало быть, при решении нынешних проблем, в поисках путей и критериев прогресса нельзя полагаться только на опыт и уроки этих революций.

Новый мир требует новой философии. Опыт революций, опыт XX века доказывает высшую верность мысли: отрицание не есть уничтожение. Отрицание есть такая интеграция в новое, при котором явление, продолжая существовать, работает на новые общественные связи и тенденции.

Общество, как и природа, требует к себе бережного отношения, большой мудрости и осмотрительности в осуществлении преобразований. Жизнь жестоко мстит тем, кто бездумно и безоглядно ломает все, что стоит на пути воспаленных властных амбиций.

Мыслители Просвещения наделили Разум ролью верховного судьи, призванного разрешать споры, порожденные социальными противоречиями, национальной враждой, нетерпимостью, суевериями и невежеством.

В наши дни эти мечты способны обрести реальные очертания. Именно Разум зовет к спасению цивилизации через признание приоритета общечеловеческих ценностей и интересов, через утверждение цивилизованных международных отношений, через решение глобальных проблем, от которых зависит судьба людей на Земле.

Но как же будут выглядеть контуры эпохи, в которую мир вступает сегодня?

Не грядут ли иные времена, и нам суждено открыть тот, — мы верим, неизбежный — период истории, когда стихия и насилие уступят место разуму, осознанной и высокоморальной воле, гуманизму и ответственности?

Как должны мы сегодня видеть общественный прогресс и пути к нему?

Вопросы эти в высшей степени сложные, но наступила пора отвечать на них, ибо речь идет о судьбе цивилизации.

В современном мире путь к свободе, равенству, братству лишь один: сотрудничество, соразвитие, сотворчество всех народов и государств, составляющих мировое сообщество. Всеми должно быть понято и оценено значение целостности многообразия человеческой культуры, истории, а значит, и необходимость единения всех, кто разделяет идеалы гуманизма.

Именно такой представляется сегодня дорога к подлинно демократическому, человеческому бытию, дорога, которую начала прокладывать Россия.

Путь предстоит тяжелый и длинный. Придется преодолевать и объективные рытвины, и собственную глупость, и растерянность перехода от простого к сложному, и страх раба, которого водрузили на пьедестал свободы.

И когда мы сегодня мучительно недоумеваем, как получилось, что страна смирилась со сталинщиной, реками безвинной крови, нельзя не видеть, что среди причин, удобривших почву деспотии, оказалась и болезненная вера в возможность форсировать социально-историческое развитие, идеализация насилия, восходящая к самим истокам европейской революционной традиции, безоглядная вера в Утопии, способность закрывать глаза на происходящее ради призрачного счастья в будущем.

Настоящая любовь к Родине, верность своим убеждениям требуют сегодня — как требовали и всегда — действительного знания прошлого и настоящего, честного взгляда на быстротекущую жизнь, понимания сути постоянных перемен.

Признавать правду о самих себе и пройденном пути вовсе не значит как бы то ни было принижать героизм и самоотверженность миллионов честных людей, поверивших в красивую легенду. Не в этом же дело!

Правда, сказанная о себе, — удел мужественного и сильного. Достойно жить можно только правдой.

Глава четвертая

СИМВОЛЫ МЕССИАНСТВА

Основатели «научного социализма», оставив вне своего внимания всю совокупность механизмов социальной интеграции, не увидели того, что мотивы поведения людей противоречивы, разнородны, что рядом с экономическими интересами действуют совесть, солидарность, милосердие.
И чем больше возрастает интерес современного человека к проблемам духовной гигиены, моральной экологии, к тайне индивидуального бытия и индивидуальной жизни, тем быстрее он освобождается от иллюзии, связывающей моральное возрождение человека с обобществлением средств производства, с моновластью и монособственностью. Насущна и потребность в философии индивидуального существования, могущей отстоять и объяснить уникальность и суверенность духовной жизни.

Анализ пружин социальной психологии случившегося с нами еще впереди. Историческая загадка представляется невероятной. Впрочем, уже Г. Плеханову, Р. Люксембург, В. Короленко, М. Горькому было ясно, что большевистский переворот неизбежно приведет к насилию над органикой социального бытия. Но предчувствия — еще не анализ, какими бы острыми они ни были.

В любом случае на нынешнем историческом перевале очень важно выявить причины и следствия трансформации первоначального проекта строительства общества социальной справедливости в казарменно-бюрократическую диктатуру.

I.

Еще задолго до Маркса общественная мысль билась над вековечными проблемами бытия, наилучшего устройства жизни, человеческого счастья. Но красивые утопии не находили предметной почвы. Они не покидали рамки чистого сознания, греющих иллюзий и усталых надежд.

Тому много причин. Одна из них заключается в том, что интеллектуальное наследие предыдущих веков оказалось сильно отягощенным линейностью в понимании общественного устройства. Например, XIX век связывал прогресс с преодолением дифференциации, многообразия жизни, часто оттождествляя их с неуправляемой стихией, анархией общественной жизни.

В сущности, с самого начала утверждение марксизма о прогрессе как движении к «прозрачности» общественных связей, как перманентном упрощении социальных структур, оказался в противоречии с жизнью, логика которой вела к прямо противоположному выводу, к пониманию, что суть самой истории состоит в развитии от простейших отношений к более сложным.

Впрочем, если бы Марксу и удалось наступить на горло своей мечте о грядущем революционном переустройстве мира, сохранить здравый смысл и научную дистанцию по отношению к наблюдаемым явлениям, то ему все равно не было бы дано открыть таинство истории.

Все-таки прав Н. К. Михайловский, утверждавший, что в основании веры Маркса в неизбежность коммунизма лежит не столько материя исторического процесса, сколько вера в истинность гегелевского учения о диалектике. Маркс, воспринявший материализм Фейербаха, тем не менее не сумел проникнуться до конца скептическим отношением своего учителя к гегелевской диалектике.

Сомнение в универсальности и истинности диалектики Гегеля, его учения о путях преодоления противоположностей, об отрицании отрицания, появившееся у Маркса в докоммунистический период его творчества, затем в период работы над рукописью «Критика гегелевской философии права», к моменту работы над «Манифестом Коммунистической партии» и «Нищетой философии», исчезает и заменяется гегелевской ортодоксией.

Но дело здесь не в одних только заблуждениях. На мировоззрение, идеологические и политические убеждения глубоко, хотя и опосредованно, влияет общее понимание современниками того, как устроен и действует доступный их наблюдению мир в целом.

Влияет он двояко: через то, как обыденное сознание объясняет этот мир. Но и через то, как господствующие идеологические системы задают пути и способы дальнейшего его познания.

Для XIX века, особенно первой его половины, было

характерно сочетание религиозности обыденного сознания с разработкой широчайшего круга прямых, видимых причинно-следственных связей в естествознании. Связей, которые по принципу прямой аналогии часто переносились и на изучение человека, общества, истории. Переносились хотя бы потому, что должен же с чего-то начинаться каждый акт познания, а самое естественное начало — сравнение с уже известным и понятным.

Причина — следствие. Действие — противодействие. Усилие — направление движения. Труд — результат. Из точки А — в точку Б. От малого — к большему, от простого — к сложному, от единичного — к всеобщему.

Удивительная иерархичность и порядок в Природе, Космосе, что предполагает возможность и позволяет желать такой же упорядоченности в обществе. Захватывающие открытия в естествознании формировали убеждение, что наука даст чудодейственные средства достижения вековечных чаяний людей. Острота социальных проблем первоначального капитализма, подогревающая, провоцирующая, активизирующая эти чаяния.

И одновременно — неосознаваемое религиозное своеобразие самой структуры индивидуального и общественного сознания, когда так легко создаются фетиши, новые объекты поклонения, атеизм как антирелигиозная религия.

Из этой духовной среды марксизм вобрал все ее крайности.

Марксизм выдвинул социальную гипотезу, главным содержанием которой была претензия на способность практически переустроить бытие человека, причем ускоренным, революционным, насильственным путем. И не только структур власти, частнособственнического уклада жизни, но и духовной сферы, психологии и морали.

Призыв к созданию общества, где не будет ни бедных, ни богатых, а отверженным, угнетенным суждено стать во главе мира, поскольку только они обладают разумом, чистой совестью и чувством справедливости, проповедь всеобщего передела, преодоления частной собственности получили у значительной части людей живейший отклик.

Идея пала на почву, удобренную несправедливостью и уродствами периода первоначального накопления капитала, резким материальным расслоением общества.

Личная вовлеченность, хотя не только она, Маркса и Энгельса в революционную борьбу во многом определили их тенденциозность и в описании, и в объяснении исто-

рического процесса. Философия истории в их толковании была весьма специфичной. В центре ее внимания — а это надо особо подчеркнуть — оказалась проблема прерывности исторического процесса, экстремальные периоды в развитии общества, факторы разрушения естественно сложившихся организмов при переходе из одного общественного состояния в другое.

Идея и символы Великой французской революции в новых условиях — в условиях первых самостоятельных выступлений пролетариата — как бы приобрели второе дыхание, начали свою вторую жизнь.

Эпоха появления заводского пролетариата, распада традиционного образа жизни, первых пролетарских революций породила катастрофическое сознание с характерным для него акцентом на разрыве с прошлым, романтизацией будущего, революционным мессианством. С этим же связана и гипертрофированная трактовка капитализма как завершающего этапа в развитии товарного производства.

Такая заданность мировоззрения, окрашенная эмоциями и интеллектуальным тщеславием, привела к тому, что вне анализа оказалось главное — социальные механизмы преемственности истории, культуры, сохранения и удержания жизни, обеспечения жизнеспособности общества.

Выводы, касавшиеся всех сторон развития общества, государства, личности, всего прошлого и даже будущего хода истории, то есть выводы потенциально весьма широкого смысла и значения с самыми серьезными последствиями, делались лишь на основе анализа, безусловно, существенного, но искусственно выхваченного из исторического контекста, а потому ограниченного круга социальных явлений и процессов.

Талантливая критика Марксом и Энгельсом раннего капитализма была крупным явлением в развитии общественной жизни.

Но превращение научной теории в идеологию и политику, в своего рода катехизис революционных действий по насильственному переустройству мира с неизбежностью деформировало ее, а начавшаяся политическая борьба непомерно догматизировала это направление социальной мысли, постепенно низвела ее до унизительной роли обоснования и оправдания насилия.

Еще при жизни Маркса и Энгельса их схема общественного развития подвергалась острой критике, причем не

только за ее внутреннюю противоречивость, но и за то, что марксистская концепция, полагая себя программой будущего, игнорирует происходящие изменения в настоящем.

Это была критика фундаментального характера. Но согласие с ней означало бы для Маркса и Энгельса крушение их основополагающей идеи — идеи всемирного насильственного переворота, который по их мнению, завершил бы предысторию человечества и открыл дорогу к его подлинной истории.

Завороженность «величием» этой идеи не позволила главным марксистам трезво взглянуть на окружающий мир. Уже тогда они начали награждать своих идеологических оппонентов ярлыками — «ревизионист», «оппортунист», «предатель» и т. д., утверждая, что марксизм всегда прав, безупречен, все знает и все умеет.

У Маркса и Энгельса можно найти немало высказываний об опасности догматизма, о необходимости для теоретика опираться в своих выводах на жизнь, о свободе и демократии. Но практическая интерпретация подобных здравых мыслей придавала этому учению откровенно лицемерный характер.

Похоже, что Маркс и Энгельс сами себя загнали в тупик. Они выдвинули конечную цель — построение коммунизма. Таким образом, открытие уже сделано, осталось только исследовать пути к нему, обосновать теоретически.

В подлинной науке так не бывает.

Наука — есть движение, сомнение, преодоление незнания, для нее бытие — всегда задача со многими неизвестными. Бесконечен лишь поиск математического, философского, всего научного аппарата для решения тех или иных задач. Открытие — результат исследований. Они могут привести и к иным конечным выводам, чем предполагалось.

Коммунизм как цель оказался утопией, а насильственные средства достижения его привели к деформации общественного развития, к тоталитарному строю, к подавлению свобод, к неслыханным преступлениям. Утверждая насилие в качестве принципа общественного развития, марксизм не мог быть ничем иным, кроме как тоталитарным мировоззрением. Только нетерпимость к любому инакомыслию спасала его от скоротечной гибели. Он запутался в бесчисленных противоречиях.

В дальнейшем об этом будет подробный разговор, сейчас приведу лишь один пример.

Маркс не уставал подчеркивать, что ход истории, жизнь общества подчиняются своим объективным закономерностям, которые не подвластны человеку. Более того, эти законы ставят пределы его свободе. Но в то же время он парадоксальным образом абсолютизировал роль субъективного фактора.

Маркс неистово клеймил тиранию власти, засилье клерикализма в жизни, сознании и политике. Но как произошло, что признание объективности социально-исторических законов вдруг оказалось тождественным наивной уверенности в том, что законы эти уже открыты, уже общеизвестны, уже покорны нашей воле и причудам?

Откуда эта самонадеянность?

Далеко не все здесь допустимо сваливать на «основоположников», многое на совести их неразумных или неразборчивых в средствах последователей. Но пора задуматься и над психологическими корнями учения, по которому три четверти века строилась жизнь в нашей стране, с которым связаны трагедии и надежды, мифы и заблуждения миллионов людей.

Вот уже полтора столетия марксизм вращается вокруг одних и тех же тезисов и никак не может перейти к антитезисам, чтобы получился синтез; толчея одного и того же: эксплуатация, производительные силы и производственные отношения, базис, надстройка, гегемония, обобществление, диктатура пролетариата, неизбежное крушение старого мира и торжество нового и т. д.

Это могло быть как-то оправдано опытом прошлого, но жизнь-то ушла далеко вперед. Последователи Маркса на Западе, взявшие на себя ответственность за судьбы его учения, не смогли или не захотели практически проверить его теоретическую гипотезу.

В России она долго не могла найти своего места, воспринималась с трудом, ибо противоречила духовному укладу России, образу жизни народа, основным ценностям истории страны. А когда начала проверяться практикой, то, кроме сталинизма, так ничего и не породила.

Уже в самом начале освоения марксизма в России он подвергался критике. Особое сомнение вызывала его применимость в условиях полуфеодальной отсталой страны. Согласно тезису самого Маркса, социалистические революции могут совершаться только в развитых в промышленном отношении странах, когда производственные отно-

ния взрываются под натиском производительных сил. Ничего подобного в России не было. Она только начала свой индустриальный путь.

Однако В. Ульянов-Ленин увидел в марксизме такие положения, которые, будучи переведенными на язык практики, могли привести к власти. Реформистский социал-демократизм, был отброшен как предательский по отношению к пролетариату. Возник большевизм.

Роковую роль в этом плане сыграл II съезд социал-демократов, на котором произошел раскол на большевиков и меньшевиков. В. Ульянов-Ленин сумел при помощи Г. В. Плеханова организовать свою партию, которая пошла к власти, сметая всех и вся на своем пути.

Взяв на вооружение концепцию о том, что революции являются локомтивами истории, а насилие — ее повивальной бабкой, марксисты, взявшись за оружие, уже не могли подвергать сомнению истинность марксизма.

Видимо, сомнения и впрямь невозможны, если начал колоть штыком. После первого удара дорога назад заказана.

Когда большевики вслед за Троцким уверовали в возможность и необходимость насильственного подталкивания революции, пришли к выводу о реальности победы пролетариата в России, а затем и мировой революции, они свою веру скрепили кровью уже в начавшейся в декабре 1905 года гражданской войне, которая продолжается до сих пор.

Вдохновленные идеей насильственных перемен, российские марксисты не смогли увидеть очевидные противоречия в этом учении, особенно в той части, которая касается предпосылок и условий революционного взрыва.

Нарушение эволюционности естественного хода истории переросло в российскую беду.

В. Ульянов-Ленин яростно боролся против любой мысли, которая не укладывалась в концепцию революции и завоевания власти. Эта сторона дела — предмет особого исследования, но сейчас следует обратить внимание на два обстоятельства: реформизм был начисто отброшен Лениным, а нечаевщина прочно утвердилась в его сознании и практике.

Лично я не верю в теоретическое перерождение Ленина накануне кончины, хотя кто его знает. Жизнь есть жизнь. Она заставляет считаться с собой, да и власть из-за догматического упрямства может оказаться под угрозой.

Первое же столкновение теоретических рецептов марксизма с реальной жизнью послеоктябрьской России вызвали у Ленина не свойственные ему прежде колебания. Судя по всему, он начал понимать разрушительный характер «военного коммунизма», чутьем уловил причины экономического и политического кризиса начала 1921 года, в связи с чем у него проскальзывает сомнение в надежности марксистской концепции соединения личного интереса с общественным. Ленин пишет в статье «О кооперации», что ответ на этот вопрос, который является камнем преткновения для всей социалистической мысли, надо искать в учениях старых кооператоров.

Ревизионистский смысл этой статьи очевиден, поскольку Маркс и Энгельс были противниками учений старых кооператоров: Фурье, Консидерана, сен-симонистов.

Надо отметить и то, что в последних статьях Ленина можно видеть попытки пересмотра некоторых ортодоксальных стереотипов, вступивших в особенно резкое противоречие с реальной жизнью.

Сегодня бессмысленно гадать, было это началом пересмотра догм или тактической уловкой, на которые В. Ульянов-Ленин был всегда большой мастер.

После ликвидации Сталиным нэпа в 1928—1929 годах создалась обстановка, полностью исключающая какие-либо дискуссии о марксизме. Были воздвигнуты практически непреодолимые преграды на пути серьезного исследования экономической и социальной эффективности идей коллективного, планового производства, исторической правомерности моновласти, моноидеологии и монособственности.

Наступали годы массового террора.

Чем больше лилось крови в войне против народа, тем сильнее диктовалась служебная необходимость утверждения слепой веры в истинность и святость учения.

Она, эта вера в достижимость грядущего коммунистического рая, как бы закрывала глаза на многочисленные и бессмысленные жертвы, была своего рода фундаментом легитимности политического поведения прочно угнездившейся власти.

В тот период, когда на Западе, и прежде всего в среде коммунистов и социалистов, уже началось активное осмысление первых уроков «социалистического строительства» в СССР, у нас с помощью принуждения и политики изоляционизма насаждался миф о всесилии и абсолютной

истинности марксизма. В общество внедрялись самые немыслимые идеологические уловки, с помощью которых на десятилетия была закрыта даже возможность разговора о соотношении научного и утопического в марксизме.

Рассмотрим хотя бы «концепцию пережитков». Она давала возможность списать любые провалы в политике на зловредность «родимых пятен» капитализма в сознании и поведении людей, не освободившихся от влияния буржуазного прошлого, на анархизм и недисциплинированность мелкого буржуа и т. д. Анализ реальных противоречий общества стал просто невозможен. Дело сводилось к рассмотрению антагонизма между новым и старым, процесса замены «отживших» экономических отношений, ценностей, мотивов поведения новыми формами организации жизни. Что же касается противоречий уже в новых формах, то они признавались по преимуществу гармоничными и рассматривались только в этой связи.

Сам факт жизни в окружении капиталистических государств активно использовался для социального обмана, когда все трудности, неудачи, просчеты связывались прежде всего с внутренней и внешней контрреволюцией, с негативным влиянием умирающего капитализма на новое, нарождающееся общество. Пресловутая теория возрастания классовой борьбы подавляла логику фактов, здравый смысл.

В контексте восхвалительной идеологической ситуации надо воспринимать и выдвинутый Сталиным тезис о «полном соответствии» при социализме производственных отношений производительным силам, который также подпитывал постоянно нагнетаемую веру в безупречность исходных концепций марксизма.

В начале шестидесятых годов была в ходу новая уловка, позволившая еще на четверть века отложить разговор о научной достоверности марксизма. В основе ее лежало утверждение о том, что существовали два Маркса. Первый, «ранний», истинный творец реального гуманизма, — автор «Экономическо-философских рукописей» 1844 года, «Святого семейства» и «Немецкой идеологии». И второй, «неистинный», — автор «Манифеста Коммунистической партии», учения о диктатуре пролетариата, и «Капитала» — теории дегуманизированных экономических отношений.

Беда нашей революции и социализма, утверждали вслед за Адамом Шаффом многие философы в начале шестидесятых годов, состоит в том, что они творились не

в соответствии с истинным, а в соответствии с ложным, грубым Марксом. Поскольку истинный, гуманистический Маркс, его учение о преодолении отчуждения нигде не были реализованы, отрицалась сама возможность соотнесения «подлинной» теории социализма с его реализацией на практике.

Впрочем, эта мыслительная линия взращивала и определенные сомнения. Чем больше в то время, в шестидесятые годы, появлялось статей об «аутентичном», гуманистическом Марксе, тем сильнее оказывалось неприятие «неподлинного», не по Марксу построенного социализма. Недаром же начались гонения на тех, кто особенно усердствовал в изучении и пропаганде «раннего Маркса».

Но благие намерения прогрессивной интеллигенции не только не привели к ослаблению догматического марксизма, догматической традиции в обществоведении, формированию научного отношения к марксизму, а, напротив, вдохнули в него новую жизнь, привели к укреплению мистифицированной веры во всесилие этого общественного учения. Уходила вера в эффективность практики, но не в само учение. Проект оправдывался ошибками строителей.

Еще один ход был реанимирован в начале семидесятых годов. В его основу легла мысль Розы Люксембург о том, что Маркс неизмеримо богаче, чем это необходимо для конкретных целей революционной борьбы, что, следовательно, для воплощения развернутого марксизма необходима длительная историческая практика. «Творение Маркса, которое само по себе как научное достижение представляет гигантское целое, — писала Р. Люксембург, — превосходит непосредственные требования классовой борьбы пролетариата, во имя чего оно, собственно, было создано. Как своим тщательным, завершенным анализом капиталистической экономики, так и историческим методом исследования... Маркс дал намного больше, чем это было необходимо для практических нужд классовой борьбы».

Некоторые наши обществоведы настаивали на том, что социальная действительность реального социализма в принципе не может совпасть с теоретической программой коллективистского, ассоциированного общества Маркса хотя бы потому, что такая действительность ориентирована на более длительный период, чем пройденный нами. В соответствии с этими взглядами разговор об исчерпывающей самопроверке, эмпирическом подтверждении

марксизма уместен только тогда, когда социализм победит во всех странах, во всем мире.

Эти уловки подвергались критике еще до перестройки. К тому подталкивал здравый смысл и углубляющийся кризис экономических структур, созданных по проекту тотального обобществления. Обращалось внимание на отсутствие сравнительного анализа реального хода истории XX века и реальной практики строительства общества по Марксу и Ленину.

Исходная заданность «истинности» оказалась предельно разрушительной. Превращение марксизма в партийно-государственную идеологию придало ему инквизиторские функции, сделало орудием коллективной психологической мобилизации для целей борьбы, покорения и властвования. Эта идеология идет не от сущности миросозерцания, ибо объективно не хочет ничего искать и созерцать. Она довольствуется тем, что нашла средства внушать и властвовать.

Идеология марксизма исповедует материализм, который особенно удобен для овладения массовой психологией, поскольку он — самая легкая и общедоступная философия. Это вера в вещи, в тела, материальное благо как единственные существенные реальности.

Материализм неизбежно ведет к фетишизму, позволяет снять проблему духовного выбора, а тем самым личной ответственности, греха, раскаяния. Он разоружает человека духовно, делает его податливым к идеологической манипуляции.

С точки зрения материализма, человек — явление функциональное, всего лишь часть природы, один из способов существования материальных систем. А коль так, то материализм не считает свободу естественным состоянием общества и человека, полагая, что все это подчиняется неотвратимым законам материального бытия.

II.

Существует принципиальная разница между той частью марксизма, которая описывает «ставшее», «завершенное» — к примеру, экономическую историю формирования английского капитализма, природу и виды земельной ренты, процесс перехода от первичной формации к вторичной и т. д. И той его частью, которая посвящена исследованию еще только обозначившихся тогда процессов. Вся труд-

ность познания таких процессов состояла в том, чтобы более или менее точно определить степень хотя бы относительной их завершенности.

Любой прогноз обречен на неточность. Природа социальной жизни, как и природа человека, универсальны по своей уникальной изменчивости, а потому в их движении всегда есть существенный элемент неопределенности. Вопрос заключается лишь в том, каковы окажутся масштабы и суть этой неизбежной неточности, а также ее теоретические и практические последствия.

В попытках спрогнозировать тенденции развития нет ничего априори неправомерного. Таких попыток было в истории множество. В конечном счете смысл и предназначение всех наук об обществе и заключены в том, чтобы научиться выходить на надежное социальное прогнозирование.

Такой «надежности» в марксовом учении не оказалось. Более того, он принял как исходную психологическую и методологическую установку на историческую исчерпанность капитализма, на то, что капитализм близок к гибели. Это была принципиальная ошибка. Отсюда пошло остальное.

Конечно, в историческом плане все имеющее начало имеет и конец. Но сколь долог отмеренный путь? И не могут ли возникнуть какие-то новые факторы, способные существенно повлиять на характер и перспективы развития, кроме тех, что лежат на поверхности? Если да, то какие и когда? Наконец, какие в связи с этим появляются временные и существенные критерии поведения социальных сил, творящих историю?

Торопливость подвела Маркса. Под впечатлением июньского (1848 года) восстания рабочих Парижа был сделан вывод об изначальной непримиримости, антагонизме интересов рабочего класса и буржуазии, о том, что противоречие между ними не может быть разрешено в рамках существующих экономических и политических отношений.

Абсолютизация этого положения сказалась и на теории революции, и на философии истории, и, наконец, на характере исходной исследовательской установки.

Из предполагаемой невозможности достижения консенсуса вытекал и революционный максимализм, акцент на насильственном ниспровержении существующего строя, на экспроприацию экспроприаторов.

Марксизм формировался и развивался как идеология преодоления всего того, что составляет материальную и духовную основу современной цивилизации, как идеология, призывающая к разрушению гражданского общества, к тому, чтобы унести его в могилу как устаревшую форму жизни.

Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» связан с той частью «Коммунистического манифеста», которая гласит: «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего строя...».

При этом не надо бояться жертв, служащих делу прогресса. Любой ценой необходимо сохранять революционный дух пролетарских масс. Маркс, к примеру, ставил в заслугу коммунарам то, что они не сдались без борьбы. «Деморализация рабочего класса, — писал он, — в последнем случае была бы гораздо большим несчастьем, чем гибель какого угодно числа «вожаков».

Можно ли тут примирить эти основополагающие принципы марксистского фундаментализма с идеями создания общества свободного социального выбора, мира без войн и оружия? Практика перестройки, отягощенная догмами марксизма, как раз и пыталась сделать именно это, но подобное было по сути своей обречено на поражение.

Нелишне вспомнить, что в конце сороковых и пятидесятые годы прошлого столетия для Маркса не было страшнее врага, чем те социалисты, которые выступали против насильственной революции. Он много потратил своего полемического дара на разоблачение «иллюзий» реформизма и эволюционизма.

Кстати, любопытна эволюция взглядов Энгельса на этот вопрос. В молодости он писал, что, «чем более английские рабочие проникнутся социалистическими идеями, тем скорее станет излишним их теперешнее ожесточение, — которое, если оно будет проявляться в таких насильственных актах, как до сих пор, все равно ни к чему не приведет, — и тем меньше будет грубости и дикости в их выступлениях против буржуазии». Позднее совсем другое: «Требование общности имущества... тем самым исключало бы всякое миролюбие, мягкость и почтение к буржуазии».

Тут большое значение имеет личное отношение к тому, что непосредственно наблюдается, исследуется.

Если с самого начала существует заранее заданная установка, согласно которой наблюдаемый объект приговорен к смерти, а наблюдаемые коллизии и конфликты — судороги затухающей жизни, то, конечно, будущее неизбежно связывается с тем, что кажется или является принципиально новым, по всем параметрам отличается от того, что есть.

Такой подход обращает на себя внимание, поскольку все основные определения будущего коммунистического опыта носят в марксизме отрицательный характер, выведены путем отказа от того, что было. Даже, когда они внешне имеют утвердительный вид. Скажем, гуманизм — это только отсутствие эксплуатации, государства, ложно понятой демократии; равенство — лишь отсутствие классового деления.

Итак, Маркс полагал себя свидетелем переломного этапа в развитии капитализма, когда буржуазная цивилизация начала катиться по наклонной плоскости, и ничто уже не в состоянии ее спасти. Этим убеждением продиктован весь пафос «Манифеста Коммунистической партии», его тезис о том, что «буржуазные отношения стали слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство». В конце первого тома «Капитала» Маркс снова возвращается к этой идее, настаивая на том, что начавшаяся централизация капиталов, средств производства и масштабы обобществления труда достигают такого состояния, «когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой».

На основе этого постулата Маркс абсолютизирует, превращает в универсальное то, что, по сути, было уникальным, то есть переход от позднего феодализма к буржуазной демократии с помощью политической революции.

Процесс преодоления феодальной многоукладности, упрощения социальных и экономических структур был возведен в ранг всеобщего закона истории. Такой взгляд позволял множество социальных проблем свести к одному противоречию — между фактическим обобществлением производства и частной формой присвоения. Предлагалась схема, согласно которой сложная система политических и экономических отношений гражданского общества по мере развития капитала будет сведена к антагонизму буржуа и рабочих, а все прежние общественные различия растворятся в одной великой противоположности между капиталистами и наемными рабочими.

Но метод аналогий здесь в принципе мало что дает, ибо с содержательной точки зрения переход от позднего феодализма к буржуазному обществу не имеет ничего общего с возможным переходом от монополитического государственного капитализма к новому обществу, например, к той или иной форме социализма.

Капитализм действительно созревает во чреве позднего феодализма, он с самого начала формируется как органическая целостность, как сложившаяся система механизмов саморазвития и саморегуляции, как система экономических отношений и побудительных мотивов.

Тут действительно дело революции (если она случается) состоит только в том, чтобы обеспечить простор уже созревшим экономическим отношениям. Тут революционеры ничем не рискуют, ибо защищают то, что есть, что доказало свою жизнеспособность уже в недрах феодального общества. Речь в данном случае идет о движении истории в рамках одного и того же частнособственнического качества.

Но социализм не может сложиться в недрах предыдущего общества как качественная целостность, как система механизмов саморегуляции. Капитализм не создает ни мотивов нового коллективистского способа производства, ни его субъектов, то есть людей, подготовленных к тому, чтобы строить новую систему экономических отношений.

Вопрос, а кто же может заменить организаторов капиталистического производства, заинтересованных в прибылях, несущих материальную ответственность за свои решения, заботящихся о сохранении преемственности квалифицированного руководства, так и не был серьезно рассмотрен в работах классиков.

В том, что капитализм не готовит самое главное, то есть человеческий фактор коллективистского производства, большевики убедились сразу же после Октября, когда забастовали петербургские печатники. Тогда-то почти одновременно Ленин, Троцкий, Бухарин пришли к чудовищному выводу, что без трудовой повинности, насильственного принуждения к труду новое общество построить невозможно. «Принуждение, — писал Н. И. Бухарин, — не ограничивается рамками прежде господствовавших классов и близких к ним группировок. Оно... переносится и на самих трудящихся, и на сам правящий класс... Широкие круги рабочего класса носят на себе печать товарно-капиталистического мира. Отсюда совершенно неизбежна прину-

дительная дисциплина... Одной из главных принудительных форм нового типа, действующего в сфере самого рабочего класса, является уничтожение так называемой «свободы труда».

Логика тривиальна. Если не рождено жизнью, должно быть втиснуто в нее извне. Обществу насильно навязывается то, что ломает естественные формы исторического процесса, причем выдается все это за благо и неизбежность.

Каждому времени свойственны свои горизонты интеллекта и знаний, и это верно в отношении общества и личности, гения и рядового человека. Но проблема в данном случае не только в какой-то нравственной бесчувственности и слепоте мыслителей.

Это была эпоха (речь идет о XIX и начале XX века), когда человек обретал самостоятельность, осознавал свою силу и свои возможности. Он рвался переделывать, перестраивать мир. В констатации этого были едины Маркс и Ротшильд, Энгельс и Дюпон, хотя действовали по-разному.

Наверное, так начинает ходить ребенок, вдруг ощутивший свою способность идти, а не ползти или лежать. Он хочет идти, рвется радостно вперед, на его лице восторг и удивление, он уже делает шаг, другой, а потом бежит, замирая от необычности своего состояния. Он бежит, но неизбежно спотыкается и падает, через боль, синяки и шишки постигая трудную науку движения, но движения осознанного, управляемого.

Европейская цивилизация и была в середине XIX века таким ребенком, а марксистские рецепты скорейшего марша человечества в счастливое будущее оказались одним из тяжелейших его падений, что и продемонстрировано российским социальным экспериментом.

Маркс попал в рабство принципа аналогии или ему очень хотелось, чтобы такая аналогия оказалась жизнеспособной. Очевидность «нищеты», «угнетения», «рабства», то есть того, что было в действительности, привела к ошибочному убеждению о неизбежном разложении традиционных институтов гражданского общества, которые складывались веками.

Пожалуй, следует согласиться с тем, что личное неприятие автором «Капитала» структур буржуазного общества, рождающих торгашество, и сформировало Маркса-революционера, Маркса-ученого, посвятившего себя доказательству неизбежности крушения собственнической цивилизации. В этом можно убедиться, прочитав работы

Маркса «К еврейскому вопросу» и введение к «Критике гегелевской философии права», где было сформулировано его политическое кредо и исходная идея нового мировоззрения.

В своем прогнозе будущего он во многом исходил из убеждения, что процесс энтропии, распада социальной жизни, семьи, традиционных ценностей постепенно распространится на все другие сферы общества, что в конце концов освободит место для принципиально иного уклада — коммунистического.

Утверждение Маркса об абсолютном обнищании рабочего класса с самого начала было тесно связано с верой в неизбежное саморазрушение гражданского общества. Утверждалась возможность осуществления мечты социалистов-утопистов о создании нового быта, высшей формы семьи и отношений между полами, об обобществлении воспитания юношества и т. д.

Вообще следует сказать о негативном отношении классиков к традиционной европейской семье, не только к ее экономическим, но и психологическим структурам. Характерно, что Маркс и Энгельс, до конца жизни переиздавая «Манифест Коммунистической партии», оставляли в первозданном виде резкую критику так называемых буржуазных разглагольствований о семье и воспитании, о нежных отношениях между родителями и детьми.

В «Анти-Дюринге», написанном Энгельсом и просмотренном перед сдачей в печать Марксом, сохраняется их прежняя вера в необходимость преодоления «буржуазной семьи» с характерными для нее близкими отношениями между родителями и детьми, институтом наследства, домашним воспитанием.

На самом деле то, что наблюдалось в сфере быта в то время, было не началом конца буржуазной цивилизации, а началом долгого и мучительного приспособления резервного населения, вызванного к жизни крупной промышленностью, к условиям и институтам городской цивилизации.

Гражданское общество со всеми его институтами не только сумело противостоять процессам энтропии, распада основ жизни, но нашло в себе силы, чтобы подчинить подавляющую часть рабочей среды своим нормам и ценностям, интегрировать в традиционный бюргерский быт.

Многие из социальных институтов, которые Маркс рассматривал как результат и источник отчуждения, на самом деле были и являются коренными условиями жизни, уни-

версальными принципами организации общественного бытия человека (государство, нация, язык, религия, мораль, домашний очаг, семейное воспитание, профессиональное разделение труда, рынок, частная собственность).

История не согласилась с Марксом и по многим другим проблемам.

По Марксу, революция одновременно произойдет в нескольких развитых европейских капиталистических странах. Этого не произошло. Революция случилась в России, да и то по удивительному стечению разных обстоятельств, не имеющих прямого отношения к «социальной идее». Кстати, если даже пользоваться марксовой схемой, производительные силы в России далеко не созрели, чтобы взорвать полуфеодальную оболочку производственных отношений.

Маркс писал об абсолютном и относительном обнищании пролетариата. Не оправдалось.

По Марксу, капитализм — это загнивающее общество, которому противоестественны научно-технический и социальный прогресс. Оказалось неверным.

Выдвинул бестоварную утопию. Но до сих пор через закон стоимости определяется не только потребительская ценность той или иной вещи, но и производительность труда. Ибо только благодаря этому закону в условиях конкуренции эмпирически определяются общественно необходимые затраты труда на производство той или иной продукции, того или иного товара.

Не нашла подтверждения мысль о том, что в рамках капиталистического способа производства невозможно обеспечивать социальные условия жизни. Капитализм оказался более гибким. Он научился избегать резкого обострения классовых противоположностей. Значительная доля прибавочной стоимости идет на заработную плату. В приемлемый прожиточный минимум включается оплаченный отпуск, машина, жилье, досуг, ряд социальных гарантий. Капитализм не превратился в общество одичания, как это предрекалось.

На это обстоятельство обращал внимание еще Э. Бернштейн в конце XIX века. Нынешний век показал эффективность различного рода компромиссных промежуточных вариантов развития, сочетания опосредованных и непосредованных форм соединения личных интересов с общественными.

Не оправдался прогноз относительно степени возмож-

ной централизации и укрупнения производства. Утверждалось, что гибель мелкого и среднего производства неизбежна, а это приведет к пролетаризации подавляющего большинства населения. «Как истый француз, — писал Маркс о Прудоне, — он ограничивает ассоциацию фабрикой... Французский крестьянин, французский сапожник, портной, купец кажутся ему чем-то испокон веков данным, чье существование надо принять. Но чем больше я занимаюсь этой дрянью, тем больше убеждаюсь, что преобразование земледелия, а следовательно, и основанного на нем собственического свинства должно стать альфой и омегой будущего переворота».

Неверным оказалось утверждение относительно того, что дальнейшее развитие производства пойдет по пути преодоления разнородности труда, что позволит, как предполагалось, чрезвычайно упростить контроль за мерой труда и потребления, а потому естественно отпадает необходимость в рынке как в механизме выявления общественно необходимых затрат и сведения различных видов труда к универсальной, единой мере.

Развитие технологии пошло в противоположном направлении. Труд с каждой новой научно-технической революцией становился все более и более разнородным. На практике неразрешимыми оказались задачи измерения непосредственно во времени затрат труда, общественно необходимого на производство отдельного вида продукции.

Тогда, во второй половине XIX века, казалось, что технологический прогресс в конечном итоге перестроит все существующие виды производства, что во всех отраслях производственной и непроизводственной сферы появятся такие орудия труда, которые обязательно потребуют коллективного труда и коллективной собственности.

Однако технический прогресс не вытеснил единичные, индивидуальные орудия труда. Напротив, во многих случаях научно-технический прогресс способствовал значительному их усовершенствованию. Тем самым создал новую технологическую основу и для сохранения индивидуального, обособленного, прежде всего фермерского труда, и для взаимодействия крупного, среднего и мелкого производства. Таким образом, не оправдался прогноз об обреченности мелкого производства, и прежде всего ремесленного, как устаревшего способа производства.

Не подтвердилось предположение об эффективности переноса в аграрный сектор методов организации труда,

сложившихся в крупном промышленном производстве, и прежде всего кооперативной специализации труда. Как оказалось, «биомеханика» сельскохозяйственного производства существенно сказывается на организации труда, распределительных, трудовых отношениях.

Маркс считал своим основным экономическим открытием сформулированный им «закон тенденции нормы прибыли к понижению», то есть относительного уменьшения присваиваемого капиталистом рабочего времени трудящихся по сравнению с массой овеществленного труда, приводимого в движение живым трудом.

С открытием этого закона Маркс и связывал экономическое обоснование обреченности капиталистического способа производства. «С исторической точки зрения, — писал он, — это важнейший закон. Этот закон, несмотря на свою несложность, до сих пор никем не был понят и еще никогда сознательно не формулировался».

Этот закон, по замыслу, действительно очень прост. Если, как полагал Маркс, прибыль создается только живым трудом рабочего, то судьба капитализма целиком зависит от соотношения доли капитала, направляемого на приобретение машин, с долей капитала, идущей на приобретение рабочей силы.

По этой логике вызванное конкуренцией совершенствование орудий производства, постепенно вытесняя живой труд из процесса создания товаров, неизбежно приводит капитализм к краху.

Как полагал Маркс, «капиталист нисколько не заинтересован в том, чтобы вводить новую машину». Но тем самым, пишет он, капитал изменяет своему историческому призванию, то есть безудержному, измеряемому в геометрической прогрессии развитию производительности человеческого труда, а значит, интересы капиталистической собственности входят в конфликт с интересами человеческой цивилизации. Этим капитал снова доказывает, что он дряхлеет и все более и более изнашивает себя.

Но этот закон так и не получил подтверждения на практике. На ниспадающей кривой воспроизводственного цикла норма прибыли действительно идет на понижение. Но в целом зависимость между использованием достижений науки в производстве и ростом нормы прибыли чаще всего была прямо противоположной прогнозу Маркса. По этой причине капитализм за сто лет после его смерти совершил уже несколько рывков в развитии технологии.

Кстати, ситуация была похожей и на самых первых этапах промышленного производства. Вопреки теории трудовой стоимости, наиболее высокую прибыль приносил капитал, вложенный в текстильную, наиболее оснащенную машинами, промышленность.

В сущности, ни один из всего набора конкретных экономических выводов Маркса, на которых держится мировоззренческое здание «научного социализма», не подтвердился на практике.

Речь, конечно, не идет об оценках наиболее общего характера, которые были простым отражением очевидного, уже сложившегося. К примеру, о констатации прогрессирующей интернационализации капиталистического рынка, производства, о развивающейся взаимозависимости мира.

Ошибочность исходных посылок, например, что товарное производство — лишь преходящий момент в развитии, что капитализм — это заживо разлагающийся, ни к чему не способный старец, и других, привели к произвольным теоретическим выводам и насилию на практике.

Позаимствованная Марксом у Фурье оценка первой половины XIX века как эпохи «смерти цивилизации», перехода к гармоничному ассоциированному обществу как раз и привела к абсолютизации, превращению в универсальное того, что, как оказалось, было временным. И одновременно к недооценке того, что лежало в основании современной цивилизации и было универсальным, непреходящим.

Глава пятая

О ПРОТИВОРЕЧИЯХ

Суть противоречия есть разрешение его. Без этого противоречие есть бессмыслица, пребывание вещи, человека и общества в непрерывном, бесконечном противобрстве. Борьба существует ради гармонии, а не ради борьбы. Всякая вещь, всякое существо, всякое общество, любая система, вплоть до Вселенной — это прежде всего система гармонически связанных противоположностей. На этом принципе покоится и этика человечности, вся античная и христианская этика гармонии, мира и любви...

Противоречия жизни несводимы к противоречиям экономики, иначе исчезает сама жизнь, ее полнота. Исчезают семья, власть, любовь, покорители государств, подвиги, герои, мифы, религии, преступления. Трагическое, драматическое, комическое, судьбы, индивидуальности, простецы и мудрецы, пророки и полководцы. Все возвышенное, потрясающее, изумляющее, дух времени и народов, составляющие подлинное содержание жизни. Остается только история производителей материальных благ.

Маркс всякое противоречие понимал как антагонизм, в частности, ему и принадлежит термин «антагонистическое противоречие», то есть сильно развитый конфликт, разрешаемый только хирургическим путем. А потом и Ленин четко разделял противоречия на антагонистические и неантагонистические.

По Марксу, противоречию присущи и переход его сторон в свою противоположность, и взаимопроникновение этих сторон. Он показывает это на примере того, как отчуждение пронизывает деятельность и поведение двух основных классов буржуазного общества — буржуазии и пролетариата.

Маркс обращал внимание на то, что при анализе противоречия между пролетариатом и частной собственностью недостаточно объявить их двумя сторонами единого целого.

Частная собственность ради сохранения своего поло-

жения вынуждена тем самым сохранять и существование своей противоположности, то есть пролетариата. Это положительная сторона антагонизма.

Напротив, пролетариат вынужден упразднить самого себя, а тем самым и обусловливающую его противоположность — частную собственность, делающую его пролетариатом. Это отрицательная сторона антагонизма.

Таким образом, по Марксу, в пределах антагонизма частный собственник представляет собой консервативную сторону, а пролетариат — разрушительную. От первого исходит действие, направленное на сохранение антагонизма, от второго — действие, направленное на его устранение.

Вроде бы все просто.

Но именно просто, скорее упрощенно. Частная собственность бывает разная. Кроме пролетариев есть крестьяне, мелкие буржуа, ремесленники, торговцы, частнопрактикующие специалисты. Достаточно примеров, когда люди одновременно и хозяева, и работники. Эта особенность была и при Марксе, но прошла мимо его внимания.

Справедливо мнение первого серьезного критика экономической теории марксизма Бем-Баверка, который писал, что Маркс не видел, не признавал в современной ему хозяйственной жизни все то, что не укладывалось в исходные постулаты его теории.

Как известно, уже в «Капитале» Маркс вычленяет фундаментальное, по его мнению, противоречие капиталистической экономики. Он объясняет его происхождение и затем прослеживает его развитие через ступени трансформации в противоречия, каждое из которых становится все более глубоким и непримиримым.

И что же дальше? По Марксу, антагонистические противоречия не могут разрешаться иначе как тем или иным взрывом.

Хорошо, пусть так. Взрыв ликвидирует былой антагонизм, устраняя одну из его сторон.

А что с другой?

Окажется ли она включенной — неважно, как именно, — в какое-то новое противоречие? Но тогда это бесконечный бег со взрывами, потрясениями, революциями, ибо где гарантия, что новое противоречие не будет тоже антагонистическим? Либо же угодит в некое непротиворечивое существование; но тогда каким же образом станет обеспечиваться развитие? Ведь неантагонистическое и даже непротиворечивое существование — это монополия, а моно-

полия — это застой, загнивание, деградация, что и подтвердил советский опыт.

История отвергла такой упрощенный подход к бытию. Человека лишили собственности и права на нее. Но жизнь показала другое: частная собственность была и остается наиболее эффективной, производительной и динамичной в смысле саморазвития, самоусовершенствования и самовыражения.

В марксовой формуле упущено главное — живое наполнение каждого противоречия в реальном масштабе времени. В практическом плане значение имеет не абстрактно-апокалиптическое «разрешение противоречия» где-то в социально-исторической перспективе, «в конечном счете». Для практики куда важнее реальные механизмы и действительное течение противоречия, взаимодействие его сторон и частей. Из этого взаимодействия и рождается ткань социального бытия, его содержание.

Кроме всего прочего, противоположность не есть непременно конфликт или противоречие. Существует гармония противоположностей. Всякая организация есть гармоническое сотрудничество, всякое разделение труда есть взаимное восполнение различных и противоположных функций. И только благодаря этому общество живет и развивается.

Но это вовсе не означает абсолютную гармонию. Налицо постоянное нарушение и восстановление гармонии противоположностей, постоянная борьба гармонии с хаосом. Гармония расчлененного целого не всегда совершенна, в ней — диссонанс, противоречие. Но гармония может восстанавливаться и может создавать новые, более совершенные сочетания. Таков процесс жизни, производства и творчества, процесс истории.

Шансы на гармонию остаются до тех пор, пока социальная среда разнокачественна, пока сохраняются многоцветие жизни и возможность выбора. Здесь, и только здесь, так, и только так, созидается все духовное и материальное, что в совокупности образует и цивилизацию, и жизнь каждого человека.

Гераклит, на которого так любят ссылаться марксисты, говорил, что война есть отец всех вещей и что этот отец пожирает своих детей, как Хронос. Эта мысль была взята на вооружение марксизмом, но у него не появилось желания обнаружить, что у Гераклита существует и другой, полярный принцип: гармония, согласие, мир — это мать

всех вещей. Принцип, без которого ничто не родится и ничто не пребывает под луной. Этот принцип оказался беспризорным, поскольку противоречил теории борьбы и революции.

Гегель — духовный отец Маркса — при всей любви к античным символам и аллегориям и при всей симпатии к Гераклиту не заметил потрясающего символа лука и лиры, в котором Гераклит показывает, как из противоположностей рождается гармония.

Лук есть система противоборствующих сил, и чем сильнее напряжение отталкивающих полюсов, чем туже лук, тем он лучше. Уменьшить или уничтожить сопротивление обоих концов лука — значит уничтожить сам инструмент.

Но тетива лука может превратиться в струну лиры. Лира построена на том же принципе, что и лук. Она — многострунный лук, как и всякий струнный инструмент, преображенный и сублимированный лук. Можно слышать, как из противоборства возникает гармония.

Принцип лука применяется во всяком строительстве, и прежде всего в архитектуре. Все здесь основано на противодействии сил, на контрфорсах и арках. Само слово «арка» означает лук. На том же принципе гармонии и противоборства построена вся техника и, в сущности, все наше бытие, начиная от атома и кончая Солнечной системой, Вселенной.

Еще Плутарх писал, что гармония космоса, согласно Гераклиту, многозвучна и многообразна, как гармония лиры и лука. Лук и лира в своем принципе тождественны и все же противоположны, как жизнь и смерть, ибо лук несет смерть, а лира — радость жизни.

Маркс выбрал лук. На принципе непримиримости антагонистических противоречий построена вся **политическая концепция классовой борьбы.** Класс существует только в силу антагонизма с другим классом. В «Коммунистическом манифесте» написано, что противоположные классы ведут борьбу, кончающуюся «революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов».

Маркс не боится насилия, гражданской войны, боготворит грубое физическое столкновение пролетариата с буржуазией. До тех пор, пока не будут уничтожены классы и классовые антагонизмы, последним словом социальной науки будет победа или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса.

Похоже, в тотально-насильственном преодолении всякого насилия — если не теоретически, логически, то по крайней мере эмпирически — виделся единственно возможный способ навести мосты через пропасти расколотого классовыми, государственными, национальными, идейными антагонизмами мира.

Маркс, конечно, противоречив. Но это противоречие чаще всего не философа, а публициста. Так, несмотря на свое отвращение ко всякому мирному решению противоречий, несмотря на презрение к христианской морали мира и любви, к античной идее справедливости, он в конце концов признавал, что смысл борьбы есть мир и гармония. В «Коммунистическом манифесте» написано, что в конечном счете уничтожится антагонизм классов, падут враждебные отношения наций, вместо классовой борьбы воцарится социальная гармония противоположностей всех и каждого. Но...

Но в том-то и дело, что до этой гармонии надо дожить, ибо путь к ней предполагается усеять костьми и залить кровью. Если бы противоположности только и делали, что боролись друг с другом, пожирали друг друга, то на Земле уже давно исчезло бы все живое.

Утверждая, что вся история общества — это история борьбы классов, т. е. борьбы непримиримых противоположностей, марксизм объективно заложил непостижимую и безграничную безнравственность в саму жизнь, в частности, в теорию революции и особенно в ее практическое осуществление.

Это принципиальная сторона вопроса. Антагонизм классового противостояния, разрешаемого исключительно насилием, деформирует человеческое существо, задерживает его нравственное развитие. В сущности, вся социальная доктрина марксизма, и прежде всего его учение о диктатуре пролетариата, об экспроприации экспроприаторов, направлена против общечеловеческой морали как основы гражданского общества. С точки зрения Маркса, осуществление исторической миссии пролетариата невозможно без радикального отказа от нравственно-правовых норм.

Нравственные критерии не просто непригодны в условиях революционного переворота — они «отменяются» принципом классовой борьбы. Их отмена — не тактический, а стратегический вопрос. Дело в том, что, осуществляя задачу освобождения человечества через собственное освобождение, пролетариат выступает, с точки зрения

основной идеи марксизма, единственным носителем нравственности, поэтому нравственно все то, что он предпринимает для своего освобождения.

По Марксу только пролетариат — сердце и разум истории. Не может быть и речи о внеклассовом подходе к оценке его действий, все заранее оправдано, что служит идее тотальной революции. Эта особая «классовая» нравственность, попирающая общепринятые нормы, является индульгенцией любых, в том числе и преступных действий. Она содержит свое оправдание в особом видении исторического пути развития, в его конечных целях полного возрождения человека.

Маркс рассматривает реальный исторический процесс не с позиции самоощущения, счастья, страданий отдельных людей, конкретных индивидов, а только с точки зрения постоянного приближения общественных структур к заданной цели.

Многим последователям Маркса такой стиль мышления импонировал. Так, К. Каутский с восхищением говорил о том, что, с марксовой точки зрения, в истории существуют не столько индивиды, сколько общество, которое «беспощадно истребляет» всех тех, кто противодействует закономерностям его развития.

Действительно, Маркс исходит не из индивидов, а из холодной логики исторического самодвижения общественной тотальности.

Свою историческую кульминацию безнравственность марксизма пережила в России, поскольку именно здесь это учение практически вторглось в живую ткань эволюционного развития.

С тех пор как большевики, объявив себя борцами за интересы пролетариата, вышли на баррикады первой русской революции, они все время воевали. Сначала с царизмом, потом — с либерально-буржуазным Временным правительством, затем — с народом России. Итоги невообразимы и ужасающи.

При всех попытках марксизма словесно отойти от схематизации истории, от абстрактного понимания роли и места в ней реального пролетариата, руководящей нитью в отношении к эмпирическому материалу для него осталась идея «преодоления отчуждения в его основе».

Маркс вышел из фейербахианства, «хлопнув дверью», подвергнув своего учителя критике за абстрактный и антиисторический подход к человеку. Однако человек в его

действительном социально-историческом бытии, человек как индивидуальный носитель и творец ценностей, идей, образа жизни, как предмет конкретного социологического, политологического, культурологического исследования так и не стал объектом внимания Маркса.

Человек оказался и орудием, и жертвой насилия.

Классовость затмила реальности жизни, идеология растоптала теорию.

Ради догмы о непримиримости классовых противоречий, являющейся в сущности спекулятивной, были проигнорированы гуманистические возможности жизни. В частности, то, что мир и гармония всегда перевешивают борьбу, иначе бытие стало бы небытием. Мир может обойтись без войны, но война ни при каких условиях не обходится без мира. Конечный смысл противоречия есть ненасильственное разрешение его и выход на следующее — очередное — противостояние.

Итак, что есть разрешение противоречия в широком смысле?

Философски суть его — в разрешении антиномий. Теза — антитеза — синтез.

Марксизм, сталкиваясь с основными антиномиями — **бытия и сознания, материи и духа, свободы и необходимости,** — замазывает противоречия, а не вскрывает их. Их сложное единство в синтезе, который предполагает, по Гегелю, появление нового качества, не поглощающего, а примиряющего стороны противоречия, низводится марксистской версией диалектики к простому тождеству противоположностей, в которой одна из противоположностей называется ведущей и основной, а вторая теряет свою существенность и растворяется в первой.

Но в том-то и дело, что теза и антитеза не могут вернуться к исходному тождеству, иначе остановилось бы само движение.

Антиномия — **бытие определяет сознание** — стала достаточно расхожей. Это и лозунг, и присказка, и объяснение любых поступков, любой морали и поведения. Отстает сознание — и все понятно, ничего не поделаешь.

Энгельс утверждал, кстати, вслед за Фейербахом, что вещественный, чувственно воспринимаемый мир, к которому мы принадлежим, есть единственная реальность, а наше сознание, как оно ни кажется сверхчувственным, есть продукт вещественного, телесного органа — мозга. Дух есть продукт материи.

По Марксу, идеальное есть не что иное, как пересаженное в человеческую голову материальное. Он, конечно, ушел от материализма низких ступеней, когда считалось, что мысль выделяется мозгом так же, как инсулин — поджелудочной железой. Он отвергал и вульгарный материализм, утверждая, что под материей разумеется вся полнота бытия.

Впрочем, марксизм и здесь противоречив. Ленин не раз употреблял выражение, что сознание творит мир, но оно не вытекало из сути самого учения.

А суть в том, что спор материалистов и идеалистов — вульгарных и невульгарных, образованных и необразованных — исходил из вопроса: что в первооснове бытия — материя или дух?

В чем состоит решение? В том, что одно без другого не существует. Когда человек постиг информацию о том, как добывать и хранить огонь, он и начал свое осознанное бытие, до этого он просто собирал то, что ему давала природа. Процесс развития культуры и самого производства есть не что иное, как добывание информации, наращивание способности, умения пустить ее в дело. И сейчас человек добывает информацию с таким же упорством, с каким наш пещерный предок добывал огонь.

Поскольку, по Марксу, общественное бытие определяет общественное сознание, то духовная жизнь выступает как нечто вторичное и производное. Отсюда вывод, что материальная жизнь общества независима от воли людей.

Это более чем оригинально. На своей истории мы убедились как раз в обратном. Была динамично прогрессирующая Россия, а через восемь лет после Столыпина превратилась в руины, в пепелище, в кладбище. Или тот же Древний Рим, который был разрушен варварами. И материальное производство его было отброшено намного назад. Как же так? Нет, не получается, что воля человека суть побасенка.

Немецкая классическая философия утверждает, что дух генетически, априори возникает из материальной природы, но затем обратно воздействует на материю и природу, формирует и творит в ней царство свободы и духовной культуры.

Такое миросозерцание с материалистическим монизмом явно несовместимо. Когда мышление, формируя сознание, начинает определять бытие, человек вступает в сферу духовной жизни, которая выражается при помощи

совсем иных категорий, нежели материальная природа. Изучается иными науками, науками о духе. И требует философии духа.

Антиномия — бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие — неразрешима. Она вечна. То и другое взаимопроникаемы. Но сознание все больше определяет бытие. Одно открытие за другим — будь то из области электроники, биотехнологии, будь то еще что-нибудь — все это продукт мозга как высшей информационной системы, которая способна впитывать информацию, перерабатывать ее, искать новую, еще более емкую.

По Марксу получается, что материальную основу общественной жизни составляет материальное производство. Ни природа вне нас, ни человеческая природа якобы не определяют характер общественной жизни, развитие общества.

Между тем, если принять «природу» как нечто изначально данное и в этом смысле естественное, то «природа» социального устройства есть творение человека. Материальное производство — это просто способ существования, необходимый, но способ.

Все дело в том, что реальная жизнь в концепцию Маркса так и не была допущена, а человек так и остался в схемах экономического детерминизма. В отличие от Лассаля, который на передний план выдвинул идею «социального государства», Маркс остался в рамках философской критики повседневного экономического бытия. Несмотря на его же убеждение, что разгадку тайн истории надо искать в исследовании экономических отношений, подход к экономике остался в своей основе «критически-философским», был лишен жизненного начала.

В данном случае его подвела исходная парадигма и методология немецкой философии, которая в 40-е годы оказалась в кризисе, вызванном тупиками гегелевского панлогического универсализма «абсолютной философии». Реальная общественная жизнь в этом философском лабиринте утратила качество непосредственности и осталась лишь на правах инструмента для упражнений диалектически вымуштрованного ума. Маркс не смог освободиться от философской привычки ставить логические конструкции вне конкретного человека, нравственного сознания, многообразия форм жизни и культуры.

Когда критики марксизма говорят, что в нем нет ниче-

го научного о самых главных проблемах духовной жизни, нет антропологии, они правы. Сама по себе ссылка на то, что в этом учении сохранился идеал эпохи Возрождения, идеал свободного и всестороннего развития, не снимает этого суждения.

Практически стремление свести противоречия жизни к противоречиям экономики затмили, отодвинули в сторону гуманистические факторы бытия, то, что человек страдает не только от экономического неравенства, но и от своей духовной и телесной незащищенности, от страха перед смертью, от изначального одиночества людей. Жизнь ставит перед человеком множество проблем, которые имеют самостоятельное значение и не могут быть решены путем достижения равного отношения к средствам производства.

Итак, марксизм провозглашает примат материальных ценностей над духовными. И следовательно, трансформирует всю иерархию ценностей в направлении Антидуховности.

Материальная жизнь сводится в конце концов к продукции экономики. Но что может означать первичность экономической продукции? Лишь то, что материальные средства существования — условие духовной деятельности. Это несомненно, об этом известно со времен Аристотеля, как и то, что производство средств существования есть именно производство средств, а не целей.

Известно, что культура, цивилизация объемлют всю систему человеческого труда и творчества, всю систему различных форм активности. Сюда относится активность техническая, трудовая, научная, политическая, художественная, религиозно-этическая. Они представляют собой систему взаимодействия и взаимовлияния.

Но исторический экономизм утверждает, что движителем, определяющим все виды этой активности и, следовательно, судьбу общества, является хозяйственно-экономический фактор. Способ производства материальной жизни, по Марксу, обусловливает, как уже говорилось, социально-политические и духовные процессы.

Но может ли способ производства в решающей мере определять взгляды, идеи, убеждения людей того или иного общества, его жизнь? Рабство в древние времена существовало и в Греции, и в Риме, и в Египте, и в Вавилоне, и в Иудее. Оно просуществовало до президентства Линкольна в Северной Америке.

Рабовладельческое хозяйство везде и одинаково занималось одним и тем же: земледелием и скотоводством, пользовалось в зависимости от географических зон похожими орудиями труда.

Можно ли из этой односторонности рабовладельческого хозяйства вывести и понять бесконечное многообразие древних культур: с их идеями, верованиями, учреждениями, с переходом язычества в христианство — этим величайшим духовным потрясением в истории человечества.

Если бы хозяйство определяло характер культур, то всякая история сводилась бы к истории материального производства. А история религий, римское право, древнегреческая философия, искусство Возрождения, классическая философия, своеобразие архитектур и литератур — как быть с этим?

Историки в этом случае вынуждены описывать орудия производства, соху, плуг, кто был рабом, кто крепостным, кто цеховиком-ремесленником, кто потом стал пролетарием, а кто вождем пролетариев и так далее.

Характеристика народа объемлет всю систему разнообразной, дифференцированной человеческой активности. Можно ли вывести сущность человека из того, как он добывал средства своего существования? Христос был плотником, апостол Павел — палаточником, Платон — рабовладельцем, Пушкин — поэтом, Энгельс — капиталистом, Маркс — ученым-политологом, Ульянов-Ленин — юристом, Павлов и Сахаров — учеными.

Культура задает вечность и все время обогащается. В ней есть свои острова, свои материки, свои архипелаги философии, литературы, архитектуры, музыки, живописи, науки. Труд и творчество народа во всех его завершенных воплощениях и незавершенных устремлениях нельзя свести к функции материального производства, хотя, безусловно, последнее — важнейший компонент.

Конечно, история далеко не полна, если не знать, как люди одевались, что ели, какие у них были навыки, культура труда и т. д.

Но личность Пушкина постигается через то, во что он верил, в чем видел смысл жизни, что ценил, кого любил и кого отвергал. Главное — его творчество. В нем — весь его поразительный духовный мир.

Тем же путем постигается характер народа. Его верования, святыни, понимание красоты, обычаи, организация власти и подчинения и, конечно же, его хозяйство. Только

вся система как органическое целое составляет духовный лик нации.

Антиномия «бытие определяет сознание» породила и тезис о базисе и надстройке. Он взывает к помощи, чтобы наглядно изобразить тот способ, каким хозяйство определяет духовную жизнь, культуру, все остальное.

Но понятие базиса и надстройки вообще непригодно для понимания культуры.

Общественное производство содержит в себе, во-первых, орудия производства, технику и социальную организацию труда, то, что марксизм называет производственными отношениями.

А что содержит в себе надстройка? Она означает право и политику, государство, социальные, политические и духовные процессы. Естественно, в духовные процессы входит наука, философия, религия. Но техника-то целиком покоится на науке, на всей системе наук.

С другой стороны, социальная организация труда строится правом и государством. Но, по Марксу, наука, право, политика относятся к надстройке, а общественное производство, техника и организация — к фундаменту. Выходит, надстройка строит фундамент.

Скажут — слишком упрощенная трактовка, слишком прямолинейная. В качестве аргумента добавят, что развитие художественной культуры имеет свою специфику. Оно, мол, не всегда совпадает с уровнем материального производства, порой обгоняет его. Тогда правомерны вопросы, а какая же часть сознания отстает от бытия, а какая обгоняет его? Если следовать ортодоксии марксизма, то не может же отставшее бытие определять убежавшую вперед культуру.

Нет, никак не сходятся концы с концами.

На самом деле в научном плане не существует ни базиса, ни надстройки, а есть взаимодействие и взаимозависимость различных функций труда и творчества, интегрально входящие в единую всеобъемлющую систему культуры.

Например, нет ни одного экономического понятия, которое объективно не содержало бы в себе юридической категории. Капитал предполагает право собственности, товар — продажу, зарплата — трудовой договор, прибавочная ценность — договор и собственность. И наконец, вся структура правовых и хозяйственных отношений предполагает право властвования и обязанность подчинения.

Право, оторванное от реальных экономических процессов, служит только удержанию власти, задачам манипулирования хозяйственными структурами и людьми. В свою очередь, экономическая жизнь, вырвавшаяся за пределы правовых норм, становится хаотичной, разрушительной, обреченной на умирание.

Всякое развитие, всякое творчество есть процесс дифференциации и интеграции, взаимопроникновения и взаимопротиворечивости, процесс создания целого из расчлененных и противопоставленных частей, интегрально дифференцированного целого.

По Лейбницу, принцип совершенства есть принцип наибольшего единства и наибольшего многообразия. Прекращение дифференциации есть не идеал, а, напротив, разложение культурной и органической жизни, превращение общества в недифференцированную массу людей, не знающих разделения труда и расчленения духовных функций, что означало бы конец культуры.

Марксу были чужды принципы социальной дифференциации и интеграции, поскольку он никогда не исходил из целостности народной культуры и духа, а только из интересов пролетариата. Целое в культуре народа для него распадалось на враждебные части.

Если говорить об историческом материализме, то главная его некорректность заключается в том, что он искусственно распространен на все эпохи истории и на все культуры, хотя основывается на анализе одной эпохи и одной семьи европейских народов. Характеристика одного момента превращена в закон всей истории.

На Земле живут аборигены Австралии, которые не имеют письменности, дикари Амазонки, которые до сих пор стреляют друг в друга отравленными стрелами. Полудикие племена в Индии. Каннибалы. Отставшие в своем развитии нации. И в то же время есть Япония, Соединенные Штаты, Западная Европа, космические станции, электронные устройства, на очереди — искусственный интеллект.

Духовная установка индустриализма ушла. Наступила эпоха информатики.

Для Маркса все кончалось на экономизме. Он считал индустриализм абсолютной ценностью. Весь пафос его экономизма черпается не из того, что так было и так будет, а из того, что так **всегда должно быть.** Такой пафос индустриализации впоследствии перешел к Ленину.

История, согласно марксизму, есть вечное движение индустриализации, то есть развитие орудий производства как императива наибольшей производительности труда.

И здесь снова обнажается противоречие. У Маркса два основных суждения о должном: категорический императив максимальной продукции, с одной стороны, и категорический запрет эксплуатации — с другой. Между двумя этими императивами располагается вся этика марксизма: максимальная продукция — добро, эксплуатация — зло.

Только обществу дано решать, что составляет его ведущий социальный идеал. Наиболее производительное хозяйство — и тогда все духовные силы и способности личности будут направлены на достижение этой цели, как происходит, допустим, в коммунах муравьев или пчел. Или наибольшая творческая свобода всех и каждого — тогда хозяйства и производства будут выступать в качестве средств подчиненных главной цели. Иначе говоря, какая из этих двух ценностей является высшей, какая подчиненной, как быть в случае конфликта этих ценностей? Здесь выбор за обществом.

Но общество на деле никогда не стоит и не может стоять перед выбором: либо максимальная производительность труда, либо подчинение хозяйствования духу (или, как говорят теоретики исламского фундаментализма, «экономика — всего лишь один из множества способов общения с Аллахом»).

В реальной жизни постоянно и непрерывно решается — осознанно или фактически — задача сочетания, согласования между собой, приведения к некоему оптимуму многих параметров экономики, социальной сферы, политики и прочего, хотя какого-то совпадения социального и хозяйственного идеалов достичь невозможно.

Больше того, с точки зрения «чистой» экономики — будь то «капиталистическая погоня» за прибылью или же строительство «материально-технической базы коммунизма», — достижение максимальной производительности труда может оказаться не только не благом, но и тормозом общественной жизни и прогресса.

Марксизм не понял, или не захотел понять, трагедии индустриализма, состоящей в том, что индустриальная цивилизация подминает духовную культуру. И за это приходится жестоко расплачиваться. Подавление этической функции ведет к размыванию различия между добром и злом, к сугубо технократическому обращению с личностью

как с орудием производства. Отсюда колхозы, лагеря, продажа каторжного труда. В общем, все позволено, что экономически выгодно.

Для Маркса противоречие индустриализма решалось просто — переходом от капитализма к социализму. Однако решения здесь нет, ибо социализм наследует от капитализма индустриальный дух со всеми его противоречиями. И до сих пор все мировые системы, несмотря на противоположность в идеологиях, продолжают процесс индустриализации, еще больше ужесточая свои отношения с природой, культурой и человеком.

Если бы материя лежала в основе всего и вся, то бытие лишалось бы своего единственного смысла — духовности, что, собственно, и выделяет человека из мира живых существ.

Вся хозяйственная деятельность человека есть продукт творчества. Орудия производства — продукт изобретающего духа. Техника и все производство насквозь духовно, построено на науке, на изобретениях, умениях, навыках, опыте.

То же самое можно сказать и о социальной организации. Она в еще большей степени продукт творчества духа, чем техника.

Сознание получает сигналы от знания, которое не что иное, как все время растущий сгусток информации. И степень цивилизованности общества прямо пропорциональна той информативной базе, которой оно располагает.

Вот почему я считаю достаточно схоластичным спор о первичности материи и вторичности сознания.

В основе всего **информация.**

Материя как застывшая энергия есть, так сказать, ресурсное энергетическое обеспечение информации, а дух есть информация, которую получает, адаптирует, систематизирует и производит человеческий мозг.

Элементарная частица, атом, молекула, нация, общество, человек, страна, мир, Вселенная — это прежде всего **информационные системы.** Материя только наполняет их, служит для развития, саморазвития, самосовершенствования, перехода информации из одного вида в другой и т. д.

Информационная система включает в себя и весь дух, и всю материю, известные человеку на сегодняшний день. И все это называется природой и обществом, то есть бесконечно развивающейся, совершенствующейся или деградирующей информационной системой.

Именно информация бесконечна в своих проявлениях. Великий человек после себя оставляет только информацию, пусть это будут полотна Леонардо, или симфонии Моцарта, или «Евгений Онегин» Пушкина, или «Мертвые души» Гоголя.

Высшая форма информации — совесть в качестве мерила нравственности и оправдания самого существования человека.

Гибель Древнего Рима — это гибель той информационной системы, которая прошла свой пик и начала деградировать. И здесь способ материального производства не при чем. Тот же Чингис-хан разрушил 40 государств, каждое из которых по своим экономическим измерениям превосходило монголов.

Возьмем далее марксистское толкование **перехода количества в качество,** именно марксистское. В нем нет научного содержания. Груда кирпичей, сколько бы кирпичей ни сложили, — еще не здание. Сколько бы ни собрали нужных атомов в молекулу, все равно живой клетки не получится.

Переход количества в качество — это своего рода информационный трамплин из одного состояния информации в другое, и, кстати, на той же, говоря по-марксистски, материальной базе, имея в виду то же количество материи, то же количество атомов, молекул, электронов, протонов — всего, что нашли люди в микромире.

А вот информационная система меняется, и переход количества в качество всегда есть акт рождения, акт саморождения, акт явления, акт создания информационной системы нового этапа.

В конечном счете всякая информационная система, исчерпав свой информационный ресурс, переходит в новое качество. Конечно, обрыв информационной системы может произойти в любой момент от недостатка энергообеспечения. Это тоже верно. Но все равно первична информация, материя и дух — вторичны. Только дух — более организованная информация, так как она действенна, проецируется на ту или иную материю.

Например, без человеческого мозга — этого идеального информационного синтезатора — не могла взорваться атомная или водородная бомба. Не могла, но человек затронул энергию мироздания огромной силы, в результате род человеческий стал смертен, мозготворчески смертен, ибо замахнулся на первопричинность информации.

Кант определил непознаваемость «вещи в себе» как бесконечную задачу познания. Энгельс утверждал, что неуловимой кантовской «вещи в себе» приходит конец. Это недоразумение. «Вещь в себе» отрицается как раз субъективными идеалистами, которые хотят оставаться только при явлениях.

Нас все время учили, что непознаваемых «вещей в себе» становится все меньше.

Но дело в том, что «вещь в себе» непознаваема именно в силу бесконечности информации, вечности времени как скорости передачи информации.

Наш предок научился зажигать огонь и хранить его, но он не имел понятия о законах теплоты, сущности горения, о кислороде. Все дети видят, что мяч падает на землю, но они не знают закона всемирного тяготения. Мы пользуемся электричеством, а не знаем, что это такое. Шаровая молния — тоже не знаем. Полагаем, что существует многомирие Вселенной, что где-то живут другие существа. Это как раз пример того, что «вещь в себе» непознаваема. И не потому, что непознаваема материя, а потому, что вечна в своем развитии любая информационная система, даже если время в ней течет чрезвычайно медленно.

«Вещь в себе» познается только через ее проявление. Но это — относительная истина. Что касается абсолютной, — она бесконечна.

Рассмотрим теперь антиномию **свободы и необходимости.** Она, по Канту, есть логическое противоречие, за которым скрывается реальная гармоническая система противоположностей. Тезис и антитезис, несмотря на кажущуюся несовместимость, остаются верными, но в разных смыслах. Они помогают открыть реальную систему бытия как гармонию разных и противоположных значений, ибо конкретная реальность неоднозначна, но многомысленна и многозначительна.

Известно суждение «человек смертен» и «человек бессмертен». Оба суждения верные, но в различных смыслах, ибо человек есть гармоническое единство временных и вечных элементов, не пожирающих, но питающих друг друга.

По тому же принципу разрешается и антиномия свободы и необходимости. Противопоставление свободы и необходимости, афоризм о «свободе как познанной необходимости» заимствован у немецкого идеализма, прежде всего у Канта, Гегеля, Шеллинга, Фихте.

Маркс, естественно, не мог обойти эту антиномию.

Свобода у Гегеля означает прежде всего автономию духа, автономию разума. Автономия разума не есть произвол, но собственная необходимость, обращенная к собственной свободе. Познание такой духовной, а не природной необходимости есть подлинное освобождение. Именно отсюда у кантианцев появился этический социализм. Гегель дает решение этой антиномии свободы и необходимости в кантианском духе.

Но такое решение неприемлемо для марксизма. Необходимость, о которой говорят марксисты, вовсе не есть автономия духа. И тогда афоризм о познанной необходимости в общем-то превращается в бессмыслицу, ибо познание не есть действие или, точнее, совсем не есть действие. Но свобода воли говорит о действии и спрашивает, существует ли возможность свободного действия?

Понятие свободы и стремление к свободе могут возникнуть, конечно, только в условиях несвободы. Но не как таковой, а там, где в силу сложного комплекса причин пробудилось **осознание** факта несвободы.

Общество может жить в рабстве веками и при этом воспринимать подобный порядок как естественный, единственно возможный. И даже, как ни парадоксально, вполне совместимый с понятиями спокойствия, стабильности. Иной вопрос: каково будет качество такого счастья, какой ценой — и личной, общественной — может обеспечиваться такое спокойствие? Но само по себе, как явление, все это не только может существовать в условиях глубокой несвободы, но и на практике наблюдается достаточно часто.

Общество не прозревает сразу, одномоментно. Особенно общество, живущее в несвободе, но не понимающее этого. Прозрение начинается с одиночек и обретает массовый, а потом и необратимый характер, когда жизнь и обстоятельства начинают порождать, массово воспроизводить носителей нового сознания. Такие процессы связаны со становлением личности, производны от нарастания в социуме экономической свободы, от накопления результатов труда. Об этом свидетельствует не только история капитализма, но и дошедшая до нас история древних демократий, будь то Эллада или Новгород.

Эти моменты не присутствуют в марксовом анализе. Зато в нем есть категория «необходимости» как противостоящая свободе.

Необходимость в марксовом (а позднее — в ленинском) понисвнии отождествляется с «неизбежностью». Она субъективна, идет от других людей, классов, групп.

На самом деле неизбежность, в отличие от необходимости, объективна и в этом смысле непобедима. Она слагается из обстоятельств, которые вне человеческого контроля и возможностей. Религиозные люди сказали бы: рок, судьба, воля Божья. Люди с научным миропониманием говорят: объективные законы общества, истории, прогресса.

Но, повторяю, произошла подмена понятий. Необходимость начала толковаться как нечто механическое, неотвратимое. Как судьба, предначертание, а не вероятность определенного исхода в определенных обстоятельствах. Социалистическое и коммунистическое будущее человечества оправдываются и обосновываются не тем, что они полезны и потому необходимы человечеству, но исходя из предположения о неизбежности подобного исхода.

Даже не ставится вопрос о том, способны ли какие-то человекотворные факторы повлиять на меру, остроту, интенсивность необходимости. Скажем, зависит она или нет от приращения знаний, расширения кругозора человека и общества, от обретения новых материальных сил и возможностей. Если необходимость — перст неумолимой судьбы, то какое значение вообще могут иметь побуждения и предпочтения человека? А если его свобода и воля что-то значат, то не одну же способность увернуться от ударов судьбы?!

Свобода человека — не в освобождении от несвободы только. Но и в его способности охватывать разумом и нравственностью все более широкое поле мироздания. Необходимость — не в подчинении неподвластным ему силам и законам. Но в том, чтобы ради собственного же блага максимально воспользоваться этой данной ему способностью к свободе, к свободе выбора. Это и движет цивилизацию.

К этому надо добавить, что познание законов природной необходимости еще не дает свободы и власти над ними. Таковы, например, законы движения планет, старения и умирания всего живого и т. д. Кроме того, познание этих законов надо еще материализовать. Леонардо да Винчи вывел формулу крыла, но самолет взлетел значительно позже, хотя все человечество сейчас летает на крыльях гения Леонардо. Спутники летают по законам Ньютона, но прошли многие десятилетия, прежде чем они полетели. Здесь хорошо обозначается, что впереди всего шла и идет

информация, и пока человек не создаст соответствующую информационную систему, адекватную открытым им законам, он беспомощен.

Утверждается, что господство над природой есть результат объективно верного отражения в голове человека явлений и процессов природы. Но разве зеркало может господствовать над предметами, которые оно отражает? Отражение есть пассивное восприятие, воспрещающее при этом всякие изменения в отражаемых предметах?

Чтобы человек господствовал над природными необходимостями, недостаточно знания этих необходимостей, его надо еще наделить способностью свободного действия. Просто из познанной необходимости никакой свободы не получается. Иначе говоря, надо перейти к свободе со всеми ее категориями. Но именно этот переход остается непонятным, он-то и составляет антиномию свободы и необходимости, которая нисколько не решается афоризмом осознанной необходимости.

Марксистское решение в философском плане было иллюзорным. Его практическое применение в СССР трактовали примерно так: вот ты осознал необходимость, тогда будь собакой и доносчиком, сиди в лагере; тебя загнали в колхоз, сделали крепостным, то осознал и эту необходимость.

Наше спасение — в свободе.

Свобода — не только основа жизни, она и вершина самосознания, высшее требование духа как личного, так и народного. Свобода — движущая сила творчества и культуры, нечто священное. Гёте писал, что высшим счастьем смертных да будет личность. Личность свободная, думающая, творческая.

Глава шестая

СУЩНОСТЬ И ЯВЛЕНИЕ

Любому пишущему человеку знакомо особое чувство, когда происходит своего рода слияние автора и рождающегося текста. Когда слова на бумаге обретают собственную силу и плоть, начинают вести за собой мысль, когда мысль письменная диктует свою волю мысли-духу и торжествует над ней. Когда вдруг неожиданно найденные слова и образы завораживают, околдовывают и таким образом расставляют почти безотказную ловушку для строгой объективности и научной беспристрастности. Не говоря уже о ситуации, когда текстом, порой даже подспудно, начинают «командовать» политические предвзятости, идеологические заданности или житейские предрассудки.

Казалось бы, многие философско-социологические дефиниции, в частности, о сущности и явлении, весьма далеки от интересов конкретного человека в его обыденной жизни. На деле оказывается по-другому. Категория сущности и явления находится под прицелом мыслителей многие века.

Что же касается марксизма, то он и эту антиномию повернул из философской плоскости в политическую, в результате чего оказался редуцированным человек со всеми его чувствами, сложными отношениями с миром вещей и миром идей, с прошлым и настоящим, с его трагедиями и надеждами на будущее.

В связи с этим представляется полезным реалистически оценить подлинные познавательные возможности тех инструментов исследования общества, которыми располагали Маркс и Энгельс. Действительно ли так называемый гегелевский диалектический метод стал для марксизма мощным орудием, позволившим проникнуть в тайны социальной жизни?

Конечно, зафиксированная Гегелем исходная парадигма познания, отличающая явление от сущности, содержала в себе стимул к изучению наблюдаемых процессов.

Само по себе исходное допущение того, что «форма проявления» не может совпадать непосредственно с «сущностью вещей», было давно известно из античности, средневековой схоластики, рационализма нового времени. Оно же лежит и в основании современной науки. Иначе зачем вообще были бы нужны научные теории, язык абстрактной математики и т. п., если можно ограничиться простым феноменологическим описанием.

Но следует считаться и с тем, что исходное противопоставление сущности явлению, желание подчеркнуть, что проявляющееся, доступное непосредственному наблюдению не есть главное, ибо наиболее важное заключено в том, что скрыто от глаз, создавало одновременно свои преграды на пути к истине. Это, кстати, понимал и сам Гегель. Иначе он не пытался бы сделать критерием истинности философии ее соответствие реальной жизни.

Начавшийся после его смерти кризис идеализма нашел свое выражение в младогегельянском толковании основного тезиса Гегеля — «все действительное разумно».

Младогегельянцы, абсолютизируя логику отрицания, объявляют все действительное царством отчуждения и неразумения, стремятся обратить гегелевскую критику существующего в его уничтожение.

Маркс, выдвигая тезис о превращении оружия критики в критику оружием, наиболее адекватно формулирует критический инфантилизм, присущий младогегельянскому учению.

Позаимствовав у немецкого идеализма, и прежде всего у младогегельянства, его критическое отношение к данности, к являющемуся, его радикализм и универсализм, Маркс уже на другом социальном материале воспроизвел все изначальные пороки этого метода изучения жизни. Претензии на создание универсальной теории исторического процесса, дефицит сомнения в возможностях социального знания и диалектического метода обернулись редукцией многих сторон эмпирической действительности и одновременно реанимацией средневекового реализма.

Убеждение в том, будто тайна истории найдена, привело к онтологизации понятий и категорий, описывающих законы истории.

В целом есть основания говорить, что принятая Марксом за основу гегелевская схема познания, противопоставляющая сущность — явлению, научное мышление — обыденному, теоретический анализ — непосредственному на-

блюдению, привела к выпадению из его поля зрения целого ряда пластов социальной реальности.

Во-первых, утверждение, что форма проявления не может совпадать с сущностью вещей, неизбежно вело к умалению значения домарксова социального знания, как правило, почерпнутого путем непосредственного наблюдения жизни человека, общества. Оказалась отброшенной народная мудрость, передаваемая от поколения к поколению, то есть совокупность того социального знания, с помощью которого регулируется жизнь человека, его отношения с другими людьми, а социальное бытие становится все более полнокровным.

Не далеки от истины те марксисты, которые полагают, что марксистская критика так называемых отчужденных форм сознания, в частности религиозного, обернулась утратой и даже изничтожением многих первичных, необходимых для жизни форм сознания. Этот характерный для гегелевской диалектики акцент на сущности, на том, что недоступно непосредственному наблюдению, объективно подрывал основы уважительного отношения к тому, что есть, что видно, наблюдаемо.

Во-вторых, принятая Марксом трактовка сущности и смысла познания объективно вела к умалению факта, к уничтожению даже того, что наблюдается без усилий. В классической критике экономической теории Маркса, начиная с Бем-Баверка, постоянно обращалось внимание на то, что Маркс обошел своим вниманием многие факты, которые противоречили трудовой теории стоимости.

Это нежелание Маркса углубляться в единичный факт было следствием принятой им на вооружение версии гегелевской диалектики, стремлением во всех случаях удержаться на сугубо философском уровне анализа действительности.

Если конкретное — лишь момент в вечном движении сущности, то нет смысла тратить время и силы на познание того, что является бабочкой-однодневкой в этом вечном движении времени, в этом вечно меняющемся мире. Если каждая вещь живет и развивается по одним и тем же законам, стоит ли тратить силы на изучение того, что однотипно, подобно другому.

Вот логика мышления, изначально убивающая интерес к факту: она в своем последовательном развитии в советских условиях сделала невозможным социально-философский анализ сущности коммунистической формации, равно

как и конкретно-исторический, конкретно-социологический и конкретно-экономический. Если бы такой анализ органично вошел в научную практику, то, возможно, многие догмы марксизма умерли бы значительно раньше, чем это произошло.

Даже гегелевское учение о противоречии как сущности вещей вело к познавательной редукции, к отвлечению от целого ряда аспектов социального содержания наблюдаемых явлений. Исследователь, априори убежденный, что противоречие есть везде и во всем и что оно обязательно складывается из соотношения двух полярных противоположностей, как правило, не видит в предмете ничего, что не укладывается в схему. В результате теряется специфичное, уникальное.

В-третьих, и это наиболее важное, изначальное представление, что являющееся не столь существенно, что не стоит очень доверять тому, что видите, что есть рядом, содержит в себе предпосылки для редукции действительности, той жизни, которая есть, существует. Оно, это представление, неизбежно ведет к умалению социальной и духовной значимости повседневной жизни мирского существа.

Вытекающее из противопоставления сущности явлению, родового человека — эмпирическому, учение о качественном отличии предыстории человечества от его подлинной истории, о скачке в принципиально новые, коммунистические измерения жизни неизбежно рождало враждебное отношение к той жизни, какая есть сегодня, толкало к насилию над ней, морально оправдывало такое насилие.

Программа обновления жизни, которой руководствовались левые коммунисты во время «военного коммунизма», созвучна мечте Маркса о полном преодолении отчужденного, расщепленного человека. От идеи Маркса покончить с «эгоистическим человеком», «случайным человеком», со всей этой «частнособственнической дрянью», «эгоистической жизнью» до идеи Бухарина и Преображенского о полном преодолении «старого общества» был один шаг.

Враждебное отношение Маркса к институтам и структурам гражданского общества исходило из веры, что возможно такое общество, в котором существование отдельного индивида дорастет по своей значимости до сущности всего человеческого рода, а единичный человек в состоянии воплотить в своем конкретном существовании

идеальную сущность человечества, преодолеть противоположность между сущностью и существованием, содержало в себе не только обманчивую утопию, но и революционную нетерпимость, само по себе провоцировало насилие над реальным человеком и его естественной жизнью. Марксистский «реальный гуманизм», основанный на критике «бессилия» абстрактного буржуазного гуманизма с его акцентом на общечеловеческие ценности и «простые» нормы морали, отражал в себе коренные противоречия мировоззрения Нового времени, его учения о прогрессе.

Сегодня трудно сказать, могло ли быть иначе на том уровне социальной мысли, на основе духовного опыта конкретного времени.

Само время рождало протест, но условия, его вызывавшие, еще были слишком близки, актуальны. И потому спокойный, вдумчивый исторический анализ заглушался эмоциональностью бунта, непосредственными объектами которого были буржуазность и клерикальность, поскольку буржуазия разделяла основные христианские ценности, этические и нравственные нормы; поскольку в еще свежих лозунгах «свободы, равенства и братства» содержался великий соблазн возрождения первозданной их чистоты; поскольку логично вроде, на первый взгляд, звучал призыв к новому гуманизму и к отбрасыванию буржуазной морали.

Нечто подобное происходит и тогда, когда мы пытаемся пройти по спирали исторической мысли в глубь веков. Там столько напластований, поворотов и ловушек, что поневоле можно запутаться или стать апологетом какой-то одной идеи или духовной ценности.

Механическое отбрасывание сложнейшего духовного опыта и его многообразнейшего осмысления лишает потомков не только самих ценностей, но и многовекового опыта того, как воплощать их в жизнь, какие поражения можно тут потерпеть, какими обретениями обогатиться. Не потому ли сегодня наша наука, особенно общественная, вынуждена заново, по сути, открывать то, что было ясно и очевидно людям XIX — начала XX века, но позднее спрятанное в советских спецхранах.

Первохристианские представления, этика, нравственные идеалы не изобретены искусственно. Они вобрали в себя немало предрассудков и заблуждений, но и много ценного и проверенного долгим опытом предшествующих, дохристианских и часто дописьменных поколений. Все то, что прида-

вало человеку духовные способности, формировало его сознание и социальные нормы жизни.

Отбросив эти достижения, эти первоосновы любой цивилизации, можно ли сохранить саму цивилизацию? Можно ли создать духовные основания на месте, совершенно расчищенном от всего предшествующего? И случайно ли современные деятели культуры столь часто проводят аналогию между советским сознанием и языческим?

Можно — и нужно — срубить лес, выкорчевать пни под будущую ниву. При этом, однако, лес рубят не потому, что он плох, но потому, что необходимо место для другого. И не весь лес, а сколько надо для пахоты. Но даже на расчищенном месте не уничтожают все, лесом созданное, ту плодородную почву, на которой только и может что-то вырасти. Если срыть этот слой — не будет ни прежнего леса, ни нового урожая. Не будет и того опыта прилежного земледельца, который позволит его дальним потомкам выращивать хлеб, восстанавливать леса и добиваться многого иного.

Как очевидно все это в приложении к крестьянствованию! И как трудно достается понимание того же самого применительно к человеку.

Маркс, как и многие воспитанные на идеях Просвещения мыслители XIX века, не чувствовал, что принятая им парадигма прогресса, противопоставляющая образованную личность необразованной, развитую — косной, урбанизированную — патриархальной, сама по себе вела к новым формам неравенства и насилия человека над человеком. В самом этом противопоставлении сущности — явлению, родового человека — эмпирическому, которое отличало социальное мышление Маркса, коренилась потенциальная возможность насилия над жизнью, а в практическом плане — возможность политического манипулирования, истоком которого является революционная одержимость.

Да, в жизни необходимо отличать невежественного человека от образованного и т. д. Но дает ли это право делить общество на реакционные и революционные классы, настаивать на том, что первые обречены, обязаны сойти со сцены, а вторые «представляют собой социальный разум и социальное сердце»? Где гарантия, что не совершается ошибка, когда целые классы приговариваются к социальной и политической смерти задолго до того, как выяснится реальный ход исторических событий? Откуда взялось пра-

во революционного класса решать судьбу другого класса, который назван реакционным? Все ли можно оправдать интересами прогресса? Да и прогресса ли?

Маркс и Энгельс настаивали на том, что жертвы прогресса во многом оправданы. «... История, — писал Энгельс, — пожалуй, самая жестокая из всех богинь, влекущая свою триумфальную колесницу через горы трупов не только во время войны, но и в периоды «мирного» экономического развития».

В том-то и дело, что в рамках традиционного прогрессистского мышления, в рамках установки «случайный человек — родовая сущность» нельзя было сформулировать многие драматические вопросы, которыми мы больны сегодня, осмысливая, что с нами произошло в процессе социалистического строительства.

Наверное, не случайно и то, что Гегель так и не смог в свое учение о сущности включить проблему морали, нравственного выбора, нравственной ответственности. Характерно, что ни в текстах Фурье, Оуэна, Сен-Симона, ни в текстах основателей марксизма, не говоря уже о текстах русских революционеров, нет нравственного обоснования права тех лиц и классов, которым, по их разумению, суждено стать во главе движения к прогрессу, решать судьбу тех несчастных, которые плетутся в хвосте движения к царству истины, равенства и знания. Молодой Ленин настаивал на том, что «в марксизме нет и грана морали».

Характерное для марксизма противопоставление родового человека случайному было опасно и тем, что неизбежно вело к подчинению реальной, подлинной жизни — жизни мнимой, в лучшем случае возможной в будущем. Дело в том, что родовой человек, в котором существование, по Марксу, должно было слиться с сущностью, это всего лишь мечта, которую невозможно обосновать эмпирическим путем.

Сама по себе мечта о том, чтобы воплотить в единичном, коротком существовании смертного существа все характеристики человека как родового существа, добиться того, чтобы индивидуальный человек впитал в себя абстрактного гражданина государства и в своей эмпирической жизни, в индивидуальном труде, в индивидуальных отношениях стал родовым существом, по природе своей утопична. А стремление подчинить конкретную жизнь, ограниченную спецификой жизненного опыта и психического склада, некоей идеальной модели, чревато новыми

муками. Тем более, если лишить этого «случайного человека» права выбора, права оставаться таким, каков он есть.

Духовный, социальный ригоризм марксизма, его жестокое отношение к отдельному индивиду были спровоцированы его же верой в то, что природу человека легко можно изменить, что всеобщая человеческая эмансипация, всеобщее освобождение от забот и страстей эгоистического, обособленного человека не только необходимы, но и возможны.

Социальный и политический максимализм Маркса, лежащий в основе его учения о коммунизме, мысль о возможности полного преодоления противоречий человеческого бытия, преодоления противоположности между сущностью и существованием, между индивидуальными интересами и общечеловеческими, между частной и политической жизнью опять-таки противоречили самой жизни.

Все то, что Маркс называл отчужденным миром, — к примеру, государство, нацию, обособленную моногамную семью, религиозное чувство, — на самом деле было формами реального существования человека, проявлениями его многообразных интересов и качеств.

В том-то и состоит парадокс марксизма, что он попытался связать прогресс с преодолением естественно сложившихся институтов человеческой культуры, естественных противоположностей бытия, так и не сказав, чем конкретно их можно заменить.

Здесь, кстати, коренится еще одно фундаментальное противоречие марксизма. В нем очень подробно разработана программа освобождения от старого, от институтов и противоположностей традиционной культуры, но нет ничего конкретного о новых структурах труда и жизни, могущих их заменить, о том, что надо сделать после революционного переворота.

Установка, согласно которой окончательное слово всегда за будущим, ведет в лучшем случае к принижению познавательной ценности действительности, сегодняшних ценностей, в худшем — к их полному игнорированию. Известный нам опыт обладает, в сравнении с гипотетическим, тем несомненным преимуществом, что он уже есть, существует, в то время как предстоящий — только абстрактная возможность.

Бытующее убеждение, что абстрактная (в данном случае теоретическая) «модель» будущего — это вполне аде-

кватное знание о наиболее существенных чертах будущего опыта, несостоятельно.

Подобная трактовка пророчества неизбежно упрощает теоретическое понимание взаимосвязи, соотношения теории и практики, различий между абстрактно-теоретическим и конкретно-историческим.

Смешение этих двух плоскостей анализа ведет к попыткам в некритической форме реализовать теоретический проект, навязать вечно движущейся жизни сколок прошлого созерцания, что подталкивает к насильственному стремлению внедрить в ткань социального бытия противоестественные формы и структуры, чуждые ему.

В данном случае воспроизводится в качестве орудия преобразования гегельянский подход к этой проблеме, суть которого состоит в стремлении насильно навязать, уподобить логику развития реальной действительности логике формирования ее спекулятивного образа.

Непосредственно перейти от всеобщего закона к конкретному его выражению невозможно. Сталин попытался посрамить эту истину, но жизнь посрамила его.

В теории Маркса о коммунизме, как и в диалектике Гегеля, не предусмотрено одновременное сосуществование и взаимодействие различных социальных качеств, различных форм собственности, различных ценностей, одновременное сосуществование альтернативных форм жизни, различных способов общественной организации труда.

Именно в силу того, что Маркс считал будущее скачком в чистое новое, был изначально запрограммирован разрыв между прогнозом и реальным ходом исторического процесса.

Реальная общественная жизнь просто не могла подчиниться логике монизма, достигнуть чистого состояния, избавиться от своего плюрализма, подчиниться надуманным общественным законам. Если бы чистое снятие случилось, а фактическое единообразие достигнуто, то общественная жизнь просто бы погибла. Редукционизм гегелевской диалектики, идея раздвоения единого были восприняты Марксом нарочито упрощенно, как отбрасывание.

Кроме прочего, уход от конкретных характеристик будущего можно объяснить не только слабостью конкретного мышления, неуменьем или нежеланием соизмерять логику движения понятий с логикой движения повседневной жизни. Но, возможно, и опасением классиков быть

похожими на утопистов, которые увлекались конструированием будущих социальных храмов.

Маркс констатирует свой полный разрыв с утопическим социализмом, который выводил свои прогнозы из психологии и страстей эмпирически наблюдаемого человека. Он настаивает на том, что сущность человека есть совокупность общественных отношений. Но в результате он закрыл себе путь к пониманию эмпирического существования отдельного смертного, случайного человека, к пониманию того, как реально сопереживает свой мир, свое бытие этот человек.

Маркс антипсихологичен не столько по методологии, сколько по своим убеждениям, по матрицам социального мышления. У него не было интереса к психологической эмпирии людей, которые, как он полагал, вскоре станут другими в силу неизбежного изменения природы человека вслед за изменением характера общественных отношений.

Недостаток интереса к сущности духовной жизни людей был вызван и спецификой его духовного уклада как личности. Маркс смолоду был безразличен к религиозным проблемам. Как заметил его отец, он жил не столько духовной, сколько интеллектуальной жизнью, был обуреваем честолюбивой мечтой совершить научное открытие, проявить силу и мощь своей мысли.

Марксизм вобрал в себя много справедливого в оценках общественного уклада своей эпохи, подверг талантливой критике несуразности и уродства зарождающегося строя. Но все это оказалось чрезмерно подчиненным личности автора, закабалено ею, пронизано схематической заданностью мышления и претензий на незыблемую истину.

Наверное, то же самое случилось бы и с физикой, родись она как ньютонизм или эйнштейнианство.

В результате, как заметили еще современники Маркса, его социальные, экономические, политические выводы и прогнозы были мало привязаны к психологии и интересам людей, которые есть и живут в этом бренном мире и которым, по логике Маркса, суждено было осуществить переход от старого общества к новому.

Четвертым следствием его метода как раз и была редукция индивидуальной психологии. Его попытка свести существование к сущности обернулась утратой конкретного образа жизни и поведения отдельного человека. Это

сказалось негативно прежде всего на социально-экономической доктрине марксизма.

Не поддается рациональному, эмпирическому, любому другому обоснованию исходный тезис марксизма о том, что именно рабочий класс призван спасти человеческую цивилизацию, построив новую.

Кстати, сам Маркс своим анализом подводит к прямо противоположным выводам. В своих работах, и прежде всего в «Манифесте Коммунистической партии», он пишет о рабочем классе как о продукте распада традиционного общества, как о продукте «вырождения», социальной прослойке, лишенной традиционных форм социальности, собственности и надежды на будущее.

Так и остается загадкой, каким образом этот «продукт распада», не способный, не имеющий возможностей в массе своей овладеть высотами человеческой культуры, к тому же озлобленный нищетой, найдет в себе духовные силы и разум, чтобы построить более совершенное общество.

Не мог он сделать этого и в нашей стране. Обещанного революцией освобождения труда не только не произошло, но он стал еще более крепостническим, отчуждение рабочего от собственности и производства стало абсолютным. На этой базе шел стремительный процесс люмпенизации трудящихся, что увеличивало не созидательный, а разрушительный потенциал общества.

Именно жесткое сопротивление люмпенства, его иждивенчество, психология безответственности в значительной мере деформировали экономическую перестройку, ее прогрессивное содержание.

Маркс (эмпирически и психологически) достоверен только там, где пишет, что рабочий класс является тем классом, «которому нечего терять». Но из этой констатации следует вывод, прямо противоположный его исходной гипотезе о субъекте «социального разума и социального сердца». Людей, которым нечего терять, как показала человеческая история, легко спровоцировать на неразумные начинания, ими легко манипулировать, увлечь идеями насилия и разрушения. Голодному, обозленному, униженному человеку, которому нечего терять, не до мук совести, не до милосердия.

Тут мы снова сталкиваемся с одним из фундаментальных противоречий социальной доктрины Маркса.

Вслед за ранним христианством он полагает, что толь-

ко бедный, униженный человек является «человеком сердца», носителем нравственных добродетелей, но одновременно настаивает, что бедность несовместима с красотой.

Маркс утверждает, что человечество может перейти от капитализма к коммунизму только в результате взрыва, вызванного ростом нищеты, разложения, пауперизации и недовольства, но одновременно настаивает на упразднении частной собственности.

В своих основных работах Маркс доказывал, что капиталист, для которого целью является получение меновой стоимости, по природе своей не заинтересован в производстве добротных вещей, что только в ассоциации, с самого начала нацеленной на производство потребительной стоимости, нужды человека будут поставлены во главу угла.

Но в жизни, как теперь мы знаем, дело обстоит прямо противоположным образом.

Капиталист не может получить прибыль, не продав вещь на рынке, поэтому в условиях конкуренции будет прилагать все усилия, чтобы повысить качество производимой продукции. Сами условия производства, конкуренции заставляют его денно и нощно думать о совершенствовании изделий. В то же время производитель из монопольной ассоциации, освобожденный от контроля со стороны рынка, напротив, по той же логике вещей, слабо или совсем не заинтересован в совершенствовании продукции.

Когда читаешь тексты Маркса и Энгельса, то трудно избавиться от впечатления, что оба они никак не могут прорваться через опутавшую их сознание паутину сущностных понятий, включая учение о родовой сущности человека, не могут откликнуться своим незаурядным умом на очевидные жизненные проблемы.

Кстати, Гегель признавал, что демократия и частная собственность неразрывно связаны, что свободы человека невозможны без свободного отношения к «внешним вещам», к собственности.

Теоретики социалистической идеи, начиная с Платона, не обходили своим вниманием проблему стимулов хозяйствования и труда, которые дает частная собственность.

Маркс связывал свои надежды прежде всего с привычкой к труду, сформированной у рабочих капитализмом, надеялся на то, что «всеобщее трудолюбие, благодаря строгой дисциплине капитала, через которую прошли следовавшие друг за другом поколения, разовьется как все-

общее достояние нового поколения». Энгельс полагал, что инженеру будет стыдно просить лишнюю тарелку супа за свой добавочный труд.

Как будто не было уже к тому времени печального опыта коммун Оуэна, где все были охочи до составления стихов, но так и не нашлось желающих работать в поле.

В своем «Манифесте» Маркс и Энгельс иронизируют над теми, кто напоминал в полемике с социалистами о существовании проблемы стимулов к труду, кто выдвигал «возражение, будто с уничтожением частной собственности прекратится всякая деятельность и воцарится всеобщая леность». Если бы это действительно было так, то «в таком случае буржуазное общество должно было бы давно погибнуть от лености, ибо здесь тот, кто трудится, ничего не приобретает, и тот, кто приобретает, не трудится».

Авторам казалось, что этим замечанием они опрокидывают самый важный аргумент противников обобществления собственности.

Но и в этом случае им явно не хватает достоверности анализа. Одно дело проблема относительного обнищания рабочего класса, то есть политико-экономический аспект проблемы, и совсем другое — система объективных жизненных условий, побуждающих членов капиталистического общества к интенсивному труду. Капитализм потому и не погибнет от лености, что изобрел такое средство борьбы с праздностью, как угроза голода, страх безработицы. Вопреки тому, что писали авторы «Манифеста», спокойной жизни никогда не было у обладателей частного капитала — будь то промышленный, банковский, торговый и пр.

Очевидно и пятое следствие — не столько избранного метода, сколько сочетания этого метода с психологией исследователя. Концентрация внимания на противоречиях, понятных как борьба противоположных начал, а не сложного и в основе своей созидательного взаимодействия между ними, привела к тому, что вне поля зрения целиком и полностью оказалась проблема обратных связей, их роли во всем: в истории, экономике, политике, всей деятельности человека и общества. Причем именно в деятельности.

Всякая деятельность приносит какой-то результат. Значит ли этот результат хоть что-то для последующей эволюции бытия, или же он ирревалентен? Толкование необхо-

димости как неизбежности, наступающей с железной неотвратимостью, вытесняет значение результата. Становится неважным, как этот результат достигнут, как он воздействует на последующие события, влияет ли он на самого человека, учит ли его чему-то.

Представлениям о детерминированности социально-исторических процессов соответствовало и внимание лишь к прямым причинно-следственным связям в жизни общества. Введение же обратных связей необыкновенно усложняло бы картину. Пришлось бы на практике разбираться в том явлении, которое уже в XX веке назовут принципом много-многозначной зависимости: когда одни и те же исходные факторы способны приводить к разным результатам и, напротив, одинаковые результаты могут быть получены при различных сочетаниях исходных условий.

Вместе с обратными связями выпало практически все то, что способно цивилизовывать, облагораживать общественные отношения, что смягчает противоречия, блокируя их крайности в экономике, политике, социальной жизни. Например, механизмы рыночной конкуренции, демократические институты, традиции, мораль как фактор общественного развития и многое иное, на что и сегодня выходим с большим трудом, преодолевая серьезные психологические и идеологические нагромождения, вволю настрадавшись, пережив тяжелейшие потрясения.

Иными словами, не было понято, что обратные связи — это движение через самоконтроль и саморегуляцию.

И чем на более высокой ступени будет стоять общество, чем сложнее оно будет, тем больше и потребность в механизмах саморегуляции, облагораживания общественных отношений, тем надежнее и сложнее должны быть они сами.

Признание и действие таких механизмов показало бы, что движение к единому, взаимозависимому человечеству в рамках гражданского общества идет по более сложным законам, чем предписывает дихотомия гегелевской диалектики, уже перечеркивало бы многие представления, будто путь в будущее лежит через унификацию, примитивизацию социальных отношений, спрямление их, через такое упрощение социальной структуры, когда, говоря словами классиков, в обществе не будет «ни тачечников, ни архитекторов».

Такой подход попирает само естество человека.

Раздел второй

БОЛЬШЕВИЗМ

Авторская вводка.

Большевизм как идеология и власть насилия пропитал все поры общества, безжалостно деформировал образ жизни людей. Страх властвовал над людьми, стал хозяином их психологии.

Любой здравомыслящий человек не может не понимать, что повсюду, где утверждался большевизм, он нес с собой нетерпимость, репрессии, духовный и политический гнет, диктат серости и некомпетентности, давящий груз всесильной и беспощадной государственной монополии. А тем самым — и замедление социально-исторического развития, нарастающее отставание от мирового цивилизационного процесса, распад морали и разложение традиций.

Анализ того, как эта социальная болезнь настигла Россию, не прост. Историкам, философам и психологам еще долго придется размышлять над истоками, практикой и следствиями большевизма.

Реформация, поставившая под сомнение жизнеспособность советской системы, оказалась тяжелейшим процессом.

И дело не только в сопротивлении правящего триумвирата — верхушки партии, военных и карательных органов, руководителей феодально-государственной экономики, особенно военно-промышленного комплекса.

Десятки миллионов людей прожили всю свою жизнь в этой системе, учились, работали, воспитывали детей, страдали и радовались; они психологически не могут примириться с тем, что жизнь была как бы зряшной.

Их можно и нужно понять. Все случившееся — немыслимая драма страны и ее народов.

Но тоталитарный режим — еще далеко не вся жизнь страны и ее людей.

Большевизм — только часть жизни, но позорная часть, оставившая кровоточащие рубцы на теле народа.

Я верю: придет время, и народ наш узнает о многотриллионных суммах средств, преступно выброшенных на гонку вооружений, на внешние авантюры и военную помощь другим государствам, на бессмысленные и неэффективные мелиоративные проекты, на строительство никому не нужных объектов гражданской обороны, на политический сыск, о практическом пренебрежении к развитию сельского хозяйства и легкой промышленности и многом другом, в результате чего страна отстала, а народ унижен и разорен.

Время требует честных ответов на вопросы, в какой мере социальный обвал явился результатом произвола преступной партийно-государственной мафии прошлого, в какой — следствием политического и идеологического фанатизма, истоком которого послужила фундаменталистская ортодоксия марксизма, но и в какой — мы все вместе превратились в услужливых участников творимого Зла.

Не надо прятать голову в песок — это мы беспощадно, позабыв о чести и совести, травили и расстреливали себе подобных, доносили на соседей и сослуживцев, разоблачали идеологических «нечестивцев» на партийных и прочих собраниях, в газетах и журналах, в фильмах и на подмостках театров.

И разве не нас ставили на колени для клятв в верности и раскаянья, что называлось самокритикой.

Скажут: «это не я, не я, не я». Возможно, и не ты, но все вместе.

Справедливо говорить о политикообразующих, социальных и нравственных факторах, которые сформировали уродливую систему государственности, бюрократического абсолютизма, экономического разорения, духовного подавления личности.

Но столь же справедливо не забывать и о самих себе, о прогрешениях собственной совести.

Большевизм — в системе, но и в нас.

Разве не мы и сегодня занимаемся доносительством, только теперь открытым?

Разве инопланетяне сеют ненависть на нашей земле?

Разве не сегодня звучат призывы к расправам, к суду

и преданию смерти тех, кто открыто говорит о надвигающемся новом фашизме?

Разве не в нашей стране выходит более сорока фашистских газет? Они всеми силами разжигают гражданскую войну, печатая списки «агентов влияния», т. е. кандидатов будущих политических процессов.

Разве не у нас оправившиеся от шока суды и прокуратура, верно служившие большевисткому бесправию, начали активно помогать ползучей Реставрации?

Разве...? И т. д.

Начинаю этот раздел с анализа демократического Февраля 1917 года, поскольку нахожу много сходства с событиями сегодняшней Реформации.

Глава первая

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — УРОК НЕ ВПРОК

Ошарашенные современники не могли понять, что стряслось. Но звучное, завораживающее слово «свобода» затмевало все остальное — и непостижимость случившегося, и ужасающе резкий разлом эпох, и страх перед будущим.

В который раз Россия оказалась перед неопределенностью, где умещалась только смутная надежда.

У любой исторической правды всегда много противников, исказителей, недоброжелателей, если хотите, завистников. Она многих не устраивает, для многих нежелательна, для других служит всего лишь средством спекулятивного самоутверждения. Так было и с Февральской революцией. Так происходит и с переменами последних лет.

Февральская революция еще долго будет проверять нас на способность учиться, различать проницательность от авантюризма, государственную ответственность от ложной претенциозности, реальный успех от пьянящего головокружения, истинное мужество от показной бравады, неброскую взвешенность от сверкающих, но пустых импровизаций.

Нас жестоко преследует нетерпимость, погубившая демократию в феврале 1917 года. Она же погубит нас и сегодня, если вовремя не спохватимся и не придем к общенациональному согласию.

До февраля 1917 года Россия не знала иной формы правления, как самодержавие. Сменялись монархи. Великого князя Московского сменил царь всея Руси, а его в свою очередь — император и самодержец всероссийский, ничем не ограниченный владыка государства на огромной территории от Тихого океана и до Центральной Европы, от Северного Ледовитого океана и до предгорий Гиндукуша.

В контексте самой истории Февральская революция

была величайшим событием. Пожалуй, в новейшей российской истории не было подобного, что столь бы круто повернуло жизнь миллионов.

Все революции имеют немало схожих черт, но каждая из них неповторима, имеет свою судьбу, свои последствия и уроки, свои взлеты и падения, свою гордость и свой стыд.

В официальной историографии Февральскую революцию быстро вытеснил октябрьский переворот. В принципе это понятно, ибо события эти по сути своей были антиподами. Октябрь низвергал Февраль. Диктатура большевизма растоптала движение к демократии.

И весьма наивно полагать сегодня, что этот урок истории, стоивший народу неимоверно дорого, утратил свою актуальность.

Вот почему во имя истины, стремление к которой не может не жечь нас, этот сложнейший период отечественной истории нуждается в правде, в научном переосмыслении, в политической честности оценок.

Надо признать, что и Реформация не выдержала проверку Февральской революцией, не смогла вовремя опереться на ее идеи и ценности.

Конечно, такой политический маневр нельзя было совершить в первые годы перестройки, но затем появилась бесспорная возможность перейти с октябрьской на февральскую почву.

Но что было, то было. Упущенного не вернешь. Перестройка в этом отношении сродни Февралю. Только бы демократической России не повторить ошибки Союза.

Конечно же, Февральская революция случилась не враз и не без причин. Строй мучительно распадался. Новые, капиталистические отношения вырастали в полуфеодальной стране. Дворянство растеряло динамизм и хирело. Поднимающиеся промышленники не знали удержу в жадности и беспощадности. Попытки Столыпина изменить вектор движения не были доведены до конца. Да и сам Столыпин как бы выскочил из времени: левые считали его крайним реакционером, царский двор — левым. Его убили, как убили перед этим и другого реформатора — Александра Второго.

Страна была унижена поражением в русско-японской войне и провалами — в первой мировой. Высшая власть была пронизана коррупцией, распутинщиной. Самодержавие боялось всех, металось из стороны в сторону. Всю

эту удушливую и предгрозовую обстановку очень хорошо показал Александр Солженицын в «Красном колесе».

Все ждали бури и получили ее.

Нет нужды останавливаться на хронологии событий. Подчеркну лишь, что правительство, пораженное бессилием, пало от первого толчка. Приверженец монархии В. В. Шульгин, вспоминая февральские дни, с горечью писал: «Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти» (В. Шульгин. Дни. М., 1989. С. 173).

Итак, народный вал катился по столице, пожиная плоды созревших перемен, сметая старую власть.

Но как раз здесь и наступил первый акт драмы.

Дело в том, что лидеры, претендующие на руководство массами, еще не были, как это часто случается, готовы к подлинному лидерству, еще не могли понять и оценить всю глубину происходящего, хуже того, не верили в возможность победоносного исхода. В Государственных Думах гремела острейшая критика, но конструктивных программ не находилось.

Конечно, каждая революция непредсказуема. Неимоверно трудно предугадать ее повороты. Сознание порой трусливо, порой догматично, оно не поспевает за стремительной волной времени, хотя частенько хвастливо изображает себя бегущим впереди паровоза.

Подлинного характера событий и их значения не дано было понять даже политическим лидерам России того времени. Для интеллигенции, умеренных демократических сил революция стала полнейшей неожиданностью. Мечтали лишь о такой, которая поколеблет устои царизма, приведет к созданию конституционной монархии. Ждали демократических свобод за счет ограничения власти царя, но не полного краха самодержавия. Сам лозунг «Долой самодержавие!» для большинства политических партий был лишь лозунгом, а не практической задачей дня.

Меньше всего ожидали революцию с таким ее исходом партийные вожди в эмиграции. Она оказалась внезапностью даже для крайних радикалов.

Например, 5 февраля 1917 года А. Шляпников от имени русского бюро ЦК большевиков сообщил Ленину: «Политическая борьба с каждым днем обостряется. Недовольство бушует по всей стране. Со дня на день может вспыхнуть революционный ураган».

Ленин не принял всерьез эту информацию. Выступая

перед швейцарской молодежью, сказал, что он и другие «старики», пожалуй, не доживут до революции. Прочитав в газете сообщение о победе революции, он поставил под сомнение его правдивость.

Но и тем политическим деятелям, которые находились в самом Петрограде и видели бушующие волны, все это казалось случайной вспышкой, обреченной на провал.

В столице и в стране для обсуждения быстро меняющейся ситуации неоднократно собирались представители левых партий и групп. Когда на этих собраниях говорили о революции, то одни полагали, что ее приход надо ждать лет 30, другие — 50.

Так что не только представители русской эмиграции тех лет, но и политические деятели в самой России не верили в близость революции, хотя без конца говорили о ней.

Доминировало представление, что Россия еще спит, что волнения еще не затрагивают глубин народной жизни.

Деятели либерального, буржуазно-демократического толка, парламентской ориентации не решались воспользоваться событиями, чтобы добиться радикальных политических реформ, и тем более не решались идти на то, чтобы взять власть в свои руки.

И вся эта политическая неустойчивость, вязкость, тактика выжидания продолжались до тех пор, пока не стало ясно, что царский режим уже не устоит, он не в состоянии ни убедить людей в своей жизнеспособности, ни подавить восстание при помощи воинских частей, дислоцированных в столице.

Конечно, не будет справедливым требовать от партий демократического крыла готовых программ для революции, которую не ждали. Но правомерно упрекнуть их в том, что в ходе революции и после нее эти партии оказались неспособными выработать программу и тактику действий в сложившейся обстановке.

И, может быть, как раз эта беспомощность и удобряла почву для прихода диктатуры, создавала условия для захвата власти или генералами, или какой-то экстремистской политической группой. Активно формировалось мнение, что без диктатуры неизбежно возникновение неконтролируемой анархии.

На фоне бурных событий неверие в революцию быстро сменилось беспорядочной и суетливой активностью демо-

кратически ориентированных групп, главным образом на митингах.

Что же касается крайне левых и крайне правых, то их действия были направлены на то, чтобы, пользуясь недовольством народных масс и неорганизованностью демократии, в максимально короткие сроки захватить власть.

Жаль только, что мы столь бездарны в историческом ученичестве.

Вспомним, о чем шла речь по существу. На знаменах Февральской революции были начертаны требования: свергнуть самодержавие, выйти из войны, решить аграрный вопрос, обеспечить политические свободы и демократическое устройство общества, улучшить экономическое положение народных масс.

Конечно, всякие исторические аналогии весьма условны, но порой бывают и ошарашивающими по своей похожести.

В известном смысле на Реформацию легли и те задачи, которые не успели решить Февральская революция. Но и до сих пор земельная реформа явно задержалась, демократическое устройство и свободы еще на перепутье, экономическое положение масс опустилось до крайней черты. Такова цена искусственного торможения естественного хода истории.

Правда, Реформация успела свергнуть, в основном, самодержавие большевизма, выйти из перманентной войны с собственным народом, из войны с афганским народом, из ядерного противостояния со всем миром.

Однако вернемся к Февралю. Как уже только что сказано, решающей проблемой, как и сегодня, была экономическая: снабжение продовольствием, организация работы промышленности, транспорта, решение вопроса о земле, аграрные отношения.

Царское правительство не могло уяснить корни экономических трудностей, а, значит, и пути их преодоления. Все беды оно пыталось решать административным путем. Александр Блок заметил, что у царской власти весь «дух борьбы» выражался лишь в том, чтобы «ставить заслоны».

Такого рода попытки чаще всего напоминали меры, к которым прибегал ташкентский генерал-губернатор. Он раз в неделю выходил на базар и приказывал пороть торговцев, которые, по его мнению, превышали «нормальные» цены.

Полагаю, что только дефицит в кнутах и особенно в

кнутовищах спасает российских монополистов, да и некоторых министров от ташкентского генерал-губернатора.

Пришедшие к власти буржуазные радикалы и представители социалистических партий, которые так остро и убедительно критиковали царское правительство за развал экономики, за рост дороговизны, сами не только не смогли действовать эффективнее старого режима, а, напротив, ввергли страну в состояние полного хаоса: денежная инфляция достигла невиданных размеров, из-за отсутствия сырья и топлива останавливались предприятия, разруха на транспорте грозила парализовать всю хозяйственную жизнь, процветало открытое воровство власть имущих, разгулялась преступность.

Положение становилось все хуже и хуже. В осуществлении мер, которые могли привести к стабилизации положения, правительство проявляло недопустимые и ничем не оправданные колебания и нерешительность.

Конечно, экономические трудности возникли не в феврале 1917 года. Их корни были глубже, но общественное мнение списывало их на нераспорядительность уже действующих властей. На смену эйфории приходили разочарование, неприятие новой власти.

Итак, **первое** — экономическая некомпетентность верхов и лидеров неуклонно вела революцию к гибели.

Второе. Одним из основных требований революционных масс было заключение демократического мира.

Но генералитет, промышленные круги не хотели упускать тех возможных выгод, которые могли получить страны-победительницы. Ожидалось, что победоносное окончание войны снимет многие политические и экономические проблемы. Эти социальные группы, также как и Временное правительство, игнорировали тот очевидный факт, что для России военно-политическое напряжение достигло запредельной черты.

Это был другой просчет революции.

Третье. Крестьянство России надеялось, что революция быстро решит проблемы деревни. Однако вместо земли крестьянство получило лишь смутные обещания о подготовке аграрной реформы.

Но крестьянство устало ждать. К осени 1917 года, еще до октябрьского переворота, Россию охватили стихийные крестьянские бунты. Захват помещьих земель и усадеб принял массовый характер. Это были первые всполохи гражданской войны.

Лидеры революции так и не поняли всей глубины крестьянского вопроса в России. Нет его должного понимания и сегодня, что представляет реальную угрозу демократическому процессу.

Четвертое. Не получили удовлетворения от революции и многочисленные народы, населявшие Россию.

Конечно же, революция дала мощный толчок национальному движению. Но история полна парадоксов. Февраль не является исключением. Наиболее яростную кампанию за самоопределение народов вели большевики. В результате они получили большую поддержку в национальных районах. Но, как показала история, для них принцип самоопределения был лишь коньюктурным лозунгом, а не нормой реального права.

Придя к власти, они осуществили такую национальную политику, которая пресекла все попытки народов использовать свое право на самоопределение.

Февральская революция и здесь ошиблась, проявила догматическую близорукость.

Пятое. Революция открыла уникальную перспективу свободного демократического развития.

Несомненен факт, что Временное правительство сделало немало для установления и укрепления демократических порядков в России, для демократизации страны.

Оно осуществило политическую амнистию, сделало шаги к установлению 8-часового рабочего дня, провозгласило политические свободы, полную веротерпимость. Свобода слова и собраний стала реальностью. Послефевральские месяцы 1917 года были временем необычайно быстрого роста профессиональных союзов.

Но именно здесь и встает вопрос очевиднейшей парадоксальности и далеко не проясненной загадочности. Вопрос, почему спустя столь короткое время, уже осенью 1917 года, демократия, рожденная Февральской революцией, была сметена?

Это, наверное, самый мучительный вопрос в истории нашего Отечества.

Полноценных ответов не знаю. Но хочу высказать свою точку зрения.

Основным проявлением демократизма в послереволюционной России считались постоянные массовые собрания, митинги, дискуссии. Митинговали все и по самым различным поводам. Советы иной раз заседали круглые сутки, без заранее выработанных повесток, обсуждая все живо-

трепещущие вопросы. Американский журналист Альберт Рис Вильямс писал, что «Россия превратилась в страну с миллионами ораторов».

Данная ситуация безусловно демонстрировала рост демократической активности масс. Но это одна сторона вопроса. Другая — в том, что бесконечные митинги, собрания и дискуссии приобрели характер, который ставил вопрос о их целесообразности и созидательности.

Митинги втягивали в обсуждение важных политических вопросов людей, которые не были готовы к глубокому анализу политических, социальных, экономических проблем. Однако резолюции, которые принимались на этих собраниях, оказывали свое влияние и на позиции политических партий, и на деятельность правительства. В такой обстановке популистская политика с ее крайним упрощением в оценках и требованиях находила широкий отклик.

Митинги и собрания становились важным орудием манипулирования сознанием масс в узкопартийных интересах, действенным средством давления на структуры Временного правительства.

Правомерен вопрос, насколько эти митинги, собрания выражали истинные настроения широких масс? История показывает — и Февральская революция тому яркий пример, — что и революцию, и противостоящую ей контрреволюцию в конечном счете осуществляет в основном политизированное меньшинство при пассивной позиции или полной апатии основных масс населения. «Безмолствующее большинство» больше всего и страдает от последствий политизированного меньшинства.

Расширение митинговой демократии шло рука об руку с увеличением власти иррационального. Сама техника бесконечных митингов, техника простых и «доступных массам» лозунгов вела, как писал Максим Горький, к вульгаризации и без того примитивного сознания.

Ни одна из политических сил не была заинтересована в пробуждении взвешенного, ответственного отношения к тому, что происходит со страной. Никто не стремился развивать основы демократии, искусство компромисса, то есть способности к диалогу с оппонентами, умения слушать «несогласных», считаться с их интересами.

Никто не учил людей думать и отвечать за свои поступки, но все учили ненавидеть.

Дьяволизация противника, манипулирование образом врага были характерны для всех политических партий того

времени. Митинговая демократия несла в себе бациллы саморазложения, укрепляла идеологию нетерпимости.

Именно последняя, по моему глубокому убеждению, раскалывает общество и сегодня.

Я убежден, если не будет национального примирения на демократических принципах, не будет ни свободы, ни достоинства, ни чести!

Однако вновь вернемся в прошлое. Революцию шаг за шагом заменял русский бунт. Сказалось и безвластие. Не были созданы законодательные основы для защиты новой России. Вместо распущенных полиции и жандармерии не появились свои правоохранительные органы. Страна медленно вползала в хаос. Борьба с самодержавием обернулась борьбой с народом, разрушением основ человеческого общежития.

Февральская революция не только не укрепила политический центр, но размыла его, подорвав тем самым основы стабильности. В России так и не оказалось третьей силы, способной противостоять как самодержавной реставрации, так и вульгарной политике разрушительства.

Все это создавало благодатные условия для превращения демократии в свою противоположность, для перерождения демократии в анархию, анархии — в диктатуру большевизма.

Обществу не удалось разумно воспользоваться свободой. Именно тогда получила распространение практика «революционной целесообразности», которая ставилась намного выше закона, что неизбежно вело к диктатуре. Какова бы ни была ее форма, но суть одна: единовластие вождя, бесконтрольная деятельность организаций, на которые он опирается.

Лидеры демократических партий, российская интеллигенция были уверены, что освобожденный народ готов сыграть свою великую роль в истории. Чувство подъема порождало иллюзию, что переход от традиционно авторитарной системы к демократической совершится быстро, безболезненно, почти автоматически. Было забыто, сколь трудно осуществлялась модернизация российского общества после реформы 1861 года и после революции 1905—1907 годов.

От эмоционального восторга надо было переходить к активному строительству демократического общества, к решению неотложных экономических и социальных задач. Но общество в целом не проявило должной ответствен-

ности за то, как использовать неожиданно обрушившуюся на него свободу.

В значительной степени ее связывали с планами достижения узкопартийных интересов, но не с поисками общей равнодействующей, согласия, проявляя при этом нетерпение и нетерпимость к другим политическим партиям и группам даже одного политического направления. Общественное сознание оказалось расчлененным, разобщенным, раздробленным, а в конечном счете обманутым большевиками.

Этому процессу содействовала множественность политических образований, борьба между ними.

Демократические силы не стали тем центром, тем стержнем, вокруг которого объединилось бы всё жизнеспособное в обществе, все здоровое и разумное. Вера в возможность построить более свободную, счастливую Россию через демократию постепенно испарялась.

В этой ситуации любая группа решительных заговорщиков получала преимущество перед любой партией, которая стояла на демократических позициях.

Очередной исторический парадокс, когда демократия, не желая того, создавала условия для прихода диктатуры.

Временное правительство возглавили люди, которые пришли к власти как оппозиционеры. Люди разных профессий — ученые, адвокаты, представители торговых и промышленных кругов. Многие из них разделяли социалистические убеждения, другим не было чуждо народничество.

Однако, оказавшись у руля государства, они быстро превратились в профессиональных политиканов и с каждым днем отрывались от тех питательных корней, от тех сил, которые выдвинули их на гребень политической волны. С каждым днем все глуше звучали для них голоса простых людей.

Реальная деятельность начала подменяться надуманными схемами, нежизненными программами, политическим маневрированием, «службой» настроениям, а не реальным интересам народа и государства. В конечном счете последовательность демократического курса терялась, сами власть предержащие впадали в стихию революционно-демагогической риторики, порождая апатию у одной части населения, раздражение — у другой, неприятие власти — у третьей.

Величайшее значение Февральской революции состояло

в той форме смены государственной власти, которая исключила гражданскую войну со всеми ее последствиями. Бескровность этой революции — уникальный для России пример перехода в новое общественное качество. Открывались заманчивые перспективы мирных и согласованных действий всех общественных сил. По доминирующему мнению, Февральская революция была революцией всех классов, всех общественных групп.

Но это единодушие очень быстро закончилось. Общественного примирения во имя решения общих демократических задач не произошло. Амбиции отдельных политических лидеров взяли верх. Узкопартийные цели были поставлены выше интересов общества. Враждебность крайне правых и крайне левых, политиканство, разногласия в центристском спектре подрывали надежды на выживание демократической системы, на строительство демократического общества.

К осени 1917 года разброд среди партий центра привел к расколу их рядов. В этом особо четко проявилась крайняя безответственность политической элиты.

Распад реформистского центра привел к усилению крайних флангов, к дальнейшей поляризации общества. Дело дошло до прямой пробы сил в июльские дни во время корниловского мятежа. Подавление последнего с участием большевиков открыло им прямой путь к власти. Теперь это стало делом времени. Попытки собрать Совещание демократических сил не дали реальных результатов, показали слабость, растерянность демократического центра.

Разрушительные тенденции революции взяли верх над созидательными, ожесточение зашло слишком далеко. Силовое решение рисовалось в наиболее предпочтительных тонах.

Демократия все чаще обвинялась в хаосе, диктатура обещала порядок и спокойствие.

Слабость Временного правительства, его некомпетентность, и, как результат, резкое ухудшение экономического положения, ожесточенная политическая борьба порождали усталость, цинизм, неверие, а это, в свою очередь, облегчало подготовку к перевороту, консолидацию сил контрреволюции.

Но тут встает другой вопрос: а была ли сама возможность иного пути развития? Конечно, была. Но бездеятельность и бесхарактерность вождей революции погубили российскую демократию в самом ее зародыше. Они дали

немало оснований утверждать, что демократия не в состоянии управлять государством. Общество все внимательнее прислушивалось к проповедникам простых решений.

Ленин, партия которого лихорадочно готовилась к перевороту, постоянно предлагал диктатуру пролетариата, запугивая общество диктатурой военной. Небезынтересно заметить, что с Лениным соглашались некоторые буржуазные политические деятели, полагая, что для России возможен лишь один путь выхода из кризиса — через диктатуру.

Итак, буржуазно-демократическое правительство не только удобрило почву для захвата власти большевиками, но и фактически без борьбы отдало им эту власть.

Большевики тоже без конца говорили о демократии, но без колебаний разогнали Учредительное собрание, которое должно было установить общественный и государственный строй в России.

Игры в демократию закончились, начались жестокие реальности диктатуры. За неполный год Россия прошла адов круг — от самодержавия, через демократию, к диктатуре.

Уроки, уроки, уроки. Сколько их рассеяно по нашей истории, овеяно верой и надеждами, омыто кровью и слезами, оплачено жизнями миллионов.

Мы не раз начинали великие дела, но никогда не доводили их до конца. Не хватало терпения, и умения.

И снова хочется сказать: авось повезет.

Нет, не повезет, если не посуровеем к самим себе.

Мы низвергли все власти, какие только были у нас за последнюю 1000 лет. Осталось только низвергнуть самих себя, нашу беспредельную нетерпимость к другим и тоскливую жалость к самим себе.

Ах, как мы не любим других за собственную лень, глупость и невежество.

Я верю, мы преодолеем все невзгоды, если преодолеем самих себя.

В послефевральские дни 1917 года мы сделать это не смогли.

Большевизм проигнорировал тот факт, что переход от одного социального качества к другому через классовые революции, физическое подавление и уничтожение победителями побежденных — это больной вариант развития.

К сожалению, Россия оказалась на этом пути.

Глава вторая

О, СЛЕПЦЫ, ПОВОДЫРИ СЛЕПЦОВ

С точки зрения исторической, большевизм — это система социального помешательства, когда физически были уничтожены крестьяне, дворянство, купечество, весь слой предпринимателей, духовенство, интеллектуалы и интеллигенция; это «крот истории», вырывший братские могилы от Львова до Магадана, от Норильска до Кушки; эта основанная на всех видах угнетения эксплуатация человека и экологический вандализм; это — античеловеческие заповеди, вбиваемые с беспощадностью идеологического фанатизма, скрывающего ничтожемыслие; это — фугас чудовищной силы, который чуть было не взорвал весь мир.

С точки зрения философской — это субъективное торможение объективных процессов, непонимание сути противоречий; это — мышление категориями социального нарциссизма и рефлекторное неприятие любого оппонента; мегатоннаж догматизма, промежуточный и конечный результат потребительски-расчетливого отношения к истине.

С точки зрения экономической — это минимальный конечный результат при максимальных затратах в силу волюнтаристского отрицания закона стоимости; анархия производительных сил и бюрократический абсолютизм производственных отношений; консервация научно-технической отсталости; нарастание застойных явлений; уравниловка как универсальный, может быть, единственный способ «винтикообразить» людей.

Итак, большевизм овладел российским государством. Но почему? Только ли по стечению случайных обстоятельств? Нет ли тут объективных предпосылок случившегося?

Сегодня о теоретическом наследии марксизма следует судить не на основе его интеллектуальных интенций, а по результатам содеянного на его основе и по способности видеть современный мир таким, каков он есть. Ни то, ни другое не подтвердили состоятельность этого учения.

Но корень проблемы — не только в мировоззренческих упрощениях, хотя их губительная роль теперь очевидна.

Сегодня — и под влиянием собственного горького опыта, и под воздействием разработок в теории прогнозирования — мы понимаем, или должны бы понимать, что невыполнима сама задача вначале умозрительно сконструировать некую модель желаемого будущего, а потом осуществить ее на практике.

Мировая общественная мысль обладает несомненными познавательными достижениями. Она может формулировать интересные концепции, выдвигать неожиданные гипотезы, в состоянии прогнозировать с разумной надежностью некоторые явления, процессы, тенденции в экономике, демографии, социальной сфере, общественных настроениях, в науке и технике, экологии, международных отношениях. Но и сегодня нет единой теории социально-исторического развития в строго научном смысле этого понятия. Нет и достаточно разработанного синтетического социального знания.

Но если бы и появились теоретические возможности построения такой модели (в чем я лично сомневаюсь), то встал бы вопрос, а располагаем ли мы тем набором практических средств и возможностей, которые позволяют реализовать задуманное. Очевидно, что таких надежных и эффективных средств нет: это подтверждается провалами многих наших начинаний, под которые так и не удалось создать адекватные системы управления, социальной мотивации и т. д.

Но допустим, что необходимые средства осуществить теоретический замысел есть. И тогда возникают самые трудные категории вопросов.

Первая из них — практическая, связана с тем, что любой субъект, будь то человек или общество, обладает способностью к научению и реактивности. И не просто пользуется этой способностью, но остро нуждается в ней как в целях поддержания самой жизни, так и, что гораздо сложнее, в целях сохранения своего достоинства, внутреннего «я», самоуважения.

А это означает, что завтра и послезавтра субъект скорее всего не будет вести себя в точности так, как он вел вчера и позавчера. Что его субъективные побуждения могут поставить под вопрос реализацию «модели», сколь бы теоретически безупречной на момент ее создания она ни была. Эта проблема неаксиоматичности социального зна-

ния — обратная сторона той медали, что отлита из свободы воли любого субъекта.

Другая категория вопросов связана с моральной допустимостью социально-исторической инженерии в принципе. Сегодня уже ясно, что насильственное осчастливливание народа — не просто ошибка, это преступление.

А если ненасильственное? Если, допустим, массами манипулируют так удачно, то они по собственной воле готовы идти в предлагаемом направлении, вплоть до самоубийства?

Что касается ведомых, здесь вопрос относительно ясен. Заблуждение и есть заблуждение, хотя и здесь возникает проблема личной ответственности, если заблуждения ведут к аморальным действиям.

Ну, а лидеры? Коль скоро речь идет о социально-историческом проектировании, места заблуждениям не должно быть, а нравственные критерии становятся императивом любой оценки, притом первостепенным.

Так вот, допустимо ли манипулирование массами, даже в самых благих и здравых целях? Можно ли через ложь выйти на лучшее общественное устройство, более чистую жизнь, на какую-то более высокую ступень духовности, свободы, гуманизма?

Вопросы вроде бы риторические, но ответ на них выстрадан. Идеология «осчастливливания» порочна в принципе, безотносительно к средствам, которыми она проводится в жизнь. Теоретические модели будущего, при условии их научной состоятельности, полезны и необходимы как метод познания, как способ прогноза, как форма осознания социальной реальности, как предупреждение об ожидающих общество проблемах, трудностях, опасностях, о переломных точках развития. Но это именно модели, гипотезы, предупреждения.

Реальный исторический процесс отбросил на обочину жизни ложные построения марксизма об одномерности, универсализме и качественной однородности социального бытия. В этих условиях преодоление догм и догматизма, возвращение науки к исходным истинам человеческой жизни приобретает фундаментальный характер.

Речь идет о бескомпромиссном отвержении теории классовой борьбы и практики насилия — этой основополагающей догме марксизма.

Речь идет о решительном отрицании насильственных революций как якобы локомотивах истории.

Речь идет об опасности революционного мессианства, породившего раскол и противостояние в мире.

Речь идет о спекулятивности концепции преодоления частной собственности.

Речь идет о нежизненности постулатов относительно экономической конкуренции и рынка, фундаментальных институтов и ценностей товарной цивилизации.

Речь идет об отказе от волюнтаристской аграрной программы — идеи организации сельскохозяйственного производства в национальном масштабе по типу большой общенародной фабрики.

Речь, таким образом, идет о преодолении большевизма.

I.

Любая теория общественного развития имеет право на существование и рассчитывает на ту или иную силу влияния на жизнь общества и человека.

Что касается коммунистической идеи, то она родилась задолго до Маркса, живет и до сих пор — и в этом нет ничего необычного. Каждый человек носит в себе мечту о лучшей жизни. И если бы эта идея осталась в рамках научных изысканий, прогнозов, споров, то, вероятно, она бы, наряду с другими, сыграла свою позитивную роль.

Но марксизму была уготована другая судьба. На базе марксистской теории вырос большевизм, вобравший в себя все то, что служило практике насильственного мироустройства.

Еще в начале века российская социал-демократия раскололась на два крыла — большевиков и меньшевиков, на ортодоксов-революционеров и ортодоксов-реформаторов. В. Ульянову-Ленину нужна была собственная партия — партия власти. Он отрекся от социал-демократизма и начал конструировать большевизм в качестве практики насильственного изменения жизни.

Причина для раскола была пустяковая, но сам раскол, как уже говорилось, сыграл очень скверную, гибельную роль в дальнейшей судьбе России.

Но было бы заблуждением считать, что только честолюбие и властолюбие Ульянова-Ленина и его экстремистской группы возобладало над жизнью, увлекло за собой людей через ультрареволюционную фразу.

Начать с того, что как целостная теория общественно-исторического процесса марксизм признания в мире пред-

принимательства и частной собственности не получил.

В чем тут дело? В классовой ненависти к идеологии пролетариата, особенно что касается власти и собственности? Или же в том, что в системе экономических и политических свобод основанной на них демократии выбор делают сами люди, а они не увидели для себя пользы от приложения марксистской теории в целом?

Там же, где польза оказывалась очевидной, отдельные элементы этой теории воспринимались без особых колебаний. Чаще всего косвенно — разработкой альтернативных концепций, которые позволяли бы сглаживать, снимать противоречия классического капитализма. Так появилась на свет, например, теория Д. Кейнса, ставшая основой государственно-монополистического регулирования. Так возникла современная теория экономического кризиса. В послевоенные годы многие государства Западной Европы прошли через опыт социал-демократического правления, что тоже является весьма интересным феноменом.

Отношение к марксизму на Западе, особенно после 1917 года, было постоянно окрашено отношением к СССР, к его внутренней и внешней политике — это верно. Но даже в худшие времена «холодной войны» идеи марксизма были доступны всякому, кто хотел с ними ознакомиться из первоисточника. И не завоевали даже отдаленно такого поклонения себе, как это случилось на российской почве.

Здесь неизбежен вопрос: какие качества, особенности марксистской теории обеспечили ему шествие по нашим городам и весям? Надо ли сейчас, когда общество вступило в период глубочайшего обновления на основе отказа от этих догм, разбираться в корнях и первопричинах их популярности в наших землях?

Надо, необходимо. Ибо объяснить все только фактом насилия над обществом — значит упростить проблему. Заставляли верить, вот и верили. Да, было и насилие, и принуждение, и поголовная мобилизация в систему партийного промывания мозгов, и идеологический прессинг, и почти полная духовная самоизоляция от мира, и преследование инакомыслящих... Все это было.

Но прежде, чем пришли новые времена, марксизм утверждался в достаточно широких кругах российской интеллигенции вполне добровольно. И нельзя сказать, чтобы российская мысль не видела и не понимала его явных ло-

гических прорех. Но тем не менее он был воспринят не просто как еще одно новое слово в науке, но — как Учение, Путеводная звезда, указывающая выход из отечественных тупиков и трудностей.

Почему же? Видимо, ответ надо искать не только в марксизме, в его заманчивых утопиях, но и в российской действительности, в особенностях ее духовного склада.

Скажем, что могла знать страна, в которой никогда не правили законы, не было частной собственности на землю, об альтернативном общественном укладе? Страна, в которой личность никогда не была свободной?

Многие сейчас «воюют» не на жизнь, а на смерть с последними семьюдесятью годами, как если бы не было до этого тысячи других лет, в значительной мере предопределивших победу большевизма в 1917 году. История страны искусственно разрывается на части.

До сих пор нет серьезных попыток осмыслить историю как идейный процесс в его непрерывности, рассмотреть ее в контексте мирового (не только европейского) развития века XX и более ранних. Снова внешнее вытесняет внутреннее, содержательное.

Централизованное авторитарное государство с неизбежностью порождает и соответствующий тип личности. Логично, разумеется, говорить и о том, что сам этот тип является наипрочнейшей опорой авторитарного режима, непрерывно воспроизводя его не только на уровне политических и государственных структур, но и вообще на всех уровнях — от семьи, рабочей артели и выше.

То и другое утверждение по-своему справедливо, но обратимся вначале к первому.

Авторитарное общественное начало всегда, даже в самых мягких его формах, подавляет, подчиняет себе личность. Подрывает ее способность к самостоятельности, саму потребность в этом. Приучает к духовному и практическому иждивенчеству, к роли постоянно ведомого.

При этом авторитарный уклад жизни не ограничивается только макроструктурами. Он — и в патриархальной семье, где произвол может оставлять далеко позади произвол государства. И в производстве, где столь же силен абсолютизм власти хозяина. И в местной жизни, где любой провинциальный начальник гораздо весомее, чем любая высшая власть.

Все это, как известно, не просто присутствовало в российской жизни, но доходило до крайних форм выражения.

Российское самодержавие вызывало острое моральное осуждение у наиболее гуманистической части Европы именно из-за произвола.

Но само самодержавие — отнюдь не только результат каких-то качеств царей, царедворцев, правящих классов. Были среди них и весьма просвещенные личности. Авторитаризм — неизбежное следствие жестокости условий, в которых живет общество: бедность, скудость знаний, многочисленность и частота внешних угроз, конфликтов, войн.

Дополнительным фактором авторитаризма в России являлись и размеры страны, удержать которую можно было только из центра, поскольку уровень отношений обмена был заведомо недостаточен для экономической интеграции столь обширных и малонаселенных территорий.

Таким же фактором выступала и неграмотность подавляющей массы населения, его рассредоточенность по громадным пространствам, на которых иная организация, кроме авторитарно-иерархической, была предельно затруднена.

Верно, что если авторитаризм порождается напряженностью условий существования, то, появившись на свет, он уже сам объективно препятствует изменению этих условий, а на каком-то этапе оказывается эгоистически заинтересованным в их прямой консервации, дабы сохранить собственное господство.

Важен результат подобного положения на протяжении веков и поколений. Постепенно в обществе складывается и авторитарная форма сознания — как общественного, так и индивидуального. Это сознание поддерживает авторитарные формы жизни и правления, обеспечивает их преемственность.

Авторитарное сознание — это предпочтение вере, готовность воспринимать самые простейшие решения, следовать за авторитетом, а не пускаться в самостоятельный поиск. Привычка к догме и схоластике, которые психологически приемлемее, чем доказательства. Не только готовность подчиниться власти и насилию, но и потребность в таком подчинении.

Большевизм сполна использовал это наследие, довел общество до кровавых судорог. Причем в условиях «громких аплодисментов, доходящих до оваций», в условиях поддержки большинством людей. Впрочем, еще Достоевский говорил, что бунтовщики никогда не могут вынести

своей свободы и ищут, перед кем преклониться. И в этом идолопоклонстве перестают быть людьми и становятся пресмыкающимися.

Авторитарное сознание — болезнь заразная. Но, пожалуй, никто не подпадал под него столь сильно и с такой субъективной готовностью, как интеллигенция.

Российская интеллигенция была не просто крайне малочисленна для столь обширной державы. Она в значительной ее части оказалась маргинальным сословием. Разночинцы — вот кто составлял к концу XIX века ее ядро. Люди недостаточно богатые, с трудом получавшие образование, практически лишенные по царской сословной системе тех гражданских и личных прав, которые бы соответствовали их интеллектуальному и образовательному уровню, их кругозору и социальным притязаниям. Люди, очень часто, с тяжелейшей личной судьбой, находившиеся в полной и унизительной зависимости практически от любого чиновника.

Нахлебавшись унижений, они хорошо понимали и положение простого люда. В их умах и сердцах не было места даже попыткам понять ту власть, что удерживала в стране подобные порядки. Тем более идти с этой властью на компромиссы и сотрудничество.

Вспомним и такие заметные явления российской истории, как народничество и анархизм. Их лидеры звали к топору, к террору, к борьбе с властями любыми средствами.

На эту почву и пал марксизм в России. Марксизм, в котором с самого начала было вдосталь схоластики, того психологического содержания, которое из всех, пожалуй, современных западных теорий делало его особенно близким доминирующему в России сознанию.

Авторитаризм живет и сегодня, когда открыта дорога для демократии. Он еще в рабочем состоянии и в повседневной жизни, и на всех уровнях социальной иерархии. Живучесть авторитарного сознания представляет серьезнейшую угрозу демократии.

II.

Какими же механизмами сознания и социальной практики обусловлена устойчивость большевизма?

Прежде всего паразитированием и спекуляцией на привлекательности провозглашенной цели, которая строит-

ся на тезисе об идеальности грядущей жизни. Если эту мечту постоянно сопрягать с мерзостью бытия, то складывается особый тип сознания — как индивидуального, так и общественного. В основе его — люмпенская психология, которая падка на утопии. Да и сознание просто обездоленных людей легко поддается очарованию розовых снов.

Здесь есть нечто общее с тем отрезком детства, нормального и спокойного, когда для ребенка бесспорно, что мир взрослых — это мир сильных, мудрых и справедливых, что старшие всемогущи, а будущее безоблачно. Прозрение нередко бывает трудным, порой мучительным, а иногда и фатальным.

Если доискиваться до коренных причин, среди них на первом месте — узость социального опыта, недостаток информации и знаний. И вообще объективная слабость человека, которая определяется не столько природными качествами личности, сколько силой обстоятельств, человеку неподвластных.

Мечта о лучшем всегда привлекательна — и не столько сама по себе, сколько в сравнении с условиями жизни. А если условия достаточно унизительны, но изменить их в близкой перспективе невозможно, что же остается человеку, кроме веры в возможность таких перемен.

Сознание часто бывает наивным. В самом деле, как жить человеку, который гол, нищ, невежественен, беззащитен, бессилен? Впереди ничего нет, кроме борьбы за каждодневное существование. Детей его ждет та же участь. Меркнет надежда, охватывает безысходность.

Сотни миллионов во всем мире до сих пор верят в Библию и будут верить еще долго, хотя мало кто сомневается, что к этой великой книге нельзя подходить с мерками и критериями документальной хроники.

Многого о механизмах веры мы еще не знаем. Но в любом случае вера означает, что цель удалена на неопределенное расстояние во времени. Райские кущи, равно как и чистилище, не имеют координат во времени и пространстве. Идеал коммунистического общества тоже никогда не располагал четкими временными и качественными параметрами, которые позволяли бы хоть как-то определить, когда же и при каких условиях такое общество наступит. Именно отстраненность во времени, спроецированность на безоблачное и сверхобеспеченное будущее и делает благородную цель не просто привлекательной, но и великой.

Вообще заблуждения всякого рода — не просто путь ошибок, через которые продирается цивилизация, культура. И не только способ познания. Но, видимо, постоянный спутник развития цивилизации, ее духовной сферы, исторически неизбежная часть прогресса сознания — по содержанию и механизмам проявлений.

Великая цель легко расставляет нравственные ловушки человеку и обществу. Такая цель порождает мощную иллюзию, будто ради достижения задуманного, ради следования вере возможны и допустимы любые средства. Если не любые, то многие. И безусловно, любые по отношению к тем, кто такую цель не разделяет, хуже того — отрицает. Открывается обширнейшее поле для спекулятивной политики. В эту ловушку попадали все те, кто оказывался в плену утопического сознания, — последователи многих макроидеологических учений и течений.

История документально зафиксировала и много раз подтвердила парадокс: с одной стороны, притягательность идей справедливости через революцию. А с другой — не было практически революции, которая на каком-то этапе не пошла бы против общепризнанных и естественных нравственных норм.

Думаю, будет неоправданным упрощением объяснять деформации нравственности только сферой субъективного: несовершенство, аморальность, предательство, отступничество, перерождение. Все это случается. Но это не может объяснить суть событий исторического значения. Как остается необъяснимым и другой феномен: почему немало людей в России, даже после того как поведаны миру все ужасы сталинских убийств, продолжают носить его портреты по улицам городов, не отдавая себе отчет о том, что держат они не портреты, а сгустки крови невинных жертв? Тут не только ностальгические реминисценции юности или прямая причастность этих людей к репрессиям. Тут что-то еще, не поддающееся пониманию.

Но многое, однако, становится на свои места, если вспомнить, что вплоть до середины 50-х годов еще действовала завороженность заявленной целью. Было еще далеко до осознания ее утопического характера и всех издержек на пути к ней. Человек еще карабкался по каменистым уступам к новому знанию, раздирая руки в кровь. Его еще удерживал в своем плену фанатизм, диктующий свою логику поведения. Сомнения еще полагались преступными. Величие цели заранее оправдывало и прощало все.

Большевизм стал и особой формой догматического сознания. Явление это далеко не новое. В православно-российской действительности догматизм веками культивировался как норма мышления и идеал одновременно. Культивировался не только властями и церковью — что понятно, — но и светской, и клерикальной оппозицией, ересью, а в позднейшее время во многом и интеллигенцией.

Здесь, пожалуй, можно заметить некоторое отличие ленинизма от марксизма, хотя и не очень большое. Оно, на мой взгляд, состоит в ярко выраженном, типично российском догматизме ленинизма, хотя и марксизму был далеко не чужд собственный заряд немецкой идеалистической закостенелости. Но все же блеклой рядом с бытовой, неосмысливаемой авторитарностью российского сознания. В свою очередь, большевизм в невероятной степени укрепил авторитарно-догматические начала как в общественном сознании, так и в организации всей жизни.

Идея всеобщей упорядоченности, целесообразности, организованности Вселенной и человека — неважно, рассматривалась ли такая упорядоченность как цель или нечто уже достигнутое, хотя и не познанное нами состояние, — пожалуй, сильнее всего была вцементирована в психологию именно немецкого сознания. Она долго приносила там многочисленные плоды нормативного характера — в философии, социологии, праве, политэкономии. Но при этом все же не чуралась вопроса: а каково же мое место среди других идей и учений?

Попытку подобного самоанализа предпринимал и марксизм — в частности, это нашло свое отражение в письмах Маркса и особенно Энгельса. Степень такой саморефлексии могла быть глубже, ее содержание — самокритичнее, но факта этой рефлексии отрицать не приходится.

Ленинизм не предпринял даже такой попытки, если не считать самых последних статей В. Ульянова-Ленина, которые, впрочем, не оказали влияния на последующее развитие страны. И причины, здесь, как мне представляется, надо видеть не только в российской специфике, но, главным образом, в том, что догматизм служил мощным оружием завоевания и удержания власти.

Правомерно также различать догматическое мышление личности и догматизм как общественное явление, как тенденцию в сфере сознания: в науке, культуре, информации,

политике, в подходах к решению разных практических задач. Включая и экономические.

Догматическое мышление — это прежде всего неспособность данного человека охватить явления реального мира во всей их полноте и динамике. В их экстраполяции и ретросвязях. Отрицание возможности появления чего-то принципиально нового, ранее неизвестного и даже несуществовавшего. Неприятие этого нового. И, напротив, абсолютизация известного, прочно освоенного данным человеком.

В сущности, догматическое мышление боится самого себя, равно как и возможных открытий, прозрений и выводов. А потому цепляется за старое, проверенное, пережитое, тривиальное.

Не будем касаться очевидных случаев природной ограниченности конкретного человека. Обратим внимание на иное: боязнь своего «я» чаще всего насаждается жесткими тоталитарными условиями общественного бытия. Но человек не может нормально жить, непрерывно боясь власти. Он или взбунтуется, или превратится в ничтожество, утратит личностное начало. Но то и другое — крайности.

Гораздо чаще торжествует «середина». Человеку легче принять неподвластные ему жесткие условия жизни, смирившись с навязанным им двоедушием, согласившись вроде бы бояться не власти, не наказания, а самого себя, не особенно задумываться над неустроенностью бытия, не делать выводов, которые потребуют либо решительных действий, либо потери самоуважения. Условия России всегда плодили в избытке такие характеры.

Могут резонно возразить: но революционеры вообще, большевики, в частности, как раз и не боялись задавать вопросы, отвергать старое, делать далеко идущие выводы и переходить к действиям. Верно. Но ловушка, в которой они в итоге оказались, заключалась в обращении преимущественно к социальному макромиру, к крайне отдаленным целям и к авторитарному способу их достижения. Планировалось менять общественный уклад в целом, личность же исчезала из поля зрения. Планировалось сообща идти к светлым далям — тут не остается места и времени для каждого в отдельности.

А когда зашагали к этим горизонтам через сталинизм, причем ускоренным маршем, то заработали с удесятеренной силой механизмы авторитарного угнетения — силового и морального.

Тяжелейшая проблема Реформации — перенасыщенность общества угнетенной психологией, которая не дает людям возможности поверить в самих себя и начать действовать самостоятельно.

Утопия ушла, страх уползает, но уверенность запаздывает.

Догматизм как общественное явление — это превращение догматического мышления в распространенное, даже преобладающее качество духовной жизни.

Общественная суть догматизма — в авторитарности мышления, возведенного в политический, нравственный и интеллектуальный принцип. Такое мышление держится и подпитывается и мессианским — а значит, авторитарным — характером идеологии. Но также и распространенностью, привычностью бытового догматизма как производного от авторитарной политической и общей культуры и психологии.

Большевизм с наслаждением купался во всем этом, не усматривая в силу своей исторической близорукости не только угрозу собственным целям, но, напротив, видел в догматизме мощный арсенал средств достижения собственных идеалов, особенно удержания власти.

Для механизмов догматического влияния не так важно, насколько реальна и достижима поставленная цель. Строго говоря, она может быть и реальной — в таком случае ее достижение будет заторможено по множеству внешне вроде бы «объективных» причин, но каждая из которых на самом деле коренится в особенностях внутреннего мира человека, скроенного авторитарным обществом.

В случае ошибочности цели ключевыми оказываются вопросы в известной мере трагического характера: как скоро в обществе накопятся неоспоримые доказательства того, что оно идет ложным путем? Каковы могут быть материальные, человеческие, духовные, нравственные утраты, если общество придет к выводу изменить курс своего развития?

Но и после того, как доказательства будут собраны и осознаны, достанет ли у общества материальных, духовных, психологических сил, чтобы свернуть с порочного пути и начать иную жизнь?

На все эти вопросы прежде всего и пытается ответить Российская Реформация.

Сможет ли?

III.

Н. Бердяеву приписывается мысль о том, что в XX веке социальные утопии выглядят гораздо более осуществимыми, чем казалось прежде. И ныне перед нами стоит вопрос, терзающий совсем иначе: как избежать социальных иллюзий? В самом деле, как? И правомерна ли сама постановка вопроса?

По-видимому, мир не скоро избавится от социальных утопий, если когда-нибудь избавится вообще. На видимую перспективу жизнь отдельно взятого человека, некоторых социальных групп, возможно, целых стран будет заполнена проблемами, трудностями, конфликтами и лишениями. Значит, питательная почва для утопий — практическая и духовная — остается. Видимо, будет сохраняться и когнитивная почва тоже: утопия играет роль социальной макрогипотезы и тем самым несет свою ношу в процессе познания.

Впрочем, страшны не утопии сами по себе, а попытки втиснуть их в практику социального устройства. Жизнь, растраченная в погоне за химерами, — суровейшее из наказаний даже тогда, когда заплачено только временем.

Человек вправе делать свой выбор, в том числе и тот, бессмысленность которого очевидна. Равно как и общество имеет право на заблуждения, но только в том случае, когда это действительно выбор, а не нечто навязанное извне, будь то силой оружия или же через спекулятивное манипулирование массами под разными формами прикрытия. Самое опасное здесь то, что общество не сознает, не понимает, какие именно манипуляции с ним проделываются.

Условия для такого навязывания возникают при агрессии со стороны, при тоталитарной организации общества, а также при катастрофическом разрыве между интеллектуальной элитой общества и основной массой населения.

В истории октябрьского переворота в России самым трагическим образом сплелись, взаимно усиливая друг друга, все эти условия: мировая война, самодержавно-полуфеодальное устройство и колоссальный культурный разрыв между народом, три четверти которого были неграмотны, и малочисленным слоем образованных людей.

Утопическое сознание и сегодня весьма влиятельно. Оно не только в инерции прежних представлений и интересов. Миллионы людей просто внутренне еще не готовы

взглянуть в глаза реальностям и начать жить иначе. Конечно, жизнь в конце концов возьмет свое. Однако снова встает проблема бунта утопического сознания против рационализма. И я отнюдь не исключаю на этом этапе возможности сильного влияния какой-то новой утопии.

Постоянной опорой утопического сознания является и требование нравственности, а вернее, спекуляции на ней. Само по себе это требование, естественно, не может вызывать несогласия. Но в реальной жизни тоталитарного общества оно не могло быть удовлетворено. Напротив, на повседневном уровне десятилетиями нарастали, укреплялись явления антинравственности. К этому толкали не только замена семейных уз классовыми, запреты на религию, но и необходимость ловчить везде и во всем.

Я уже не беру аморальность политики в целом, когда человек рассматривался как средство социального строительства, а не ее цель.

Общество реагирует на аморализм периодическими вздохами о нравственности. Но подобные вспышки, обращенные в основном к власти, не могут не становиться частью утопического сознания, подкрепляя и усиливая его с этической стороны.

В обществе, жизнь которого строится если не на прямом отрицании морали (в России, напротив, во все времена всячески подчеркивалось ее значение), то на фактической невозможности сделать мораль частью повседневности, само требование нравственности уже попадает в разряд утопического.

Следует заметить, что к многим разновидностям утопизма восточная психология и восточные религии склонны на практике больше, нежели прагматичная, рационалистическая культура европейско-христианской цивилизации.

Наследие России здесь особенно противоречиво: выбором христианства 1000 лет назад Киевская Русь вроде бы повернулась к Западу. Но вариант христианства был взят восточный, исходящий из того, что объект веры непознаваем. Другой подход не укладывался в контекст конкретного исторического развития.

То время далеко в прошлом, как и та Русь. Но изначальные элементы общественного сознания, заложенные многие века тому назад, продолжают действовать и сегодня. Их роль и значение осознаются еще не вполне однозначно, если вообще осознаются.

Большевики на протяжении семидесяти с лишним лет самыми жестокими средствами загоняли страну в утопию. Сам факт бесспорен. Но суть проблемы не раскрывает. Больше того, упрощает ее как минимум в нескольких отношениях.

Прежде всего, утопия — есть утопия. Она не может быть осуществлена. Процесс возможного ее внедрения в жизнь всегда связан с насилием. Если общество добросовестно заблуждается и действительно добровольно пошло в чем-то по ложному пути, то ошибка выявится достаточно быстро. Издержки не обретут чрезмерный, тем паче криминальный масштаб и характер.

В утопию можно только свято верить, не допуская сомнений, отметая все факты и доказательства, которые не укладываются в избранную схему. С рациональной системой мышления любая утопия несовместима просто в силу своей природы.

Большевизм оказался ударной силой внедрения утопии в жизнь.

Политико-психологический феномен большевизма нельзя осмыслить, не упомянув еще несколько его особенностей, органично вытекающих из утопической концепции, в том числе:

непонимание подлинного смысла событий, их действительных причин и механизмов действия;

попытка радикального хирургического вмешательства при острейшем дефиците социального знания и особенно практического инструментария созидания;

борьба с видимым и с тем, что кажется таковым, при полном или почти полном невежестве относительно всего или почти всего невидимого, скрытого, внутреннего, содержательного.

Следует, однако, чтобы не заблудиться в оценках, помнить, что очень многое, о чем идет речь, присуще не только нашей стране. Радикализм левого сознания живет и действует не только в специфических большевистских формах.

Но подобный радикализм будет жить и дальше, пока не разорван замкнутый круг — отсталость плодит нищету, голод, невежество, бесправие, насилие, которые снова воспроизводят отсталость.

Сколь трудно разорвать его, мировое сообщество не раз убеждалось за последние десятилетия на собственном опыте.

Кроме всего прочего, XX век показал, каким мощным орудием осуществления утопии может стать государство. Правда, оно само при этом размывается, причем существенно. То, как подорвана сегодня наша экономика, какие противоречия накоплены во всех сферах жизни, насколько низок престиж власти и доверие к ней — все это и многое другое есть прямое следствие того, что государство три четверти века использовалось как главное орудие осуществления утопии через большевизм — и обанкротилось.

Государство — орудие не нейтральное. Не буду говорить о насилии прямом, которое полностью осуществлялось государством. Но было и насилие скрытое, неявное, тем самым более опасное.

Государство поддерживало антинаучные — а следовательно, антирационалистические — подходы, верования, убеждения. Оно преследовало, по сути, все науки, не работавшие прямо и непосредственно на государство, милитаризацию, систему насилия. Государство держало под жестким контролем систему образования и воспитания, максимально затрудняя прозрение от утопии.

Но не только это.

IV.

Как уже говорилось, большевики, совершив переворот, в сущности, не знали, что делать. Революционного энтузиазма было много, но без ясной программы действий он не имел стратегического смысла.

Еще Бернштейн заметил, что поставить диалектику Гегеля с головы на ноги не так-то просто. Мышление ученого все равно движется в области понятий. Но если он покидает почву эмпирически установленных фактов и начинает мыслить помимо них, то с неизбежностью попадает в мир произвольных понятий, оказывается в тисках учения об отрицании отрицания. Универсализм и монизм гегелевской диалектики неизбежно вел к монизму и универсализму в трактовке коммунизма, что и было наглядно продемонстрировано практикой послереволюционной России.

И если не слепить себя фанатизмом и не впадать в обиды на историю, нельзя не увидеть то обстоятельство, сегодня уже бесспорное, что попытки привести действительность в соответствие даже с первоначальными идеями социализма не привели к повышению уровня и качества

жизни людей, эффективности общественного производства, к общественной гармонии, но демонстрировали бесполезную трату сил, энергии, природных и материальных ресурсов. И чем больше экономика подтягивалась к догмам, тем сильнее обнажалась ее неэффективность. Репрессивность режима вела к дегуманизации жизни.

Вечная дилемма — эффективность и гуманизм — спроецировалась зазеркально: неэффективность и антигуманизм.

Безответственность, недисциплинированность, отсутствие элементарного порядка, равнодушие и двоедушие «засеяли» пространство нашего бытия, общественного и личного, миллионами микро- и макрочернобылей — от трагедий на АЭС, в море, воздухе, на суше до отсутствия нитроглицерина в аптеках. Эти мины замедленного действия взрываются беспрестанно. И будут взрываться до тех пор, пока не одержат победу отношения экономической свободы.

Десятилетиями чугун, уголь, сталь, нефть имели приоритет перед питанием, жильем, больницей, школой, сферой услуг. Утверждение, что «так нужно было» — ложь. Цена индустриализации вкупе с рефеодальным управлением была катастрофически высокой, потери — и людские, и материальные — огромны, безразличие к человеку — беспредельно. Разлагавшаяся система разлагала и народ, толкая его к воровству и безделью, но всячески мешая жить честным трудом.

Не будем кичиться и тем, что не было безработицы. При крепостничестве ее тоже не было.

Широко распространившаяся коррупция, массовые злоупотребления самого разного рода, выводиловка, обман, преступность всех видов, растаскивание страны. Долго ли можно было так прожить даже в нашей, очень обильной от природы державе?

Страна получила колоссальные прибыли, по некоторым оценкам — сотни миллиардов долларов, от продажи нефти. Импортом товаров и продовольствия на эти суммы было куплено право элиты работать спустя рукава, да еще по принципу «после нас — хоть потоп». Покупалось за рубежом все подряд, от канцелярских скрепок до заводского оборудования, значительная часть которого валяется до сих пор на свалках.

Проедание народного достояния шло и по другим каналам. От космоса до капитального строительства, от ар-

мии до многомиллионного отряда управленцев, разлагавшихся от безделья. За годы и десятилетия накопилась колоссальная инфляционная, не обеспеченная товаром масса денег.

Сейчас, наверное, и не подсчитать, сколько средств за полвека вложено в **милитаризацию страны.** Не подсчитать не только из-за секретности, пронизавшей все настолько, что и высшее государственное руководство до сих пор не в силах разобраться в реальном положении дел. И даже не потому, что под завесой подобной секретности скрывались бесхозяйственность, пустопорожние и просто вредные программы, практически любые злоупотребления.

Разработка и производство вооружений обрели и своего мощнейшего лоббиста — партийно-государственное руководство. Правилом было — «надо», а во что это обойдется — несущественно. Кроме того, атомная, космическая, судостроительная, горнодобывающая, да и некоторые другие отрасли, прямо или косвенно связанные с гонкой вооружений, создавались в значительной мере трудом каторжан.

Даже сейчас, когда в корне изменились обстановка в мире, когда постепенно приходит понимание, что главная опасность идет от неспособности наладить нормальную человеческую жизнь, развиваться естественным образом, не насилуя самих себя, — даже сейчас милитаристские и старогосударственные структуры сопротивляются до последнего, не желая отказываться от своих «завоеваний».

Десятки миллиардов ушли на **мелиорацию**, не дав зримого приращения сельскохозяйственного производства. Сколько миллионов гектаров загубленных земель в Поволжье, сколько понапрасну осушенных болот в Нечерноземной зоне. Болота осушались, а покинутых, причем давно освоенных земель, становилось все больше и больше. Сколько труда затрачено впустую, а все для того, чтобы удержать на плаву выдумку об эффективности колхозно-совхозного строя.

Миллиардные средства вкладываются в **импорт зерна из-за границы.** Я лично убежден, что здесь сложилась взаимозависимая и хорошо организованная государственно-мафиозная структура.

На самом деле, в послевоенные годы не было случая, чтобы реальные расходы на создание аграрной инфраструктуры составляли хотя бы половину запланированных. Саботаж был не виден, но он создавал возможность для

личной наживы при закупках сельскохозяйственной продукции за рубежом, для поддержания мифа о правильности советской аграрной политики, поскольку люди сыты, наконец, для политического манипулирования при распределении зерна.

Десятой доли золота, потраченного на закупку зерна, хватило бы на создание эффективной инфраструктуры сельского хозяйства, что привело бы к резкому сокращению потерь при уборке, перевозке, хранении и переработке сельхозпродуктов. Но, увы, агрокомплекс остается без эффективной инфраструктуры до сих пор — без дорог, без современных перерабатывающих предприятий, без хранилищ, без специального транспорта и т. д. Всего этого катастрофически не хватает.

Разве не такой же «мелиорацией» стало и **капитальное строительство**, в котором нарастала в огромных объемах незавершенка — эта зацементированная, воплощенная в мертвом железобетоне инфляция, это загубленное народное благосостояние.

А разве не народные деньги тратились на **военные авантюры** и военную помощь тем правителям за рубежом, которые объявляли себя социалистически ориентированными. Никто пока не знает, сколько стоили в материальном выражении военные вмешательства во внутренние дела Венгрии, Чехословакии, Афганистана, поставки оружия в десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Какими только высокими словами все это ни прикрывалось! Поддержка «национально-освободительных и революционных сил» обошлась нашему народу очень дорого, равно как и тем, кому помогали. Войны и конфликты отбрасывали развитие соответствующих стран на десятилетия назад, деформировали социально-политический облик, демографию, экономику, нравственность, уносили многие и многие жизни.

Но если тормозится развитие какой-то части мира, замедляется и мировой прогресс, в том числе и собственный. Это давно стало аксиомой. Не случайно десятилетия подобных усилий привели к тому, что вокруг «социалистического лагеря» стало группироваться по преимуществу самое отсталое, что есть в мире.

Немало средств ухлопано на **борьбу с инакомыслием**, на разработку и оплату связанной с этим техники, на содержание осведомителей, иными словами, на тайную войну с собственным народом.

Вот они, черные бездонные дыры, которые поглотили сотни тысяч километров дорог, тысячи и тысячи жилых домов, детских учреждений, театров и библиотек и многое другое.

Труд и гений человека, достояние природы, материальные ресурсы общества расходовались неподконтрольно — ни по целям, ни по объемам, ни по эффективности. Абсурдность всего этого становилась все более очевидной, но отступать назад властям было просто невыгодно — система уже породила массу удобных кресел, административных удовольствий, привилегий.

Бесхозяйственность прямо проистекала из ничейной собственности, из обезличенного и обесцененного труда. Но труд и не может быть иным там, где нет собственности — его прямого накопленного результата. Бесхозяйственность — лишь внешняя стороны явления. Притом в данном случае способная увести от сути вопроса.

Понятно, что даже самый хороший хозяин не свободен от просчетов, от естественных человеческих слабостей. Такой хозяин извлекает уроки из ошибок. Но бесхозяйственность, повторяющаяся из десятилетия в десятилетие; бесхозяйственность, постоянно воспроизводящая себя во все более широких масштабах; бесхозяйственность, осваивающая новые сферы, направления, формы; бесхозяйственность, последовательно побеждающая любые попытки борьбы с нею, — это не просчет и не ошибка. Это приговор системе, паразитирующей на обществе, человеке, природе, хотя и выгодной определенным социальным группам, правящему классу. И потому тщательно охраняемой.

Да, бесхозяйственность — поистине рай для люмпенства. И когда собственность ничья, а распоряжающиеся ею практически бесконтрольны, то рождается уникальная преступная структура, в которой мафия сращивается с государством. Точнее, само государство, чем дальше, тем больше превращается в мафию и по методам деятельности, и по отношению к человеку, народу в целом. И даже по своей психологии.

В условиях государственной собственности любой экономический произвол и беззаконие являются произволом и беззаконием государственными. Обсчет, обвес, обман в магазине, в столовой — это государство обманывает своих граждан. Урожай, ушедший под снег, сгнивший на базах, испорченный при уборке, потерянный при транспортиров-

ке, — это тоже вина государства. И как оно может не нести ответственности за свое столь эгоистически выгодное бездействие и равнодушие?

Или взять проблему дефицита. Это давным-давно не издержки какой-то неорганизованности, а неизбежное следствие экономической системы и необходимое условие ее существования. Организованный дефицит выгоден, он кормит многочисленные распределенческие, управленческие, внешнеторговые и другие государственные структуры.

Откуда все это? В чем корень всех бед?

Маркс и Энгельс были убеждены, что частные собственники не в состоянии справиться с новыми производительными силами. Но оказалось, что основанные на частной собственности производственные отношения не ставят каких-либо преград применению науки, внедрению технологических открытий.

Календарь отсчитывает последние годы XX века, и можно с уверенностью утверждать, что капитализм как система общественных и производственных отношений обнаружил способность ставить себе на службу буквально все, в чем есть крупица пользы, хоть гран здравого смысла. Он в целом успешно интегрировал в себя не только научные и технические открытия, но и достижения в организации общественной жизни, политического процесса; новые социальные и иные движения, институты, формы; новые общественно-политические идеи и теории.

Основоположники марксизма не увидели и не допускали возможности трансформации этого общественного строя, новые управленческие структуры, адекватные не только индустриальному, но и постиндустриальному обществу.

Советский опыт не подтвердил тезис о том, что только в условиях государственной собственности и общественного труда новые технологические достижения могут быть успешно осуществлены на практике. Оказалось заблуждением и то, что переход к ассоциированному производству избавит людей от многих трудностей и препятствий, характерных для классового общества, обеспечит небывалый научный, технический и общественный прогресс.

Опыт развития России показал, что на путях плановой, обобществленной экономики нельзя преодолеть отставание от передовых стран в области производительности и культуры труда, технологии. Иными словами, преодолеть не

отдельные частные отставания, но отсталость как явление, как хроническое состояние.

Выявились разрушительные последствия полного огосударствления средств производства, которое считалось исходным моментом строительства нового общества. Степень централизации и координации производственных операций, характерную для крупной промышленной фабрики, невозможно воспроизвести в масштабе государства. Расширение количества объектов управления не может быть беспредельным.

Как известно из теории систем, у всякой системы существует порог сложности, за которым она оказывается нестабильной, а ее поведение непредсказуемым. Это постоянно наблюдалось в нашей планируемой централизованной экономике. Нарушение разумных границ централизации хозяйственных решений неизбежно привело к резкому снижению эффективности государственного управления экономикой.

Огосударствление производства резко снизило инициативу нижестоящих звеньев, освободило их от непосредственной ответственности за результаты труда. Оно не решило и проблему контроля над стихийными силами рынка, но уничтожило сам рынок, а это привело к бюрократической диктатуре в экономике.

Конечно же, непосредственная форма соединения личных и общественных интересов должна мыслиться и строиться иначе, чем в прошлом, не обязательно в вещественных формах — через национализацию и конфискацию.

В эпоху технологических революций вообще бессмысленно связывать характер общественного строя с конкретными формами производства, к примеру, с крупным промышленным, или с конкретными формами обобществления, к примеру, с национализацией. Сегодня общественное управление и контроль над информацией, доступностью информационных потоков оказываются куда более эффективными, чем амбарное складирование изъятых у капиталистов или у фермеров средств производства.

Коллективизация и национализация земли, вопреки прогнозам, явилась главной причиной ее деградации в нашей стране, ее хищнического использования. Совершено не только чудовищное преступление — раскрестьянивание деревни, но и нечто такое, что уже необратимо в самом укладе жизни, в психологии и морали народа.

Аграрная программа большевизма стала программой разрушения сельскохозяйственного производства, борьбы с хозяином, с конструктивным наследием земледелия.

Национализация земли, которую активно отстаивал Ленин, просто испепелила все живое, что было в российском крестьянстве, уничтожила не только плодородие почв, но и плодородие российской крестьянской культуры.

Преодоление частной собственности на средства производства не привело к духовному возвышению личности, как это предполагал марксизм. Больше того, оказалось, что в условиях утраты экологического и экономического мышления, интеллектуальной соревновательности вообще невозможно духовное здоровье общества.

Пытаясь утвердить свою особую мораль — классовую, большевизм объявил войну всем религиям, впитавшим в себя, разумеется, в своеобразных формах, общечеловеческие ценности. Для этого и понадобилась своя религия — атеизм, ставший современной инквизицией, отрицающей право личности на свободу выбора.

Каждая религия, в том числе и атеизм, имеет своих пророков: Фейербах с его религией человечества, Огюст Конт со своими догмами опровержения всех истинных ценностей предшествующих религий. Религия атеизма имеет своих отцов церкви, своих пророков, свои иконы, свои гробницы, свои мощи, свои священные писания, свои ереси и догмы, свою ортодоксию, свой катехизис, свою систему преследования еретиков, свои покаяния и отречения. И обязательно инквизицию, доведенную Сталиным до предельного изуверства.

Человек, отрекаясь от одного Бога, непременно творит себе кумира на земле, воздвигает нового идола. Он ищет, перед кем преклониться и чему служить. Ему нужна истина сущая и истина ценная. Он всегда что-либо признает истинно сущим и истинно ценным, всегда что-то абсолютизирует и что-то релятивизирует.

Но если небесный Бог невидим, непостижим, непознаваем, то земной идол виден, осязаем, его слушают, ему рукоплещут, и в этом огромное преимущество авторитаризма для примитивного сознания.

Религия атеизма производит подмену: идол состоит из материи, он — есть материя, а материя — есть истина сущая и истина ценная, она заменяет прежнее божество. Она и есть творец неба и земли, она объемлет и создает все существующее.

Религия материи идеологизируется. Материя — она кругом, чего с ней церемониться. И к человеку можно относиться, как к куску материи, и к природе — по-варварски. Материя под нами и нам подчинена. Над нами нет ничего, и потому все дозволено.

Религия атеизма опирается прежде всего на авторитарность. Из того же идолопоклонства появились бесчисленные города — троцкие, сталинграды, молотовы, кировы, куйбышевы, калинины, кагановичи, ждановы и т. д. Поразительное бескультурье, но сам замысел вполне целенаправлен.

Идеологический монополизм обеспечивал всеобщий контроль за всеми и каждым. Умы и души идут по тому же разряду, что и вещи. Несогласные уничтожаются или изолируются. Свободный труд, свободная мысль, свободное слово упраздняются. Поиск истины под запретом. Наука и искусство большевизируются. Более того, переводятся в ранг идеологических сфер агрономия, медицина, электроника — все и вся.

В системе «моновласть — монособственность» отрицательные обратные связи (мнимая информация) считаются положительными. Отсюда чудовищное искажение действительности, статистическое строительство «рая земного». Юридические нормы подменяются инструкциями и предписаниями, верховенство права — верховенством политической власти снизу доверху.

Поскольку нравственно лишь то, что служит построению коммунизма, трудовая и интеллектуальная селекция заменяются политико-идеологической, карьеристской.

Практика рефеодализма усиливала вредоносность атавизма о делении труда на производительный и непроизводительный, на «чистый» и «грязный», на престижный и непрестижный.

«Как это так, — рассуждает советский Тит Титыч. — Я начальник, а буду получать меньше рабочего и крестьянина?» Миллионы Тит Титычей делали все возможное, равно как и невозможное, чтобы оплата по труду была фикцией. Государство заботливо выращивало Тит Титычей.

Экспроприация средств производства, передел чужого имущества не только не сделали трудящихся богаче, напротив, в силу неумолимой логики экономического развития и законов морального возмездия привели к унизительному люмпенству. Экспроприация деформировала психику,

сознание людей. Она подорвала стимулы к труду, размыла ответственность людей за собственное благосостояние.

Программа преодоления рынка и рыночных отношений оказалась на деле программой уничтожения исходных оснований экономической цивилизации.

Пролетарский интернационализм, с которым марксизм связывал большие надежды, и прежде всего решение национального вопроса, преодоление национального эгоизма, расизма, шовинизма, антисемитизма, привел к противоположным результатам.

Как выяснилось, большевизм, освобождающий человека от ответственности за свое экономическое положение, деформирующий его экономическое и социальное мышление, делает его податливым к ультранационалистической идеологии. Националистический экстремизм, будучи одной из форм современного фашизма, словно смерч, сметает все на своем пути, оставляя за собой развалины.

Участие трудящихся в октябрьском перевороте и вызванной им гражданской войне не только не очистило их от «старой грязи», а, напротив, озлобило их, надломило духовно и морально. Взаимная нетерпимость приобрела характер массового психического заболевания. Революция оказалась не праздником справедливости, а вакханалией мести, зависти, расправы.

Возведя нетерпимость и ненависть в государственную идеологию, большевизм сделал все возможное и невозможное, чтобы превратить людей в соучастников сталинского вандализма.

Но преуспел не во всем. Народ нашел в себе силы стряхнуть с себя это трагическое наваждение.

Глава третья

КЛАДБИЩЕНСКИЙ КРЕСТОСЕЯТЕЛЬ

С точки зрения человеческой, этому названия просто нет. Трудно синтезировать в одно понятие социальный каннибализм, каинизм, геростратство, иудин грех в своем законченном развитии — от предательства Учителя до предательства Отца, что и Святому Писанию неведомо.

Люди всегда творили преступления. Творили их и организованно, и спонтанно, но такой преступности власти, которую породил большевизм, в общем-то, в истории не было. И все под прикрытием заботы о всем человечестве. Террор — вот путь переделки человеческого материала во имя будущего.

Пренебрежение к конкретному человеку большевики полностью взяли из марксизма. Но не только. Были и свои, российские традиции — нигилизм, нечаевщина, анархизм.

I.

Да, люди в стиле Базарова были добрыми идеалистами и горели любовью к человечеству. Здесь, между прочим, и разошлись Гоголь с Белинским. В известном письме — любовь Белинского к человечеству, а Гоголь — величайший русский гений — горел состраданием к Пульхерии Ивановне и Афанасию Ивановичу, к Акакию Акакиевичу и несчастному сумасшедшему.

У Белинского из любви к человечеству начало вырисовываться требование какой-то универсальной гильотины. Миросозерцание материализма нисколько этому не препятствовало, ибо не знало религиозных и этических запретов. Однако именно в марксизме исторический нигилизм получил изощреннейшую и коварно убедительную форму прежде всего из-за своего наукообразия.

Маркс в конце концов отбросил рассуждения о гуманности и любви, которые были в первых его произведениях.

Он уже не говорит о моральной справедливости, хотя беспрерывно морализирует, изобличая и осуждая своих врагов. И все это выросло в утверждение, что нравственно все, что соответствует интересам революции, пролетариата. коммунизма.

Именно с такой моралью и расстреливали заложников в гражданскую войну, уничтожали крестьянство, строили концентрационные лагеря, переселяли целые народы.

Энгельс, хороня Маркса, говорил, что человечество стало ниже на одну голову.

Но человечество потеряло Аристотеля, Сократа, Христа, Леонардо да Винчи, Сервантеса, Ньютона, Канта, Шекспира, Пушкина, Гоголя, Чехова, Толстого, Достоевского, Моцарта, Чайковского. Это гении добротворчества. Они несли свет, мудрость и красоту.

Примат иллюзорного будущего над человечностью давал полную свободу не стесняться в средствах, быть по ту сторону добра и зла, когда дело шло о власти, насильственных действиях, репрессиях и тому подобном. Действительные ценности — доброта, любовь, сотрудничество, солидарность, свобода, верховенство закона и т. д. — оказались непригодными, излишними, они ослабляли классовое сознание.

Марксизм в конечном счете вел к полному изничтожению совести.

Есть раны, которые не заживают. Как могло случиться, что миллионы ни в чем не повинных людей были уничтожены по прихоти небольшой группы преступников, а еще миллионы были обречены на бесконечные страдания, оказавшись изгоями общества, жертвами злой государственной машины?

И все это при молчаливом или шумливом одобрении других миллионов, сбитых с толку и едва ли отдающих себе отчет в том, что они тоже принадлежат к расстрелянному поколению.

Трагедия не только в мертвых, но и в живых.

Миллионы людей честно трудились, радовались, были счастливыми, растили детей, мечтали о лучшем будущем. Они верили в это будущее и отвергали тех, кто, как им внушалось, мешал быстрому бегу к этой вожделенной минуте счастья.

Проклятые времена, но и времена противоречивые, с разделенными сердцами и душами, с совестью, исковерканной лживой верой.

Все продолжало казаться базальтово незыблемым. Но 25 февраля 1956 года, в последний день работы XX съезда КПСС, на закрытом заседании, вне повестки дня состоялся доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях».

В нем прозвучали слова о тех злодеяниях и преступлениях против советского народа, которые были совершены Сталиным и его окружением.

Аппарат ЦК КПСС пригласили на это заседание. Я был молод, конечно, убежден в правоте марксистско-ленинского учения, верил Сталину, прошел с этой верой фронт. Страстно надеялся и на обещанное пришествие земного рая.

Сказать по правде, у меня, как и у многих других, шевелились в голове какие-то смутные сомнения, неудобные вопросы, но они легко уходили в сторону от веры в «величие» творимых дел, от благоговения перед мудрецами Кремля, которые лучше других знают, что делают.

И то, что я услышал, повергло меня в отчаяние. Я слышал, что говорил Хрущев, но отказывался понимать. Все казалось нереальным — даже то, что я здесь в Кремле, слушаю слова, которые отвергают все, чем я жил, уничтожают смысл былого, переворачивают душу, бьют по сердцу.

В зале стояла гнетущая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля. Зал был мертв. Никто не смотрел друг на друга — то ли от неожиданности происходящего, то ли от страха.

А Хрущев приводил факт за фактом, один страшнее другого... Уходили с заседания, низко наклонив головы. Шок был очень глубоким. Особенно от того, что случилось официальное признание преступлений режима с упоминанием самого Сталина как главного их виновника.

Но произошло нечто загадочное для нас, людей, мало посвященных в политические игры. Доклад оставался секретным. Он был опубликован только во второй половине правления М. Горбачева, да и то после длительных споров. Впрочем, за рубежом он был напечатан вскорости после его произнесения. От советского народа доклад скрывали по очень простой причине — власти испугались.

Как свидетельствуют документы, доклад Хрущева готовился спешно, в ходе работы съезда. Автором первого варианта был П. Поспелов. В нем делалась попытка найти оправдания преступлениям, показать некую «историческую

неизбежность», «вынужденность» репрессий. Повторялся набор клише об обострении классовой борьбы, капиталистическом окружении, существовании подполья, стремлении противников Сталина реставрировать капитализм.

В докладе самого Хрущева от первоначального проекта сохранилась лишь общая структура и конкретные факты. Значительно были ужесточены оценки беззакония.

После XX съезда создается комиссия по реабилитации, которую возглавил Шверник. По делам, связанным с убийством Кирова, существовала особая комиссия.

Во второй половине пятидесятых годов из лагерей, тюрем и ссылок вернулись десятки тысяч советских людей, невинно осужденных в 30—40-е и 50-е годы. К сожалению, довольно скоро работа по реабилитации жертв репрессий стала сворачиваться, а к середине 60-х годов совсем прекратилась. Наступило время, когда проявилась тенденция не только замолчать о беззакониях и произволе, их жертвах, но и обелить Сталина и его окружение.

Сейчас необольшевики — бывшие интернационалисты, объединяющиеся с национал-шовинистами и даже с монархистами, таскают на митингах портреты Сталина, оскорбляя тем самым память народную.

Почему Хрущев свернул процесс ресталинизации? Да потому, что, сказав правду о конкретных преступлениях, он уклонился от характеристики системы. Не мог, не хотел, боялся — все вместе.

В конце 1987 года была создана специальная Комиссия Политбюро ЦК КПСС по реабилитации. Определенное время я возглавлял эту Комиссию в качестве ее председателя. За время ее деятельности, за три с небольшим года, было восстановлено доброе имя более чем одному миллиону человек. Результаты проделанной в столь короткий срок работы значительно превосходят те, которые были до 1988 года.

Скажу сразу, это тяжелейшая работа — и физически, и морально. Пожалуй, вплоть до времени, когда я столкнулся с сотнями тысяч «дел», за каждым из которых стояли люди, когда-то живые, любящие свои семьи и свою страну, но потом по приказу или доносу расстрелянные без суда и следствия и брошенные в ямы и болота, повторяю, до этого времени я считал политику занятием в основном честным и пристойным, необходимым и полезным.

Читая, изучая документы, полные грязи и крови, горя и предательства, я приходил к убеждению, что больше-

вистская политика — это сгусток безнравственности, торжество обмана, двигатель корысти. Горючее политики — это неуемная жажда власти.

Работа Комиссии была тесно связана с теми изменениями, которые охватили советское общество во второй половине 80-х годов. Открылись новые подходы и к пониманию нашей истории. Важно было не только восстановить правовую справедливость, но и дать оценку историческим событиям в политическом и нравственном аспектах.

II.

Комиссия начала свою работу с изучения всех обстоятельств, связанных с публичными процессами второй половины 30-х годов. Она документально установила, что все они были сфальсифицированы, построены на показаниях, которые добывались преступными методами, путем истязаний и шантажа обвиняемых. Установлено, что, кроме широко известных четырех публичных процессов, в 30-е годы были проведены и тщательно скрыты от общественного мнения еще более 60 процессов только в Москве, по которым осуждены тысячи невинных людей.

Самой массовой репрессией в начале 30-х годов было так называемое раскулачивание, осуществленное в процессе коллективизации. Значительная часть «раскулаченных» была выслана вместе с семьями в отдаленные районы страны, на стройки Сибири и Крайнего Севера — около 1 миллиона 200 тысяч крестьян. Вместе с главами крестьянских хозяйств столь же жестоким и бесчеловечным расправам подверглись и члены их семей — жены, дети, старики. Миллионы людей оказались без крова, без средств к существованию, лишены права на свою защиту, травимые толпой.

Кроме того, в ходе раскулачивания более полумиллиона крестьян было осуждено к различным срокам заключения. Многие из них потом были расстреляны, погибли в пути к месту ссылок или спецпоселений. Особенно высокая смертность была в лагерях, на лесоповалах, в горной промышленности.

Иногда можно встретить утверждения, что пытки, истязания происходили по инициативе самих работников правоохранительных органов. Было, конечно, и это. Но главное-то в другом. Применение пыток и истязаний реко-

мендовалось и санкционировалось высшим руководством страны.

Когда волна массовых репрессий в 1938 году несколько ослабла, а руководители некоторых партийных организаций начали ставить в вину работникам НКВД применение физического воздействия к арестованным, никто иной, как Сталин направил 10 января 1939 года шифрованную телеграмму секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам Управлений НКВД.

В ней говорилось: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)...».

Формула Сталина — «применение физического воздействия» — лицемерно-кокетливое обозначение того, что в действительности было. Пытки, избиения, лишение сна. изнурительные ночные допросы с применением «конвейерной системы» (следователи менялись — для отдыха, подследственный его лишался), многочасовые «стойки», угрозы расправы с родными и близкими и многое другое. Что же касается времени применения физического воздействия в практике НКВД, то здесь Сталин лжет. Пытки применялись намного раньше.

Сталин лично дирижировал подготовкой многих судебных процессов. Известно, что 2 декабря 1934 года, прибыв в Ленинград после убийства Кирова, он отверг те версии, которые выдвигало следствие, и дал указание доказать, что убийство Кирова — дело рук зиновьевцев.

Сохранилось его письмо Менжинскому — председателю ОГПУ — в ходе подготовки процесса «Промпартии». Сталин писал в нем чекистам, что подследственные должны дать показания о своих связях с правительствами Западной Европы с целью подготовки вооруженной интервенции против Советского Союза. Письмо заканчивается вопросом Сталина, обращенным к Менжинскому «Понятно?».

Менжинский и его сотрудники «поняли». Показания на этот счет были получены. Как это делалось, свидетельствуют многочисленные документы. Существуют показания бывшего начальника Лефортовской тюрьмы Зимина: «Часто на допросы приезжали и наркомы НКВД — как Ежов, так и Берия. Причем и тот, и другой также применяли избиение арестованных. Я лично видел: Ежов избивал арестованных... Как Берия избивал Блюхера, причем он

не только избивал его руками, но с ним приехали какие-то люди с резиновыми дубинками, и они, подбадриваемые Берией, истязали Блюхера, причем Блюхер кричал: «Сталин, слышишь ли ты, как меня истязают?». Берия же в свою очередь кричал: «Говори, как ты продал Восток».

В результате насилия Блюхер оговорил себя и заявил о связях с правотроцкистской организацией. Вскоре он умер в следственной камере.

Многие судебные процессы, как теперь установлено, проходили по заранее подготовленным сценариям, с загодя написанными приговорами. Такой порядок сохранялся до конца жизни Сталина. Именно Сталин был инициатором и организатором массовых арестов, расстрелов без суда и следствия, депортации сотен тысяч людей.

Получила широкое распространение практика, когда в НКВД составлялись списки лиц, дела которых подлежали рассмотрению в Военной Коллегии Верховного Суда СССР или «Особым совещанием» НКВД. При этом заранее определялось «наказание». Эти списки направлялись лично Сталину.

В списках значились три категории наказания: первая — расстрел, вторая — тюремное заключение от 8 до 25 лет и третья — заключение до 8 лет и высылка.

III.

Непосредственную ответственность за репрессии, кроме Сталина, несут Молотов, Каганович, Берия, Ворошилов, Жданов, Маленков, Микоян, Хрущев, Булганин, Андреев, С. Косиор, Суслов. Лично участвовали в репрессиях Ягода, Ежов, Абакумов, Вышинский, Ульрих и другие.

В. М. Молотов, будучи Председателем Совета Народных Комиссаров СССР (с 1930 по 1941 годы), принимал самое активное участие в организации и проведении массовых респрессий в 30-е годы. На его ответственности в первую очередь уничтожение работников государственного аппарата. Многие из них были арестованы и физически уничтожены по его личной инициативе.

Из народных комиссаров, входивших в СНК СССР в 1935 году, 20 человек погибли в годы репрессий. В живых остались лишь Микоян, Ворошилов, Каганович, Андреев, Литвинов и сам Молотов.

Из 28 человек, составлявших Совет народных комиссаров в начале 1938 года, были репрессированы 20 человек. Только за полгода, с октября 1936 года по март 1937

года, было арестовано около 2 тысяч работников Наркоматов СССР (без Наркоматов обороны, внутренних дел, иностранных дел).

В августе 1937 года Ежовым был подготовлен оперативный приказ НКВД о проведении массовой операции по репрессированию лиц польской национальности. На этом приказе имеется подлинная резолюция: «За — И. Сталин, В. Молотов, Л. Каганович, С. Косиор». Всего за период с августа по декабрь 1937 года в ходе проведения этой операции было репрессировано 18 тысяч 193 человека.

Санкции на аресты давались Молотовым в период Великой Отечественной войны и после ее окончания. Были случаи, когда вместо санкции на тюремное заключение Молотов ставил рядом с некоторыми фамилиями отметки «ВМН», то есть высшая мера наказания.

В 1949 году Молотовым был санкционирован арест многих советских и иностранных граждан, обвинявшихся в шпионаже и антисоветской деятельности.

Погиб на Лубянке и Валленберг. Я лично убежден, что подлинные обстоятельства его смерти до сих пор скрываются, но не понимаю, почему это делается.

Весь путь **Л. М. Кагановича** как политического деятеля связан с вероломством и репрессиями. Известны последствия его деятельности в годы коллективизации на Украине, в Воронежской области, на Северном Кавказе, в Западной Сибири.

Особенно зловещую роль сыграл Каганович в годы массовых репрессий 1935—1939 годов. С санкции Кагановича были репрессированы тысячи и тысячи работников железнодорожного транспорта и тяжелой промышленност, которые затем были осуждены к высшей мере наказания и длительным срокам тюремного заключения. Списки и дела «врагов народа» из работников железнодорожного транспорта в 1937—1939 годах, санкции на арест которых подписаны лично Кагановичем, составляют 5 томов.

Для подхлестывания массовых репрессий Каганович выезжал в Челябинскую, Ярославскую, Ивановскую области, Донбасс.

А. А. Жданов. Длительное время фактически выполняя обязанности второго секретаря ЦК ВКП(б), несет прямую ответственность за массовые репрессии. В сентябре 1936 года он вместе со Сталиным с юга, где они отдыхали, в телеграмме, адресованной Политбюро, требовал

усиления репрессий. По их предложению НКВД возглавил Ежов. Под руководством Жданова в 1935—1940 годах в Ленинграде было репрессировано более 68 тысяч человек.

Для расширения массовых репрессий Жданов выезжал в Башкирскую, Татарскую и Оренбургскую партийные организации.

В Оренбургской области за 5 месяцев (с апреля по сентябрь 1937 года) было репрессировано 3655 человек, из них половина приговорена к высшей мере наказания. И тем не менее Жданов, прибыв в начале сентября 1937 года в Оренбург, нашел эти репрессии недостаточными. Было репрессировано еще 598 человек. После «чистки», осуществленной Ждановым в Татарской парторганизации, было дополнительно арестовано 232 человека и почти все расстреляны, в Башкирии — 342 человека.

Активную роль сыграл Жданов в расправе над руководством ЦК комсомола в 1938 году. Выступая от имени Политбюро, он охарактеризовал секретарей ЦК комсомола как «предателей Родины, террористов, шпионов, фашистов, политически прогнивших насквозь врагов народа, проводивших вражескую линию в комсомоле, как контрреволюционную банду». Типична здесь и лексика тех лет.

Жданов был одним из организаторов августовской (1948 год) сессии ВАСХНИЛ (Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. Ленина). В докладной записке на имя Сталина от 10 июля 1948 года им были сформулированы предложения, которые положили начало травле большой группы ученых-биологов. Жданов был инициатором преследований и гонений представителей культуры и науки.

К. Е. Ворошилов. С его санкции было организовано уничтожение высших военачальников и политических работников Красной Армии. В 30-е годы были уничтожены из 5 маршалов — 3, из 16 командующих армиями — 15, из 67 командиров корпусов — 60, из 199 командиров дивизий — 136, из 4 флагманов флота — 4, из 6 флагманов первого ранга — 6, из 15 флагманов второго ранга — 9. Расстреляны все 17 армейских комиссаров первого и второго ранга, а также 25 из 29 корпусных комиссаров.

В бытность его Наркомом обороны в Красной Армии за 1936—1940 годы было репрессировано свыше 36 тысяч человек среднего и высшего командного состава. В архиве КГБ выявлено свыше 300 санкций Ворошилова на арест видных армейских военачальников.

Фактически перед второй мировой войной была уничтожена вся верхушка вооруженных сил.

Н. С. Хрущев. Имеются документальные материалы, свидетельствующие об организации Хрущевым массовых репрессий в Москве, Московской области и на Украине в предвоенные годы. Он, в частности, сам направлял документы с предложениями об арестах руководящих работников Моссовета, Московского обкома партии. Всего за 1936—1937 годы в Москве было репрессировано 55 тысяч 741 человек.

С января 1938 года Хрущев возглавлял партийную организацию Украины. В 1938 году на Украине было арестовано 106 тысяч 119 человек, в следующем году — 12 тысяч, а в 1940 году — около 50 тысяч.

А. И. Микоян. С его санкции были арестованы сотни работников народных комиссариатов пищевой промышленности и внешней торговли. Микоян не только давал санкции на арест, но и сам выступал их инициатором. Так, в письме на имя Ежова от 15 июля 1937 года он предлагал осуществить репрессии в отношении работников Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Наркомпищепрома СССР. Аналогичные представления делались и в отношении работников Внешторга СССР. Осенью 1937 года Микоян выезжал в Армению для проведения чистки партийных и государственных органов этой республики от «врагов народа». В результате погибли тысячи людей.

Микоян вместе с Ежовым был докладчиком на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) по делу Бухарина (1937 год).

Г. М. Маленков имел непосредственное отношение к большинству акций, которые предпринимались НКВД в отношении руководящих работников в центре и на местах. Он неоднократно выезжал в местные партийные организации для осуществления массовых репрессий.

Так, Маленков вместе с Ежовым выезжал в 1937 году в Белоруссию, где было учинено настоящее побоище кадров. С той же целью он ездил в Тульскую, Ярославскую, Саратовскую, Омскую, Тамбовскую области, в Татарию.

Было немало случаев, когда Маленков лично присутствовал на допросах и пытках арестованных. Именно таким путем Маленков вместе с Берией сфабриковали дело о «контрреволюционной организации» в Армении.

Установлена преступная роль Маленкова в фабрикации так называемого «ленинградского дела».

А. А. Андреев, будучи членом Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б), лично участвовал в организации репрессий во многих республиканских партийных организациях Средней Азии, и, в частности, Узбекистане и Таджикистане, в Поволжье и на Северном Кавказе. После его поездок Сталиным, Молотовым и другими было санкционировано применение высшей меры наказания к 430 руководящим работникам Саратовской области, 440 — Узбекистана, 344 — Таджикистана.

М. А. Суслов. Участник массовых репрессий в бытность его секретарем Ростовского обкома. Став первым секретарем Орджоникидзевского крайкома партии, он не только резко возражал против освобождения ряда невинно осужденных лиц, но и настаивал на новых арестах. Комиссия НКВД СССР в июле 1939 года докладывала Берии, что Суслов недоволен работой краевого управления НКВД, так как оно проявляет благодушие и беспечность. Суслов называл лиц, арест которых необходим, что и было сделано.

Как председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литве он несет прямую ответственность за депортации из Прибалтики.

Суслов был организатором преследований и травли многих видных представителей советской художественной и научной интеллигенции, инициатором расправы над «Еврейским антифашистским комитетом». 26 ноября 1946 года он направил Сталину записку, в которой содержались клеветнические обвинения в адрес комитета. Эта записка послужила основанием для проведения следствия органами МГБ. По делу «Еврейского антифашистского комитета» были осуждены сотни человек, многие из них приговорены к высшей мере наказания.

Отдельно следует сказать о **М. И. Калинине**, который, будучи председателем ЦИК СССР, подписал подготовленное Сталиным и Енукидзе постановление от 1 декабря 1934 года «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик».

Это постановление развязало руки для проведения репрессивных мер, сделав возможным рассмотрение дел без участия сторон, без права подачи ходатайств о помиловании, а также предусмотрев приведение приговора к высшей мере наказания в немедленное исполнение.

Возглавляя с 1931 года по 1946 год Комиссию по расследованию и разрешению судебных дел при ЦИК СССР, Калинин по существу потворствовал практике беззакония и массового террора, оставляя без рассмотрения прошения о помиловании репрессированных людей.

IV.

В сознании какой-то части общества еще гнездится миф, что массовые репрессии — это дело рук только Сталина. При жизни Ленина их, мол, не было, говорят одни, или они носили случайный характер, говорят другие. Увы, подобные утверждения очень далеки от действительности.

Репрессий просто не могло не быть. И дело тут не только в Ленине и Сталине, хотя их личная ответственность за десятки невинно погубленных жизней очевидна. Суть, конечно в системе большевизма, которую они создали. В системе, основанной на идеологии насилия.

После гражданской войны был, как известно, провозглашен переход к гражданскому миру, к согласию. Но это было ложью, пропитавшей всю деятельность власти большевизма. Практика государственного террора стала основополагающей в политике руководства страной. Осуществлялось планомерное физическое уничтожение дворянства, офицерства, купечества, землевладельцев, духовенства, чиновничества.

Призыв к гражданскому миру совпал с кровавым подавлением восстания кронштадтских моряков, которые требовали всего лишь соответствующего представительства всех социалистических партий в Советах, протестуя против монополии коммунистической партии на власть. Из тех 10 000 кронштадтских моряков, которые остались в крепости после подавления восстания, 6500 были осуждены к различным срокам заключения, а 2000 расстреляны. Жертв было бы больше, но, предчувствуя жестокую расправу, наиболее активная часть восставших ушла в Финляндию.

В ходе следствия от каждого арестованного следователи требовали прежде всего назвать «сообщников». Далее следовал арест «сообщников», от которых требовали того же самого. Таким образом скорость вращения репрессивного маховика постоянно возрастала.

Репрессии применялись не только к участникам кронштадтского восстания, но и к гражданским лицам, не

имевшим никакого отношения к кронштадтским событиям, а лишь проживавшим в Кронштадте.

С весны 1922 года началось массовое выселение жителей Кронштадта. Выселению подлежали в первую очередь те, чьи родственники были расстреляны, осуждены и пропали без вести, а также исключенные и вышедшие из партии. Только с 1 февраля 1922 года по 1 февраля 1923 года были высланы как кронмятежники и члены их семей — 1963 человека. Аресты и высылка проводились и в последующие годы.

Широкое распространение получило взятие заложников. Заложниками брали не только членов семей участников кронштадтских событий, но и тех, кто не имел никакой связи с Кронштадтом. В качестве заложников брали даже детей. Брали заложников и после того, как Кронштадт пал.

С помощью массового террора власти надеялись покончить с антибольшевистскими выступлениями, которые прокатились по России широким фронтом.

Столь же суровым репрессиям были подвергнуты участники многочисленных крестьянских выступлений, в том числе в Поволжье, на Дону, в Западной Сибири. Летом 1922 года в Москве был организован публичный процесс над лидерами партии правых эсеров. Руководство этим судилищем осуществляла специальная Комиссия, созданная ЦК РКП(б).

В Петрограде по так называемому делу Таганцева было расстреляно 120 бывших офицеров царской армии, среди них Николай Гумилев. Преследованиям подверглись церковные деятели. Осенью 1922 года из России выслана большая группа научной интеллигенции — в их числе ученые-историки, философы, экономисты, выдающиеся исследователи с мировой известностью.

Эти факты опровергают мнение о том, что примерно с 1922 года прекращаются репрессивные меры, применявшиеся ранее ЧК, а затем ГПУ. Репрессии не прекращались. Они обрушились на политических противников Сталина в самой партии. Люди подвергались тюремному заключению и ссылке только за то, что, находясь в рядах правящей партии, имели свое мнение, расходящееся с мнением «руководящего ядра».

Во второй половине 20-х годов был нанесен удар по старой инженерно-технической интеллигенции. В 1928 году большая группа инженеров и техников была осуждена

в ходе известного процесса — «Шахтинское дело». Чуть позднее организовали процесс по делу «Промпартии», а затем последовали процессы «вредителей» чуть ли не во всех отраслях народного хозяйства, начиная с тяжелой и оборонной промышленности и кончая легкой, в том числе в табачной и парфюмерной.

Возникают дела «Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)» и «Трудовой крестьянской партии». В эти же годы подвергается гонениям большая группа ученых в связи с так называемым «Академическим делом». По следственным материалам оно значится как «Всесоюзный Союз борьбы за возрождение свободной России». Возникло это дело еще в конце 1929 года и сопровождалось шумной кампанией против Академии наук, большой группы ученых Москвы, Ленинграда и других городов.

По делу проходило 115 человек, среди которых такие ученые, как С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, Н. П. Лихачев, А. Е. Пресняков, С. В. Рождественский, М. К. Любарский, Ю. В. Готье и другие. Вместе с ними были арестованы и некоторые видные деятели советской художественной культуры. Им предъявлялось ставшее тогда стандартным обвинение в подозрительных связях с представителями эмиграции, с иностранными общественными и государственными деятелями. Жизнь многих из них трагически оборвалась в лагерях и ссылках.

Изучение всего этого еще впереди.

До сих пор идут споры, каково же общее число жертв репрессий?

Нужно признать, что пока нет точных данных, которые бы опирались на достоверные документы и которые бы говорили точно о масштабах всеобщей, всенациональной трагедии.

Называются разные цифры, различия между ними огромны. Такой проницательный человек, как академик Вернадский, глубина суждений и точность анализа которого поражает, оценивая события второй половины 30-х годов, записал в своем дневнике в январе 1939 года о том, что «приводится цифра 14—17 миллионов ссыльных и в тюрьмах. Думаю, что едва ли это преувеличение». Да, у современников счет жертв репрессий шел на миллионы, и не только у Вернадского.

Опубликованы цифры жертв репрессий, основанные на документах, которые хранятся в Центральном архиве Октябрьской революции. С 1930 по 1953 год они опреде-

ляются примерно в 3,7 миллиона человек, в том числе 765 тысяч расстрелянных. Эта цифра официально предложена КГБ. Ее в 1954 году сообщил Хрущеву министр внутренних дел С. Круглов (кстати, сам активный участник массовых репрессий, один из организаторов депортации народов Северного Кавказа, известен особой жестокостью при осуществлении этой акции).

При первой же серьезной проверке специалистами стало ясно, что эта цифра сильно занижена. В ней не учитывается количество заключенных во внутренних тюрьмах НКВД, а они в те годы были переполнены, не проанализирована смертность в лагерях для политических, игнорируется число репрессированных крестьян, депортированных народов.

Таким образом, официально признана цифра в 3,7 миллиона. К этой цифре надо добавить 3,4 миллиона человек, подвергшихся репрессиям во время коллективизации в 1930—1932 годах, 3,3 миллиона репрессированных народов. Это уже составляет более 10 миллионов человек.

К сожалению, все эти данные опираются на отрывочные статистические материалы или на приблизительные подсчеты историков.

Нужны серьезные исследования этой проблемы с привлечением всех имеющихся материалов и всех ведомств.

Репрессии по политическим мотивам были одной стороной политики государственного террора. Другой ее стороной выступала широкая карательная политика в целом. Опубликованные документы дают представление о масштабах такой политики. Только по Российской Федерации с 1923 по 1953 год по неполным данным общая численность осужденных составляет более 41 миллиона человек.

Конечно, среди них были лица, совершившие действительно уголовные преступления. Но среди осужденных были миллионы людей, лишенных свободы за опоздание на работу, за невыполнение обязательной нормы трудодней в колхозах и т. п. По Указам от 26 июня 1940 года и 15 апреля 1942 года за эти проступки в 1940 году было осуждено более 2 миллионов человек, в 1946 — 1,2, в 1947 — более 1 миллиона, в 1948 — 938 тысяч человек и т. д. Даже в 1953 году по этим статьям было осуждено более 308 тысяч человек. Всего за послевоенные годы за опоздания на работу и невыполнение обязательной нормы трудодней в колхозах было осуждено более 6 миллионов. Многие из них срок заключения отбывали в ла-

герях ГУЛАГа, были основной рабской рабочей силой.

За ничтожные проступки миллионы людей отлучались от семей, которые часто лишались единственного кормильца, а сами пострадавшие были обречены на тяжкие лишения, на каторжный труд.

Все они не только заслуживают милосердия и сострадания, но и слов правды об их горькой судьбе.

V.

Процесс реабилитации сложен и противоречив. Здесь приходится сталкиваться не только с политическими, юридическими вопросами, но и нравственными.

Как известно, во второй половине 30-х годов была репрессирована большая группа работников НКВД — более 40 тысяч человек. Коса террора не обходила никого.

Но что в данном случае представляет собой пострадавший?

Уже в послесталинское время довольно часто при рассмотрении конкретных дел сотрудников НКВД им отказывали в реабилитации, потому что они несут ответственность за лично допущенные беззакония. Неизбежно возникает вопрос: а подлежит ли прощению жертва, бывшая до того палачом? Строго юридически, подлежит. А нравственно?

После ареста Ягоды новым наркомом Ежовым была проведена чистка во всей системе наркомата внутренних дел. С падением Ежова Берия осуществил еще более широкую чистку аппарата НКВД как в центре, так и на местах.

Когда Ежов возглавлял НКВД, были казнены такие одиозные личности, как Агранов, Прокофьев, Молчанов, Гай, Слуцкий, Кедров, Ушаков. Со смещением Ежова полетела голова такого палача, как Фриновский.

Однако работники НКВД, сами попадая под машину беззакония, фальсификаций и безжалостных репрессий, несли наказание не за свои личные преступные деяния, но получали обычный по тем временам набор обвинений: измена Родине, шпионаж, вредительство, создание антисоветской организации, подготовка убийства Сталина.

Безусловно, эти обвинения беспочвенны. Но машина работала исправно, арестованные признавались во всех преступлениях, которые «сочинял» следователь.

Выходит, отказом этим людям в реабилитации как бы подтверждаются те фантастические обвинения, за которые

они расстреляны. Фальшивые обвинения были придуманы для них такими же «сценаристами», какими они сами были до ареста.

Как тут быть? Реабилитировать по одним статьям и судить по другим?

В этом отношении характерна судьба Ежова. После кровавых 1937 и 1938 годов, когда Ежов возглавлял работу по организации массовых репрессий, он был арестован. Суду над ним предшествовало длительное «следствие», во время которого к нему были применены все те же методы физического и морального воздействия, которые он столь рьяно насаждал. Ежов подписал все обвинения, которые против него выдвинуло следствие.

Но во время суда он отказался от этих показаний и заявил о пытках и истязаниях, которым он подвергался во время следствия. Он сказал, что теперь, после долгих месяцев следствия, пройдя тот путь, на который он обрек тысячи невинных людей, он понимает, что совершал преступления, но не те, которые ему предъявляют.

Ежов не просил сохранить ему жизнь, понимая, что приговор ему уже вынесен. Он заявил — его слова попали в протокол судебного заседания, — что накануне его посетил Берия и уговаривал признать себя виновным, обещая в этом случае сохранить жизнь. Ежов ответил, что сам много раз таким образом уговаривал арестованных, и никому не была сохранена жизнь за такое согласие. Поэтому, сказал Ежов, он не принял предложения Берии.

Другой пример. Ягоду судили и расстреляли как участника право-троцкистского заговора, к которому он не был причастен, поскольку такого заговора не существовало. Значит подлежал реабилитации, как и все другие.

Правда в том, что Ягода не подлежит прощению, но неправда в тех обвинениях, которые он принял на себя и по которым его лишили жизни.

Есть и еще группа репрессированных, оставшихся нереабилитированными. Пользуясь властью, они отправляли людей на казнь, разжигали «охоту за ведьмами», стараясь выслужиться перед Сталиным. Часто желая сохранить свою жизнь, развертывали все новые и новые репрессии. Особенно это касается «энтузиастов» на местах.

Но Сталин, бывало, наказывал и их, причем ... за незаконные репрессии, которые рассматривались как вредительство. Таков Сталин. Среди них не только работники НКВД, но партийные руководители (например, Посты-

шев). Эти люди теперь рассматриваются как жертвы. Так ли это? Справедливо ли?

Исследователи получили доступ в архивы. Хотел бы подчеркнуть еще раз, что документы, связанные с гибелью людей, требуют особо деликатного отношения. За ними не только расстрелянные и погибшие, но и живые. Те, кто выжил, те, кто участвовал в репрессиях, дети и внуки одних, других и третьих. Вот почему необходим высочайший профессионализм и человечность, чтобы, разбираясь в хитросплетениях документов, оставленных палачами и насильниками, не бросать тень на их жертвы.

Да, порой при чтении показаний возникает горькое чувство, что жертвы тоже не безгрешны, ибо оговаривали других, потом расстрелянных. Однако, стоп! Чужая боль — не своя боль. И не каждый может вынести пытки, да и непристойно искать виновных в океане крови жертв. Виновата преступная система, разделившая людей на палачей и жертвы.

Когда я писал эту главу, то не переставал думать о тех, кто и сегодня «грустит» о том страшном времени, кто борется за реставрацию прошлого, кто и сегодня ищет «врагов».

Кто они? Психически больные? Участники злодеяний или родственники их? Изувеченные ложью большевизма?

Не знаю, не могу понять, но от этого не легче.

Глава четвертая

НЕ ПРЕКЛОНИ КОЛЕНА

До сих пор проблема продолжает быть нервной. Нелегко писать о ней.
Трудно потому, что уже много сказано гневного и покаянного, непреклонно-обвинительного и милосердного. А также и блудливо-защитного со стороны тех национал-шовинистов и большевиков, которые продолжают пастись в привычной для них глумливой стае Зла, всегда готовой без жалости и раздумий вцепиться в искалеченное тело и еще больное сознание общества.
Трудно и потому, что протест нашей совести в своей очистительной работе пока что ограничен трагическими судьбами одиночек, тех, для кого Добро было не только нравственной исповедью, но и смыслом жизни.
Убежден, обществу не избежать оценки и самого себя, не избежать покаяния.

Оттепель 1956 года была первой попыткой духовного освобождения. Ее роль оказалась по-настоящему исторической. Общество обрело новое качество, когда власть потеряла силу продолжать массовые и систематические кровавые расправы над народом. Но суть системы оставалась без изменений. Идеология нетерпимости и практика преследований работали на полную мощность.

Холодный ветер не заставил себя долго ждать, ибо борьба с инакомыслием — суть большевизма, его детище. Без этого он существовать не может.

В нашем сознании сталинские репрессии вытеснили собой все другие стороны большевизма. Это объяснимо. Но большевизм еще при жизни его творца начинался именно с борьбы против любого инакомыслия — против религии в целом и любого ее направления; против любой научной школы, гипотезы, концепции, если они не соответствовали настроениям и представлениям Ульянова-Ленина

или Джугашвили-Сталина, даже против любой марксистской мысли, не разделявшейся в данный момент «вождем».

Правомерно возражение, что в исторической ретроспективе Россия тут не была исключением. Все европейские страны прошли в своем развитии через идеологические «охоты на ведьм», религиозные войны, самодурство правителей. Традиция одномыслия давняя и сильная. В государствах самодержавного типа ее и не могло не быть.

Большевизм всей мощью власти насаждал ненависть к инакомыслию. Идеология нетерпимости освящала расстрелы, доносительство, возвышала предательство. Со всеми, кто оказался за чертой официального общества из-за мыслей своих, поступали подло — тюрьмы, лишение гражданства, изгнание с работы, лишение средств к существованию.

I.

Можно ли назвать инакомыслящими политических оппонентов Джугашвили-Сталина?

По современным понятиям — безусловно. Но для него дискуссии были излишними. Он бы в них проиграл. Вместо поисков истины в дискуссиях, он создал систему, позволяющую неограниченно использовать репрессии, физически уничтожать любого человека, исключающую всякого рода колебания, сомнения, проявления «мягкотелости». Лучший враг — мертвый враг.

А с другой стороны, атмосфера всеобщего страха, подозрительности, нагнетания «бдительности» в сочетании с социальным идеализмом, наивностью немалой части общества, темноты другой его части тормозила развитие инакомыслия.

Проблема духовного сопротивления режиму еще не стояла так, как в 60-е, 70-е и особенно на рубеже 80-х годов. А средства для его силового подавления еще были практически неограниченными. Все факторы духовного угнетения, морального террора, беззакония и бесправия оставались неизмененными.

Повторяю, XX съезд подвел черту под физическими репрессиями. Отныне они становились политически трудными. Но он вовсе не устранил притязаний высшего партийно-государственного руководства на собственную непогрешимость, не устранил идущего сверху требования одномыслия.

Н. Хрущев испугался начавшихся демократических

процессов, а что касается его непосредственного окружения, то там многие были просто в панике. Оклемавшись от шока, это окружение начало планомерную реставрационную работу.

Я помню, что острие критики хранителей «священного огня большевизма» сосредоточилось на А. Аджубее — зяте Хрущева, поскольку Аджубей занимал тогда наиболее раскованную, открытую позицию в отношениях с интеллигенцией. Именно благодаря его усилиям были опубликованы некоторые произведения А. Солженицына. Прорывом к новой публицистике стала газета «Известия», редактором которой был А. Аджубей.

Сам же Хрущев не мог вырваться из пут прошлого. Уже при нем начались новые гонения на интеллигенцию. Печально известные встречи с писателями, посещения выставок и прочее показали, что руководство страны не было готово к крутому демократическому повороту, да и не хотело его.

Продолжалось насильственное формирование взглядов агрессивного типа. В этом смысле сталинская эпоха оставалась почти нетронутой. Сам Хрущев однажды воскликнул: «Сталина мы не отдадим никому!». Положение ухудшилось с принятием брежневской Конституции 1977 года, впервые установившей законодательно «руководящую роль» партии, что на практике означало усиление произвола аппарата.

Положение обостряли еще три фактора.

Во-первых, чем дольше сохранялась сталинская модель социализма, чем дольше руководство отстаивало незыблемость экономических, политических, идеологических, культурных форм этой модели, тем больше накапливалось острых проблем и противоречий в жизни общества.

Научная, общественная, творческая мысль просто не могла пройти мимо очевидного разрыва между словом и делом, идеалами и действительностью. Не всегда реакция на эти процессы была осознанной. Очень часто, особенно поначалу, она носила преимущественно формы нравственного протеста, например, деревенская проза. Появилась большая группа талантливых писателей-деревенщиков, начавшая художественными средствами показывать реальную, а не выдуманную жизнь крестьянства.

Так или иначе, но объективное «пространство проблем и противоречий» рождало все больше вопросов. Нежелание решать их толкало мысль к протесту. А расширявшиеся

гонения на инакомыслие — а точнее, на ростки свободо- и правдомыслия — в конечном счете способствовали укреплению, укоренению в обществе явления «внутренней эмиграции», неверия в возможность добиться чего-либо через официальные каналы и структуры.

Во-вторых, свою роль сыграли процессы, развернувшиеся с начала 60-х годов в странах Восточной Европы в рамках идей еврокоммунизма. При всех глубоких до противоположности различиях смысл этих процессов был один: внутри социалистической идеи и социалистической практики нарастало движение к многообразию. Раньше или позже оно должно было перелиться и в сферу отечественной мысли. Нельзя было до бесконечности отрицать само право на постановку назревших вопросов внутри государства, когда они широко начали обсуждаться в мировой общественной жизни, включая левые движения.

И здесь слепая приверженность к догмам и иллюзиям вела к поляризации общественной мысли, усиливая как свободомыслие, так и его отвержение.

Но был и **третий** фактор. Укорененные в обществе жесткие авторитарные структуры с уничтоженными демократическими отношениями, лишенные нормальных обратных связей, стали приносить особый «урожай». В партии и в государстве, в госаппаратах, в центре и на местах, в экономике и науке, культуре — повсюду стала доминировать практика такой кадровой селекции, при которой наверх, как правило, выходили малокомпетентные, не всегда порядочные, нетворческие, да и просто не умеющие и не желающие работать люди.

Система круговой поруки, групповщины, коррупции и кумовства привела к многочисленным ситуациям, когда защищались не столько одномыслие, тот или иной идеологический постулат сам по себе, но должность, кресло, связанные с ними привилегии и возможности власти. Короче, интерес сугубо личный, эгоистичный.

Все эти факторы в совокупности и предопределяли, укрепляли инакомыслие. Явление нормальное в нормальном обществе. Но в конкретных условиях страны оно порождалось и стимулировалось теми, кто употреблял мощь государства, партии, правоохранительных органов, их возможности для создания системы политического и духовного террора в интересах, не имеющих ничего общего с интересами народа, всего нашего развития. Система духовного порабощения стала прямым продолжением преж-

ней репрессивной организации, лишь вынужденно пользующейся иными методами подавления.

Снова суды по политическим мотивам, использование психиатрии, высылки за границу, лишения работы, травля в средствах массовой информации, коллективные обвинительные письма в печати. Органы безопасности усилили свой контроль за жизнью интеллигенции, разделяя ее на «подозреваемых» и на «временно неподозреваемых», на «выездных» и «невыездных», на «печатаемых» и «непечатаемых», на «награждаемых» и «ненаграждаемых».

Свою, и немалую, лепту в дело борьбы с инакомыслием внес Ю. Андропов, причем делал это осознанно, убежденно.

II.

Казалось бы, перестройка, которая несла духовную свободу, могла бы покончить с большевистской традицией нетерпимости, устыдить ее оракулов в среде интеллигенции, объединить ее вокруг долгожданной возможности свободно творить. Я, например, был искренне убежден, что свобода до предела сузит безнравственное поле дрязг, доносов, разного рода разоблачений, личных амбиций, зависти. Но не тут-то было! Все осталось по-прежнему. Только теперь критик всего и вся, соловей идеологического сыска пишет доносы преимущественно в газеты и журналы, да еще за деньги. От этого их мерзость не убывает.

Страсти накалились до предела. Все перемешалось: бывшие антисоветчики стали певцами советской власти, бывшие антикоммунисты — новокрещенными большевиками, а те, кто клеймили империю последними словами и тем самым помогали ее развалу, теперь вдруг магическим образом превратились в яростных сторонников великодержавности. Есть и такие «инакомыслящие», которые обиделись на российскую Реформацию только за то, что она лишила их заработка на разоблачении большевистского режима.

Еще и по этим причинам сложно писать о диссидентстве, ибо для одних это было делом совести, а для других — слюнявым облизыванием самого себя, собственного «я».

Пишу об этом потому, чтобы из-за отдельных честолюбцев не падала тень на действительных искателей правды.

Но не будем слишком строги. В обстановке постоянных преследований далеко не каждый был способен на свой

выбор и готов к мытарствам. И в этом тоже заключена трагедийность прошлых десятилетий, ибо многие верующие в наступление земного рая были в ладу со своей совестью. Это тоже судьба-мытарь. И нет ничего тяжелее, чем муки прозрения.

Из назвали диссидентами. В массовом сознании они отождествлялись раньше, отождествляются и сейчас с личностями и их судьбами. И оцениваются сугубо субъективно, в зависимости от того, как относится человек, скажем, к Сахарову или Солженицыну, Ростроповичу или Неизвестному, Бродскому или Шемякину, Войновичу или Максимову, Чалидзе или Кузнецову, Синявскому или Аксенову.

Между тем любое общественное явление не может отождествляться только с конкретными его носителями, диссидентство в особенности. И уж тем более оценку личности лишь условно можно перенести на явление, как и оценку явления надо по меньшей мере весьма осторожно распространять на личность.

Достаточно задаться вопросом: можно ли, правомерно ли считать всепоглощающим символом диссидентства только А. Солженицына, масштабы личности и таланта которого хорошо известны? Или А. Сахарова — личность столь же крупную, яркую и талантливую. Если кто-то ответит на эти два вопроса утвердительно, то, спрашивается, как у одного и того же явления оказываются два столь различающихся символа?

На мой взгляд, Сахаров и Солженицын соединились не по собственной воле и не логикой собственных воззрений. В свободной демократической стране они скорее были бы в разных политических объединениях. Их бросила друг к другу общая для них сила. И сила эта — протест против официальной установки на общественную нетерпимость.

Подобная идеология и психология культивировались десятилетиями. По обычной житейской логике в разные периоды они должны были давать и разные практические результаты. Уверен, что пристальный анализ явления диссидентства, если он состоится, обнаружит его многослойность и многоспектральность. Сейчас различают «первую», «вторую», «третью» волны эмиграции. На очереди «четвертая». Различия прозрачны и по времени, и по причинам, их породившим.

Явление диссидентства нуждается в особенно тщательном и честном, научно и гражданski порядочном анализе.

В нем есть свои полюса и крайности, свои прозрения и заблуждения, свои истины, но и своя ложь.

Оно необходимо нам в целостности именно как богатство, как очевидный источник духовного движения. Впрочем, как я уже сказал, это вовсе не означает, что с каждой идеей можно безоговорочно соглашаться, каждое произведение безоглядно боготворить.

У диссидентства как явления — две стороны. Одна — конкретные люди с их судьбами, идеями, поисками и переживаниями. Люди живые и ушедшие. Люди-жертвы, люди-борцы. Интересные и важные для нас не только своими взглядами, но и разрывом с конформизмом, со стадным инстинктом слепого подчинения. Они заявили открыто о своей личности и отстаивали ее перед властью, да и значительной частью общества. И, как мы сегодня видим, очень часто оказывались правы в своих убеждениях.

Здесь — одна линия анализа и оценок. Урок тоже крайне существенный: и один в поле воин, если личность. Все дела начинаются с чьего-то личного слова, несогласия, действия.

Популярная, к сожалению, мораль: «А что я один могу сделать?» — не просто неверна. Она — оправдание лени, пассивности, нежелания думать и действовать самому, одна из главнейших первопричин наших бед.

Но есть и другая сторона, на общество направленная, но и преломляющая в себе реакцию общества. Несколько десятилетий репрессии получали достаточно широкое одобрение в обществе. Есть нравственные уроды и сегодня, призывающие предать смерти своих политических противников.

На это нечестно закрывать глаза. Было и есть. И причина тут — не только дезинформированность людей. Причина — и в исторически обусловленном уровне развития общественного сознания. Не поняв этого, не сумеем разорвать духовные и политические цепи, опутавшие общество.

Что знал советский человек о диссидентах? Мало и путано. Знал отдельные имена, их судьбы. Но далеко не полностью, да и в том, что знал — преимущественно из легенд и слухов, как и от наветов и недоброго отношения. Не знал самого главного: существа их взглядов, работ и концепций, гражданских, политических, художественных позиций. Даже в отношении крупнейших фигур диссидентского мира. А за пределами пяти-шести имен чаще всего не знал никого.

В массе своей люди не знали, что такое диссидент и диссидентство. Коварно и по-своему умно подобранное иностранное слово создавало впечатление связанности лиц, которых так называют, с чем-то враждебным: с империализмом и сионизмом, НАТО и ЦРУ, вообще с чем-то международно-космополитически-нехорошим.

Но достаточно перевести это слов на русский язык, чтобы многое автоматически стало на свои места. «Инакомыслящие», «инакомыслие». Что здесь априорно преступного? Почему мыслить инако — значит идти против закона и общества, как минимум совершать нечто зазорное? Кто и по какому праву установил порядки, при которых все должны мыслить одинаково, и только одинаково? И как именно? По отношению к чему, к какой точке отсчета вдруг меняется — а мы знаем, что она менялась со сменой действующих лиц, политической конъюнктуры, — то отсюда следует одно: формируется беспринципность, аморальность.

Сегодня-то мы знаем, что именно так и происходило в действительности. Остается лишь посожалеть о том, что мало кому в голову приходило попытаться развенчать этот трюк с переводом.

Диссидентство многообразно. На одном полюсе — творцы, мыслители, художники. На другом — местные правоборцы, чудаки, часто просто неуживчивые, «конфликтные» люди. Такие есть в каждом коллективе, каждой деревне или поселке и уж, конечно, в городах. С позиций начальства такие люди очень «неудобны». И в зависимости от того, насколько жестко с ним обращаются в кругах официальных, такой человек вызывает к себе и сочувствие, и сожаление, а иногда и неприязнь окружающих.

Из этих разных жизненных представлений и составляется в общественном сознании образ диссидента. И выпадает из этого образа самый распространенный, наименее известный, более всего претерпевший и потенциально весьма важный для общества тип иначе думающего: не звезды первой величины, но и не деревенского чудака. А люди, отмеченные способностями и знаниями, нравственностью и гражданской активностью. Люди, которым действительно было что сказать согражданам, но как раз по этой причине они и преследовались.

Предстоит еще много открытий. Любой социолог, которому дали бы прочитать перечень запрещенных к опубликованию сведений, без долгих раздумий легко сделает вы-

вод, что перечень этот продиктован желанием скрыть от общественности неприятную для ведомств информацию. И когда прочитаем сегодня, завтра, послезавтра статьи, эссе, книги авторов-диссидентов, еще сотни раз будем задаваться вопросами: «Господи, да за что же преследовали этих людей? Что антигосударственного находили в этих выводах и предложениях?».

Но именно обоснованность выводов, здравость предложений и выдавались за антисоветизм. И коль скоро сегодня соглашаемся с очевидностью такого анализа и заключений, должны согласиться и с другим: те, кто мучительно додумывался до всего этого, с риском для себя и своей семьи высказывал свои мысли, возможно, и были по-своему чудаками, но уже без всяких сомнений — настоящими патриотами Родины.

Несправедливо считать, что политика преследований была направлена только против свободомыслящей части писателей, художников, ученых, творческой интеллигенции вообще. Она была нацелена вообще против всего самостоятельного, инициативного, самобытного, ищущего.

И в числе тяжелых ее жертв — хозяйственные кадры. Трагедия новаторов экономики в том, что они просто не могли успешно, с пользой действовать, ничего не нарушая. Что, начиная работать по-настоящему, они немедленно показывали одним своим примером возможности, искусственно загоняемые под спуд. И подвести их под уголовное наказание ничего не стоило. Но в любом случае наказывалось стремление к свободе, творчеству, инициативе и самостоятельности.

Экономическая глава диссидентства, в отличие от других, еще даже не приоткрыта.

Предстоит открыть для себя десятки имен честных практиков всех отраслей, писателей, ученых и публицистов, людей всех направлений деятельности и мысли. Открыть и с горечью понять, как много из того, над чем мучаемся еще сегодня, было проанализировано, понято, осмыслено и десять, и двадцать, и тридцать, а кое-что и 50—60 и более лет назад.

И горечь здесь не только в том, что потеряны годы и десятилетия для решения задач — потеряны в угоду извращенным, деформированным интересам. Куда горше и обиднее понимать, что сегодня зачастую открываем заново давно открытое, изобретаем изобретенное. Если бы мысли, идеи, предложения не утаивались, не загонялись в

спецхраны, а были обнародованы и проходили нормальную проверку жизнью, то и развитие общества приобрело бы естественный характер.

Потерянное время не возвращается, и наши внуки выходят на тот уровень мышления, который вполне мог бы стать достоянием их дедов.

Но почему все-таки диссидентов называли диссидентами, а не как-то иначе? Почему в общем-то реже — особенно когда не возбуждалось «уголовное дело» — называли их антисоветчиками? Почему так велико было искушение признать их психически ненормальными, больными?

Да потому, что иначе миф и злой умысел развеивались бы незамедлительно, поскольку изначальные, как мне представляется, помыслы и намерения инакомыслящих были простыми: разобраться поглубже в господствующих теоретических положениях; проанализировать те или иные стороны, проблемы бытия, противоречия реальной, а не бюрократически отглаженной и причесанной жизни; выйти на какие-то практические рекомендации, предложения, решения.

Иной, конечно, вопрос: правилен ли в каждом конкретном случае был анализ, обоснованы ли выводы, реалистичны ли оценки и предложения. В конце концов, в свободном и демократическом обществе все это может и должно быть предметом научных и общественных дискуссий. Но в том-то и дело, что наше общество не было ни свободным, ни демократическим. Каждый самостоятельный шаг воспринимался тоталитарными структурами непременно как покушение на власть и авторитет.

А поскольку нерешенные и нерешаемые проблемы накапливались, а противоречий между словом и делом становилось все больше, то росло и число критиков, искренне не понимавших, почему нельзя попытаться изменить положение дел к лучшему. Росла и сила их аргументации. Росла объективно и степень исходившей от них угрозы всем тем, кто мог, но не хотел действовать, кто занимал государственные и партийные посты, носил научные и иные звания не по заслугам, не по квалификации и знаниям, не по человеческой порядочности, наконец.

Страна теряла не только от культивируемой безнравственности. Не только от духовного торможения. Не только от падения престижа за рубежом. Но и от того малозаметного, но грозного явления, что зрело в недрах общества. Постепенно все большее число людей приходило к выводу,

что они бессильны изменить что-то к лучшему. Нарастали равнодушие, апатия, пассивность. Укреплялась двойная мораль. Шел распад общественных связей.

Удар по любым проявлениям свободомыслия и инициативы обернулся и другим грозным явлением. Равнодушие, самоотстраненность людей вели к тому, что многие болезни нравственного, социального, технологического, хозяйственного порядка стали загоняться вглубь. Не возникало необходимости и потребности брать на себя дополнительную или даже минимальную ответственность кому-то что-то доказывать, пусть и без риска для жизни и карьеры. Не одно преследование инакомыслия тому причиной. Но оно сыграло свою заметную и крайне деструктивную роль.

Вспышки народного гнева в прошлом часто были сигналом для правящих кругов, указывающим те пределы, за которые власти заходить не могут. Думаю, продолжайся застой и дальше, мы еще не скоро встретились бы с социальным взрывом, хотя он был исторически неизбежен. Но росло бы мелкое и крупное воровство, увеличивалась бы апатия, а тем самым и все болезни общества загонялись бы на такую глубину, из которой просто не могло быть быстрого и неразрушительного выхода. А возможно, и выхода вообще.

Если старое, дореволюционное общество жило в постоянном страхе перед возможностью нового Пугачева или Разина, то общество, подавляемое политикой нагнетания страха, должно осознать: взрыв куда более жестокий, разрушительный, дегуманизирующий может дать доведенная до абсурда жизнь по официальным планам, указаниям и наставлениям в сочетании со всеобщим равнодушием и безответственностью.

Борьба с инакомыслием в брежневское и андроповское время — это зародыш, бацилла репрессий, это перманентная угроза их возрождения, это атмосфера и условия, в которых возврат к репрессивной практике облегчен и вероятен.

И коль скоро мы прощаемся со всем тем, что было в нашем прошлом постыдного, свое место в этом ряду должно занять и диссидентство.

Морального оправдания преследованиям инакомыслящих быть не может. Объективно они культивировали безверие, приспособленчество, цинизм, освобождение от нравственных норм и ограничений.

Стоит ли удивляться, что в такой атмосфере стали возможны те научные, хозяйственные, управленческие решения, что оборачиваются сегодня Чернобылем и гибелью Арала, взрывами нефтепроводов и десятками тысяч никому не нужных танков, гибелью российской деревни и потерями культурных ценностей.

Практический урок в том, что государство не может быть повернуто против творческой, самостоятельной, инициативной личности без глубочайшей стратегической, долговременной угрозы и для самого государства, и для общества в целом. Ни против ученого, художника, хозяйственника, крестьянина, политика. Ни, тем более, против всех вместе.

Но тяжесть преступлений большевистского режима не только в жертвах миллионов невинных людей, в трагедиях их семей, в создании обстановки зловещего страха. Она еще и в том, что продолжает жить сознание, исковерканное ненавистью, поисками «врагов», подозрительностью.

Конечно, демократизация и гласность продвинули общественное сознание достаточно далеко. Но сколько еще нетерпимости живет в наших душах, сколько проклятий раздается на митингах и собраниях в отношении тех, кто имеет другую точку зрения. А в ярлыках, поношениях и оскорблениях дефицита все меньше и меньше.

Как это очевидно, массовые репрессии — не только страницы тяжелого прошлого. Это и наша современность, наше общественное сознание сегодня, наша политическая культура, наше отношение к демократическим ценностям, мера ответственности за судьбы общества.

К сожалению, болезни прошлого излечиваются медленно, с трудом. Трудный, противоречивый, зигзагообразный путь освобождения от большевизма, от его проявлений во всех областях жизни замедляет процесс демократизации. К тому же, социально-экономическое состояние общества не благоприятствует этому процессу.

Нынешнее нравственное состояние общества — это следствие насаждавшихся годами норм безнравственности, бездуховности. Мы находимся в тревожном ожидании того, что принесет нам очередной виток истории.

Пока что ясно одно: для того, чтобы честно взглянуть в будущее, чтобы активно влиять на него, мы должны понять, что было с нами в прошлом, почему оказалась возможной расправа с великим народом.

Мы должны это познать, иначе нашим метаниям и нетерпимости не будет конца.

Глава пятая

НЯНЬКИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови...

А. Блок. Двенадцать

Хотелось бы сразу же оговориться, что эта глава не претендует на какое-то подробное изложение истории и теории внешней политики послеоктябрьского периода. Я беру только те концептуальные установки, которые определяли отношения с «другим миром».

Понятно, что опоры, на которых строилась советская внешнеполитическая доктрина, — классовый подход, помощь освободительным движениям, непомерная милитаризация, — оказались гибельными, они способствовали обнищанию страны.

Но все ли тут столь однозначно? Далеко не все. Ни одна из действующих сторон не может претендовать на святость.

Обе стороны — няньки холодной войны, начавшейся в 1917 году.

Больше того, считаю, что политика открытой вражды к России была ошибочной. То ли Запад переусердствовал от испуга, то ли возобладала идея стратегического ослабления России.

Конечно же, большевистские власти хотели отгородиться от остального мира. Но зачем Запад принял эту игру, часто путая политику с идеологией. Копировали друг друга и пропагандистские усилия. Но если на «антиимпериалистическую» пропаганду мало кто за рубежом обращал внимание, то «антисоветская» нередко настраивала советских людей не столько против собственного правительства (как, видимо, предполагалось), сколько против «враждебного империализма», укрепляя тем самым существующий режим большевизма, облегчая его существование.

I.

И Маркс, и Энгельс, и Ульянов-Ленин написали немало страниц, посвященных делам международным. В некоторых из них можно обнаружить оправдавшиеся прогнозы, меткие характеристики политики и политиков.

Но доминантой размышлений отцов учения была вера в мировую пролетарскую революцию, ради торжества которой можно и должно было попрать чахлые нормы международного права, равно как и нормы морали во взаимоотношениях между государствами. Это замечание вовсе не говорит о том, что нормы поведения государств того времени были основаны на морали. Они были весьма далеки от этого.

Фундаментальная ошибка Маркса, считавшего, что капитализм обречен и сходит со сцены, и столь же фундаментальное заблуждение Ульянова-Ленина, что «империализм есть канун пролетарской революции», обесценивают то рациональное, что содержится в их рассуждениях о политике минувших времен.

Маркс и Энгельс поддерживали связь с российскими революционерами, но по существу Россия была вне поля их главных интересов. Самодержавная Россия представлялась неким жандармом Европы, угрожавшим Европе, готовой якобы к революционному взрыву. Больше того, в письмах вероучителей проскальзывают даже некие сомнения в «полноценности» славян, в их способности добавить нечто существенное в копилку цивилизации.

Так что ни о каких прямых заветах марксизма для его российских последователей в том, что касается внешней политики, и речи не может быть. Поэтому говорить о том, что международная политика большевиков полностью опиралась, как они утверждали, на указания марксизма, не приходится. Это выдумка.

Если взять первоначальный период деятельности большевиков после раскола на II съезде РСДРП в 1903 году, внимание Ульянова-Ленина и его сподвижников концентрировалось на внутренних российских делах, сварах с меньшевиками, интернациональных баталиях с социал-демократами, особенно в преддверии первой мировой войны.

Следует заметить, однако, что еще в русско-японской войне большевики заняли пораженческую позицию. Когда грянула мировая война, они вновь взывали к поражению России и нещадно клеймили своих недавних духовных со-

братьев из воюющих стран за поддержку собственных стран и собственных правительств. Чем хуже, тем лучше. Чем хуже положение в стране, тем ближе революционный взрыв — таков был расчет.

Не случайно, что как только предоставилась возможность, кайзеровская Германия помогла Ленину и его товарищам выбраться из эмиграции и вернуться в послефевральскую Россию 1917 года. Берлин тех лет воспринимал большевиков как ценное свое подспорье в сражениях на Восточном фронте. По расчетам германского генерального штаба, они должны были способствовать развалу тыла, а затем и фронта, и без того погружавшихся в хаос.

Агитация большевиков против войны помогла им придти к власти. Их первые шаги на внешней арене были достаточно эффектными. Я имею в виду в первую очередь «Декрет о мире». Правительство предлагало воюющим странам заключить «немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций».

Однако уже здесь сугубо практический подход соседствовал с революционным мессианством, с обращением, цитирую, к «сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств: Англии, Франции и Германии» совместно с российскими пролетариями «успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации».

Большевики возвещают о своем разрыве с тайной дипломатией, приступают к публикации внешнеполитических документов Временного правительства. Позднее, в январе 1918 года, на III съезде Советов принимается «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой возвещается об учреждении Советской Российской Республики на основе свободного союза свободных наций как федерации советских национальных республик.

Святые намерения, напрочь забытые в практической политике.

Во всех ранних внешнеполитических декларациях большевистского правительства уживаются, соседствуют — и это бросается в глаза — практические предложения и проповеднический пыл, утопии и тайные расчеты. Только теперь становится известно, что наряду с велеречивыми публичными воззваниями замышлялись, готовились

и проводились военные акции по подавлению так называемых «окраин». Из скудного бюджета обнищалой страны выделялись средства для «подталкивания» революций в других странах, учинялись провокации против неугодных соседей.

Тогда же создается III Коммунистический Интернационал, который впоследствии шаг за шагом превращается в важный инструмент не только внешней политики, но и советской разведывательной службы. В 1943 году Сталин, заинтересованный в укреплении сотрудничества в рамках антигитлеровской коалиции, без особых церемоний распускает Коминтерн.

Многое вобрала в себя история большевистской внешней политики. Она трансформировалась с течением времени, претерпевала существенные изменения. И было бы неправильно считать, что все ее деяния — от лукавого.

И было бы определенным упрощением воспринимать международный курс большевизма как нечто цельное, прямолинейное, у него множество лиц. В одних случаях он определялся идеологическими пристрастиями, в других — чисто практическими, по сути своей государственными нуждами, в третьих — имперскими амбициями.

В истории соседствуют невыдуманная борьба с интервенцией Антанты и подавление ростков независимости на обширной периферии рухнувшей Российской империи.

Резкое осуждение Версальского договора как грабительского, а затем и гитлеровского нацизма, и тайное, достаточно широкое сотрудничество с той же нацистской Германией, вплоть до подготовки на советской территории немецких летчиков и танкистов.

Борьба с франкизмом в Испании, неудавшийся роман с западными демократиями и циничная сделка с Гитлером, соучастие в разделе чужих территорий и чужих земель.

Реальная помощь другим государствам в их борьбе за независимость — и тут же Венгрия, Чехословакия, Афганистан.

Бесконечные клятвы в приверженности идеалам мира, принципу мирного сосуществования и постоянная, неотступная подготовка к войне, гонка вооружений.

Куда как пестрая картина. Она создавалась не только Москвой, но и Западом, не упускавшим ни единой возможности сделать жизнь Советского Союза трудной, полной вызовов и тревог.

Наверное, можно с известной долей условности и до-

стоверности разделить внешнюю деятельность на различные периоды, когда на первый план выходило то одно, то другое. И все же основные целевые установки сохранялись, даже когда для этого оставалось все меньше и меньше оснований.

Вот здесь и возникает основное противоречие, которое оказалось действительно антагонистическим. С одной стороны мессианская идея мировой революции, а с другой — жесткий прагматизм, диктуемый интересами выживания государства и его социального устройства.

По сути своей мистический подход, объясняемый мессианскими интересами, легко поддавался расшифровке — это курс на мировой пожар. Никто иной, как Ульянов-Ленин, именовал юную РСФСР «очагом всемирного социалистического пожара». Он с первых дней после триумфа большевиков не уставал повторять, что нельзя победить самых могучих империалистических гигантов всего света «без самой могучей, столь же охватывающей весь мир, пролетарской революции».

В какой мере эта установка сопрягалась с жизненными интересами населения, измаянного империалистической и гражданской войнами, говорить не приходится. Но действительность оказалась неблагосклонной ни к большевистским предвидениям, ни к их усилиям раздуть очаги революции в Венгрии, Германии, Польше и в других местах.

Как минимум, тактика, но, конечно же, и стратегия, нуждались в корректировках. Однако произвол идеи оказался выше живой действительности. Горячечные ожидания мировой революции постепенно выветривались, но на политико-идеологическом уровне постоянно и настойчиво возбуждались.

Под эту идею строилась и военная машина. Основные экономические ресурсы страны направлялись в тяжелую индустрию, в военную промышленность. Хозяйственная автаркия стала своего рода символом веры. Страна, ее экономика и сознание милитаризировались. Мотив? Превратить страну в неприступную крепость, а затем и в базу наступления.

Из той же идеи мессианства выросла и практика использования и насаждения противоречий в противоположном стане. Ничего необычного в самой этой установке нет. Дипломатия — большая игра, и каждый в ней ищет партнеров, союзников, чтобы переиграть соперника.

Ульянов-Ленин говорил достаточно откровенно: «Наша

внешняя политика, пока мы одиноки и капиталистический мир силен, ... состоит в том, что мы должны использовать разногласия (победить все империалистические державы, это, конечно, было бы самое приятное, но мы довольно долго не в состоянии этого сделать)».

И далее мысль развивалась в том русле, что Версальский мир ставит Германию в такое положение, когда она будет естественно тяготеть к сотрудничеству с Россией.

Эти размышления вполне резонны. Во многом они оправдались, и большевистская Россия в Рапалло в 1922 году заключает договор с Германией, со странами Балтии, с Польшей.

В массовой пропаганде и заявлениях «вождей» всячески демонстрировались миролюбие и растущая сила. «Нас не тронешь, мы не тронем». СССР вступает в Лигу наций. Вроде бы со всеми влиятельными странами устанавливаются и поддерживаются дипломатические отношения.

Но Коминтерн действует, исправно выполняя свои функции одного из внешнеполитических инструментов советского государства.

Игра на противоречиях велась с размахом, каких-либо этических, моральных ограничителей в этой игре дипломатия просто не знала. Благородная поза об отказе от тайной дипломатии и переходе к дипломатии открытой была быстренько предана забвению. Лукавство и лицемерие, столь свойственные истории дипломатии вообще, были полностью освоены советской внешней политикой.

Параллельно с заигрываниями с пацифистскими кругами буржуазных государств (хотя известно, что пацифизм большевики никогда, мягко выражаясь, не жаловали) велась достаточно целеустремленная работа по поддержке антиправительственных, оппозиционных сил в других странах.

Государственный кошелек из года в год потрошился в интересах коммунистических и иных революционных партий, в которых видели сильный фактор влияния на положение дел в той или иной стране, хотя чаще всего это был самообман. Нередко бессмысленной была и разведывательная деятельность, сводившаяся к переписыванию газетных статей и собиранию слухов.

Я застал эту практику в бытность свою послом в Канаде и попробовал, хотя и робко, выступить против нее. Ничего не получилось. Разве что очередная порция раздражения начальства была доведена до моего сведения.

Я помню, когда в 1979 году из Канады было выслано 13 дипломатов и их жен, то после моих предложений, направленных в Москву, я получил от Андропова — Крючкова телеграфный выговор, указующий, что я не понимаю задач советской разведки на северо-американском континенте.

Впрочем, замечу, что «подкормка своих» отнюдь не представляет собой монополию большевизма. Это рутинная практика и западных демократий. Не советская внешняя политика изобрела все это, включая и разведку.

Идеологическое ослепление, нетерпимость к инакомыслию и инакодействию привели к расколу социал-демократии, инициатором которого был Ульянов-Ленин. В результате, после многочисленных перегруппировок, появились многочисленные направления, по-разному толкующие социалистическую идею. Основные из них — социал-демократия, национал-социализм и интернационал-большевизм. Последний в неизлечимом идеологическом ослеплении повел тотальную борьбу с социал-демократией. Даже прямая угроза со стороны фашизма ни на йоту не ослабила решимости наследников Ленина рассчитаться с социал-демократией как своим смертельным врагом.

Важнейшим принципом внешней политики была поддержка революционных и национально-освободительных движений. Этому следовали и в первые годы после октябрьского переворота, и в последующие годы. На этом направлении тоже практическая политика чем дальше, тем резче расходилась с заявленными намерениями.

Думаю, по первости лидеры большевиков были искренни в своих грезах о мировой революции. В колониальных и угнетенных народах они видели своих союзников и союзников всемирного пролетариата. В 1920 году, отвечая на вопрос зарубежного журналиста относительно планов в Азии, Ульянов-Ленин говорил так: «Те же, что в Европе: мирное сожительство с народами, с рабочими и крестьянами всех наций, просыпающимися к новой жизни, к жизни без эксплуатации, без помещиков, без капиталистов, без купцов».

После первых успехов в гражданской войне в большевистской верхушке подумывают о походе на Индию для избавления ее от английского владычества, что должно было бы вызвать «эффект домино». Но неудачи в войне с Польшей, разруха в своей стране заставляют притормозить мечту. Хотя интерес к Китаю, Индии, другим восточным

странам не угасает. Москва и КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока) помогают готовить кадры революционеров, дают средства, оружие.

В 30-е годы Советский Союз политически и морально выступает в поддержку тогдашней Абиссинии, ставшей жертвой агрессии фашистской Италии. Многое делается для поддержки республиканской Испании. Значительная помощь, в частности, военной техникой, да и специалистами соответствующего профиля, направляется в чанкайшистский Китай, вынужденный противостоять японской экспансии.

Но и эта установка внешней политики, я имею в виду помощь в борьбе с колониализмом, с течением лет обретает заметные эгоистические черты. При оценке конкретных ситуаций в других странах второстепенное возводится в абсолют, главное отступает в тень, а то и предается шельмованию. Все, или почти все, сводится к противостоянию США и СССР.

Из истории не выкинуть отношение Москвы к Махатме Ганди, великому сыну XX века, ее презрение к движению «непротивления злу насилием», движению, которое принесло Индии независимость.

Как уже подчеркивалось, мессианство переплеталось с прагматизмом. В первую очередь надо было выжить. Показательно, что Ульянов-Ленин, ратуя за экономическое сотрудничество с капиталистическими странами, за предоставление им концессий, убеждал своих менее гибких товарищей, что «концессия есть продолжение войны, только в иной форме». Логики тут нет, но прагматика очевидна.

Тогда-то и возник лозунг «мирной передышки», именно передышки. Был взят курс, как тогда говорилось, на «мирное сожительство» с буржуазными странами. Но политика большевистских вождей исходила из посылки, что страна представляет собой «осажденную крепость». В известной мере она и была таковой. Но создавшееся положение активно использовалось большевистским руководством в целях укрепления своей власти.

Ход событий убедил Ульянова-Ленина и его коллег, что мировая революция уходит за исторический горизонт, а потому надо переориентироваться исключительно на внутренние дела.

II.

Фактически уже в предвоенную пору советская внешняя политика утрачивает свой мессианский характер и обретает отчетливые прагматико-империалистические черты.

Переломным рубежом в этой эволюции стали позорные секретные протоколы к пакту Риббентропа — Молотова — венец игры на противоречиях по-большевистски.

Мне как председателю Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года, созданной Съездом народных депутатов, пришлось в 1989 году изучить тысячи страниц, посвященных этому периоду истории. Эти страницы полны примеров коварства, предательства, цинизма и политической близорукости.

Достоинство и честь страны позднее были спасены народом в войне, которая по праву зовется у нас Отечественной. Но цена была уплачена неимоверно высокая. И здесь нас тоже ждут горькие прозрения и трагические открытия.

Повторяю, я не пишу историю внешней политики. Это даже не очерк. Мне хотелось обратить внимание лишь на основные черты этой политики, показать ее истинный цвет за слоем румян и белил, которые щедро употреблялись казенной пропагандой.

Еще при Сталине, а затем особенно шумно при Хрущеве заговорили о мирном сосуществовании, более того, «длительном мирном сосуществовании». Эта концепция продолжала политику «мирной передышки».

Обращаю внимание, «мирной», но всего лишь «передышки», «сосуществовании», но не навсегда, а «длительном».

Жизнь поджимает, а догмы все равно продолжают господствовать. Одни иллюзии испаряются, но появляются новые, еще более нелепые. Несмотря на многие разочарования, вера в победу, если не мировой революции, то в победу над капитализмом в мирном соревновании, оказалась живучей.

Ободряло наследников Ленина и Сталина возникновение социалистического лагеря, затем переименованного в социалистическое содружество, революция в Китае, крушение колониальных империй.

«Смотрите, — восклицал в узком кругу Л. Брежнев, — и в джунглях хотят жить по Ленину!».

Мирное сосуществование объявляется особой формой классовой борьбы, а борьба двух противоположных систем — социалистической и капиталистической — стержнем мировой политики.

Меняются слова, лозунги, пропагандистское оформление, но приверженность пресловутому классовому подходу сохраняется, хотя фактически еще со сталинской поры большевистская внешняя политика, хочу повторить, постепенно утрачивает революционные вожделения.

Об этом, конечно, больше и внятнее говорят не слова, а дела, поступки не столь давно минувшего времени. 1953 год, когда «наводили порядок» с помощью танков в Восточном Берлине, 1956 — подавление народного восстания в Венгрии, 1968 — удушение Пражской весны, 1980 — бешеное давление на Польшу. Наконец, позор в Афганистане.

Я называю всем известные факты, но много было и незримого, скрытого от глаз, столь же скверного.

Конечно, социалистическое содружество являло собой странную империю. О покорности вассалов не могло быть и речи. Не только Китай Мао Цзэ-дуна тому пример. Свои политические игры были у всех без исключения. Особых привилегий, экономических выгод из существования «социалистического содружества во главе с Советским Союзом» сам Советский Союз не извлекал. Да и материально люди продолжали жить скудно, хуже, чем в других странах Содружества.

Главной причиной тому было, конечно, не сотрудничество с «братскими странами социализма». Коренные пороки лежали внутри страны, а ключевым внешним фактором явился новый виток особо дорогостоящей холодной войны.

Ее последствия для народного хозяйства СССР, а точнее говоря, для жизненного уровня населения, были тяжелыми, если не сказать тяжелейшими. Экономика работала не на то, чтобы обеспечить достаток потребительских товаров, жилья, всевозможных услуг, а на укрепление вооруженных сил. Накапливались горы достаточно изощренного оружия, а на смену им шли новые, еще более дорогостоящие поколения вооружений. Гонка вооружений продолжала разорять народ.

И здесь самое время сказать о том, что постепенно политическая власть превращалась в военную. Этому способствовали войны, нагнетание психологии осажденной крепости ради сохранения тоталитаризма. Милитаризация

достигла чудовищных размеров. Военно-промышленный комплекс стал независимым от общества. Его охраняли силовые структуры, ставшие государством в государстве.

Иными словами, военные структуры и фабриканты оружия постепенно выходили из-под контроля политической надстройки, сохраняя ее лишь в качестве удобного прикрытия, театрального занавеса.

Они часто играли откровенно провокационную роль. Будучи противниками любой разрядки, они все делали для того, чтобы усилить военное противостояние.

Несколько примеров. Практически сразу или почти сразу после того, как было достигнуто первое советско-американское соглашение об ограничении стратегических вооружений, Советский Союз развертывает на своей территории ракеты СС-20, по советской классификации «Пионер». Ракет устанавливается такое количество, что для них, похоже, уже не хватало целей. Американцы немедленно размещают свои ракеты, теперь уже недалеко от советских границ.

Все это сильно подорвало безопасность нашей страны, с военно-стратегической точки зрения наши действия были провокационно-преступными.

Для осуществления немыслимо дорогостоящего военного переоснащения границы с Китаем было использовано советскими «ястребами» ухудшение советско-китайских отношений. Высший генералитет утверждал, что страна должна быть готова к войне «по всем азимутам». Вот оно «мирное сосуществование как особая форма классовой борьбы» в практических делах!

Еще раньше наши военные, проиграв войну с Израилем за шесть дней, страшно обиделись и принудили советское руководство к разрыву дипломатических отношений с этой страной. В результате эта часть мира стала чрезвычайно взрывоопасной, превратилась в один из источников международной напряженности, что, кроме всего прочего, послужило поводом для подталкивания антисемитизма. Еще один враг — внутренний и внешний — был найден, что было в интересах военных и карательных служб.

С американской стороны тоже хватало и «медных» лбов и жестких политиканов. Вспомним хотя бы Вьетнам.

Классовый подход, изначально являвшийся суперустановкой для большевистской дипломатии, со временем стал скорее словесным орнаментом, а фактически проводился достаточно очевидный великодержавный, а используя вы-

ражение наших китайских соседей, гегемонистский курс. Афишируемое рыцарство линяло, обнажая нечто противоположное.

Примечателен эпизод, пришедшийся на 1950 год.

Прошло почти пять лет после завершения второй мировой войны, несколько месяцев после торжества китайской революции. Мао Цзэ-дун наносит визит Сталину. И что же? Примерно два месяца китайского триумфатора держат на подмосковной сталинской даче, кормят, поят, но прием у Сталина все откладывается. Великий вождь занят.

Китайские соратники Мао говорили, что их лидер с большими колебаниями собирался в Москву, даже боялся ареста. Но все же, когда дистанция между двумя «великими» была обозначена, прием состоялся. Как утверждают немногие очевидцы, Сталин развернул перед китайским лидером свое видение завтрашнего дня. Он предложил раздел сфер влияния: Советскому Союзу — Европу, Запад; Китаю — Азию, Восток. В собственно советско-китайские отношения вводились элементы вассальной зависимости Китая от СССР.

Позднее это аукнулось большой бедой. Возвеличенная в песнях, лозунгах и речах советско-китайская дружба рухнула.

III.

Многое сплелось во внешней политике в послесталинские годы. И реальные государственные интересы, и великодержавная алчность, и эхо былой готовности протянуть руку помощи всем обиженным. Но главное диктовалось фундаментальным тезисом: борьба двух противоположных систем определяет суть международной жизни.

Об этом выше уже говорилось. Добавлю еще несколько соображений.

У холодной войны была достаточно примитивная логика: что плохо для США, хорошо для Советского Союза, и наоборот. Вашингтон и Москва неукоснительно следовали этой логике. Примеров множество: Корея, Вьетнам, Карибский кризис, Ближний Восток. Да только ли эти примеры — хоть с советской, хоть с американской стороны.

В 60-е и особенно в 70-е годы Советский Союз оказывается вовлеченным во множество дорогостоящих и бессмысленных авантюр. Там же едва ли не каждый раз в той

или иной форме присутствуют и Соединенные Штаты.

Мне кажется, что тогдашнее советское руководство действовало в каком-то ослеплении. Достаточно было, скажем, какому-либо африканскому диктатору заявить о своей «социалистической ориентации», да еще добавить к этому комплиментарные слова в адрес охочего до лести звездоносного советского лидера, как помощь практически была гарантирована. Так, в друзьях Советского Союза перебывали и «первый марксист Африки», а затем император-каннибал Бокасса, угандийский тиран Иди Амин, беспощадный убийца из Эфиопии Хайле Мариам Менгисту. Можно долго перечислять имена, надеюсь, дней уже минувших. Компания, как на подбор, самая реакционная, самая зловещая.

Для моей страны это обернулось гигантскими расходами, и что особенно трагично, человеческими жертвами, о которых и по сей день если и говорится, то вполголоса.

Порядка ста миллиардов долларов составляет задолженность зарубежных стран Советскому Союзу. Львиная доля этого долга безвозвратно вбухана в поддержку «национально-освободительных» движений с эфемерным расчетом обрести дополнительные сферы влияния, нужды в которых стране не было и нет.

Потребность в нормальных деловых отношениях, равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве, безусловно, есть у новой России, но, как говорится, храни нас Господь от того, что именовалось интернационализмом на большевистский манер.

Предопределено ли было это вырождение, таилось ли оно в генах самой большевистской политики? По-моему, да. Это вытекало из самой веры в коммунистическую утопию, которую считалось возможным утверждать насилием. В конечном счете это прямо следовало из догмы, что империализм обречен, из неумения и нежелания увидеть и оценить громадные перемены в мире, понять его взаимозависимость, реально оценить себя и других.

Идеологическое ослепление — страшная вещь, ведущая к неисчислимым бедам.

Одним из тягчайших следствий большевизма в международных делах стало вторжение советских войск в Афганистан. А начиналось с малого. Переворот, осуществленный группой афганских офицеров, усвоивших марксистскую фразеологию; объявление социалистических целей и глубоких чувств дружбы к Советскому Союзу; порция

антиамериканизма; объявление руководителя страны Амина американским шпионом. И объятия Москвы были обеспечены.

Поначалу речь шла об экономической помощи, помощи оружием и специалистами. Но афганские преобразователи сразу же уперлись в устойчивые традиции феодального общества. Началась гражданская война.

Мне известно, что информацию об Амине как «американском агенте» дал Крючков, непосредственно курировавший затем афганские дела по линии КГБ. Обычная провокация спецслужб.

Повлияло ли это «крючкотворство» на решение кремлевских властей начать интервенцию? Наверное, в какой-то мере да. Но существеннее было то, что Москва давно уже жила в выдуманном мире, отторгала реальное значение реальной обстановки, довольствовалась набором идеологических клише, когда речь шла о характеристике различных политических сил. Это было органическим следствием догматизма, нежелания считаться с объективными фактами, упования на силу, на насилие, на оружие.

Об афганской трагедии написано и сказано много. Мир осудил советскую агрессию. Но грехопадение большевистской внешней политики случилось намного раньше того, когда так называемый «ограниченный контингент советских войск» вступил на афганскую землю.

Намного раньше. Об этом я и веду речь.

Своего рода краеугольным камнем в постулатах относительно ведения внешнеполитических дел был всегда тезис об укреплении безопасности страны.

Как?

Прежде всего, через укрепление обороноспособности. В официальном бюджете реальная сумма военных расходов не называлась никогда. Военные программы рассматривались и принимались самым узким кругом правящей верхушки. И по сей день точно неизвестно, какую долю в валовом продукте страны составляло военное производство. Называют 70, а то и более процентов.

Ноша была непосильная. Еще долго на Россию будет давить это безумие, это преступление.

Мне рассказывали мои товарищи, как однажды, работая над очередным докладом Брежнева в его любимом Завидово, а это было, когда разрядка находилась в фаворе, они пытались убедить заказчика доклада в необходимости сокращения военных расходов. В ответ: «Да я хоть завтра

сокращу военную статью бюджета». На словах, но не на деле.

Вера в то, что чем больше оружия, чем оно мощнее и изощреннее, тем прочнее безопасность страны, доминировала в сознании правящей элиты.

Положа руку на сердце, уверен, что Советский Союз ядерную перчатку Западу бросать не собирался, идею крестового похода во имя торжества мировой революции уже давно забыл. И тем не менее народное хозяйство СССР разорялось год за годом. Никакой враг не мог бы нанести такой урон экономике страны, как милитаризация, являющаяся преступлением перед народом.

Весной 1985 года с началом перестройки, не сразу, а исподволь, как бы вымеряя неизведанную дорогу, начался отход от догм, от зашоренности в международных делах, пересмотр бетонных установок, которые били по жизненным интересам общества. Демонтаж отжившей политики во внешнеполитической сфере — это захватывающая и драматическая история, которая продолжает вершиться на наших глазах.

Об этом мне было бы легче писать — о встречах на «высшем уровне» в Женеве и Рейкьявике, в Москве, Нью-Йорке, Вашингтоне и на Мальте, в Токио, Бонне и Хельсинки, о многом другом, в чем я лично участвовал.

Но это уже не большевизм.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Раздел первый

НАДЕЖДА ИЛИ БЕДА?

Авторская вводка.

Большевизм пригнул к земле великий народ, но не сумел до конца покорить и уничтожить его.

Сама жизнь подготовила острейшую необходимость кардинальных перемен. Преступно было ожидать социального взрыва, который принес бы новые мучения народу. Истинные патриоты не могли не действовать.

Реформаторы 1985 года, прошедшие сложнейшие и опаснейшие лабиринты тоталитарного режима, его правила игры и многочисленные ловушки, находившиеся под неустанно бдящим оком спецслужб, с риском для себя и в известной мере для общества, добровольно возложили на свои плечи тяжкую долю преобразования страны, но в конечном счете оказались под обстрелом критики как справа, так и слева.

Это не похвальба и не жалоба. Видимо, судьба. В России путь реформ никогда не был в почете. Нам подавай бунт, революцию, да врагов побольше, чтоб кровавой потехи было вдоволь. А вот реформа — дело нудное, требует терпения, думать надо. То ли дело, все разрушить до основания под свист и улюлюканье, а потом строить заново, плача, надрываясь и... содрогаясь от содеянного.

Нет, наш великий народ заслуживает гораздо лучшей судьбы. Он больше не намерен, я верю в это, расплачиваться кровью и страданиями за невежество и тщеславие вождей, тем более за чей бы то ни было эгоизм.

И все же, как коротка наша память. Мы уже начинаем

забывать свое недавнее житье-бытье, но вздыхаем по нему.

Или кнут нам милее, чем свобода?

В экономике мы долго и упорно прыгали на острые камни. Государственная монополия показала свою полную некомпетентность и неэффективность.

Только политические слепцы не хотели видеть, как страна шла к пропасти, оказалась на грани своего физического и морального истощения.

Число жертв гражданской войны превышает 13 миллионов. Свыше 15 миллионов уничтожено Сталиным. До 30 миллионов погибло в Отечественную войну. А сколько калек, вдов и сирот оставили войны и репрессии!

Сколько талантов покинуло страну. Сколько ненависти людской оставило это время.

И кто может знать, какой физический и моральный урон понесла страна от чудовищной утопии XX века, утопии, обманувшей сотни миллионов людей?

И чем громче властители кричали о близости рая земного, тем дальше уходили миражи надежд.

Где и когда в истории случалось подобное?

Попытка насильственного «осчастливливания» народа путем вколачивания жизни в умозрительные рамки «великих предначертаний» породила античеловеческие структуры, которые в свою очередь сформировали достаточно широкий слой людей, живущих за счет этих структур и обороняющих их.

Паразитарные экономические и обеспечивающие их структуры обрели высокую самодостаточность. Любой ценой они цеплялись за власть и привилегированное положение. Но сохранить общество в окаменевшей неизменности можно было только за счет ускорявшегося разорения народа и нагнетания страха перед властью.

Политика большевизации существенно продвинула люмпенизацию во всех социальных слоях и категориях. Люмпенизированная наука, люмпенизированный социум, люмпенизированное руководство, в том числе и на самом высоком уровне.

Люмпен есть люмпен.

Реформация стучалась в дверь все громче и требовательнее.

И напрасно сегодня трубачи реванша пытаются изобразить дело так, что перестройка — это неестественное дело, предпринятое узкой группой людей, да еще по наущению неких таинственных сил.

Надо же так поглупеть от потери власти. И зачем так обижать миллионы людей, считать их безмозглым стадом, которое можно повернуть в любую сторону. И наконец, фарс августа 1991 года и фарс октября 1993 года. Почему же такой конфуз? И опять, видимо, помешала небольшая группа демократов, а народ не при чем.

Нет уж, господа хорошие! Историю можно кромсать, фальсифицировать, переписывать, но обманывать ее бесконечно нельзя.

Ни возврат к прошлому, ни его воспроизведение в каких-то новых формах объективно невозможны — с Реформацией или без нее, с демократией или диктатурой. И кто утверждает иное, тот либо не понимает, о чем ведет речь, либо понимает — и намеренно лжет.

Реформация — перестройка — состоялась. Она уже вошла в историю России.

Стало модным критиковать М. С. Горбачева за то, за другое, за третье. Причем, без особого сопереживания за дело и вне контекста времени. Не вижу смысла углубляться в этот вопрос, скажу лишь, что и эта критика стала возможной благодаря перестройке, гласности.

Трусость в бою унизительна, смелость после боя — пошлость.

Далее. В этом разделе я не собираюсь говорить о событиях в хронологическом порядке, о конкретных позициях конкретных людей. Меня больше интересует анализ событий, их истоки и следствия, эволюция представлений, ожиданий и реальностей. Мне хотелось также показать суть, характер, способы сопротивления правящего класса наступлению свободы, убившей диктатуру.

Глава первая

КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО

В сущности, перестройка, в изначальном ее понимании, завершилась. Она и не могла не завершиться, ибо уже в 1987—1988 годах на практическую ногу встал вопрос о смене сути и характера общественного уклада.

Именно по этой причине быстро нарастала конфронтация в обществе, когда отжившие, морально изношенные, но еще правящие структуры увидели угрозу потери власти. Августовские события 1991 года ускорили развязку, а победа демократии предотвратила гражданскую войну. В специфической форме в октябре 1993 года это повторилось снова.

Но старые структуры во многом живы — живы в практике, в сознании, в чиновничестве, в большевиках и фашистах, в амбициях и политиканстве, в подходах и методах.

Эти структуры готовы менять лозунги, идеологию, партии у власти — что угодно, кроме самих себя и своего положения. Они подобны раковому заболеванию, расползающемуся по организму общества. Они самым бессовестным образом спекулируют на тех трудностях, которые просто не могли не сложиться на этом перевале истории.

Постараюсь ответить на вопрос, который постоянно со мной. Как все это было?

Где неизбежности, а где заблуждения? Где грань, которая отделяет иллюзии, которыми мы питались, и реальности, которые били нас, брали за горло?

Итак...

Нынешний этап Реформации России — логически, политически, нравственно — продолжение перестройки. Субъективистские толкования, рождаемые тем, что набежали друг на друга две волны демократов, амбиции на амбиции, не в счет. Взаимные обвинения — тоже. Это давняя болезнь общественно-политической жизни России.

Конечно же, перестройка приобрела иной характер. Реализация ее идей ускорила свой бег. Изменились представления о целях и содержании, масштабах и пределах, средствах и методах преобразований. Изменилась реальность, в которой они осуществляются.

Общество 1985 года было глубоко больно, но не хотело замечать своей болезни, да и внешне выглядело почти здоровым. Общество нынешнее — в кризисе по всем направлениям, в кризисе, который обрушился на всех.

Правда, очевидны и преувеличения, есть и стремление превратить объективное в субъективное.

Изменились связанные с переменами ожидания.

На старте казалось, что стоит кое-что подправить, подчистить, и страна ускорит свое развитие. Это была ошибка, проистекавшая из уровня общественного сознания того времени, от характера и взглядов политиков, взявшихся за перестройку. Перескочить через самих себя мы объективно не могли. И приставлять к нам мерки сегодняшних дней — не более, чем спекулятивное политиканство.

Едва ли кто будет оспаривать роль исторического поворота во внешней политике, который привел к окончанию холодной войны.

Переход к новому этапу перестройки надо рассматривать как единый, мощный социально-исторический процесс взрывной эволюции. Процесс, охватывающий все сферы жизни. Тесно связанный с современным мировым развитием, суть которого пока плохо знаем и еще хуже понимаем — тут еще только начинается свободное переосмысление.

Наконец, процесс, который находится пока еще в начальной, даже не срединной его части. Он, конечно, еще может быть абортирован, приостановлен, если не новым путчем, то саботажем, некомпетентностью, непоследовательностью решений.

Но если не предполагать такой вариант, а исходить из возможности его эволюционного продолжения, то в социально-историческом плане все сделанное за последние годы — не более чем самые первые посевы, по всходам которых еще невозможно сказать, какие растения из них разовьются в будущем.

Наконец, этот переход неправомерно рассматривать в категориях традиционной общественно-политической схемы «социализм-капитализм».

Не только потому, что схема эта примитивна и в существенных ее элементах была неверна уже в момент своего возникновения. Но и потому, что и в нашей стране, и в мире в целом зреют качественно иные проблемы и явления, для понимания которых марксистские категории уже непригодны. Невозможно долететь до Луны, опираясь только на классическую механику Ньютона.

Смысл и содержание перехода к новому качеству общества — это перелом в наших представлениях о себе и мире, который подготавливает и делает неизбежными принципиального значения сдвиги в общественно-политической мысли, в массовом сознании, а следовательно, и в жизни в целом.

Взрыв тоталитаризма — еще не рождение демократии. Автоматизма тут нет и быть не может.

I.

Эволюция представлений. С самого начала перестройка уперлась в противоречие, заключенное в первооснове марксизма.

Последний декларировал себя наукой о построении общества социальной справедливости. Мало кого смутило: как может быть наука о том, чего нет в природе. Но ГУЛАГи физически уничтожили сомневающихся, а полувековая изоляция от мира в сочетании с предельно идеологизированной системой образования довершили начатое. Выросли поколения людей, поверивших в истинность версии о возможности построения «земного рая».

На самом деле, как уже говорилось, марксизм — не что иное, как псевдонаучная неорелигия, лишь воспринявшая от науки ее словесную атрибутику. Неорелигия, подчиненная интересам и капризам военно-бюрократической, абсолютистской власти, причем многократно и произвольно перекроенная. Она не только сочеталась браком с аморальной практикой, но и неизменно изображала ее как научно обоснованную, единственно возможную, объективно обусловленную.

Вспомним годы накануне перестройки. Вроде бы все кругом шло по заведенному порядку. Мы привыкли к нему, пытались убедить себя, что так и должно быть. Но мир стремительно менялся на глазах современников.

Общество постепенно настигала растерянность, ширилось недоверие к «мудрости» правителей. С очередным провалом обещаний «вождей» появлялись все новые и

новые сомнения. Доклад Н. Хрущева на XX съезде КПСС положил начало процессу, который и привел к Реформации.

Эта сторона предперестроечного бытия наиболее понятна, по крайней мере сегодня. Но еще не исследована.

Куда меньше внимания привлекала до сих пор другая его сторона.

Несмотря ни на что, было немало людей, всерьез веривших в коммунистическую перспективу. Они пытались с максимальной добросовестностью приложить научные методы к анализу действительности, не сознавая, что наука бессильна перед языческим фанатизмом. В этом тоже своя драма тысяч ученых-аналитиков. Я, конечно, не говорю в данном случае о проходимцах, «научная» деятельность которых сводилась к «разоблачению» других, к демонстрациям политической бдительности.

В обстановке всесилия цензуры, отсутствия гласности, жестокого контроля над мыслью и словом, преследований инакомыслящих, духовной деспотии и далеко зашедшей нравственной коррумпированности — в такой обстановке создавалась иллюзия, что стоит выявить максимально полную и достоверную информацию, научно строго проанализировать ее и действовать соответственно — тогда все пойдет в нужном направлении, сформируется честная и разумная политика.

Эту иллюзию разделял и я.

Кроме того, мне поначалу казалось, что все дело в конкретных людях, их неподготовленности, в бесконтрольности их действий, в отсутствии демократической селекции кадров на всех уровнях. Вот почему в самом конце 1985 года я написал М. С. Горбачеву записку, в которой пытался обосновать необходимость, даже императивность разделения КПСС на две партии, которые бы образовали демократическое поле соперничества. На этом пути они бы самообновлялись, сменяли на основе свободных выборов друг друга у власти. Общество получило бы мощный заряд динамизма.

Приведу основные положения этой многостраничной записки, озаглавленной «Императивы политического развития». Повторяю, это не воспоминания 1994 года, а выдержки из письма 1985 года.

«Апрель» 1985 года лишь положил начало надеждам, но уже само его настроение отразило тревогу за происхо-

дящее. Жизнь втягивает общество в эпоху неизбежных перемен. Всякое торможение, пусть и неосознанное, губительно. Кроме прочего, политическая струна настолько натянута, что при срыве может ударить очень больно».

Далее я отмечал, что цель всех грядущих преобразований — человек. *«Во всех его взаимосвязях и проявлениях — производство, общество, политика, культура, быт, интересы, психология, здоровье и т. д.»*

Какие средства нужны для достижения цели?

«Сегодня вопрос упирается не только в экономику — это материальная основа процесса. Гвоздь — в политической системе, а вернее — в ее работе, движении, ее нацеленности на человека, ее связи с человеком, в степени ее служебной роли. Отсюда необходимость:

1. Уничтожения разрыва между словом и делом, все более тесного слияния интересов личности, групп, общества в целом.

2. Последовательного и полного (в соответствии с конкретно-историческими возможностями на каждом этапе) демократизма.

3. Развития личности как самостоятельной, творческой, сознательно-объединенной с другими в своих мыслях и действиях силы. Превращения каждого человека в действительного хозяина страны.

4. Реального вовлечения всех и каждого в совершенствование жизни на местах и в государстве в целом. Это — главный пункт, от которого зависит решение и первых двух. Здесь же — основа ликвидации социальной неудовлетворенности, т. к., во-первых, люди будут сами отмечать положительные сдвиги, темп которых значительно ускорится; во-вторых, они, приобретая вместе с правами и ответственность, сами будут видеть, что сегодня реально, а что — нет; в-третьих, не кто-то «сверху», а сами они, массы, будут ответчиками за все происходящее, в том числе и за все несовершенное и упущенное».

Говоря об основных принципах перестройки, я отмечал:

«1. На передний план все явственнее выдвигается проблема положения и роли личности в обществе, взаимоотношения между ними. Демократия в широком значении этого слова — средство и цель движения одновременно. По сути мы демократичны, по форме — антидемократичны. Привести форму в соответствие с содержанием, содержанием сегодняшнего и завтрашнего дня.

Демократия — это прежде всего свобода выбора. У нас же — отсутствие альтернативы, централизация. Мы как бы зажали диалектику противоречий и хотим развиваться лишь на одной их стороне.

Отсутствие выбора во всех сферах и на всех ступенях (азиатское прошлое, история страны вообще, враждебное окружение и т. п.). Сейчас мы в целом не понимаем сути уже идущего и исторически неизбежного перехода от времени, когда не было выбора или он был исторически невозможен, ко времени, когда без демократического выбора, в котором участвовал бы каждый человек, успешно развиваться нельзя.

Должна быть свобода выбора.

2. Комплексность реформирования всех сторон жизни — от экономики до «формальных», внешних признаков демократизма.

3. Одновременно или даже опережающие темпы в ключевых сферах (прежде всего — в партии).

4. Решительность, ограниченная лишь реальными возможностями, с учетом процесса постепенного — пусть и в перспективе — отмирания ряда государственных функций. Где возможно и нужно — эксперимент локального (в пространстве и времени) значения.

5. Сам процесс должен вестись не только сверху, но и снизу, руками масс.

6. Привлечение сил науки к разработке и проведению процесса демократизации и контроля за его промежуточными результатами».

В записке я подробно остановился на проблемах реформирования КПСС, уменьшения ее глобальной роли в жизни общества и государства. В частности, я предлагал разделить КПСС на две партии — социалистическую и народно-демократическую с тем, чтобы они конкурировали друг с другом.

Поскольку советское общество, как и во времена классического феодализма, было поделено на ранги, на касты, я, затрагивая систему привилегий, писал:

«Полная гласность доходов. Многие высказываются за гласный максимум и минимум доходов парт- и госаппарата. Приближение партийного и других аппаратов к простым людям по образу жизни. Единая система распределения, а не отдельная для каждой группы работников. Единая система оплаты труда. Ликвидация кастовости: государственная бюрократия, партийный аппарат,

военные, интеллектуалы, технократия, писатели, художники и др.».

Советское государство, по мысли его основателя Ленина, могло существовать только в виде «диктатуры пролетариата». А эту диктатуру осуществляла коммунистическая партия. Потом Хрущев отменил государство «диктатуры пролетариата», назвав его «общенародным». На практике же мало что менялось. Ко времени перестройки вся реальная власть принадлежала КПСС: в стране — ЦК КПСС, в области — обкому, в городе — горкому, в районе — райкому.

Выборные органы власти — Советы народных депутатов — на всех уровнях являлись ширмой реальной власти. Выборы в Советы были профанацией чистейшей воды: избирался всего один кандидат в депутаты, т. е. никаких выборов не было — выбирать было некого. А кандидаты в депутаты подбирались и назначались соответствующими органами КПСС.

Исходя из этого, я предлагал:

«Выборы должны быть не избранием, а выбором, причем, выбором лучшего. Можно ограничить число выдвигаемых кандидатов (но не менее двух).

Депутат должен зависеть от избирателей, действительно выражать их мнения своими устами, а не свое мнение от их имени.

Подотчетность и сменяемость депутатов. Реальный отзыв депутатов — с публикацией, объяснениями.

Последствия: колоссальное возрастание реальной ответственности перед массами, подчиненности, подконтрольности им, а главное — действительное привлечение масс к управлению делами района, области, республики, страны через их прямое и организованное коллективное воздействие на депутата. Особенно эффективно это скажется прежде всего на превращениях местных Советов в подлинные органы власти».

Далее в записке я кратко изложил свои взгляды на гласность и права человека.

«Всесторонняя гласность: гласность, исчерпывающая и оперативная информация — непременное условие дальнейшей демократизации бщественной жизни. Лишь информированный человек способен инициативно и плодотворно участвовать в делах общества. Взывать к гражданской активности людей, которые не располагают широкой информацией и не находятся в благоприятном для такой

творческой активности социальном климате, бессмысленно...».

«Реальная независимость судебной власти от всех других ее видов. Формируется опасное мнение, что правосудия у нас нет. А между тем это одна из наиболее просматриваемых форм власти.

Независимость судьи, реальные гарантии независимости — в принципах судоустройства, порядке отзыва и т. д.

Бессменность судьи, отзыв лишь при определенных условиях. У нас же — на пять лет. Чем ближе срок выборов, тем меньше принципиальности. Не случайно происходит беспрерывное перемещение судей. Увеличить срок хотя бы до десяти лет, стабилизировать положение судьи. Судебная деятельность должна быть профессией.

Сейчас желающих вмешиваться в отправление правосудия хоть отбавляй. Надо рассматривать такое вмешательство в разрешение конкретных дел как преступление, караемое по закону.

Уголовный кодекс — твердость, стабильность. Неотвратимость и жесткость наказания для антиобщественных элементов, особенно для воров, беспощадность — для убийц.

Вместе с тем — реальные гарантии осуществления прав личности. Должен быть закон о правах человека и их гарантиях, закон о неприкосновенности личности, имущества и жилища, о тайне переписки, телефонных разговоров, личной жизни.

Организованные формы осуществления права на демонстрации, свободу слова, совести, печати, собраний, права на свободное перемещение.

Мы хотим, чтобы у каждого были великие гражданские обязанности, но это возможно лишь в том случае, если будут великие гражданские права.

Широчайшая судебная защита прав личности по любому вопросу, вплоть до обжалования действий государственных органов. Гражданин должен иметь право предъявить иск должностному лицу и организации. Нужно иметь административные суды — для решения конфликтов в административных делах.

Закон и подзаконные, нормативные акты. Закон должен иметь императивный характер. А у нас законы — планы, бюджеты, которые далеко не во всем исполняются. Может быть, это не должно быть законом? Прокуратура,

призванная в принципе следить за исполнением закона, бездействует по существу. Даже министры, не говоря уже, о Совете Министров, нарушают большинство законов своими предписаниями и указаниями.

Человек должен иметь уверенность в лояльном и оперативном рассмотрении его нужд, жалоб компетентными людьми и организациями. Сейчас за незаконный отказ никогда никого не наказывают. А вот за законное разрешение наказывают. Поэтому привилась система: сначала отказать, потом обжаловать, потом, может быть, положительно решить. Волокита: время, нервы людей уходят впустую. Возникает атмосфера недовольства. Если бы провести социологические исследования количества отказов, а потом полученных разрешений!

Ответственность должна быть правильно распределена, и должностные лица должны нести ответственность за уход от ответственности. Короче: личность обязана уважать государство, но государство не меньше обязано уважать личность. Иначе между ними всегда будет барьер, а то и разрыв. Надо конституционно зафиксировать обязанности государства по отношению к гражданину».

В записке я в общих чертах, как говорится, по касательной, затронул и экономические вопросы, в частности:

«Важнейшая роль принадлежит экономической политике. Недооценка ее возможностей и значимости продлит застой.

На этом пути глубокая демократизация хозяйственной жизни. Значительное ускорение экономического развития жизненно необходимо. Но сделать это только научно-техническими и экономическими средствами невозможно. Нужно включить сюда и раскрыть полностью факторы морально-психологические. А для этого нужна широкая демократия в экономике, сочетаемая с централизованным государственным управлением ею.

Реальное участие масс в планировании, управлении, реализации. Создание единой позитивной и саморазвивающейся основы — подлинного, органического, последовательного единства интересов человека, коллектива и общества.

Хозяйственные связи и ответственность! — прямая, жесткая, материальная. Право на хозяйственную инициативу не только у коллективов, но и у личности (опыт,

социально-экономический эксперимент, например, в сфере обслуживания). Концерны и тресты на полном хозяйственном расчете.

Возможно, подумать о том, чтобы вся система обслуживания и торговли была построена на кооперативных началах. Государство фиксирует цену и предоставляет в кредит помещения, оборудование. Должен быть выбор между двумя-тремя магазинами, прачечными и т. д.

Нужен кодекс хозяйственного права, но лишь при самостоятельности контрагентов. Нужен современный КЗоТ — у нас допотопный.

Обуздать Министерство финансов, которое в погоне за сегодняшней копейкой лишает общество сотен и тысяч рублей завтра. Ликвидировать финансовый произвол. Ввести фиксированные нормы платежей и отчислений от прибыли предприятий.

Трансформация монополии внешней торговли — решительная интеграция с восточноевропейскими странами (как первый этап), а затем — и с Западом.

Профсоюзы играют ныне во многом формальную роль. Резко поднять их значение. Им нужно придать более серьезные функции, чем сбор взносов и распределение путевок (огрубляя, конечно, этой характеристикой положение дел). Практически мы здесь выиграем».

Резюмируя содержание записки, я внес такие предложения:

«Как бы мы ни совершенствовали те или другие сферы, направления, части механизма, пользы лишь от совершенствования не будет. А что самое главное — не будет самодвижения, своеобразной «самоликвидации» недостатков, нет надежды, что возьмет верх здравый смысл, произойдет устранение или снижение диктатуры бюрократии.

В этих целях принять следующую принципиальную схему руководства:

1. Верховная партийная и государственная власть осуществляется Президентом СССР.

Он же является Председателем Коммунистического Союза (Союза коммунистов) СССР; председателем Объединенного Политбюро партий, входящих в Коммунистический Союз; Председателем Совета Президентов Республик.

2. Президент избирается на 10 лет на основе прямого всенародного голосования из кандидатов, выдвинутых партиями, входящими в Союз коммунистов.

3. Союз коммунистов состоит из двух партий: Социалистической и Народно-демократической. Всеобщие выборы — каждые 5 лет — сверху донизу.

Союз коммунистов имеет общий (принципиальный) Устав, а партии — более подробные Уставы.

4. Президент имеет двух вице-президентов:

по партии — председатель КПК (дисциплинарный и согласительный орган);

по государству — председатель Комитета Народного Контроля.

Президент имеет соответствующие рабочие аппараты (по партии и государству), в том числе группу советников по национальной безопасности.

5. Правительство возглавляется Генеральным секретарем партии, победившей на всенародных выборах.

6. Вопрос о работе и функциях Верховного Совета — особый, подлежит дополнительному продумыванию. Здесь может быть много вариантов, но это уже вопрос следствия, а не принципа.

Все это вместе взятое решит многие проблемы, которые все равно придется решать, но лучше с упреждением. Это будет революционной перестройкой исторического характера. Пресс требований времени будет ослаблен. Такие вопросы, как активность личности, смена людей, борьба с инерцией и т. д. будут решаться без особых издержек. Политическая культура общества будет расти, а значит и реальная стабильность».

Повторяю, это был декабрь 1985 года. Перестройка только еще оперялась. Власть КПСС оставалась незыблемой, казалась вечной. Мне только еще предстояло быть избранным в члены Политбюро.

В преамбуле к этой записке я, конечно, писал, что предлагаемые мной меры приведут к укреплению социализма и партии, хотя я понимал, может быть и не полностью, что радикальные изменения приобретут свою логику развития, предсказать которую невозможно. Но были в этих предложениях и наивность, диктуемая временем, и неизбежное для тех лет лукавство.

Например, об устранении монополии власти КПСС и речи быть тогда не могло. Больше того, был уверен, что деятельность партии можно было направить на цели преобразований. Как раз своим предложением о разделении ее я имел в виду активизировать партийную массу, но в

то же время понимал, что появление и борьба двух партий в конечном счете приведет к образованию двух самостоятельных партий. Этого не случилось.

Реакция М. С. Горбачева на эту записку была спокойной, заинтересованной. Но он считал предлагаемые меры преждевременными.

Многое, о чем говорилось в записке, постепенно входило в жизнь. Сама логика перестройки заставляла двигаться дальше по пути преобразований.

Конечно, в жизни все оказалось не так гладко, хотя курс на гласность, на демократизацию, на коренную реформу политической системы стал осуществляться. В конце концов была введена и президентская форма правления. Правда, с большим опозданием.

Не выдержала проверку временем концепция «ускорения».

Как я уже сказал, в то время в руководящем звене партии незыблемость и прогрессивность социалистического строя не подвергалась сомнению. Именно в этой атмосфере и родилась перестройка, обретшая форму социально-экономического «ускорения».

Сегодня критиковать ее легко. Добавлю, что, видимо, такой ход событий был единственно возможным в то время, если не считать насилия, грозные всполохи которого повторились при Н. Хрущеве.

Пожалуй, что-то подобное просто не могло не родиться в тех конкретных условиях. Это была неизбежная ступень в развитии общественного сознания. Ступень, не пройдя которую невозможно было вырваться к сегодняшнему уровню освобождения от догм и схоластики прошлого, его античеловеческой практики.

Духовную и политическую задачу стратегия «ускорения» объективно выполнила. Ее итог — утвердившееся в мыслящей части общества понимание, что истоки проблем не в отсутствии их объективного анализа и признания, а гораздо глубже.

Очевидным, однако, стало то, что на предложенных тогда путях, принятыми тогда средствами эти задачи не могли быть достигнуты. Больше того, эти пути и средства уводили в сторону от заявленных целей, ибо концепция «ускорения» никак не меняла само устройство жизни, управление ею.

Другое звено в эволюции перестроечных представлений — выдвижение концепции гласности.

Здесь делался естественный шаг к тому, чтобы анализ состояния общества был максимально полным, достоверным и находился под общественным контролем. Учитывался и опыт провала ограниченных реформ середины 50-х и 60-х годов, когда проблема гласности даже не поднималась, поскольку противоречила авторитарному характеру власти.

Гласность революционизировала и политизировала общество. Она резко расширила возможности общественного анализа: по диапазону доступной информации, снятию запретных тем, возможности задавать любые вопросы и предлагать варианты ответов.

Поворот к гласности, строго говоря, не был неизбежен в те годы. Он был продиктован не столько сиюминутной необходимостью, сколько философией перестройки, ее инициаторов.

Общество на том этапе поддержало бы и какой-то достаточно спокойный вариант административного «совершенствования развитого социализма», укрепления технократического — в противовес партийно-идеологическому — подхода к решению жизненных проблем.

Кстати, первоначально гласность задумывалась не только в плане свободы печати, но и как ключ, открывающий для общества всю деятельность государственных, партийных и общественных организаций. Я лично придавал этому особое значение, ибо осуществление этой задачи взрывало систему бюрократической секретности, которая вступала в качестве важнейшего устоя режима диктатуры.

Гласность далеко продвинула идею демократии. Было осознано, что никакая экономическая реформа не пойдет без реформы политической. В сознании людей начало выкристаллизовываться понимание, что радикальных реформ требуют все стороны бытия.

Но каких именно?

Экономисты уже давно вели спор об эффективности планирования и централизации управления, затрагивали, хотя и глухо, проблемы товарно-денежных отношений; у политологов наработки шли в собственный стол; у идеологов — все сводилось к охранительной практике.

Политическую реформу пришлось осуществлять непосредственно по ходу перестройки, причем общественному сознанию еще предстояло переварить по-настоящему ее основные принципы: скажем, такие, как свобода слова, многопартийность, разделение властей и т. д. Еще пред-

стояло понять, что согласие с этими принципами обозначает лишь направление поиска, а не саму реформу.

Новый период в эволюции перестроечных представлений — от подготовки XIX партконференции к первому Съезду народных депутатов СССР.

Политическая реформа начала практическую жизнь. Вместе с этим усилилось и сопротивление, которое сразу же четко обозначило свою большевистскую сущность — нетерпимость.

В известном смысле переломным здесь явился январский Пленум ЦК КПСС 1987 года, когда встал вопрос о демократизации самой партии, об альтернативных выборах, об усилении влияния на политику со стороны рядовых членов партии.

Аппарат партии, номенклатура в целом почувствовали угрозу своей власти, поняли, что на свободных выборах они потерпят крах. С этих пор подспудное сопротивление стало переходить в открытую борьбу против курса на преобразование общества.

Как мне представляется, именно на этом этапе эволюция перестроечных представлений начинала обретать определенную автономность от ее инициаторов, собственную логику развития.

Обострились отношения и внутри номенклатуры. Раскол стал обозначаться более отчетливо. С особой выпуклостью это проявилось на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1987 года, на котором с речью выступил Б. Н. Ельцин. Хотя ощущение неизбежности чего-то подобного нарастало, однако, выступление оказалось неожиданным, в том числе и для меня.

Во-первых, я самым непосредственным образом участвовал в подготовке доклада о 70-й годовщине Октября. В тексте содержались резкие оценки сталинизма, что было очень важно в тех конкретных условиях. Там же более определенно говорилось о необходимости новых шагов в демократическом развитии. Были и другие новые моменты.

Мне казалось очень важным, чтобы новые для того времени идеи вышли на суд общественного мнения, поэтому любой уход в сторону представлялся недостаточно обоснованным. Охранительный подход к делу объяснялся также и моей надеждой на то, что «новые идеи» можно продвинуть через консервативный Пленум, используя праздничный контекст доклада.

Вот почему в своем выступлении я критиковал Б. Н. Ельцина за «консерватизм» его выступления, имея в виду, что несвоевременность его постановки проблем перестройки может затормозить продвижение близких мне идей, заложенных в тексте доклада. Но я оказался неправ. Наоборот, обрушившаяся на Б. Н. Ельцина критика увела участников Пленума от существа доклада, помогла его одобрению, ибо Пленум предпочел эволюционную неясность М. С. Горбачева радикализму Б. Н. Ельцина.

Свое выступление я использовал также для критики Е. К. Лигачева за его плохое, недемократическое руководство Секретариатом ЦК КПСС.

Меня сбило с толку и сообщение М. С. Горбачева о том, что между ним и Б. Н. Ельциным была достигнута договоренность о встрече после ноябрьского праздника, чтобы обсудить вопрос о просьбе Б. Н. Ельцина об отставке. В этих условиях выступление Б. Н. Ельцина, с моей точки зрения, нарушало эту договоренность.

Спустя четыре года, где-то осенью 1991 года, я спросил Бориса Николаевича об этой договоренности. Он сказал, что таковой не было.

Вся эта история — не частный случай. Она отражает переход от скрытых расхождений к открытым, публичным. Именно в это время, как я уже сказал, началось в более четкой форме обозначение позиций.

Октябрьский эпизод с Б. Н. Ельциным начался с того, что Е. К. Лигачев пытался прибрать к своим рукам московскую партийную организацию, которую возглавлял Б. Н. Ельцин. Это выражалось в постоянном давлении на партийное руководство городом, в стремлении сделать из Б. Н. Ельцина ударную силу в борьбе с демократами, с их собраниями и выступлениями.

В августе 1987 года, когда М. С. Горбачев был в отпуске, а в Политбюро председательствовал Е. К. Лигачев, на одном из его заседаний обсуждалась записка Б. Н. Ельцина о порядке проведения митингов в Москве, представленная по поручению Политбюро. Б. Н. Ельцин предложил вариант, когда все митинги проводились бы в Измайловском парке (по примеру Гайд-парка в Лондоне).

На Б. Н. Ельцина обрушился град критики. Борис Николаевич не скрывал своего удивления и растерянности. Он пытался что-то объяснить, но это не помогло. Обвинения сыпались одна за другим, выйдя за рамки проблемы митингов. Б. Н. Ельцина обвиняли в неспособности поло-

жить конец «дестабилизирующим» действиям «так называемых демократов».

Честно говоря, я тоже растерялся, наивно полагая, что вопрос возник спонтанно. Выступая, я выразил недоумение ходом обсуждения, сказав при этом, что Б. Н. Ельцин всего лишь выполнял поручение Политбюро.

Только позднее я понял на собственном опыте, что подобные «разносы» организуются заранее. Я имею в виду проработку моей деятельности на закрытом заседании Политбюро в связи с публикацией в «Московских новостях» информации о кончине писателя Виктора Некрасова.

Это произошло тоже в августе, когда за «хозяина» был Е. К. Лигачев. Последний обратился ко мне со словами «товарищ Яковлев», а не «Александр Николаевич», как это было принято. Подобное обращение подчеркивало серьезность «проработки». Некоторые другие члены Политбюро упрекали меня за слабость руководства печатью.

В ходе полемики Лигачев спросил председателя КГБ В. М. Чебрикова о том, какой характер носила деятельность В. Некрасова.

— Антисоветский, — неохотно ответил Чебриков.

— Вот видишь, — обращаясь ко мне, сказал Лигачев. — Ты что, не веришь КГБ?

— Верю, — сказал я, — но еще верю и себе, поскольку знаю Некрасова лично и знаю, как начиналась его трагедия.

Вернемся, однако, к октябрьскому пленуму 1987 года.

Был ли прав Б. Н. Ельцин по существу? Безусловно, да. Действительно, перестройка начала спотыкаться и задыхаться, о чем и сказал кандидат в члены Политбюро.

Был ли прав Б. Н. Ельцин по тактике? Думаю, что нет. К выступлениям подобного характера надо готовиться тщательнее. Видимо, это почувствовал и Борис Николаевич, когда выступал с ответом на критику. Что-то он отвергал, но с чем-то и соглашался.

Особенно растерян был М. С. Горбачев. Он был мрачен, сосредоточен, говорил мало. Во время перерывов на него упорно нажимали в том плане, чтобы исключить Ельцина из партии. Столь же упорно он возражал против этого предложения.

И последний вопрос. На этот раз самому себе. Выступил бы я сегодня на Пленуме, как тогда? Отвечаю: с позиции сегодняшнего понимания — нет, не выступил бы. С позиции того времени — да, ибо тогда я считал принци-

пиальным вопросом для себя поддержку М. С. Горбачева.

Течение жизни приобрело взрывной характер. Политика неудержимо помчалась вперед. Фактический раскол партии на реформистское и ортодоксальное крылья, обрушившаяся новая информация, появление демократических процедур и многое другое — все это ошеломило людей, повергло в растерянность, но крутого поворота в массовом сознании не произвело. Общество еще только начинало признавать естественность многообразия в политике, экономике, культуре, животворящую силу этого многообразия.

И все же эти изменения не могли не ускорить процесс отторжения марксизма, понимания его мифов, заблуждений, спекуляций. В этой атмосфере начала вырисовываться своеобразная идеология, которую я бы назвал «социалистическим атеизмом». Она уходила от догматической неорелигии, возвращаясь к социалистической идее в ее изначальном, первородном смысле.

Идейно-политический багаж «социалистического атеизма» еще только начинал складываться. Он потребовал профессионализма и эффективности от управления, не отдавая предпочтения априори ни авторитарным, ни демократическим его формам самим по себе. Понимал неизбежность перехода к рынку, но был готов выслушивать и иные варианты. Пытался вырвать общественное сознание из тяжкого плена бесплодных надежд, поставить его на рельсы реалистических оценок действительности.

Августовские дни 1991 года внесли в этот процесс новое качество. По свежим следам на КПСС был обрушен мощный удар политического, организационного и имущественного свойства. Партия подвергалась разгрому, ибо ее руководство, опираясь на военно-промышленный комплекс, на силовые структуры, на свои идеологические рупоры — газеты «Советская Россия», «Правда», военные и местные партийные газеты, оказалось в центре организационно-политической подготовки заговора.

Теперь, после октября 1993 года, когда между обществом и возможностью его движения к рыночному хозяйству, политической демократии, идеологическому и партийному плюрализму — то есть ко всему тому, что, по недоразумению, называлось принципиальными чертами капитализма, — не осталось вроде бы никаких препятствий, но именно сейчас особенно отчетливо видно, насколько не готовы мы к такой перспективе.

Парадоксальность обстановки, противоречивость процессов демократии обнаруживается в том, что демократическое правительство продолжает играть в демократию, не понимая, что демократия — это власть, которая должна защищать народ от посягательств на его права с любых сторон — фашизма, большевизма, терроризма, аморализма и других общественных деформаций.

В определенной степени повторяется ситуация 1917 года. Как и тогда, одно только отвержение прошлого не сработало.

Впрочем, не следует упрекать еще очень бедное по меркам конца XX века общество за то, что оно жаждет жизни, лучшей прежде всего именно в материальном смысле, ее минимального достойного уровня.

Кроме того, полагаю, что общество в целом еще не в полной мере осознало великую ценность свободы, оно не готово перетерпеть ради нее любые тяготы. Конечно, люди ощутили вкус свободы, но понравился он далеко не всем, а потребность в свободе и демократии вряд ли сегодня качественно выше, чем некоторое время назад, поскольку общество увязло в экономической трясине.

Благотворящи гласность и демократия, созидающие свободную мысль. Но хватит ли сил расколоть рефеодальный монолит? Отсидится чиновник, отмолчавшись, а потом властно рявкнет, да так, что вера в демократию испарится и вновь «фельдфебель в Вольтерах» окажется.

Свобода... Демократия... А человек и поныне там, где он маялся в течение последних столетий. Меняются общественные уклады, князья и государи, вожди и президенты, правительства и министры, уходят и приходят гении и злодеи, мудрецы и простецы. Но остается власть, олицетворяемая чиновником. Для человека она — главная власть.

Наш чиновник — это еще тот самый чиновник, для которого власть — суть его жизни, психологии, благоденствия. Не та власть, которой верховодит закон, а та, что больна насилием, произволом, полагая все это естественным для власти.

Откуда это? Из дальних времен? Да, оттуда тоже. Но самый глубокий источник сегодняшней власти чиновника, власти, основанной на принуждении, вытекает из большевистской идеологии насилия, которую мы, будучи еще рабами, воспринимаем как нечто такое, что имеет право определять наши поступки, нашу жизнь.

Общий итог эволюции представлений о перестройке, ее целях и задачах, хотелось бы верить, — не в том, чтобы вместо прежних «неверных», «искаженных», «деформированных» представлений о социализме были бы выдвинуты какие-то новые, «правильные». Это снова обмануть самих себя, а надо понять и изменить самих себя.

Императив Реформации — подходить к организации всей жизни не с позиций верности идеям и принципам как таковым (неважно каким), но с позиций здравого смысла и ясно понятых интересов.

Человек и человечество еще не обладают достаточным социальным знанием, адекватным их притязаниям. Слишком мало знаем и о самом человеке, и об обществе, чтобы заниматься всерьез социальной инженерией; чтобы с уверенностью двигаться к поставленным целям, не опасаясь появления неожиданных негативных последствий, побочных эффектов. И даже тем знанием, что есть, не очень приучены пользоваться.

Обратим внимание: как только началась Реформация в 1985 году, все затрещало — экономика, идеология, государственные и общественные структуры. Сегодня модно искать виновных, но пора здраво признать: здание к этому времени уже внутренне сгнило во всех важнейших его конструкциях.

Период маневрирования позади. В этих условиях продолжение тактики ограниченного маневра с последующим подтягиванием тылов под случившуюся удачу будет ошибкой. Количественное превосходство все еще на стороне инерции.

Вот почему обновленческим силам нужно делать выбор: либо решительное продвижение вперед, стержневым элементом которого должно стать создание собственной социальной базы. Либо снова отдать политическое поле для консолидации большевистского наследия, что, собственно, и происходит.

Историческое время обладает сверхтекучестью и оно уже бросило нам не один вызов — внешний и внутренний. Выжить или погибнуть — военный вызов. Выздоравливать или деградировать и дальше — экологический вызов. Собраться с силами или безнадежно отстать — технологический вызов. Свободно создавать красоту или впасть в пошлость — духовный вызов.

II.

Эволюция реальностей. Реформацию в первые ее годы постигло немало неудач и просчетов. Гибель урожая, падение валютных доходов от нефти, пустые полки магазинов, Чернобыль, многочисленные аварии и многое другое было вызвано сочетанием причин. И наследием бесхозяйственности, сопротивлением и саботажем со стороны антиперестроечных интересов; и отсутствием новой системы экономических рычагов и стимулов; и низкой компетентностью управления.

Но дело не только в сопротивлении прошлого как таковом. И не только в просчетах и ошибках экономической, финансовой, национальной политики самих по себе. Тут еще предстоит разбираться, где были объективные причины, где ошибки, а где хорошо сработавшие мины прошлого.

Сталинизм к пику расцвета своего, то есть к преддверию войны 1941—1945 годов, выстроил своеобразную пирамиду власти. На вершине ее — вождь и его непосредственное окружение. На стыке с обществом — триумвират из партаппарата, хозаппарата и аппарата насилия.

Партаппарат был стержнем в политике, экономике и идеологии. Хозаппарат проводил социально-экономический курс партийно-государственного режима. Функция аппарата насилия понятна, но с той оговоркой, что действовал он, выполняя волю вождя как в отношении населения в целом, так и парт- и хозаппаратов, самой же номенклатуры.

Но еще при жизни Сталина в отношениях внутри триумвирата начали развиваться процессы, вождю объективно неподвластные. На их основе складывался правящий класс, сила и устойчивость которого коренились не только в его партийно-идеологическом единстве, но и в мощных опорах власти, в своеобразных «сословиях» внутри самого этого класса.

После смерти Сталина именно триумвират с его уже достаточно развитыми внутренними отношениями предотвратил приход к власти нового диктатора. На властном пьедестале оказались четыре равновеликих фигуры — Маленков, Хрущев, Молотов, Берия. Триумвират вынудил и к отказу от политики перманентных репрессий, грозившей исчезновением самого правящего класса. Руководство носило внешне коллективный характер, но постепенно

доминирующие позиции отходили, в соответствии с идеологической доктриной, к партаппарату («партии»). Верх одержал Хрущев.

Партаппарат фактически унаследовал абсолютизм сталинской власти, внешне полный, но с ограничителями, в качестве которых выступали несколько факторов:

а) Время неуклонно размывало монополизм партии. Процессы, приводившие постепенно к такому результату, развивались как в самой КПСС (углублявшийся отрыв аппарата от народа, особенно от интеллигенции, догматизм и словоблудие, паралич общественной мысли, лицемерие, нежелание видеть, признавать, анализировать реальные явления), так и в обществе в целом.

Подробное рассмотрение этих процессов — задача самостоятельная. Здесь подчеркнем только, что в 70-х годах духовное всевластие КПСС пошло вниз, хотя внешний «декорум» и ритуалы продолжали соблюдаться.

Но ритуал — это всего лишь видимость веры, а вот уже ясно очерченная полярность слов и дел стала потенциально опасным фактом, хотя и въевшимся в сам образ жизни.

б) Контроль партаппарата над ходом дел в стране все более трансформировался в контроль ведомственных и местных интересов над самой партией. Пошла в рост отраслевая и региональная мафиозность.

Началось это давно. В 60—70-е годы в таком положении оказались райкомы промышленных районов и обкомы регионов с засильем предприятий союзного подчинения, особенно военных. Такие парткомы формально властвовали, но фактически все более зависели от директоров предприятий и командиров воинских частей. С начала 70-х фактически царствовал, но не правил даже ЦК КПСС, его захлестнули ведомственные интересы, информационная зависимость от ведомств, неспособность осуществить на деле выполнение собственных же постановлений, диктат ведомств на местах, где все практически и решалось.

Власть ведомств оказалась настолько сильной, что даже в период перестройки они часто скрывали опасную для них информацию от Политбюро ЦК и Президента СССР.

в) С течением времени в номенклатурной структуре чистые партаппаратчики все более уступали место специалистам — как работающим только в своих отраслях, так и периодически курсирующим между отраслью и партаппа-

ратом. Карьера становилась доминирующим побуждением, круговая порука — условием ее обеспечения.

В результате ведущим средством воздействия партаппарата на номенклатуру — особенно и прежде всего на хозяйственную ее часть — с середины 60-х годов и по нарастающей становится хозяйственно-уголовный шантаж.

Что лежало в основе такого шантажа? Хозяйственники еще с 20-х годов вынуждены были ловчить, лгать и выкручиваться. Балансируя на грани и за гранью закона, они «закрывали дыры», неизбежно создаваемые пороками, которые органически вытекали из практики планирования, централизации, волюнтаризма решений, безответственности и бесконтрольности руководителей, взаимных противоречий сотен тысяч мелочных бюрократических инструкций и регламентаций. Если бы кто-то еще 20—25 лет назад предпринял попытку организовать работу строго по закону и инструкциям, экономика страны уже тогда была бы парализована. Таков парадокс системы.

Масштабы нарушений были всесоюзны и всепроникающи, их неизбежность абсолютна, сама их практика — рутинна. Это означало, что по «наводке» со стороны парткома того или иного уровня правоохранительные органы могли практически в любое время и на любого хозяйственника организовать, даже не фальсифицируя, любое дело: с перспективой партийного наказания, снятия с должности, тюремного заключения.

Подобная «система» во всей ее совокупности все сильнее стимулировала хозяйственников рисковать не во имя абстрактного «плана», а в личных интересах. С другой стороны, благополучие «чистых» специалистов и тех, кто сочетал профессиональную карьеру с партаппаратной, все более зависело от ведомств и все менее — от партии, а их удельный вес и влияние непрерывно и значительно возрастали. В результате номенклатурного круговорота кадров партаппарат насыщался ведомственными интересами и ведомственной лояльностью. В национальных республиках — национальными кадрами, интересами и лояльностью.

В этой связи вспомним практику смены кадров во время прихода к власти нового лидера. Немедленно заменялись руководители идеологических отделов и выходящих на них ведомств. Но «отраслевики» оставались на месте. И стоило М. Горбачеву замахнуться на их власть, как он получил мощнейшую оппозицию, продолжающую демонстрировать свою силу и сегодня, уже при Б. Ельцине.

Партия, партаппарат все более превращались в средства в руках военной, государственной и хозяйственной номенклатуры, а не наоборот, как было при Сталине и его репрессиях. Хотя иллюзии партийного верховенства продолжали жить, больше того — идеологически культивироваться.

г) Поскольку ни номенклатура, ни аппарат КПСС не могли и не хотели вобрать в себя всех специалистов, число которых с ростом уровня хозяйства и образованности быстро увеличивалось, сложилась объективная возможность роста их влияния вне КПСС и вне номенклатуры, а в каких-то случаях — и вопреки им. В результате в обществе образовалась неорганизованная, но многочисленная социальная группа большой интеллектуальной и практической силы, потенциально способная выступить как духовный стержень антиноменклатурной оппозиции. Оппозиции, отчасти демократической по ее воззрениям, но отчасти и авторитарной. После 1985 года все это вышло на поверхность с особой наглядностью.

В самом деле, посмотрим на расстановку сил в последние годы. Несмотря на отвержение ортодоксальной идеологии, многое на практике еще остается большевистским. Один партийный подход сменяется другим. Новые бюрократы успешно обживают партийные кабинеты. Нравственный фактор в управлении обществом не прибавляется, а убывает.

Казалось бы, дорога открыта дальнейшему развитию демократии. Но атмосфера не стала свежее, поскольку штаб сопротивления реформам переместился в Советы. В то же время трудно отделаться от впечатления, что практическая демократия трансформируется в средство достижения власти. В этом кроется большая опасность, ибо тирания, прикрываемая демократическими одеждами и лозунгами о справедливости, это самая страшная тирания. Если не ошибаюсь, о чем-то подобном писал еще Монтескье. И снова началось «осчастливливание» народа сверху вместо того, чтобы отдать его в руки самих людей.

Марксистский эгалитаризм в его ленинско-российской форме все еще травмирует общество. Он живет в боязни радикальных экономических решений, в ограниченных представлениях о мотивации человеческих поступков, труда, в авторитарных стереотипах сознания. Непреодоленное марксистское наследство просматривается в сведении всего разнообразия человеческих интересов к экономиче-

ским и соответственно в сведении всей гаммы социальных и национальных конфликтов тоже к экономическим, в недооценке самостоятельности многообразных сфер общественного бытия, обладающих своей собственной логикой.

Подчеркнем, однако, что такого рода процессы неизбежны. После XX съезда партаппарат оказался перед проблемой управления номенклатурой в условиях отказа от репрессий.

Вольница кадров, произвол руководства в центре и на местах нарастали. Росли распущенность, взяточничество, коррупция, злоупотребления как корыстного, так и разгильдяйского характера, выгодная многим бесхозяйственность. Когда же коррупция и злоупотребления приняли массовый характер, оказалось возможным до удивления легко и просто развернуть всю эту систему фактических отношений на обслуживание интересов клановых и мафиозных структур.

Поэтому «теневая экономика» в наших условиях — не нечто, существующее рядом с «экономикой законной». Это та же самая официальная экономика, но используемая должностными лицами в собственных интересах. «Теневиком» масштаба хоть на ступеньку выше базарного торговца может быть только тот, кто занимает какую-то должность в официальных структурах. И она, эта должность, определяет возможности человека и в официальном, и в «теневом» мире.

Такой хозяйственный аппарат неумолимо шел к тому, чтобы взять верх над двумя другими участниками триумвирата. Что и произошло в действительности. У него появились интерес и возможность подмять под себя, заставить служить себе и партаппарат, и аппарат насилия.

Конечно, у аппарата партии и аппарата насилия оставались рычаги, достаточные для того, чтобы обуздать любого конкретного хозяйственника, но не хозаппарат в целом.

Аппарат насилия проделал собственную эволюцию. Смерть Сталина и XX съезд прочертили в этой среде ясную границу. КГБ и армия заняли удобные ниши, в которых благоденствовали несколько десятилетий. Формально находились под ЦК КПСС, но на деле ни перед кем не несли ответственности. Бюджетно и политически связанные с Центром и потому ориентирующиеся только на него. Кроме того, секретным было объявлено все, в том числе и злоупотребления. Под завесой секретности до сих пор скрыто немало преступлений, в чем еще обществу придется разбираться, когда восторжествует настоящая демократия.

Положение правоохранения — МВД, прокуратура, суд — оказалось сложнее. С потерей одного хозяина оно стало внутренне разрываться между Центром и многочисленными местными хозяевами. При этом на местном уровне чаще побеждали, естественно, местные интересы.

Историю становления и эволюции триумвирата можно было бы изобразить в виде восходяще-расходящейся спирали. Конечно, шло это развитие неравномерно: где-то быстрее, где-то медленнее. Где-то вписываясь в местные национальные, религиозные, клановые традиции, где-то ломая их, подминая под себя. Где-то откровенно перерождаясь в уголовный беспредел, сливаясь с ним, а где-то оставаясь в рамках формальной законности и веры в непогрешимость догматов государственной идеологии. Но свои триумвиратные круги сформировались фактически повсеместно — на районном, областном, республиканском уровнях.

Физические масштабы Центра и особая сложность межличностных отношений в нем затрудняли этот процесс в Москве. Здесь нужна была длительная и специфическая по своему характеру подготовка. Она объективно пала на 70-е годы, время Брежнева, когда уже достаточно развитые триумвиратные связи разных уровней, а также и связи по линии район — область — республика стали в массовом порядке поражать всю вертикаль, выходить и в Центр, включать отдельные его сектора в региональные мафиозные и полумафиозные структуры. Одновременно продолжалось и перераспределение сил внутри триумвирата во всех его секторах.

Наиболее уязвимыми оказались в итоге позиции партаппарата. Его полезная для других участников триумвирата функция сводилась преимущественно к тому, чтобы служить ширмой для действий хозяйственников, военных, органов безопасности. Формально партаппарат продолжал держать в руках и номенклатуру. «Руководящая роль» партии в целом обеспечивала и идеологическое оправдание законности и целесообразности существующего порядка.

Партаппарат мог навредить, «подставить ножку», и потому с ним приходилось считаться. Но уже не мог привнести в копилку триумвирата ничего по-настоящему собственного и ценного. Более того, честные и компетентные работники хозяйственных структур профессионально не

могли не видеть, не понимать, насколько плохо подготовленными, даже несостоятельными были многие партийные решения, постановления, начинания, кампании. В результате по разным причинам и с разными ожиданиями, но и в честной, и в мафиозной частях хозаппарата росли антипартаппаратные настроения. Поэтому-то и оказалось необходимым на 60-м году революции закрепить абсолютизм власти КПСС конституционно.

Это решение отражало на уровне политического инстинкта опасение партийной верхушки за прочность своей власти. Но хозяйственный и советский аппарат отнеслись к этому равнодушно. Они уже усвоили, что «Конституция» жизни совсем иная, чем формальная Конституция: на словах одно, в деле — противоположное.

Формальное закрепление абсолютизма КПСС шло параллельно с упадком личностных возможностей вождей. По мере фактического перераспределения власти другие участники триумвирата были все менее заинтересованы в «сильной личности».

Моновласть, моноидеология и монособственность умирали.

Так кто же был во главе умирания утопии, очаровавшей миллионы людей идеями свободы и справедливости? Все шло по нисходящей.

Владимир Ульянов-Ленин — крупнейшая политическая фигура XX века. Безусловно, умен, начитан, образован. Беспредельно целеустремлен в достижении власти. Обладал чрезвычайной работоспособностью. Беспринципен с точки зрения ортодоксии марксизма. Менял неоднократно и без всяких колебаний свои взгляды, если этого требовала тактика борьбы со своими противниками. Импульсивен, но и расчетлив. Нетерпим к инакомыслию, безжалостен, когда шла речь о власти. Шел на компромиссы только тогда, когда они были выгодны. Цели власти ставил выше морали. Несет личную ответственность за разжигание гражданской войны, за «красный террор», за кровавые расправы в Ярославле, на Тамбовщине, в Кронштадте, на юге России и во многих других местах, где вспыхивали народные восстания.

Иосиф Джугашвили-Сталин — профессиональный гробовщик. Личность страшная, наиболее коварная среди злодеев. Ярчайшее олицетворение системы большевизма. Мастер лжи и страха, создатель рефеодальной государственно-репрессивной системы. Умопомрачение от нее

оказалось настолько глубоким, всепоражающим и всепожирающим, что и до сих пор немало людей поклоняется убийце миллионов. Несет прямую ответственность за физическое и духовное истощение страны.

Никита Хрущев — неординарен, противоречив, с трагическим раздвоенным сознанием. Его доклад на XX съезде КПСС о сталинских репрессиях — выдающийся политический шаг, во многом определивший направление событий в послесталинский переходный период. Он хотел расстаться со сталинизмом, но не с системой. Отвернулся от ее создателя, но поклонялся миру, им созданному. Противоречие было изначально неразрешимым, он не сумел понять этого.

Общителен, шумлив, малограмотен, любил импровизации, которые чаще всего кончались конфузом. Осудив Сталина за злодеяния, он сам вступил на путь репрессий и силовых расправ, свойственных большевизму по его природе.

Леонид Брежнев — смесь фарс-шутовской выходки истории и закономерности периода упадка. Маршал «малой земли», выигравший войну, ибо все остальные, Г. К. Жуков в том числе, отсиживались в окопах Сталинграда, а затем — на Курской дуге. Впервые военно-промышленному комплексу удалось поставить у штурвала управления страной своего представителя. Малообразован. Злопамятен. Лишен каких-либо талантов, кроме одного — обладал почти безошибочным чутьем на личных сторонников и противников.

Поначалу хотел что-то «исправить», но быстро охладел к делам. Любил ордена, почести и разного рода церемониалы. Последние 5—6 лет был тяжело болен, фактически не мог работать, что тщательно скрывалось. Но, как оказалось, системе и не нужен был живой управитель. Это уже не его вина, а скорее признак умирающей моновласти.

Смеясь, расстаемся с брежневщиной. Но смех, к несчастью, все тот же — сквозь слезы.

Юрий Андропов — человек хитрый, коварный и многоопытный. Нигде толком не учился. Организатор моральных репрессий, постоянного давления на интеллигенцию через ссылки и высылки, тюрьмы и психушки. Представлял себе развитие общества как упорядочение надстройки, очищение ее от грязи, ибо уровень антисанитарии становился запредельным. Он это видел.

Такая позиция устраивала большинство в руководстве страной, ибо давала шанс на выживание. Она всколыхнула и надежды доверчивых тружеников, унижаемых и оскорбляемых чиновничеством. В общем, Андропов становился популярен, что было и немудрено на фоне Брежнева, люди давно ждали хотя бы маленьких шажков вперед. Говорится это к тому, что андроповский вариант — санитарная обработка надстройки — живуч и коварен. Сохранение системы — ее цель.

Ортодоксален до мозга костей, хотя нередко строил из себя прогрессиста, особенно в разговорах с интеллигенцией. Четко делил членов КПСС на коммунистов и большевиков. Сам себя, разумеется, относил к большевикам. К коммунистам относился с предубеждением, видя в них потенциальных ревизионистов.

Константин Черненко — ослепляюще яркий сигнал приближающейся катастрофы системы, ее нежизнеспособности, некомпетентности. Предельно беспомощен в делах. Любимая сфера — письма трудящихся. Не стану утверждать, что он был «идейно убежденным» деятелем с большевистским огнем в глазах. Скорее смотрел на марксистскую теорию как на средство удержания власти, да еще и по привычке.

Абсурдность самого факта его правления отрезвила многих в стране. Но с другой стороны, государственный, хозяйственный и репрессивный аппараты увидели в этот период возможность решающего шага в перераспределении власти в свою пользу.

И все же, несмотря на тенденцию упадка партийной власти, театр абсурда продолжал играть свои спектакли, хотя бездарность режиссуры становилась все более очевидной. Наиболее дальнозоркие партийные деятели понимали, что комизм новых вождей партии не является случайным, а отражает общий структурный распад общественного устройства. Вот почему нельзя исключать и такой ход мысли — перемены 1985 года были встречены партаппаратом с надеждой, что они укрепят власть партии и «поставят на место» выходящие из-под контроля другие части триумвирата.

Но аппарат просчитался. Преобразования ударили и по его властным функциям в их прежнем виде. Способствовала этому и бездарная кадровая селекция, когда наверху оказывались в значительной мере люди недалекие, конъюнктурные и малообразованные, зато идеологически

надежные. Они были лишены исторического чутья, сделали ставку на борьбу за власть до последнего вздоха.

Не демократия смела партию — она могла стать соперничающей политической силой. Партию уничтожил ее аппарат, который объявил демократическим преобразованиям войну и открыл огонь на поражение.

Особую неприязнь у него вызвала политика гласности в средствах массовой информации и в деятельности органов власти, ибо такая политика означала постепенную утрату контроля над номенклатурой. Идеологическая ширма оказалась сорванной.

И наконец, обкомы, крайкомы, республиканские ЦК с их устоявшимися официальными и теневыми интересами, военно-промышленный комплекс ясно увидели, что в конечном счете экономические и политические преобразования непосредственно направлены против их коренных интересов, лишают их той власти, которая не влечет за собой ответственности перед народом.

Все же триумвиратные правила игры оказались порушенными. И прежде всего в Москве, Ленинграде, Свердловске, некоторых других крупных городах. Подрывались и былые идеологические основания триумвиратности как явления, что способствовало смещению с должностей многих местных руководителей. Но эффект обновления еще не был сильным и широким, хотя агония режима нарастала, углублялась.

Процесс преобразований подорвал, ослабил, но не ликвидировал триумвиратность. Она лишилась былого мифологического ореола, царственного блеска. Ее непосредственные участники оказались выставленными в истинном свете. Начатая хозяйственным сектором (отнюдь не только теневым) и феодально-клановыми структурами антипартаппаратная кампания объективно ударила и по триумвирату в целом. Сохранились в нем и серьезные противоречия — и на отдельных уровнях, и между ними, и в самом явлении как таковом.

Что же изменилось в составе и структуре триумвиратности под воздействием Реформации?

Прежде всего возросли значение и фактическая лидирующая роль хозаппарата. Реальная власть сосредоточена сегодня в его руках на всех уровнях — от колхоза, предприятия и выше. Ибо реальная власть — это ресурсы. Как государственные, видимые, официальные, так и

«теневые», за время перестройки многократно возросшие и продолжающие увеличиваться ускоренными темпами.

Верно, что Реформация дала значительные преимущества предпринимательскому сектору, но в рамках государственной собственности. И не потому, что перестройка с самого начала замышлялась как кампания в его пользу, а по той причине, что прежние экономические, номенклатурные, правовые структуры давали максимально благоприятные шансы и возможности «своим». И напротив, как объективно, так и субъективно, всячески противодействовали появлению любых аутсайдеров, будь то арендаторы, фермеры, коллективные и частные собственники. Противодействуют и до сих пор.

Вместе с тем внутри хозаппарата развивалось и зашло достаточно далеко расслоение интересов и воззрений и, соответственно, политических надежд. Административно-командная экономика, пришпоренная концепцией регионального хозрасчета, экономически подготовила почву регионализма, ультранационализма, сепаратизма. Притом не только в масштабах страны в целом, но и в рамках республик и даже областей. Идея регионального хозрасчета внешне выглядела прогрессивной, на деле же, как мне кажется, оказалась вредоносной.

Плановое сверхцентрализованное хозяйство было по сути натуральным. Каждый хозяйственник, зная произвол и бюрократизм центрального «плана», уже давно стремился заиметь максимум своего, собственного и как можно меньше зависеть от смежников. За натуральным хозяйством шли и соответствующая психология, и такое же политическое сознание. Война законов, захлестнувшая государство с 1990 года, своими корнями уходит в это качество нашей экономики.

За эволюцией триумвиратной власти тщательно наблюдали правящие структуры в национальных республиках. До поры до времени, чтобы не вызвать ненужных подозрений, они демонстрировали партийную дисциплину, верность принципам интернационализма и неприятие национализма, преданность единому Союзу. Но ждали своего часа.

Когда после провала заговора в августе 1991 года появилась возможность кардинальным образом изменить свои политические и идеологические взгляды, они сделали это в одночасье. Суетливые «переодевания политических нарядов» выглядели непристойно. Националистическое

оттеснило национальное. Хмельной разгул безответственности взял верх.

Триумвират прозевал возможность такого исхода.

В конечном счете столкнулись, по крайней мере, три тенденции.

Первая. Военно-промышленный комплекс и отрасли, в наибольшей мере завязанные на его обслуживание, в целом мыслили свое существование только в рамках прежнего Союза и прежних экономических отношений. Любое обновление для них было сопряжено с наибольшими издержками и с серьезной психологической ломкой. Что это так, показали первые же серьезные сокращения вооруженных сил и вооружений, первые же значительные военные передислокации, первые попытки конверсии.

Я хорошо помню, как на Президентском Совете трижды обсуждалась проблема конверсии. И каждый раз получалось, что на эти цели требуются такие финансовые средства, которые окончательно подорвут экономику страны. Представители военно-промышленного комплекса и их покровители в государственном аппарате с такой страстностью защищали свои интересы, что сторонники разоружения и снижения бремени милитаризации оказывались под мощным политическим обстрелом. Реформаторам не хватало ни компетентности, ни знаний, поскольку все было засекречено. Все кончилось тем, что вопросы конверсии были отданы на откуп Совету Министров СССР, в котором ВПК свил надежное гнездо.

Да, можно с уверенностью утверждать, что саботажа хватало. Но если бы его и не было вовсе, трудности именно в этих секторах материальной жизни в любом случае были бы наиболее серьезными. На этих трудностях умело спекулировали структуры, обреченные обновлением на тяжкую необходимость работать по-настоящему.

Идеологически эти трудности подогревались, раздувались реакцией, прежде всего официальными идеологическими структурами и партаппаратом. Августовский сговор 1991 года стал бунтом прежде всего этой части совокупного аппарата, направленным на спасение прежней роли Центра, роли ВПК в политике и экономике.

Реакционное крыло аппарата КПСС, особенно РКП, организационно и идеологически готовило переворот, поддерживало его, на полную мощь подключило к этому партийно-коммунистическую печать, в том числе некоторые литературные издания реакционного толка.

Новую попытку реванша наследники большевиков сделали в октябре 1993 года. Но снова провал. Полагаю, что усилия реставраторов прошлого будут теперь сосредоточены на том, чтобы добиваться своих целей через представительные органы, парламенты.

Вторая тенденция сформирована республиканскими экономическими комплексами. Окрепшие хозяйственные и политические структуры республик стремились утвердить себя и свои интересы, располагая для этого немалыми объективными возможностями материального и духовного плана. Здесь и региональные хозяйственные интересы, и влияние национализма, и попытки соперничающих кланов прорваться к власти, оставив в неприкосновенности структуру триумвиратно-клановых отношений в регионе как таковую.

Здесь же и попытки административно-командной системы, развалившейся в Центре, закрепиться на республиканских рубежах обороны, подготовить таким образом исходные позиции для последующего контрнаступления. Попытки, надо сказать, небезуспешные, встреченные в некоторых республиках благожелательно. Здесь и открытое, а не закулисное или стыдливо скрываемое, как раньше, смыкание региональных, особенно республиканских, хозаппаратов с региональными же аппаратами насилия.

И наконец, третья тенденция, образуемая теми элементами хозяйственного комплекса, которые заинтересованы в рынке и искренне стремятся к нему. Они были и есть пока в меньшинстве — и в центре, и на местах. Безусловно, они за обновление и всегда поддерживали региональные перемены, видя в них союзника, способного если не сокрушить, то ослабить старый имперский Центр.

Именно их участие в противоборстве с Центром и придает демократический, обновленческий вид борьбе второй тенденции против первой. Но только вид, ибо в угаре политических страстей демократические силы в Центре упорно не хотели видеть опасности, когда под благородным знаменем национальной независимости и утверждения национального самосознания укреплялась власть клановокоммунистических структур, абсолютизму которых мешал Центр.

Как ни парадоксально, но именно третья тенденция максимально рискует оказаться забытой, проигравшей, если ее составляющие не пойдут в политику сами, ссылаясь на то, что не хотят якобы участвовать в дележе власти.

Вторая тенденция — в выигрыше, явном и крупном. Но пройдет время, и республики осознают, что Центр им необходим. Собственно, они это понимали всегда, речь идет лишь о завоевании для себя новых возможностей. Ни одно современное государственное образование, даже такая свободная конфедерация, как Европейское Сообщество, не обходится без своего Центра. Так что и первая тенденция «похудеет», но выживет, а в итоге и не будет обижена особенно сильно. Хозяйственники с современным кругозором это понимают.

А вот третья, рыночная, отныне, повторяю, превращается в оппонента не только старой реакции, но и новой региональной псевдодемократии. И никто сегодня не может с уверенностью поручиться за исход подобного развития событий.

Далее. На рубеже 90-х годов раскладка сил и соперничество интересов все более осложнялись разрушением былого идеологического баланса.

Насильственная идеологическая монополия оказалась сметенной, ее догмы — опрокинутыми. Под вопрос поставлено все: целесообразность социалистического выбора; научная состоятельность марксистской доктрины; правомерность идеологии в целом. Под обстрелом — сама необходимость Реформации. «Справа» — это понятно. А вот «слева» — политически бесхозяйственно. По каждой из этих и многих другим проблемам сложился спектр самых разнообразных позиций.

Возникновение самих вопросов, широта диапазона отношений к каждому из них — не плод чьих-то происков, а результат объективных процессов в жизни и общественном сознании.

Постепенно углублялось понимание той трагической истины, что во многом наши беды, кризисы, пороки и предрассудки — следствие идеологического обмана, принудительного мировоззрения, которое перекрывало пути научному анализу и ответственным решениям.

Все это и привело к столь резкому отторжению марксистской доктрины и официальной идеологии.

В то же время потребность в духовном пастырстве остается, ибо психологически общество мало изменилось. Общество с иждивенческой психологией, с огромной долей закомплексованных и внутренне несамостоятельных людей, ослепленных в прошлом неорелигией, не может жить без поводыря. Тот, кто предложит сейчас идеологическое

пастырство, способное откликнуться на эти нужды, может получить политический перевес в идущем противоборстве. Можно только надеяться, чтобы такое предложение не оказалось снова спекулятивным.

КПСС умирает медленно, мучительно. Причина краха этого партийного исполина в нем самом, в близоруком руководстве и аппарате, которые упорно цеплялись за старое, не могли отрешиться от власти, обозлились на историю, на перестройку, то есть пошли против жизни, за что и были строго наказаны.

По мере развития событий в самой КПСС все четче обозначались три течения: реформистское, консервативно-модернизаторское и реакционно-националистически-большевистское. Руководство КПСС, вместо того чтобы использовать это фактическое и очевидное размежевание в партии для ее демократического обновления, встало на путь борьбы с демократическим крылом в КПСС.

Ортодоксально-идеологический консерватизм в партии уже в период между ее XIX конференцией и XXVIII съездом показал себя банкротом, но продолжал активно действовать, особенно в аппаратных структурах. Национал-неосоциализм оказался наиболее организованным, активным и горластым.

Именно он представлен наиболее сильно в республиканских структурах, хотя и не везде это принимает скандальные формы. Национал-неосоциализм вполне способен дать региональным и республиканским триумвиратам, где они сохраняются или возрождаются, и новое идеологическое оправдание, и новую легитимацию, и новую ширму для прикрытия эгоизма интересов и действий.

Национал-большевизм сыграл преступную роль в судьбе России. Следует напомнить, какую визгливую кампанию они развернули против тех, кто выступил против образования компартии России, как дестабилизирующего фактора в межсоюзных отношениях. Теперь они ищут виновников хаотического развала на стороне. Что ж, обычная практика большевизма.

Впрочем, ход событий в 1993—1994 годах показал очевидный спад влияния национализма. Он не принес, да и не мог принести, ничего путного и позитивного в жизнь людей, и в то же время продемонстрировал свою разрушительную роль. Смычка большевиков с национал-шовинизмом ускоряет процесс умирания идеологии большевизма.

Консервативный модернизм включал в себя сторонни-

ков малых преобразований эволюционного типа. Таких преобразований, которые опирались бы скорее на прежние структуры и механизмы, нежели на новые. Иными словами, сторонники этого направления были не против журавля в небе и даже не против того, чтобы его поймать. Но выпустить синицу из рук категорически не хотели, боялись.

Объективно такая позиция всего точнее отвечала политическим нуждам центрального хозяйственного и административного аппарата, а также правящим силам тех регионов, положение в которых не характеризовалось крайностями любого рода.

Умеренный реформизм — это первоначальная перестройка, но потом испугавшаяся себя (или кем-то и чем-то запуганная). По традиционным политическим меркам — это социал-демократическое направление, хотя и несогласное считать себя таковым.

Оставаясь в КПСС, оно обрекло себя на трудные испытания. Оказавшись в тисках противоречия между формой и содержанием, это направление все время рисковало разделить судьбу КПСС, хотя в самой партии отвергалось с крайним ожесточением, которое порой трудно поддавалось здравому объяснению. Объективно оно противостояло триумвиратам как в Центре, так и на местах.

Отсюда — истеричность и активность критики реформаторства. Отсюда и ненависть к реформаторству и реформаторам, ненависть, которая скоморошничает на страницах бывших печатных органов КПСС, и особенно некоторых реакционных литературных изданий, которые субсидируются военно-промышленным комплексом.

Реформаторское направление было обусловлено временем, но оно столкнулось и со специфическими трудностями.

Один их ряд объективен: Реформация опоздала на многие годы. Случись все это раньше, волна демократического энтузиазма была бы куда мощнее, а главное, нравственно чище. Гонения на инакомыслие, общественный застой почти убили социальный идеализм и доверие, расплодив апатию, цинизм, безверие, моральную всеядность. Вот почему сегодняшняя волна демократии похожа на прибой, несущий с собой и чистое, и мусор.

Но есть и субъективный фактор. Как и всякому верхушечному деянию, Реформации просто внутренне оказалось трудно сделать решающий шаг к демократизации самой себя.

Впрочем, любая кардинальная Реформация с самого начала должна исходить из того, что ее предварительные замыслы и графики будут опрокинуты. Жизнь-хозяйка продиктует свой темп и свою логику, свою последовательность событий, обнаружит свои капризы, равно как и субъективные победы и просчеты, назовет трагиков и комиков, героев и могильщиков.

Кроме всего прочего, опыт Реформации в СССР и в России уникален. Это первый опыт ненасильственных, но революционных по своему характеру реформ, таких, которые означают переход к новому общественному укладу. Это придает обновленческому процессу тягучесть, противоречивость, жизнь насыщается политическими и нравственными спекуляциями, правовыми неопределенностями и нелепостями, которыми активно пользуются разного рода мошенники.

Выше уже говорилось, что, по существу, только в экономике к началу перестройки был наработан некоторый запас идей. Например, о необходимости ограничения масштабов и роли централизованного планирования, перехода к новым экономическим отношениям и многообразию форм хозяйствования. Но все это делалось с оглядкой, писалось между строк.

На фоне борьбы с инакомыслием одно только произнесение подобных слов требовало немалого мужества и казалось неслыханным фрондерством. Однако к моменту начавшихся преобразований подобных идей было уже недостаточно. Быстро возникали все новые и новые вопросы. Как ограничить централизованное планирование и диктат Центра, не вызвав хаоса в экономике? Как начинать переход к рынку и свести при этом до минимума неизбежные издержки? Как должна действовать финансово-кредитная система в новых условиях? Как вводить частную собственность и свободную торговлю? И многие другие.

И всюду, где не было теоретического задела и необходимого объема практического опыта, перестройка запаздывала, упускала время, набирала штрафные очки. Это в экономике.

В политической и законодательной сферах вопросы стояли куда острее. Что же касается социальной структуры общества, его социальной психологии, признания того, что тезис о примате экономики в корне неверен, что даже серьезная экономическая реформа не выведет сама по

себе из круга бед и мучений, — на всех этих направлениях нет серьезных разработок еще и сегодня.

Зашоренность сознания, задогматизированность общественных наук, забвение многих прежних достижений отечественной мысли, крайне ограниченный даже для специалистов доступ к современной мировой социальной мысли — все это в совокупности означало, что Реформация вынуждена развиваться на крайне недостаточной теоретической базе, продвигаться вперед методом проб и ошибок, неизбежно совершая при этом больше просчетов, чем могла бы в случае, если бы с самого начала открыто поощряла самые острые и противоречивые публичные дебаты по любым «святотатственным» вопросам.

Между тем на первый план уже выходят новые идейные противоречия. Одно из них — теоретико-психологическое осознание социалистического опыта. Попытки придать прежнему тоталитарно-догматическому мышлению просто противоположный знак могут завершиться новым антидемократизмом. Важна способность не отождествлять социалистическую идею с тем, во что она выродилась на практике. И вообще, всякий спор вокруг терминов очень часто уводит от существа дела. Скажем, идет дискуссия о социализме, но каждый вкладывает в это определение свое содержание — и теоретическое, и практическое. Одни — большевизм, другие — христианский гуманизм. Спор становится бессмысленным.

Лично я считаю, что социал-демократический вариант развития с учетом российской специфики еще не умер, его возможности вполне реальны.

Другое противоречие перспективного значения — это отношение к идее демократии. Нельзя не видеть, что спор в обществе, да и в современном мире идет давно уже не в примитивной плоскости «демократия или антидемократия».

Нравственный, да и политический выбор в пользу демократии человечество сделало. А спор сместился в иную плоскость: демократия как средство или же демократия как самоценность? Как средство достижения определенных целей демократия часто становится «разменной монетой», при каких-то обстоятельствах ею жертвуют. Как самоценность идея демократии вполне способна привести к новому фанатизму и новым конфликтам, к потере доверия в сознании общества.

В новых условиях в центре демократических преобра-

зований должны быть не абстрактные лозунги и формулы, а польза и нравственность, реальность и конкретность любого шага; придание обществу и государству конкурентоспособности внутри и вовне; активное участие в международном общении; измерение самого демократического развития только переменами в качестве жизни; национальная безопасность через права граждан; суверенитет народов; экологическое здоровье страны; создание и укрепление экономических и нравственных стимулов к развитию цивилизованного общества, то есть общества, отвергнувшего практически убийство людей.

III.

Эволюция ожиданий. Ожидания как психологическое явление не тождественны ни интересам, ни представлениям человека. Они не мотивируют человека прямо и непосредственно. Роль их иная: ожидания выполняют функцию некоей осознаваемой, а чаще неосознаваемой внутренней «системы координат», которая позволяет человеку выстраивать определенную схему своих приоритетов и в сознании, и в поступках.

Ожидания предопределяют оценку не по шкале «хочется — надо, не надо — не хочется», как часто думают, но по шкале «возможно — реально, достижимо — не достижимо, не реально — не возможно в данных условиях».

На старте Реформации ожидания определялись общей несамокритической атмосферой, завышенной оценкой социализма, его «достижений» и потенциальных возможностей, инерцией технократического мышления, а во многом привычного авторитарного подхода к формулированию задач общественного развития. Именно в такой психологической среде и могла родиться концепция ускорения, в основных ее положениях утопическая, но в историческом контексте неизбежная.

Концепция ускорения не ориентировала на крутые общественные преобразования, которые бы стали социальным преодолением. Предполагалось совершенствование системы, упразднение ее особенно нетерпимых проявлений. Господствовало мнение, что в огромном организме какие-то «краны» надо будет открыть, какие-то, напротив, закрыть, что-то заменить, а что-то заштопать, и все пойдет нормально.

Я тоже разделял на этом этапе возможность такого варианта, но где-то более радикального. Например, до перестройки и особенно в ходе ее, я без особых колебаний выступал против засилья догматизма в общественных науках. Достаточно ясно понимал, что только свобода мысли способна развивать науку.

В ожиданиях продолжал господствовать прежний нормативно-фаталистический подход, исходящий де-факто из того, что, если нечто представляется разумным и полезным, оно должно всенепременно состояться. Не будем говорить о том, что в обществе, нравственное здоровье которого серьезно подорвано, даже лучшие помыслы могут давать совершенно противоположные результаты. Но и безотносительно к духовному состоянию в таком подходе, как минимум, два существенных изъяна.

Во-первых, он не задается самокритичным вопросом: почему, собственно, нечто кажется наиболее разумным и рациональным? Какие к тому основания? Задним числом видим и понимаем, что как раз оснований-то чаще всего не хватает или нет совсем, что действуют и иные, не учтенные факторы. Мы сознаем все это в приложении к любому прошлому периоду. А вот к современному?

Это не значит, что концепция Реформации оказалась неверной. Но что же убедило в ее правильности с самого начала? Какие из исходных посылок могли со временем обнаружить свою недостаточную прочность?

Для самих себя такие вопросы, сомнения в адрес сомнений, должны быть заданы.

Во-вторых, нормативный подход фактически отождествляет выгоду и пользу для всего общества в перспективе с выгодой и пользой для конкретного человека сегодня. Но это далеко не так, а в жизни часто бывает связано и обратной зависимостью: завтрашняя выгода общества требует сегодняшних жертв от человека. Проблема перевода интересов, мотивов, устремлений одного социального уровня и масштаба времени на «язык» других, более или менее высоких и продолжительных, вообще не поставлена в науке и крайне слабо изучена в практике.

На старте Реформации общество в немалой его части хотело перемен и проявило готовность что-то ради них предпринять. Но что именно? Ему не было предложено реальной роли, а само оно не знало, что и как делать.

Говорилось, конечно, что суть изменений — в непременном пробуждении инициативы людей, но под идею

инициативы в то время не было подведено ни экономической, ни политической основы.Реформы пошли позднее, да и то в рваном темпе. Только гласность начала свою очищающую работу, да внешняя политика кардинально изменила свой характер.

По сути, в новом, перестроечном, облике возрождался прежний стереотип: все надежды связывались с тем, что скажут и сделают наверху.

Не вдаваясь в анализ причин, отмечу только, что объективно перестройка поначалу не просто подкрепила застарелые иждивенческие надежды, но и усилила ожидания скорого благоденствия, быстрого решения проблем продовольствия, жилья, товаров и услуг.

Но по мере того, как нарастали объективные трудности, осложнялось положение рядовых граждан, закономерно возникли и начали расти раздражение, недовольство переменами и их инициаторами, антиперестроечный потенциал в сознании. И сейчас ждут уже не перемен к лучшему, но того, чтобы не стало еще хуже.

Значит ли это, что общество в целом отворачивается от идей обновления, преобразований? На мой взгляд, нет.

Но в его сознании пролег водораздел между этими идеями как таковыми и их конкретным осуществлением. Подобная коллизия до боли знакома нам.

И здесь получают возможность плясать и улюлюкать все желающие. Тем самым усиливается объективная возможность под лозунгами «исправления» Реформации лишить ее демократического содержания. Например, развернуть общество назад, к андроповскому или подобному сценарию, направить в авторитарное русло, возродить административно-командные структуры, резко усилив их на региональных уровнях, сделав эти уровни, по сути, стержневыми, несущими. Подобный сценарий оказался вчистую непредвиденным.

Распад Союза (а не изменение его характера, что было бы разумно) ускорил этот процесс. Пока ясно одно: этот распад удовлетворил амбиции местных триумвиратов власти, так долго добивавшихся свободы рук.

Чувства простого человека определяются пока только изумлением и растерянностью от случившегося.

И здесь весьма существенным представляется изменение в ожиданиях средних управленческих слоев. Сражения в Центре между консерваторами и реформаторами в 1989—1991 годах не привели к победе тех или других.

К сожалению, М. С. Горбачев не занял в этой борьбе четкой позиции. Я знаю, он мучительно размышлял над ситуацией, но не смог преодолеть давление старых структур и лиц, это давление осуществлявших. Наступило время своеобразного застоя.

Я помню, как он был воодушевлен программой «500 дней». Но я помню и другое — какой яростной атаке он был подвергнут. Угрозы открытых выступлений, отставок. Откровенные запугивания распадом экономики. Ему настойчиво внушали, что согласие с идеей экономического Союза приведет к распаду политического. Он пошел на компромисс с антиреформистскими силами, что объективно и привело его к потере власти еще осенью 1990 года.

Реваншистские силы увидели для себя еще одну возможность для возвращения утерянных позиций. Аппараты партии, государственных структур, карательных органов осмелели, а многочисленные слои бюрократии увидели в этом ситуацию временного пата, которая позволяет им заняться безнаказанно улаживанием собственных дел.

Именно в это время стало образовываться своеобразное равновесие в расстановке сил, складываться странное двоевластие. Общий курс — на Реформацию; практические дела аппаратов — на реставрацию.

Повторяю, все это привело к экономическому реваншу осенью 1990 года, когда усилиями старых структур была загублена программа «500 дней», дававшая возможность выхода из тупика. Прошлое одержало победу, что и подвигло военно-промышленный комплекс, силовые структуры, руководство КПСС к мятежу в августе 1991 года. Расхлябанность и разобщенность демократических сил подтолкнула к попытке реванша и в 1993 году.

Возврат к авторитаризму возможен в том случае, если по-прежнему власть предержащие, открещиваясь от авторитарного прошлого, утверждая демократию и рыночные отношения, осуществляя другие нужные преобразования, по-прежнему оставят вне поля зрения человека, его сознание и психологию.

Глубокое противоречие сложилось в сфере общественных ожиданий, предопределенное двойственностью самих преобразований. По конкретным целям и задачам они отрицают многое из прошлого, причем во всех сферах теории и практики, но в сфере психологии продолжают прошлое: это рецепты и формулы «сверху», рассчитанные всего лишь на пассивную поддержку снизу.

К этому объективному фактору следует добавить и субъективный. Если вспомнить персональный состав высшего эшелона руководства страны, то там не оказалось ни одного перестройщика «снизу». Карьерная толчея шла только на верхней ступени иерархии.

Больше того, конверсией занимались люди, посвятившие свою жизнь созданию оружия. Аграреформами — несгибаемые сторонники колхозов и совхозов, «трубачи» коллективизации. Экономикой в целом — представители военно-промышленного комплекса и ярые защитники централизованного управления. Я не ставлю под сомнение личную порядочность многих из них, но они объективно не были готовы к радикальным реформам.

Общественное мнение нередко оказывалось дезориентированным относительно подлинного содержания перестройки. Призывы консолидироваться под ее знаменами вызывали закономерный вопрос: вокруг чего сплачиваться, какой программы? Поскольку конкретика позиций варьировалась, общество теряло ориентиры, равно как и интерес к происходящим процессам.

В целом преобразования взорвали то застойно-болотное равновесие, которое служило инкубатором общественного распада. Но несомненно и то, что не были оценены в полной мере ни степень, ни глубина общественного консерватизма. Видеть в этом только результат многих десятилетий идеологической обработки — верно, но лишь отчасти.

Еще предстоит много потрудиться над тем, чтобы человек поднял уставшую голову (сумасшедшие цены, разгул преступности, падение жизненного уровня опять тычут его в землю), задумался о смысле своего бытия.

Надежды и расчеты на энтузиазм в связи с обновлением, если они и были, не могли оправдаться. Эпоха страха и социальной наивности, некритической веры, доверия к власти давно в прошлом.

Необходима система экономической и социальной мотивации. Теоретический «провал» здесь особенно опасен: насколько можно судить, пока нет даже черновых эскизов всесторонней системы мотивации к честному труду, здоровому образу жизни, здравой политике, ответственной свободе.

Но поскольку в распоряжении Реформации уже не было ни кнута, ни пряника, то заработал печатный станок. Это не только грубый просчет экономической или финан-

совой политики, но и закономерный результат отсутствия системы социальной и экономической мотивации. Положение не изменится, если не завязать немедленно и прямо доходы на результат работы, будь то предприятие, фермер, рабочий, инженер, ученый, любой специалист. Именно это, а не что-то иное — ключ к успеху или провалу любых реформ. Надо дать возможность честно работать и честно зарабатывать всем желающим и способным.

Именно это и не делается до сих пор.

Точнее, не делается по отношению прежде всего к честным труженикам. Перестройка не сумела создать систему поддержки и защиты всех тех, кто сразу готов был идти ее путем. Немало таких людей пострадало, и это оказало свой общественный эффект. И фермер, и ремесленник, и предприниматель, и арендатор — все они до сих пор в положении, когда приходится преодолевать неимоверные трудности, создаваемые чиновничеством, тоскующим по старым временам.

Иждивенческая, люмпенская психология сказалась и в том, что общество готово было принять и поддержать перестройку, но скорее как дар свыше. Общественная психология была внутренне противоречива, расколота на много частей.

У человека как потребителя нарастало законное недовольство дефицитами, очередями, мерзким качеством, сокращением ассортимента, засильем кумовства и взяточничества, вообще всевозможной продажности. Недовольство росло, но было еще подспудным.

У него же, как производителя, господствовала удовлетворенность выводиловкой, уравниловкой, возможностью как-то использовать работу в личных целях, не перенапрягаться, работать спустя рукава или вообще ничего не делать. Более того, необходимость приспосабливаться как раз и требовала, чтобы трудовая этика и дисциплина размывались еще больше. В сознании явно перевешивала лень. Лень не только физическая, но и нравственная, духовная.

И все же освоение новой обстановки, связанное с экономическими и политическими преобразованиями, развенчало сказку для слабых и невежественных — о возможности пришествия какого-то рая небесного на грешную Землю. Постепенно приходит понимание: хочешь хорошо и достойно жить — надо работать головой и руками. Не только в узкоприкладном смысле — у станка и в поле, но и

более широком — думать над общественным устройством, добиваться, достигать, самому находить достойное место в жизни.

Сегодня общество как бы внутренне разделяется на разные, в чем-то противоположные части.

В одной — иждивенцы, неумехи, махинаторы — вообще все те, кто даже не пытается жить честно. Здесь верховодит люмпенская психология, растет озлобленность, формируется мощный потенциал насилия, которое может быть повернуто куда угодно.

В другой же собирается все самостоятельное, активное, инициативное, жизнеспособное. Но взгляд на происходящее уже не тот, что в 1985 году.

Иллюзии исчезли, растет понимание всей сложности и трудности начатого. Есть готовность к серьезной и напряженной работе, но не во имя чего-то отвлеченного, абстрактного, а реального, жизненного. Есть предрасположенность к идеям и целям обновления, но и постоянная, каждый день, проверка ее на внутреннюю состоятельность, последовательность, верность самой себе.

Доверие этой части общества нужно завоевывать постоянно. Новый разлад между словом и делом способен погубить Реформацию.

Глава вторая

БЛУД ИЛИ МОЛИТВА?

Нередко Реформация попадала в такое положение, когда решения как бы выхватывались из ее рук действиями сил, стоящих левее и радикальнее власти. Тем самым «перестроечное дело» чем дальше, тем сильнее изолировало само себя. «Правые» его отторгали, «левые» требовали радикализма. А собственной социальной и партийной опоры не создавалось.

Все, что я буду говорить дальше об упущенных возможностях, вовсе не в упрек кому-то другому, но прежде всего для того, чтобы понять собственные просчеты.

А теперь о заблуждениях, неоправданном романтизме и ошибках. Их горько признавать эмоционально, но анализировать необходимо холодным рассудком, хотя отделить одно от другого очень трудно.

В любом общественном процессе крупного масштаба, рассчитанном или по природе своей долженствующем продлиться многие годы, неизбежны спады и взлеты, какая-то цикличность. За приливом реформизма возможен консервативный отлив в той или иной форме.

Демократия, если она не конъюнктурна, обязана готовить себе «второй эшелон». Надо было позаботиться о том, чтобы сделать политический спектр Реформации как можно полнее. Такой подход в корне изменил бы отношение к реформизму новых поколений, пробудил бы в них заинтересованность к процессам Реформации.

Но реформаторам мешала трудно искоренимая психология лояльности к КПСС.

Здесь я чувствую и свою вину. Не хватило характера и последовательности.

Сама жизнь требовала размежевания в партии. Я знаю, что многие видели в этом спасение от политического кризиса. Такой шаг связывали и с моим активным участием. Я мучительно взвешивал эту дилемму, но каждый раз

брало верх чувство неловкости перед М. Горбачевым. Получалось, что я как бы отхожу в сторону от того дела, которое мы начинали вместе, и бросаю его. Разумом-то я понимал, что подобный шаг открывал новые перспективы для демократического развития, но чувства пересиливали.

Не было принято энергичных мер к наращиванию теоретического знания на базе свободы мысли и отрицания схоластики. Фактически теоретическая мысль продолжала вращаться в пределах тех идей и концепций, что были высказаны уже в 60-х годах. Теоретически такой ход вещей закономерен. Практически его можно было несколько видоизменить. Жаль, что не получилось.

Следствие: хотим мы того или нет, признаем или нет, но перестройка пыталась как бы объединить «блуд и молитву» — социализм и капитализм. Однако мышление в категориях «социализм — капитализм» нежизненно вообще. Народилась качественно иная ступень познания, необходимость современной теории человека, которая вбирала бы в себя все лучшее, что знает человечество. Как в математике, включающей и Евклида, и Декарта, и Лобачевского, и многое иное.

Упущены возможности, открытые созданием Президентского совета. Во-первых, фактически он оказался слегка измененной прежней командой, лишь разбавленной новыми людьми: консерваторами в большей мере, чем реформаторами. Во-вторых, его потенциал и как консультативного органа, и как своего рода «посредника» при решении некоторых особо сложных и чувствительных проблем оказался невостребованным. Политбюро ЦК КПСС почувствовало в Президентском совете угрозу для своей власти и «убило» его.

Счет нереализованного перестройкой в экономической и социальной областях выглядит весьма внушительно. Да, не всегда хватало целеустремленности. Слишком часто откладывалось то, что необходимо было делать в любом случае — со свободным рынком или без него, в рамках широких реформ или помимо них, в контексте любой программы преобразований или вне всякой связи с такой программой. Подобные меры в любом случае способствовали бы движению вперед, а не тормозили его.

Но необходимо и объективное понимание того, что именно здесь Реформация сталкивалась с максимальным сопротивлением глубоко эшелонированной структуры око павшихся интересов.

Задача задач в этой сфере была предельно ясна: перевести каждый коллектив на собственный кошт. Именно тогда он окажется вынужденным искать наиболее эффективные формы труда, организации, коммерции. Именно тогда появится ответственное экономическое поведение, как и надежда на поворот экономики к потребителю.

Но то, что легче всего сказать, обычно труднее всего сделать. По существу, в сфере хозяйствования, отношений собственности, товарно-денежных отношений была необходима кардинальная революция. И дорога к ней объективно не могла быть легкой: государственно-монополистическая милитаризованная система сопротивлялась преобразованиям, реформам каждой своей клеткой.

Можно ли считать просчетами перестройки провозглашение концепции ускорения, административную борьбу с алкоголизмом, создание госприемки, введение государственных производственных объединений (ГПО), принятие законов о государственном предприятии, изменения в финансовой сфере?

Объективно — это просчеты. Причем некоторые из них — грубые.

Но почему так получилось?

Да потому, что высшие структуры управления оставались старыми и видели проблемы по-старому. В этих условиях надо было, видимо, понять всю тщету действий традиционными путями и способами. Не смогли понять. И в этом смысле перечисленное и многое иное — не только ошибки, но и дорогая плата за учебу.

Конечно, не обошлось и без головотяпства, как это случилось с кампанией против алкоголизма. Многие были против этой кавалерийской атаки, включая председателя Совмина Н. И. Рыжкова, но восторжествовала лигачевская концепции «трезвости», породившая еще большее пьянство.

Оправданным было выдвижение триады — продовольствие, жилье, товары массового спроса.

Проблема продовольствия не вышла за рамки разговоров, ибо всерьез не приступили к модернизации всей инфраструктуры агропромышленного производства (уборка, транспортировка, хранение, переработка). Не были изменены формы собственности и хозяйствования. Сделай все это — и горя сегодня не видели бы.

Жилье. Без мощной индустрии стройматериалов — это пустой звук. Ясно было, что такую индустрию надо создавать не на государственной основе. Пошли по старому

пути. Правительство успешно провалило им же утвержденную программу. Ясно и другое — без приватизации жилья вообще нельзя решить жилищную проблему.

Товары массового потребления. То же, что и с продовольствием. Модернизация предприятий не была произведена. Государство продолжало цепляться за устаревшие, изжившие себя формы управления и собственности.

Идеологические догмы, хранителем которых оставался аппарат КПСС, мешали всему новому, тормозили естественное развитие. Идеология, будучи привнесенной в самый эпицентр перестройки, дала смертоподобный эффект. Жизнь требовала свободы действий, а реформа оставалась идеологизированной, что и пустило под откос многие начинания.

К сожалению, проблемы экономики в целом не были поставлены в современном теоретическом и политическом ключе. А именно: нас одолели дефициты из-за неэффективности экономической организации. Нужно больше производить, а для этого стимулировать наращивание производства, поставить производителя в зависимость от потребителя, дать свободу предпринимательству, разрешить частную собственность, открыть дорогу всем видам и формам экономической деятельности, настойчиво создавать конкурентную среду.

Вместо этого (желая подольше сохранить идеологическую девственность) парт- и госбюрократы увели практику в дебри схоластики. Денежная реформа или реформа ценообразования? Вначале стабилизация, потом рынок или наоборот? Разгосударствление и приватизация — одно и то же или нет?

Экономическая политика де-факто проходила всю «лестницу» мыслимых ошибок и запозданий, прежде чем совершала какой-то шаг вперед. Роковую роль играло здесь некомпетентное вмешательство партийного аппарата.

Вдобавок ко всему аппарат КПСС навязал обществу бессмысленные споры по идеологическим вопросам, обвиняя реформаторов в том, что они сбивают страну с пути социализма, который несет благоденствие, и толкают к капитализму, который чахнет с каждым днем. Кроме того, подручные большевиков из литературной среды продолжали, продолжают и сейчас мерзкий спор о том, в чьих жилах течет более патриотическая кровь, а в чьих менее, что тоже лихорадило и раскалывало общество.

В результате оказалась утраченной возможность использовать важнейшее преимущество при переходе к рынку — огромные размеры рынка в рамках Союза. Такая возможность существовала, на мой взгляд, где-то до середины 1989 года и могла быть использована в случае проведения Центром дальновидной и радикальной политики как собственно в экономике, так и в обновлении федерации на добровольной основе. Того и другого не произошло. Программа «500 дней» еще хранила в себе надежду, но и она была утеряна на дороге раздоров в высших эшелонах власти.

Как я уже писал, Президенту СССР настойчиво внушалось, что если заключить экономический союз, то республики откажутся от политического. Особенно коварна в этом плане была позиция Комитета госбезопасности и лично его председателя В. Крючкова, который втерся в доверие к Президенту, провокационно манипулировал информационной ложью, а затем предал своего благодетеля. Впрочем, В. Крючков «перехитрил» и себя тоже.

Второе опоздание — стабилизация рубля. Рынок может заработать в одном, и только в одном случае, если рубль станет тем, чем он должен в принципе быть. Иначе нет никакого смысла выходить на рынок. Начинать стабилизацию рубля, вырвав произвол над ним из рук правительства, надо было еще в 1985 году, даже безотносительно к политике перестройки. И сегодня это остается задачей номер один.

Не было своевременно осознанно, что попытки осмыслить экономическое положение и его перспективы на основе таких категорий, как «затратность», «самофинансирование», «хозрасчет» и т. п., теоретически и психологически напоминают критерии экономики застоя.

Это то же самое, как если бы во внешней политике призывали к «гуманизации ядерной конфронтации», к «цивилизованным формам ведения атомной войны» и чему-то подобному.

Либо есть нормальная экономика, в которой перечисленные понятия просто не могут существовать, поскольку сама такая экономика не может не быть самоокупаемой. Либо есть патология экономики, и с каким бы художественным вкусом ни заниматься макияжем, сути это изменить не может. Не говоря уже о том, что и ограниченные реформы успешно торпедировались чиновничеством.

Сегодня спрашиваю себя, а не было ли изначального

упрощения в переходе к рынку с сугубо «технологической» точки зрения? Знаю, с каким трудом пробивала себе дорогу эта идея на практике. Сколько гневных тирад обрушилось на головы тех, кто предлагал быстрее идти к нормальной экономике.

И все же ретроспективно не покидает ощущение, что переход к рынку представлялся как некое одномоментное мероприятие, рынок: «с 1 января 19... года». Но такое невозможно. Необходимы, объективно неизбежны разные стадии в процессе такого перехода: и по глубине проникновения рыночных отношений в экономику, и по тому, какие ее сферы и в какой последовательности будут «захватываться» рынком. Именно сферы, а не отрасли.

Логично было бы на первом этапе отдать полностью рынку все то, что непосредственно работает на потребителя-человека, что будет реально зависеть от его денег. Прежде всего сделать частной торговлю. Затем — то, что работает на тех, кто работает на потребителя. И так далее.

Процесс этот требовал стадийности, диктуемой уже тем, что эффект рыночных зависимостей стал бы распространяться волнами, с определенным лагом между ними. То, что торговец почувствует немедленно, до пищевой или швейной промышленности дойдет через квартал; до тех, кто делает для них станки, — через год-полтора; и так далее — по цепочке.

Нарушение этой логики, продиктованное слабым знанием предмета, а также политическими причинами, привело к возникновению дополнительных трудностей и диспропорций в экономике, вызванных растерянностью хозяйственников, их паникой перед быстрым крушением привычного и неясностью перспектив.

С моей точки зрения, рыночные отношения надо было начинать, кроме торговых, с сельского хозяйства, дав полную инициативу и свободу крестьянину. И в то же время объяснить обществу, что бюрократический класс колхозно-совхозных управителей будет делать все для того, чтобы и дальше загонять страну в продовольственный кризис. Понятно, что проедать государственные кредиты легче, чем работать.

Не были заранее проанализированы возможные пути и средства намеренного экономического сопротивления перестройке и паразитирования на ней.

Конечно, всего не предусмотришь и не распишешь, но

принципиальные вещи можно было проработать глубже. Но, повторяю, многое упиралось в нескрываемую предвзятость хозяйственного аппарата и аппарата партии относительно рыночной экономики. Объективно говоря, эту идеологическую крепость одолеть сразу было просто невозможно.

Нужна была незамедлительная ревизия всего хозяйственного законодательства, включая ведомственные инструкции. Такая, которая ясно высвечивала бы все то, что можно и нужно отменить уже сейчас, даже безотносительно к рынку. Попутно сопоставить наши фактические нормы и уложения с международной практикой, дабы облегчить наши экономические связи.

Но что больше всего ударило по концепции перестройки, затормозило реформы?

Не был осуществлен кардинальный поворот к потребительскому рынку, что и предопределило дальнейшие беды, включая финансовые. Правительство не сумело спрогнозировать последствия резкого сокращения товарных запасов, равно как не смогло и отреагировать быстро и эффективно на этот процесс, когда он обрел катастрофические размеры. Все эти годы объемы внутренней торговли росли только за счет роста цен. Структурной перестройки промышленности не произошло, доля группы «Б» так и осталась на бесчеловечно низком уровне, доля инвестиций в нее уменьшилась.

Именно здесь, повторяю, была заложена финансовая катастрофа. И до сих пор глухо говорится о том, что от двух третей до трех четвертей экономики у нас работало на милитаризм и что именно это обрекло страну на растущее накопление катастрофических социально-экономических и иных проблем. Страна и народ ограблены военно-промышленным комплексом, смиренным слугой которого был Л. И. Брежнев.

Но и во время перестройки, вплоть до 1990 года включительно, объемы производства в оборонной промышленности наращивались в необоснованно крупных масштабах. Закончилась полным провалом ресурсо-сберегающая политика правительства. При сохранении реальной приоритетности группы «А» иначе и быть не могло.

Ничего практически не было сделано для сокращения или хотя бы ограничения дотаций планово-убыточным предприятиям и хозяйствам. Особенно это касается агрокомплекса. Наращивание дотаций создавало видимость

решения проблемы, но резко, в геометрической прогрессии повышало вероятность углубления кризиса в экономике.

До сих пор публично не проанализирована практика импортных закупок и использования внешних займов и кредитов. Не была осуществлена перестройка приоритетов импорта. Политика импорта оказалась на поводу у ведомственных и групповых интересов. Проверки показывали, что на улице валялось импортного оборудования на сумму до 14 миллиардов долларов ежегодно. Никакой ответственности за это никто не нес. Вот она — плановая экономика.

Убежден, антиперестроечные силы предпринимали целенаправленные усилия к тому, чтобы не допустить смягчения товарного голода в стране. Смысл подобных усилий был сугубо политическим: не дать Реформации, взявшей курс на преобразования, записать в свой актив хотя бы одно реально благое для народа дело. Напротив, делалось все возможное, чтобы максимально настроить людей против политики преобразований, объявить реформы и реформаторов виновными за все переживаемые людьми невзгоды.

Если внимательно всмотреться в сегодняшнюю обстановку в России, то в этом смысле она мало чем отличается от первого этапа Реформации. Силы реставрации продолжают нагнетать напряженность, фокусируя обвинения, угрозы, критику на демократическом правительстве и Президенте, но теперь уже не на М. С. Горбачеве, а Б. Н. Ельцине.

К сожалению, на первоначальном этапе политической жизни после августа 1991 года вновь пришедшие к власти молодые политики, перепутав исторические мишени, обрушили огонь критики не только на заговорщиков, но и реформаторов волны 1985 года. Очень манил к себе призрак новой революции. Отрезвление пришло позднее, когда новое правительство почувствовало практическую хватку реформаторских сил. Последние не только освоили стратегию саботажа, но и тактику, направленную на раскол рядов демократии. Они обучились и искусству политической мимикрии.

Я вижу сейчас те же лица, те же идеи и те же рецепты оздоровления, но в более разнообразной «упаковке». Большевизм продолжает резвиться.

В этом же ряду стоит и провоцирование кровавых конфликтов на межнациональной почве. В общественном сознании всячески затушевывается тот факт, что конфликты

эти не были стихийными вспышками. При ближайшем рассмотрении в них обнаруживается умелая организующая рука КГБ, начиная с Сумгаита, мощные источники материального и финансового обеспечения, политическая организация.

Уже не говоря о том, что демократы, реформаторы, на которых партийно-государственные мафиозные группы пытаются свалить вину за национальные конфликты, ничего не выигрывали от подобных конфликтов, они и не располагали той материальной и организационной базой, которая необходима в подобных случаях.

До сих пор в среде политиков и ученых бытует наивная надежда, что исхитрившись и извернувшись, мы сможем удовлетворить все существующие в обществе потребности, или хотя бы только разумные из них.

Это в принципе невозможно, ибо потребности, как категория психологическая, а не только экономическая, всегда и везде опережали и будут опережать материальные возможности их удовлетворения.

Речь идет о другом: о том, чтобы воздействие на формирование потребностей (через воспитание, культуру, систему экономической и социальной мотивации и т. д.) и на возможности их удовлетворения (то есть через производство и распределение) обеспечивало бы такой разрыв между первым и вторым, который является стимулом к экономической и социальной активности, а не к росту социальной напряженности.

В заключение этой краткой инвентаризации ошибок и просчетов надо сказать о главном, решающем, что до сих пор тормозит Реформацию и деформирует ее. Речь идет о собственности. И в прошлом, и сегодня политическая борьба объективно идет вокруг собственности. Пока судьба ничейной (государственной) собственности не будет решена, стабилизация — ни экономическая, ни политическая — не наступит.

Нормальные экономические отношения могут быть воссозданы только с появлением собственника. Пока же продолжаются псевдоотношения, экономически фиктивные, на деле — должностные. Они основываются не на владении собственностью и даже не на распоряжении ею, но на тех формальных и фактических правах и возможностях, что приходят с должностью. Задача же — вытеснить должностные отношения имущественными. Кроме всего прочего, это близко и понятно человеку.

В этом случае вполне реальна задача деидеологизации экономики, равно как и всей общественной жизни, понимаемая как выдвижение практики на первый план.

Это — первый шаг.

Второй, но одновременно с первым, — выработка оптимальной стратегии социально-экономического развития общества.

Что это такое?

Пример: технически мы, наверное, в состоянии построить грузовик, способный перевозить 500 тонн груза со скоростью 200 км в час. Но нужен ли он нам? Есть ли для него дороги? Будет ли он экономичен? То есть, создавая машину, инженеры всегда ищут баланс показателей: грузоподъемности, скорости, экономичности, технологичности в производстве, простоты в эксплуатации и прочее.

Длительное время общество катилось скорее по инерции и по принципу максимального удобства для бездельника. Стратегия оптимального развития должна выводить на создание разветвленной системы социальной мотивации, широкого набора экономических средств воздействия.

Доперестроечная система строилась вокруг небольшого числа идеологических догматов. Да еще на страхе, основанном на постоянном нагнетании нетерпимости как методе тотального контроля масс. Оптимальная стратегия развития должна рассматривать все без исключения «самоценности» в качестве средств обеспечения человеку достойной жизни.

Спросят: а можно ли было все это сделать раньше?

Что-то, наверное, можно было. Но далеко не все.

Всякое явление и действие можно более или менее точно оценить только в историческом контексте. Общество по многим вопросам было еще не готово к кардинальным переменам. Общество, в котором властвовала могущественная партия, насквозь пропитанная догмами, неизлечимо больная насильственной идеологией.

Можно себе представить, с каким гневом были бы опровергнуты аппаратом партии предложения, скажем, о фермерстве, рыночной экономике, частной собственности, будь они внесены в 1986—1988 годах.

Степень догматической зашоренности и властной самоуверенности были столь высокими, что создавали удушливую атмосферу для любого нового дела. Поворотные решения требовали мужества, но и осторожности.

Теперь все смелые, а сколько их было в 1985 году?

К тому же и сопротивление новому оказалось настолько мощным и организованным, что вылилось в конце концов в попытки государственных переворотов.

И кто знает, чем бы обернулись эти верхушечные заговоры, если бы большевистские лидеры предпочли стратегию ползучей контрреволюции?

Но, слава Богу, реставраторы оказались лишенными дара социального воображения, мистифицировали сами себя.

Жизнь взяла верх.

Сегодня, после принятия Конституции, тактика военных путчей исчерпала себя. Реставрационные силы встали на путь ползучего реванша.

Так-то оно так, но все же — молитва!

Глава третья

ТЕАТР АБСУРДА

Попытка вернуться к практике насильственного управления обществом вновь потерпела поражение. Августовский заговор 1991 и октябрьский 1993 года — очередные эпизоды из затянувшегося спектакля в театре абсурда. Фарс, трижды фарс! Но большевизм изворотлив и живуч. Кровоточит до сих пор сталинщина, эта незажившая рана в народной памяти.

Большевизм агонизирует, часть его туловища мертва и разлагается. Но его яд сверхопасен: он тяжело отравляет демократизацию. Любой неуспех, просчет, заминку большевики будут стремиться превратить в глобальную или локальную Вандею.

Правомерно утверждать, что политике Реформации старыми структурами по сути своей была объявлена война. Победителей в ней быть не могло. Народу предстояло расплачиваться в любом случае, при любом повороте и исходе событий. Что, собственно, и происходит сегодня.

Страна цинично ввергнута в финансовый и экономический кризис в расчете на то, что выход из него сделает снова необходимым восстановить те же самые структуры государственной эксплуатации и произвола, от которых пытается уйти Реформация.

В сегодняшней России разные силы, естественно, поразному оценивают причины кризисных явлений в политике и экономике. Многажды сказано реваншизмом всех оттенков: довели страну до развала демократы. Покончим с ними — заживем по-человечески.

Но кто же мешал жить по-человечески раньше, до Реформации? Враги народа? Шпионы? Вредители? Оппортунисты и ревизионисты? Кто?

Запас демагогии сталинистов неичерпаем. Нисколечко не смущаясь, они «забывают» о собственных преступлениях, изобретательны на обман, уже сегодня готовы к насилию, обещают отдать всех демократов под суд, затратить на расправу с ними не более трех дней, повесив вверх ногами.

В контексте нынешних политических баталий, поучительно будет вернуться к тому, насколько злобно и целенаправленно велась травля (впрочем, ведется и сейчас) демократических сил, особенно бывшими хозяевами РКП, партийно-большевистскими органами печати, реакционными литературными изданиями.

Позиция большинства на летнем (1990 г.) съезде КПСС впервые породила у меня серьезные сомнения в нормальном исходе преобразований. Чувствовалось, что силы реакции мобилизуются организационно, идейно, психологически. Появились пророки контрреволюции и возможные ее «вожди».

Руководство КПСС заявило, что партия выходит из окопов. И верно. Выразилось это в остервенелом наступлении на демократию и демократов, в организованной совместно со спецслужбами травле всех тех, кто выступал против военно-бюрократической диктатуры в стране.

Я с избытком испытал все это на себе. Когда-нибудь опубликую статьи, листовки, отрывки из выступлений, хорошо демонстрирующие методы большевиков. Конечно, со своими комментариями. Но сейчас упомяну только об эпизоде, связанном с рукописью о марксизме и перестройке. Стоило мне лишь упомянуть о ней на XXVIII съезде КПСС, как запузырился поток разоблачительства. Гнев фундаменталистов лился через край, хотя содержание записок им было еще неизвестно, но угадано.

Одновременно с этим была сочинена фальшивка, излагающая якобы мое выступление перед молодыми делегатами съезда. Стороной до меня дошло, что часть этих делегатов, видя всю бесперспективность политики руководства КПСС, рассматривала возможность создания партии реформистского направления. Для меня это оказалось слишком неожиданным. Нужно было время для раздумий. И поезд, как говорят, ушел. Я не раз корил себя за эти колебания.

Я понимал необходимость создания новой партии с самого начала перестройки, но видел смысл и в суждениях М. Горбачева относительно того, что с тоталитарным строем может на определенном этапе справиться только тоталитарная партия. Но это было возможным только до тех пор, пока аппаратный слой партии поддерживал своего генсека. Когда же этого не стало, значительная часть аппарата партии и номенклатуры повернулась против реформ.

Честно говоря, когда на съезде началась возня вокруг меня, я поначалу не понял, в чем дело, и растерялся. Меня крайне удивила лживость распространенной на съезде анонимки, в которой излагалось мое выступление перед молодыми делегатами.

Наступили вечер и ночь раздумий. Я начал писать текст ответной речи на съезде с оценкой фальсификации. Пришел к твердому убеждению, что все это заранее организовано, но отказывался верить. Во время раздумий я рассматривал и вариант ухода со съезда со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но как-то так получилось, что никто в этот вечер не пришел ко мне на помощь, чтобы точнее разобраться в обстановке. Я почувствовал себя одиноким и морально беззащитным, в состоянии, когда как бы уходишь в себя и отгораживаешься от окружающего. Возникшая пустота угнетала, это и удержало от решительного шага.

К сожалению, только потом мне стало известно, что организаторами акции были руководящие работники орготдела ЦК КПСС и генералы из Минобороны. Их замысел сводился к тому, чтобы «дать бой реформаторам», начав все это с меня, спровоцировать уход со съезда группы делегатов для организации новой партии. Затем, эмоционально распалив обстановку, очистить руководство партии от реформистски настроенных людей, убрать М. Горбачева и захватить власть.

Не знаю, хватило бы в то время сил у демократии воспрепятствовать всему этому. Не уверен.

Кстати, на этом съезде была принята по сути социал-демократическая программа, но этого никто не заметил. О ней забыли на другой же день, что было обычным в большевистской практике.

Продвижения вперед на съезде не состоялось. Созданы были условия для отката. Борьба против Реформации стала еще более острой и злобной.

Как уже говорилось, особенно агрессивно началась она с осени 1990 года, когда реакции удалось утопить программу «500 дней». Это была очевидная победа прошлого над будущим. Реакция не скрывала своего удовлетворения, обрела «второе дыхание». Даже походка их вождей изменилась, плечи расправились, глаза загорелись.

Усилилось влияние Политбюро ЦК КПСС на решение кадровых вопросов. Особую агрессивность проявлял орготдел ЦК. Активизировалось детище ЦК — парламентская

группа «Союз». Откровенно антиперестроечные позиции демонстрировали многие местные комитеты КПСС.

Перешла в наступление верхушка генералитета и военно-промышленного комплекса. Немедленно восстановили свои угасшие было функции органы КГБ — слежка, прослушивание телефонов, фальсификация разного рода клеветнических материалов на лидеров демократического движения. Необходимые «разработки» (усилиями КГБ через свою агентуру, которая, впрочем, продолжает нагнетать идеологию ненависти и до сих пор) публиковались в официально-партийной и литературной печати.

Сторонники демократического развития были объявлены «деструктивными силами». Начались провокации в Средней Азии, Закавказье, Прибалтике.

В большевистских газетах печатаются списки «агентов влияния», т. е. готовятся заранее кандидаты для будущей скамьи подсудимых. Причем, по тому же сценарию, что и в 1937 году.

Трупный запах прошлого.

Из ЦК КПСС и РКП на места шли указания об организации собраний, коллективных писем, резолюций, публикаций статей с требованиями расправиться с реформаторским крылом в партии и демократическими силами в целом. Эта кампания руководства КПСС ставила в тяжелейшее положение рядовых членов партии, они невольно становились соучастниками антинародной вакханалии.

О возросшей самоуверенности ультраконсервативных сил, несомненно, свидетельствуют и требования парламентской группы «Союз» об освобождении М. С. Горбачева от президентства, а Пленума ЦК КПСС в апреле 1991 года — от должности генсека партии.

На Президента СССР оказывалось хорошо организованное информационное давление, цель которого состояла в том, чтобы создать атмосферу паники, страха, подозрительности. Стержнем такой информации была ложь. Приходится сожалеть, что информация такого рода в известной мере достигала своей цели, играя крайне разрушительную роль.

Организатором и координатором такой информации был Крючков — председатель КГБ, человек мелкий, лживый, лицемерный, обманувший на первых порах многих людей, в том числе и меня, но в конце концов угодивший в яму, приготовленную им для М. Горбачева и других реформаторов.

Обстановка в руководящем эшелоне становилась все более нервозной, тяжелой. Дело шло к развязке.

Судя по всему, на каком-то этапе М. С. Горбачев понял, что действия его «команды», вопреки заверениям в верности «делу государеву» и ему лично, расходятся со стратегией на преобразования. Властолюбцы — как в правительстве, так и в партии — хорошо понимали, что честное осуществление партийной платформы, близкой к социал-демократической, и подписание Союзного договора лишит их постов и власти, уберет с политической арены.

Современники очень редко оценивают происходящие события адекватно их действительной значимости. Мешают, видимо, обстоятельства, которые кажутся в данный момент важными, но, в сущности, не имеют исторического значения. Разгадка тайны случившегося в августе 1991 года и в октябре 1993 года еще впереди.

Ограниченность социального мышления руководства КПСС, историческое высокомерие, политическая слепота идеологии и теоретических установок привели партию к самоубийству. Курс на торможение реформ, лихорадочное цепляние за власть, ненависть к демократии столкнули правящую номенклатуру с самой жизнью, которая и смела эту преграду со своего пути.

Но будучи органически несовместимым с качественно новым этапом развития общества, аппарат КПСС успел наделать немало бед перестройке, придав переменам конвульсивный характер, во многом деформировав демократический процесс, что и раскололо общество.

А теперь подробнее о том, что происходило после XXVIII съезда КПСС. Очень жаль, что последующие страницы раздела приходится представлять читателю лишь сегодня. Жаль, ибо эта часть книги написана до августовских событий.

Итак, большевизм настойчиво изображал демократию как источник главной опасности, как, впрочем, и сегодня — уже в России, а не в СССР. Усиленно внедрялось клише, что оппозиция идет исключительно от «межрегионалов», «так называемых демократов» и т. п., как если бы сами неосталинисты — не оппозиция перестройке, но опора ей.

Это был стратегический проигрыш реакционных сил, идущий от политической слепоты. Не только потому, что напрасно тратились силы, время, кредит общественного доверия и долготерпения. Но и потому, что бой этот объ-

ективно способствовал нарастанию поляризации в обществе — поляризации, выход из которой мог оказаться возможным только силовым путем.

Впрочем, как показали последующие события, именно этого и добивалась сталинисткая верхушка КПСС.

Наивно считать, что победа реваншизма приведет лишь к торможению, к временному откату назад. Уверен: последствия будут хуже, гораздо хуже.

Вслед за поражением реформ 50-х — первой половины 60-х годов удалось задавить и их духовные последствия.

Средства все те же, кроме физических расправ: маневрирующий диктат, жесткая цензура, бюрократический прессинг по всем направлениям, борьба против инакомыслия, подкуп средних эшелонов власти, номенклатурная игра, безнаказанность коррупции.

Мне уже приходилось писать и говорить о тактике реакции. Ее не трудно было видеть. Да и реакция все делала напоказ, как если бы уже победила. Её обманывала самоуверенность от природы.

К началу 1991 года политика преобразований оказалась на распутье. И потому при худшем обороте событий миллионы людей, поверивших в нее, оказались бы отданными на растерзание силам, нравственный облик которых отлично известен по прошлому. Такой зигзаг судьбы — новые кровавые жертвы. На десятилетия вперед подрезаются любые попытки и перспективы реформаторства. А это повело бы к падению общества, хочет оно того или нет, в пропасть фанатизма на идеологической и националистической почве.

Обстановка накалялась. В политике стало трудно дышать. Руководители забросили свои дела, максимум внимания сосредоточили на том, что не имело отношения к реальному положению в стране. Будущие путчисты, правая печать снова заговорили о кознях империализма, о деятельности ЦРУ и т. д.

Необходимо было принять какие-то меры, что-то противопоставить большевистскому монополизму. Создавать новую партию, блок партий? Что-то надо было делать.

В апреле 1991 года во время официального визита М. С. Горбачева в Японию я отдал ему свою записку, в которой изложил все, что я думаю о сложившейся обстановке. Вот она, эта записка.

«Михаил Сергеевич!

Очень сожалею, что в японской суматохе не удалось отыскать время для разговора. Наверное, в разговоре, когда глаза не обманывают, легче донести те размышления и муки, которые овладевают мною все сильнее. В сущности, речь идет об императиве, о котором я писал Вам еще в конце 1985 года, о формировании двухпартийной системы. Вопрос этот сейчас, при разгуле страстей и при низкой политической культуре, стал актуальнее, чем когда бы то ни было. Это судьба перестройки. Уже ясно, что в нынешних условиях две партии лучше, чем одна или сто.

Насколько я осведомлен, да и анализ диктует такой прогноз, готовится государственный переворот справа. Наступит нечто подобное неофашисткому режиму. Идеи 1985 года будут растоптаны. Вы, да и Ваши соратники, будут преданы анафеме. Последствия трагедии не поддаются даже воображению.

Выход один (в политическом плане): объединение всех здоровых демократических сил, образование партии или движения общественных реформ.

Платформа: перестройка на базе идей 1985 года, построение демократического, правового общества, общества гражданского согласия, отстаивание единого Союза на добровольной основе.

Тактика:

— защита президентского института;

— равноудаленность от правительственных структур — центральных и республиканских;

— объединение демократических партий, кроме крайне радикальных, размывание последних;

— конституционное соперничество с КПСС.

Все это оздоровит обстановку в стране, придаст новый облик борьбе, поднимет политическую культуру.

Я верю в создание на этом пути новой политической ситуации, благоприятной для преобразований.

Уверен: здравый смысл способен стать стержнем политики.

С уважением, А. Яковлев
18 апреля 1991 года, Токио».

Как мне показалось, М. С. Горбачев посчитал мои предупреждения слишком эмоциональными, возможно, даже паническими. Он сказал как-то: «Ты, Александр, преувеличиваешь их ум и храбрость». Это — о заговоре.

Флагманами идеологической кампании и влиятельными источниками раскола в обществе стали партийно-большевистские газеты. Особой ожесточенностью в борьбе с новым курсом отличались армейские и флотские издания, которые пытались растлить содат и офицеров ложью и ненавистью к демократии. Их деятельность направлялась Главным Политуправлением армии и флота.

Нет нужды в цитатах и перечислении авторов статей. Их можно найти в библиотеках. Все это со временем будет обнародовано. Глашатаи ненависти будут названы. Кликушествующие идеологи раскола общества, необольшевистские литературные холопы-оруженосцы — тоже. Стенограммы съездов и пленумов писателей, республиканских, краевых и областных партийных комитетов будут опубликованы.

Вспомним, что всех, кто не был согласен с «партийной линией», стали именовать «сбродом», «перевертышами», «негодяями». Фамилии ведущих реформаторов начали демонстративно писать с малой буквы.

По непреложному закону политической борьбы, в обстановке конфронтации именно экстремизм оказывается наиболее динамичной, наступательной, свободной от ответственности силой, способной перехватить инициативу у умеренного, центристского направления в политике.

Наиболее реакционное ядро номенклатуры захватило контроль над крупнейшей — российской — организацией компартии. Некоторые из идей и лозунгов этого крыла перекочевали в основные документы КПСС в целом. В КПСС сформировалась антиреформистская коалиция, в которой объединились парт- и госбюрократия, военная элита, верхушка военно-промышленного комплекса. С осени 1990 года этой коалиции удалось усилить влияние на Президента страны, впервые с начала перестройки практически изолировав его от демократического крыла в партии и обществе.

Оборотная сторона этих успехов неосталинистов: резкое обострение политической ситуации; углубление конфликта между Центром и республиками; падение влияния Президента внутри страны; блокирование развивавшегося до этого более или менее нормально, хотя и медленно, процесса становления демократических институтов и норм.

В отношении к Президенту «ультра» старались решить сразу две взаимоисключающие задачи. Нажить политический капитал на недовольстве политикой Центра — в этих

целях Президент критиковался вместе с демократами как якобы ответственный за кризис. С другой стороны, «ультра» стремились получить поддержку Президента в атаках на демократическую оппозицию. Утверждалось, что в свое время М. Горбачев «проглядел» угрозу «капитализации», но потом «начал исправляться», и задача состоит в том, чтобы помочь ему полностью «очиститься» от прежних грехов.

Однако натравливание людей на демократов через ярлыки и угрозы мало что давало. Наоборот, эффект был скорее обратным: авторитет демократов рос, а влияние КПСС падало.

Программа реваншистского блока была стара, как мир. Иррациональность и политическая пошлость были рассчитаны на инстинкты, психологию люмпенства и привычные стереотипы в сознании.

К чему сводилась эта программа?

1. Советскому Союзу угрожает капитализация, перерождение экономической и политической системы из социалистической в капиталистическую. (При этом социализм фактически отождествляется с административно-командной системой, а капитализм — с рыночной экономикой как таковой). Ухудшение положения трудящихся в последние годы, развал сложившихся экономических связей, рост политической нестабильности — все это следствия того, что СССР покатился назад, к капитализму.

2. В стране обостряется классовая борьба между сторонниками реставрации капитализма и защитниками социализма. К первым относятся практически все, кого принято называть демократами, ко вторым — «здоровье силы» в КПСС, армии, КГБ и других государственных структурах. Народ ошибается и потому склонен поддерживать демократов, но если ему раскрыть глаза на происходящее, то он пойдет за «истинными» защитниками народа.

3. Дезориентированное так называемым «новым мышлением», руководство страны отказалось от противоборства с империализмом, стало искать поддержки у правящих кругов Запада, допустило серьезное ослабление оборонной мощи. Возникла угроза порабощения народов страны империализмом.

4. Деятельность прокапиталистических элементов в СССР всячески поощряется и направляется из-за рубежа, в том числе и подрывными центрами. Фактически империализм продолжает «холодную войну» другими средствами,

весомо влияя на государственную политику, особенно республик, на расстановку политических сил, на общественное мнение. Поэтому демократов можно считать «пятой колонной», помогающей врагу уничтожить великую державу.

5. Демократия — самое эффективное средство разрушения государства, экономики, морали. Старая система обеспечивала порядок и сносный уровень жизни, демократия принесла лишь хаос, распад, нищету, угрозу гибели государства. Пока не поздно, КПСС должна восстановить былую систему власти.

6. КПСС необходимо очистить от сторонников «буржуазных» течений — либералов, социал-демократов, социал-реформистов. Они — еще более опасные враги, чем открытые антикоммунисты, поскольку пытаются организовать особую фракцию в партии, помешать сплочению КПСС на платформе «истинного марксизма-ленинизма».

Эти тезисы постоянно навязывались читателям большевистскими газетами, в разных вариантах поднимались на партийных собраниях всех уровней. Подобные же мысли, но опираясь якобы на документальные данные, упорно «обсасывал» в своих записках Комитет госбезопасности. Так, в письме на имя М. С. Горбачева (начало февраля 1991 года) руководитель этой организации Крючков, изложив все «ужасы», которые идут от демократов, предлагает Президенту СССР следующее:

«...Учитывая глубину кризиса и вероятность резкого осложнения обстановки, нельзя исключать возможность образования в соответствующий момент временных структур в рамках осуществления чрезвычайных мер, предоставленных Президенту Верховным Советом СССР».

В августе 1991 года такой «момент» показался для КГБ «соответствующим».

В преддверии военного мятежа «ультра» избрали тактику поиска взаимодействия с Президентом. На словах «поддерживая» М. Горбачева, они стремились сделать Президента и демократов непримиримыми противниками. Расчет состоял в том, чтобы вначале подтолкнуть Президента к силовой расправе с демократами, а затем организовать «возмущение» действиями Президента и самим захватить высшую власть в государстве.

Перед всеми честными людьми, настоящими патриотами встал к лету 1991 года очень серьезный вопрос — куда же страна на самом деле идет? Встал именно потому, что

нарастающая волна реваншизма не встречала официального противодействия.

Весьма симптоматично повторение событий. Нарастание фашистской угрозы перед октябрем 1993 года тоже происходило при полном благодушии властей.

Здравомыслящая и демократическая часть компартии оказалась в растерянности. Она — не с реакцией, но как бы никому и не нужна. Фундаменталисты, естественно, уже зачислили это здоровое ядро в противники с соответствующими последствиями. Партаппарат начинал его сторониться.

Двусмысленность ситуации заключалась и в том, что демократические преобразования продолжали находиться в руках того самого партийного и государственного аппарата, который не был в них заинтересован, более того — враждебен им.

Все новое, что рождалось перестройкой, не получило ясной и своевременной поддержки. Необходимость тактического маневрирования понятна, как и необходимость проявлять осторожность, особенно в оценках людей и явлений.

Но разумные пределы такой осторожности были многократно перекрыты. Новые формы, как всякие всходы, нуждаются во внимании, поддержке, ухаживании и выхаживании. Этого не произошло. И до сих пор практически на втором плане остается «новый слой»: фермеры, предприниматели, руководители кооперативов, коммерческих банков, деловых ассоциаций, совместных предприятий — те, кто действительно включился в перестройку, доказав свою способность работать эффективно.

То же и с общественными движениями. Клятвы о приверженности к новому произносились без конца, а подозрительность, недоверие оставались почти на том же уровне, как и прежде.

Сейчас, когда пишутся эти строки, а это осень 1993 — весна 1994 годов, наступила решающая пора. Вопрос о том, куда пойдет Россия, достиг предельной остроты. Почти все политические силы обнажили свои позиции. Но до сих пор в раскладе политическом нет социал-демократического центра.

Становится тревожно. Хватит ли мужества и разума избежать новой крови, перейти на позиции здравого смысла?

Думаю, что да.

Глава четвертая

ПОРАЖЕНИЕ? НЕТ, — ПОБЕДА

Перестройка выступила за глубокое реформирование общества на началах гуманизма, здравого смысла, экономической эффективности и нравственного выздоровления. По существу, она восприняла и продвинула вперед одну из двух тенденций, изначально существовавших в российском социальном движении: тенденцию реформизма, просвещенности, максимального человеколюбия в противовес тенденции насильственного обручения жизни со схемами, удобными властителям страны.

Крушение политического, пусть и искусственного, равновесия в процессе Реформации произошло у нас едва ли не резче, чем в странах Центральной и Восточной Европы. Но задогматизированное сознание еще живо. И потому обвал социализма, КПСС до сих пор не воспринимается как свершившийся факт.

Крушение это своеобразно тем, что оно в большей степени затронуло содержание общественной жизни, нежели ее внешние формы. Эта внешняя обманчивость и вводит в заблуждение.

Каким же образом?

С одной стороны, иллюзией того, будто перестройка мало чего достигла, будто задачи, что она выдвинула, остались нерешенными.

А с другой — представлением, будто обновление происходит в той же идейно-политической среде, в которой оно начиналось.

То и другое, на мой взгляд, неверно.

Содержание общественной жизни кардинально изменилось. А «линька» форм может произойти практически мгновенно. Вот почему на этом этапе является чрезвычайно острой необходимость перспективного планирования, самых смелых обновленческих преобразоваий в стране.

Слова о «линьке» форм были написаны задолго до августа 1991 года, а тем более — до октября 1993 года, да

поверит мне читатель. События подтвердили их как минимум в двух отношениях.

Во-первых, сами мятежники, по крайней мере на первых порах, стремились «вписать» свои намерения в картину обновления, перехода к рынку — только несколько иначе, чем это делал якобы «заболевший» президент.

Во-вторых, уже по следам провала заговора и как естественное следствие его начались структурные перемены, окончательный исход которых предсказывать еще рано.

В августовские дни 1991 года исчезли монолитный союз партии и государства, сталинистский Союз республик, структуры командной экономики, многие идеологические галлюцинации. Все это улетучилось под громкие возгласы о революции.

Снова революция! Беда, да и только, с этой бациллой революционаризма.

Но так или иначе, путь к радикальным преобразованиям оказался открытым. К преобразованиям по самому большому счету.

Но произошло нечто необъяснимое. Направление было взято верное, реформаторское, а вот дорога выложена плитами из ошибок. Казалось бы, так не бывает. Однако так оно и есть. Впрочем, оставим это парадоксальное явление на суд времени.

Каких же конкретно преобразований мы хотим? Что не сделала или не смогла сделать перестройка и что можно отнести к разряду основных приоритетов Реформации? Иными словами, можно ли составить некий реестр несделанного?

Содержание послеавгустовских перемен — вопрос во многом еще открытый. И все же это событие особого рода. Мятежником оказалась верхушка власти, а революционерами — защитники демократии. Чудно, не правда ли? Эмоции как победителей, так и побежденных понятны. Стремление воспользоваться словом «революция», в общем, тоже естественно. Но ответственное использование любого понятия предполагает тщательный анализ, причем лучше по прошествии определенного времени. Впопыхах тут мало что поймешь.

В эти дни я был на трибунах демократических митингов. Выступал. Писал листовки, давал интервью. Не один раз разговаривал с Б. Ельциным, отвечал на тревожные звонки британского премьера Дж. Мейджера, госсекретаря США Дж. Бейкера, министра иностранных дел ФРГ

Г.-Д. Геншера, покойного председателя Социнтерна В. Брандта.

Действительно, напряжение достигло предела. Москва оккупирована танками. Запрещены демократические газеты, объявлено чрезвычайное положение. Заговорщики объявили себя руководством страны, образовав Госкомитет по чрезвычайному положению.

Страна оказалась перед угрозой реставрации. Ее надо было предотвратить во чтобы то ни стало, но в то же время избежать масштабной гражданской войны, на краю которой оказалось общество.

Та и другая сторона говорили о революции — одна о предстоящей, другая — о победившей. На мой взгляд, в обоих случаях сыграло свою роль прочно засевшее в сознании клише «революция» как нечто нормальное, необходимое и... даже романтическое. И это в стране, три четверти века находившейся в состоянии перманентной гражданской войны.

У революций своя логика, свои законы, неизменно сталкивающие одну часть общества с другой, с необычайной легкостью идущие на кровь ради призрачного будущего.

Опыт истории неоспоримо свидетельствует: революция — самый тяжелый путь по болоту социальной неустроенности, сопряженный с максимальными потерями. И вовсе не обязательно ведущий к заманчивым целям.

Революция — прямое следствие дефицита ответственности и знаний; она — результат непомерной самовлюбленности и невежественной самонадеянности. Никакие ссылки на благородные душевные порывы не в состоянии изменить этих жестких оценок.

Не революция нужна нашему многострадальному обществу, а радикальное, но мирное обновление через законы. Это путь неизмеримо длиннее, чем насильственная революция. Он требует компетентности в любых делах и начинаниях. Обуздания демагогии и популизма, настоящей, а не лубочной ответственности. Здесь заложено подлинное испытание на зрелость всех политических сил и движений, всех так или иначе заявивших о себе лидеров, да и всего общества.

Тяга к революции — плод мессианского сознания. Благополучие и цивилизованность жизни достигается трудом, и только трудом, это достойный результат практических усилий рук, ума и сердца.

С этой точки зрения реестр упущений перестройки может оказаться полезен, в чем-то и поучителен. Он позволит, пусть в самом общем плане, оценить объективные тормозящие факторы, прикинуть, в чем ошиблись лидеры перестройки и ее сторонники, а в чем перестройку намеренно «подставляли», пытались дискредитировать в глазах народа.

Сегодня мы говорим об углублении радикальных преобразований. Но прежде необходима оговорка о том, что же принимать за критерии эффективности перемен. Ясно, что фактически сегодняшние критерии должны качественно отличаться от тех, какими пользовались еще в 1985—1988 и 1990 годах. Слишком многое стало иным и в сознании, и в психологии, и в реалиях жизни.

И самый существенный вопрос здесь — понимаем ли, чего хотим?

Смею утверждать, перестройка это понимала, как бы ее не упрекали в обратном. Иное дело, что в стартовых представлениях о преобразованиях были свои заблуждения.

Порой говорят, будто перестройка потерпела поражение. Что ж, порассуждаем и об этом.

Начать с того, что перестройка в ее сущностном качестве — Реформации — еще далеко не закончена. Она только-только началась. Иное толкование очень сильно отдает, на мой взгляд, политиканством.

Идем дальше. В отличие от социал-демократии Запада, которая всегда была занята реформированием капиталистического хозяйства и образа жизни в сторону общественных начал, реформизм в КПСС жестоко преследовался, а там, где диктовался жизнью, выступал под другими лозунгами и был ограничен, в общем-то, робкими попытками придать какую-то разумность государственно-монополистическому монстру, рожденному отечественной интерпретацией марксовой утопии.

В том же русле шли и реформаторские попытки в других «странах социализма». Какие-то частичные результаты подобные реформы могли дать. Но они не в состоянии были изменить природу и характер этого строя в целом. Изменить структуры, созданные для воплощения произвольных социально-экономических схем. Структуры, которые были всецело подчинены военно-политическим амбициям КПСС, отождествившей себя с государством. Структуры, которые обслуживали интересы номенклатурного класса.

Все это было возможно подкрасить, но изменить — никогда.

И то, что воспринимается сегодня как просчеты, во многом предопределено внутренней противоречивостью реформаторства, ставившего своей целью изменить к лучшему органически порочное. За мятежами и саботажем последних лет стоят не только кадровые ошибки. За ними — бунт системы, восставшей против ее реформирования, очеловечивания.

От реальности, жизненности решений в социально-экономической сфере в первую очередь будет сегодня зависеть, по какому — демократическому или неоавторитарному пути пойдут преобразования в кратко- и среднесрочной перспективе. По сути, это вопрос о социальной и организационной базе Реформации.

Заморочив себя лозунгами единства, единомыслия, монолитной сплоченности общества, непоколебимого единения КПСС с народом, мы отвыкли мыслить в категориях реальной политики. Смущались перед необходимостью признать, что любые перемены в общественной жизни всегда кому-то выгодны, а кому-то и нет.

К сожалению, перестройка мало что сделала по организации своей социальной базы. Более того, когда такие силы стали появляться самопроизвольно, они были встречены с недоверием, как разрушители предначертанной сверху стратегии.

Среди многих бережно лелеемых и особенно тщательно охраняемых догм марксистско-ленинского прошлого на первом месте по неприкосновенности стояло все то, что касалось социальной структуры общества.

Большевизм в полной мере воспринял марксистский постулат о необходимости пролетаризации всего трудящегося населения, о превращении всех ремесленников и крестьян в промышленных рабочих. Несомненно, что идея упрощения классовой структуры была направлена прежде всего против крестьянского уклада жизни с его культурой и производственной спецификой. Нигде эта экстраполяция наблюдаемой данности в будущее не проявилась так последовательно, как в отношении к российскому крестьянству.

Тенденция враждебного отношения к крестьянству как раз и была связана с убеждением, что дальнейший прогресс и свобода невозможны до тех пор, пока жернова капитализма не перемелют этот класс в социальную муку,

пригодную для выпечки человека будущего. Нет ничего более «дурацкого», полагал Энгельс, чем «крестьянский уклад жизни».

Теперь мы знаем, что капитализм не включил жернова в целях уничтожения крестьянства и ремесленничества. Наоборот, при всех злоключениях он начал поиск аграрного компромисса на путях развития индивидуального хозяйствования на земле через создание условий для повышения его экономической эффективности.

Только сталинская модель социализма твердо пошла на осуществление безумного проекта рефеодальной реставрации в новых формах. Результаты оказались невообразимо чудовищными.

Абсолютизация процесса разложения, упрощения социальных и экономических структур как раз и привела к тому, что Маркс связал переход к социализму с ростом единообразия, с достижением так называемой «прозрачности» или «ясности» общественных отношений, с преодолением прежней, дифференцированной социальной среды.

Сегодня можно сетовать на то, что медленно становится на ноги демократия, слабо утверждается реальный плюрализм и многопартийность, а продвижение к рынку идет опасно медленно. Среди прочих объективных и искусственных причин, которые этому препятствуют, есть и фактор душевной надломленности, усталости, недостатка деловой устремленности значительной части общества. Она, эта часть, оказалась психологически искалеченной большевизмом, его политикой создания «винтика», усредненного, нивелированого человека.

К сожалению, в ходе перестройки не был проведен научный анализ социальной структуры. Представление об обществе оставалось мифологизированным. Два класса и одна прослойка — на этом и строились политические игры. Отсюда вытекают и ошибки в политических шагах, экономических реформах, в национальных делах. Незнание порождало неумение.

Этими ошибками активно пользовался аппарат КПСС, военно-промышленный комплекс, активно аппелируя к «руководящей» роли рабочего класса, к нуждам крестьянства, запугивая «буржуазностью», а значит «враждебностью» перемен по отношению к народу.

Наверное, доля отпетых циников была в аппарате КПСС выше, чем в среднем в обществе. Но и значительна

доля святоверующих. Как и тех, кто «сам обманываться рад».

Так или иначе, основные структуры КПСС сопротивлялись демократизации отчаянно. Психология этого сопротивления потрясает. Историческая безответственность — тоже.

Когда откровенные сталинисты, нимало не маскируясь, начали борьбу за возвращение аппарату КПСС его былой власти, это не вызвало ни противодействия, ни осуждения со стороны руководства КПСС. Скорее, скрытую поддержку. Четыре съезда «инициативников» из Ленинграда прошли как бы незамеченными. Но первая же попытка самоорганизации «коммунистов за демократию», назвавшей себя «Демплатформой», встретила откровенную враждебность со стороны аппарата и правящей верхушки КПСС.

Сегодня можно слышать утверждения, что коммунистическая оппозиция перестройке явилась неожиданной. Но это вовсе не так.

Во-первых, тот слой партии, который и сегодня продолжает бороться против преобразований, никогда и не выступал за них. Достаточно почитать страницы просталинистских изданий, чтобы без усилий обнаружить аморализм авторов публикаций, продолжающих обманывать людей. Еще вчера они были чемпионами по приклеиванию политических ярлыков, травли инакомыслящих, морального террора в отношении тех, кто был неугоден властям, а сегодня вдруг разыгрывают из себя обиженных, причем выступают уже в роли праведных плюралистов. Еще вчера идеологически готовили мятежи 1991 и 1993 годов, а сегодня, даже не покаявшись, требуют защиты у демократии. Да еще изображают из себя борцов за права человека, за демократию.

О Боже, спаси и сохрани! Поистине, цинизм беспределен!

Во-вторых, преобразования ударили по «новому классу», причем очень больно. Уходит власть, а с ней и долговременная возможность казнокрадства и привилегий. Рушатся устои личного благосостояния и всевластия. Надо коренным образом менять образ жизни. Отсюда, а вовсе не из идейных побуждений, шло ожесточенное сопротивление, которое толкало и толкает до сих пор страну к катастрофе.

В самом начале Реформация стояла перед альтернативой — авторитаризм или демократия. Она могла в изве-

стной мере состояться и в случае, если бы пошла по авторитарному пути — пути навязывания обществу необходимых преобразований.

Скорее всего, она завершилась бы тем же, чем реформы Петра I или сталинский ревизионизм — крахом после ухода их творцов. Конечно, даже авторитарная перестройка куда-то продвинула бы общество, наложила бы свой отпечаток и на его облик. Но, скорее всего, потребовала бы и немалой цены за скромный прогресс, укрепила бы те начала общественной жизни — чрезмерный централизм, тоталитарность, забитость инициативы людей и коллективов, что больше всего мешает нам и до сих пор.

Был избран демократический путь. Но он означал, что получают развитие не только новые, жизнеутверждающие, исторически перспективные силы. Но и активизируются силы прошлого, цепляющиеся за уходящие порядки, ловко паразитирующие на демократических возможностях.

В нормальном политическом процессе естественно наличие и тех и других.

В наших же условиях одним предстояло стать на ноги, осознать себя, свои цели, найти свое место в жизни, сформулировать программу и выдвинуть лидеров.

На стороне других были опыт, кадры и аппарат, немалые практические возможности.

Первым предстояло еще убедить людей в искренности их намерений и праведности перемен.

Вторым — защищать привычный порядок вещей.

Когда реформаторы говорили, что страна на рубеже 80—90-х годов дошла до края пропасти, не все с этим соглашались, не все были готовы поверить. Но ход событий показал, что социальный взрыв был близок.

Он угрожал, если бы возник стихийно и не был скомпенсирован перестройкой, неисчислимыми бедами.

Итак, стержневая идея перестройки — первого этапа Реформации — одержала стратегическую победу. Я имею в виду, что Россия прошла этот период без крови. Трудно, невыносимо трудно, но без крови.

В процессе преобразований были свои взлеты и падения. Первоначальный энтузиазм снизу и активность сверху стали затухать, уступая место своего рода «перестроечному застою». Общественное размежевание продолжалось, но оно никак не влияло на темпы реформ. Еще жили упования на партию как на некий авангард перестройки. И в партии действительно появились реформаторские течения,

но руководство КПСС выступало против них. Инакомыслие по проблемам перестройки (в пользу перестройки!) пришлось опять не ко двору.

Инициатива реформаторства худела на глазах, что и привело к победе реставраторских сил осенью 1990 года. Реставрация начала топтаться на месте. И трудно сказать сегодня, чем бы закончилось это топтание, если бы не обычная самоуверенность большевиков.

Авантюра августа 1991 года всколыхнула Реформацию. Но возможности для более радикальных реформ в экономике и политике были дважды упущены — сначала после поражения путча, затем после апрельского референдума 1993 года.

Не упустить бы теперь, после октября 1993-го.

И снова извечное российское — что делать?

Все задают этот вопрос. Многие предлагают решения — кто сложные, а кто простые.

Но приговор объявит и приведет в исполнение только жизнь.

Глава пятая

СЕМЬ «Д»

Босяки жгут сарай, чтобы зажарить поросенка. К тому же не своего. Люмпен — носитель зависти, первого греха человека. Каин убил Авеля из зависти.

У люмпенов своя система ценностей. Мораль, нравственность, честь, совесть, порядочность — зловредны. В итоге «социализация демократии», «социализация реализма», «социализация знаний» и т. д.

Лень — мать всех пороков. Хлестаков — гениальнейший образ босяка в чиновничьем мундире. Босяк — за уравниловку, за воровство. Сталин — эталон растления властью. Брежнев — воровством. Марксизм всегда занимался обездоленностью не труженика, а лодыря.

Проблемы босячества, зависти к заработанному достатку, «комплекс Сальери» — это те рефеодальные камни на нашем пути, на которых демократы будут спотыкаться на каждом шагу. И падать придется.

Моцартовское начало — самое светлое, самое ценное, что есть в человеке. Все земное — от перворукотворного костра дикаря и до компьютера, от колеса до космической станции — сделали люди моцартовского склада, таланты и интеллигенты.

Авангард Реформации идет по минному полю. Ошибки, потери, разочарования.

Пройти это поле по правде — святое дело. Но весьма уместно вспомнить и слова Тютчева, сказанные им о казненных и окандаленных декабристах:

О, жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!

Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

С трудом, и немалым, мы учимся жить в условиях демократизации, осваиваем азы свободы. Полемическое невежество, неуважение к оппоненту и даже партнеру выплескивается из всякого, раскрывающего уста. В спорах кратно больше хамства, неприятия иной точки зрения, чем истины. Самая пора браться за ум — иначе беда неминуема.

Последние годы слишком глубоко изменили наши представления об общественной жизни, чтобы и сегодня продолжать действовать на той же интеллектуальной, информационной и политической базе, что и в начале Реформации. Поэтому неизбежно:

Первое. Серьезное переосмысление происходящих процессов, интеллектуальное освоение нового опыта, а главное, понимание самих себя с позиций всего познанного, накопленного за эти годы.

Самоценность человека — императив Реформации, гарантия от новых бед России.

В понимании законов и условий социализации личности, строительства духовно здорового общества марксисты начала двадцатого века — и русские, и венгерские, и немецкие — были во власти кривых зеркал. Их попытки создать теорию личности отличались неистребимой политической демагогией.

Какое, впрочем, можно создать учение о всесторонне развитой личности, если ее предварительно втиснуть в классовые общественные структуры? Классовая завороженность отбросила за негодностью такие факторы социальной интеграции, как общечеловеческая мораль, религия, семья, которые играют первостепенную роль в сохранении человечности.

В сущности, позаимствованная у сен-симонистов идея, что вся история человеческого общества является историей борьбы классов, затеняла основополагающую проблему, почему общество сохраняется как целостность? До сей поры марксоориентированная социальная философия отвечает на этот вопрос очередным каламбуром: единство существует через борьбу и противоречия, то есть через разъединение, разрыв.

Вероятность того, что реальный исторический процесс разойдется с прогнозом Маркса, была велика с самого начала. И в то время можно было заметить, что каждый очередной кризис перепроизводства, с которым связывались надежды на начало революции, разрешался мирным

путем, подталкивая капитализм на новую ступень расширенного воспроизводства.

Не случайно Энгельс в конце жизни признал, что его и Маркса взгляды на отличие будущего некапиталистического общества от общества современного не имеют никакой теоретической и практической ценности вне связи с конкретными фактами и процессами истории.

Второе. Необходим перенос центра тяжести практических преобразований на закрепление достигнутого, создание надежной опоры демократии в институтах, механизмах и структурах экономики, государства, общества.

Третье. Мы вступаем в период еще большего числа неопределенностей, запрогнозировать исход которых, вычислить траекторию их развития чрезвычайно трудно. Неопределенностей и во внутренней жизни, и в мировой политике, и в мире в целом. Период этот требует особой осторожности.

Конечно же, не отказа от осуществления реформ, отказа, который искусственно породит новые неопределенности.

Четвертое. Под любые реформы, конечно, имея в виду реформы оправданные, направленные на благо человека и общества, а не на какие-то иные, сейчас необходим колоссальный объем предварительных исследований, прогнозов, разработок, проверки ряда исходных положений на моделях и т. п. Недостаточность разработок больно ударяет по реформам и их сторонникам, замедляет или останавливает преобразования.

Отныне и далее в структуру политической и государственной систем, экономики, всей общественной жизни должен быть заложен в качестве постоянного и всеобъемлющего института, обеспечивающего жизнеспособность общества, институт реформы.

Пятое. Поверить в возможность и реальность обновления в наших условиях в начале 1985 года было немыслимо. Однако — свершилось.

Тем самым жизнь еще раз, хотя и крайне драматично, подтвердила, что все общественные процессы неизменно носят циклический характер. И потому противодействие консервативной волны тоже неизбежно. Но оно само по себе не тождественно отступлению, частичной реставрации прошлого (хотя может дойти и до этого).

Реформация должна уже сейчас задуматься над тем, как облегчить наступление следующей реформаторской

фазы цикла, а не стихийно реставрационной. Тут есть много возможностей.

На пережитую в 1990—1991 годах и вновь всколыхнувшуюся сегодня фазу оживления реваншизма, подкрепляемую фашизмом, необходимо взглянуть не только как на неудачу или неизбежное зло, с которым приходится мириться, но и как на определенный сигнал о подстерегающих демократию опасностях.

Шестое. Куда же все-таки эволюционирует обновление? Предперестроечное общество сильно напоминало феодальное с точки зрения того, как строились в нем взаимные интересы и вся система экономической и социальной мотивации.

Полное отчуждение всех от всего предопределило то обстоятельство, что система в целом была никому не нужна: ни низам, ни верхам. Максимум, что мотивировало — это личное, индивидуальное положение, если оно приносило хотя бы малые привилегии.

Именно поэтому «тот социализм» рухнул так же молниеносно и на удивление легко, как в свое время рухнул — без войн и революций — рабовладельческий строй.

Сейчас общество как бы атомизируется, этот процесс будет еще некоторое время продолжаться.

Возможно несколько вариантов развития. Один из них беспокоит меня больше всего. Сегодня общество отличается высоким уровнем конфликтности. Но конфликтность порождает потребность в защите — военной, экономической, социальной, — а потребность эта, в свою очередь, взращивает иерархию определенных отношений.

Так возник феодализм. Именно стадию социализированного феодализма мы еще продолжаем. Тенденция к своеобразному региональному феодализму будет, на мой взгляд, достаточно сильной в нашей внутренней жизни, по крайней мере, на ближайшее десятилетие. И центральным звеном станут новые республики; министерства и ведомства — там, где они сохранятся; крупнейшие концерны.

Если наше развитие не сорвется в ближайшее время на какую-то иррациональную траекторию, то относительно раскрепощенным будет лишь поколение, которому сейчас 17—20 лет. Таким образом, до того момента, когда «социалистический капитализм» (можно сказать и наоборот) станет достаточно сильным, продвинутым, можно ждать, как минимум, 25—30 лет, при условии, что в течение этого

периода не возникнут какие-то сильные и устойчивые факторы, способные существенно повлиять в ту или иную сторону на эволюцию общества. Что касается подъема жизненного уровня, то он начнется гораздо раньше.

Разумеется, все это — лишь самые общие соображения, скорее рожденные образными ассоциациями.

Перспективы обновления, доступные ему альтернативные пути дальнейшего движения — самостоятельная тема, нуждающаяся в отдельной разработке.

Главные же вопросы сейчас: что и как должно быть сделано для того, чтобы реформы действительно стали неотъемлемым принципом общественной жизни? Для того, чтобы тенденциям, толкающим к авторитарности, рефеодализму, укреплению иерархических и клановых структур, были противопоставлены действенные, но мирные средства и формы противодействия? Чтобы жизнь в стране чем дальше, тем сильнее подчинялась нормальным критериям рациональности?

В целях кардинального изменения социального бытия необходимо сосредоточить всю деятельность по направлениям, способным определить уход от прошлого, и придать качественно новый облик обществу.

Эти направления я символически называю «Семь «Д»: Депаразитация; Демилитаризация; Денационализация; Деколлективизация; Демонополизация; Деиндустриализация — экологическая; Деанархизация.

Депаразитация. Это — самое трудное. Наше государство — единственное во всемирной истории, которое запрещало человеку зарабатывать столько, сколько он может. Библейски вечно истинное «в поте лица своего» люмпены назвали «рвачеством», «обуржуазиванием», «перерождением», «шкурным интересом» и т. д.

Большевизм через уравниловку сделал большинство людей нищими. Уравниловка — мутный источник иждивенчества, полуработы, полупаразитизма. Она принуждает даже труженика опускаться до уровня лодыря.

Бездельный ритуал, то есть присутствие на работе — суть отношения к труду. Отсюда — тотальная люмпенизация общества. По качеству и образу жизни, по отношению друг к другу, к политике, духовной и материальной жизни. Надо только научиться лгать, воровать, списывать, приписывать, обвешивать, обсчитывать и т. д.

Сюда надо прибавить тьму убыточных предприятий, колхозов и совхозов, работники которых сами себя не

кормят, следовательно, паразитируют на других. А все мы — вольно или невольно — паразитируем на природе. Благо, что не обделены богатством.

Депаразитация общества возможна только через введение института частной собственности. Причем под частной собственностью имеются в виду все формы собственности, кроме государственной.

На Руси никогда не было нормальной частной собственности, и поэтому здесь всегда правили люди, а не законы. Законность, правопорядок — это императив частной собственности, ее творение. Частная собственность — материя и дух цивилизации. Частная собственность непобедима, ибо она наиболее эффективна. Только частная собственность через действие закона стоимости и конкуренции непрерывно повышает производительность труда и создает материальные блага в изобилии.

Частная собственность — первооснова автономии личности, ее обогащения — интеллектуального и материального. Человек без собственности — винтик, терпеливо ждущий, когда его, заржавевшего, смажут социальным маслицем.

Частная собственность, рынок, демократия — это генетический код нормальной цивилизации.

Человек без собственности не может быть свободным. Эту аксиому в исторически обозримое время никто не отменит. Достаточно человека лишить собственности, большой или малой, и тоталитаризм неминуем. В этом случае неотвратимая логика событий постепенно рушит ценностные опоры общества — свободу, законность, личную неприкосновенность, свободомыслие, что в перспективе ведет к гибели цивилизации.

Как же провести депаразитацию общества?

Триада: частная собственность, верховенство закона, богатство по труду.

Депаразитация — зубная боль Реформации. А дантист — рынок. Только рынок определяет количество и качество труда, справедливо оценивает его.

Денационализация. До сих пор в национальном богатстве страны преобладающая его часть принадлежит государству, его структурам типа государственных предприятий, государственных колхозов и совхозов и т. д.

Денационализация реальна только вместе с **деколлективизацией.** Здесь надо завершить Столыпинскую реформу. Автор ее был слишком истиноемок. Для царя и двора

Столыпин — левый, для интеллигенции — правый. Разновеликая, но единая ненависть к Столыпину убила его. А ведь именно он предложил дорогу, чтобы вывести Россию в белый свет.

Марксистские классики не любили крестьянство. Крестьянин и темен, и глуп, и жаден, и бесконечно порождает буржуазию, и прочая, и прочая.

Большевики повели себя в крестьянской стране как иноземные завоеватели. Продотряды по жесткости превзошли все мыслимое и немыслимое. В гражданскую войну — институт заложников. Огнем артиллерии сметались заложные деревни. Геноцид казачества, физическое уничтожение «комбедами» столыпинских кулаков, то есть самых работящих крестьян. Эсеровский лозунг «Земля — крестьянам» был с редким цинизмом отброшен Сталиным.

Труд колхозника полностью отчужден от результатов труда, от земли. В пространстве полицейского государства крестьянина сажали «на якорь» в колхозной бухте беспаспортностью. Приусадебное хозяйство рушили налогом — при Сталине, безземельем — при Хрущеве, невозможностью торговать — при Брежневе. А «неперспективные деревни»? А грабеж «Сельхозтехники», «Сельхозхимии»? А мелиоративный разбой?

Деревня порушена. Если раньше было аграрное перенаселение, то сейчас — урбанистское. Аграрное безлюдье можно поправить за счет города. Но для этого надо создать его величество Интерес. Крестьянин-единоличник, фермер, хуторянин должны иметь реальный доход в два-три и более раз выше горожанина. Тогда будет толк.

Нужны воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевистскую общину — колхоз, эту безнадежно больную корову системы.

Оздоровление страны может начаться только с земли. Здесь не может быть компромисса, имея в виду, что колхозно-совхозный агроГУЛАГ крепок, люмпенизирован беспредельно. В посевную и уборку можно беспробудно пить: зарплата, какая-никакая, идет, что-то растет на огороде, что-то мычит во дворе, что-то можно украсть — прожить можно. Мы обречены, если не доведем земельную реформу до конца.

Как упразднить колхозы и совхозы? Только не насильственно. Они должны отжить свой век, постепенно заменяясь фермерством, рационально организованными кооперативами, агрофирмами. Деколлективизацию необхо-

димо вести законно, но жестко. И опять же — уже создано множество законов, и с точки зрения формальной логики неплохих. Но они бездействуют. Как та царь-пушка, которая ни разу не стреляла. И тот царь-колокол, который ни разу не звонил.

Без частной собственности на землю не создать средний класс, который, с одной стороны, мог бы противостоять бюрократии, с другой — люмпенам всех мастей.

Демонополизация. Прямой запрет по закону на любые формы монополизма, раздел сложившихся монополий. Признание конкуренции естественной и общественно необходимой частью экономической жизни, ее главным здоровьетворящим фактором. Защита конкуренции всеми средствами закона и общественного мнения. Жесткие экономические санкции за нарушение антимонопольного законодательства.

Монополия не только гниет сама, она тянет в пропасть и экономику, и общество. Обрекает на техническое и иное отставание. Сеет вокруг себя коррупцию, бюрократизм. Объективно подкрепляет и умножает авторитарные тенденции в общественной жизни.

Особое направление демонополизации — допуск на общих основаниях иностранных фирм и компаний. Но до сих пор мешают те интересы, которым неуютно в условиях рынка и конкуренции. Сейчас ведется подлинная война за то, чтобы через совместные предприятия поставить «иностранцев» под контроль новой хозяйственной бюрократии и старых, антирыночных интересов.

Необходимо создать все условия и гарантии для того, чтобы иностранные фирмы могли действовать на нашем рынке непосредственно, были бы надежно защищены нашими и общепризнанными международными законами. Иначе нормальной экономики, как и нормальной жизни, не достичь.

Деиндустриализация — экологическая. Уродства индустриализации — гигантомания, «приоритет производства средств производства», планирование от достигнутого — привели к тектоническому сдвигу пропорций (75 % — группа «А», 25 — группа «Б»). Примерно так же выглядит и занятость: 70 % — материальное производство, 30 — инфраструктура.

По телевидению показывают кошмары: убивают средь бела дня предпринимателей, банкиров, владельцев компьютеров, видеомагнитофонов и японских аудисистем. Но

везде валяется железо — миллионы тонн, гниет миллионами кубометров лес, горят факелы газа, пропадают железнодорожные эшелоны и прочее.

Переоценка ценностей всегда сложна, но неизбежна.

Потребительское отношение к природе воспитывалось веками и даже тысячелетиями. Мы же, надрываясь на тупиковом общественном пути, тоже немало сделали для аксиоматизации атавизма пещерных времен, когда человек действительно был беззащитен.

Капитализм, особенно в ранней своей стадии, устами Фрэнсиса Бэкона гордился тем, что пользуется только опытом. Отношение к мышлению, гуманизму полно презрения. Образ матери-природы уступил место образу природы-машины, природы — дойной коровы.

Рене Декарт объявил математику ключом к пониманию мира, к расшифровке всех его тайн. Для него абстрактный мир, втиснутый в математические координаты, более совершенен, чем творения матери-природы. Геометрически чист, алгебраически послушен, мгновенно исчезавший при умножении на ноль.

Это мир без запаха, вкуса, не плещется, не дрожит, не плачет, не смеется, с ним не вяжется грязь жизни, ее зверства, войны, зло и ненависть. Человека Декарт отнес к механизму. Только душа не умещалась в схему. Пришлось поместить ее в шишковидную железу. Просто. И никто математически не докажет, что он не прав. Несуществующее нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Декарт предложил ложную веру в то, что люди якобы могут открыть все тайны мира и властвовать над ним.

После Ньютона и его трех законов технический прогресс резко прибавил в скорости. Люди самонадеянно посчитали, что это результат покорения «дикой природы», которая сама по себе никакой ценности не представляет. Значит, ее нужно перерабатывать в вещи, товары и деньги.

Сегодня более чем очевидно, что материальный и духовный мир едины. И потому так необходимы философия реальной безопасности, мировоззрение, которое базируется на вечных ценностях. Человек познает себя через природу и природу познает через себя. И никак иначе.

Любое общество, которое ставит во главу угла «принцип полезности» как принцип всеобщей эксплуатации природных и человеческих сил, безжалостно иссушает эстетические, эмоциональные, духовные способы общения между людьми, между людьми и природой.

Сколько пустынь сотворили мы? У нас в результате многолетнего табу на гласность деятельности мелиораторов-невежд осушенные болота стали превращаться в безжизненные пустыни, а в пустынях появились болота. Диву даешься кабинетному идиотизму.

Система, которая теряет плодородные земли, обращает пашни в пустыни, разоряет природу, убивает сама себя. И никакие идеологические обманы не в силах компенсировать эту потерю. Ответственность за землю без хозяина — смертельно опасная выдумка.

Но самая страшная пустыня — в нашей душе, иссушенной эгоизмом, растерзанной двойной моралью, заблудившейся в гуманистических координатах в силу разделения фокусной точки мировоззрения. Милосердие, альтруизм, честь, совесть, человеко- и природолюбие — какова доля этой вечности в душах и умах наших?

В течение столетий, покоряя природу, люди оказались в плену стихийного автоматизма экологических бед. Цепная реакция разрушений в системах самовоспроизводства живой природы близка к фатальному исходу.

Смертоподобно и дальше нарушать механизм разумности в экосистемах природы. Уже не за горами, а вблизи, вот-вот начнутся необратимые изменения. Сначала «положим зубы на полку» из-за почвенного Чернобыля, начнем угасать от химических и иных индустриальных отрав, в смоговых нечистотах.

А что потом?

Потом экологическая смерть.

Человечество вступило в век информатики. Производство средств информатики — от микрокалькулятора, ксерокса и до суперЭВМ — превзошло (в стоимостном исчислении) производство энергии.

В этих условиях неизбежен переход к экоразвитию, принципиально новому этапу материального и духовного прогресса цивилизации. Общей моделью развития любого общества — российского, американского, японского, первобытно-языческого в Амазонии, любой экономики — от немецкой до гаитянской — может стать только экоразвитие.

Разумной альтернативы нет. Безумных, концесветных вариантов — избыток.

Экоразвитие — это:

— с точки зрения экономической — процесс перевода мирового хозяйства на безотходные технологии, макси-

мально возможная биологизация производства, самого образа жизни, достижение гармонии между обществом и природой;

— с точки зрения социальной — стремление сплавить воедино истину и добро, знание и гуманизм, что позволит создать систему «самоограничений», а затем ликвидировать голод, болезни, нищету, обездоленность и других вековечных врагов человека;

— с точки зрения философской — переход от варварства, в котором мы пребываем, поскольку не в состоянии еще остановить убийства, к действительной цивилизации; очищение от древних и новых атавизмов разума и души человека, который становится, говоря словами И. Канта, «ответственен за человечество в своем лице»;

— с точки зрения политической — мир, братство и сотрудничество между людьми, между государствами, преодоление социальной расколотости человечества.

Судьба экоразвития зависит не только от политики, но от нас самих прежде всего. От того, найдут ли люди, государства, системы разумный ответ на вопрос: как жить и как выжить? Выжить через экоразвитие в условиях мира.

Экоразвитие — комплекс проблем. Экономических, социальных, политических, философских, исторических, морально-нравственных, религиозных. Ибо это процесс рационального отношения к природе в интересах Вечности.

Демилитаризация. Время есть скорость передачи информации. Сдвинули время благодаря цепной реакции, и тихие куски урана, «горевшие миллионы лет», обрели способность сгореть в микромгновение, подвинули нас к концу света. Конец света вытворен. Голово- и рукотворно. Настала пора искать обратную дорогу, пока еще не поздно.

Но обратная дорога — не только в уничтожении накопленного оружия, не в механическом сокращении армии. Она — в переосмыслении всего того образа жизни, в котором все военное было почти неприкосновенным. И который привел нас к сегодняшнему положению. Привел, повинуясь политике и инерции, следуя надежно защищенному бездумью.

Демилитаризация общества — не отказ от обороны, от армии, как проповедуют те, для кого спекуляции и псевдопатриотизм, а вернее презрение к своему народу, давно стали бездонной кормушкой и орудием морального тер-

рора. Демилитаризация — это перевод обороны и армии на рациональные рельсы, это безусловное требование эффективности, профессионализма, умения соотносить затраты и результат, отчетности перед обществом.

Почти полвека минуло с окончания второй мировой войны, а мы до сих пор разобраться не можем, сколько же средств ушло и уходит у нас на военные нужды, куда и как именно. Ясно, что много, но сколько? Ясно, что скрывали и запутывали, заморочив только самих себя.

И так ли уж бескорыстна эта секретность, верно ли, что она направлена против потенциального противника? Если невозможно проследить все и всяческие расходы, то совершенно очевидно, что здесь широчайшее поле для любой бесхозяйственности и любых злоупотреблений.

Но проблема куда глубже, нежели только экономические ее аспекты. Демилитаризация должна прежде всего затронуть сознание, общественную психологию, образ жизни.

Демилитаризация — это значит, что мы живем в обществе свободных и равноправных граждан, а не среди придуманных «врагов».

Демилитаризация — это значит, что мы живем в жестком, но нормальном мире ответственных государств.

Демилитаризация — это значит, что мы уходим от авторитарности, иерархичности общественных отношений, государственных и общественных институтов, заменяя эту иерархию разумом и правом.

Деанархизация. Парадокс общества: жесточайший тоталитаризм уживался с беспрецедентным анархизмом.

Но если вдуматься, то противоречия здесь нет. Возможность произвола сверху создает простор и для произвола на всех иных уровнях. Конечно, в иных масштабах, на ином «материале», в разных направлениях, но все равно произвола.

Противодействие официальному произволу тоже невозможно иначе, как через произвол революционеров. В системе самодержавия или же военно-бюрократического строя нет места закону, его уважению, его действительному и строгому соблюдению.

Те же законы, которые принимаются в тоталитарном обществе, выполняют две политические функции. Во-первых, они призваны хоть как-то оправдать, прикрыть, облагородить произвол «сверху». А во-вторых, дать властвующим структурам дополнительные рычаги и средства

нажима на подданных, управления ими. Иных функций в такой системе законы объективно выполнять не могут.

Отсюда мощные порывы к анархии, что проявляется в самых разных формах, от полнейшего неуважения к каким угодно нормам и правилам до пренебрежения к собственности, к труду — ко всему и всем, кроме себя.

Особенно опасны позывы к анархии, которые возникают на уровне духовном, в пластах политической и общей культуры. Здесь традиции анархизма у нас исторически сложились богатые и прочные, и идут они не только от Пугачева или Разина, Бакунина или Нечаева. Национальная психология издавна легко отзывалась на насилие «в благородных», как считалось, целях.

Рывок вперед к свободе, добру, справедливости, к чистоте отношений и праведности общественного уклада постоянно мыслился именно как рывок, как бросок вперед на основе идеи, озарения, порыва, воли — чего угодно, но только не закона.

Здесь, пожалуй, следует обратить внимание на одно чисто российское явление. В сущности, вся освободительная борьба в прошлом шла под лозунгом «воли», а не «свободы». В конце концов они вылились в противоположную практику.

«Воля» — это свобода для меня, а потом для другого, но и последнее зависит от меня, дающего волю.

«Свобода» — это свобода прежде всего для другого, что и дает свободу всем.

Традиция «воли» вдохновляла на Руси не только крестьянские бунты, но и революционеров конца XIX века. Она продолжает жить в психологии современников, совершающих Реформацию, что в значительной мере блокирует путь к подлинной свободе.

Надо видеть эту специфическую черту национальной психологии: предрасположенность к анархизму или, скажем, точнее, способность легко поддаваться анархистским порывам.

Быт и сознание тоже тормозят Реформацию, тормозят заметно, а потому она идет по канату, очень часто скользкому. Важно не натворить глупостей в нынешний переходный период, сотканный из множества кричащих противоречий — как наследованных, так и рожденных послеавгустовским (1991 г.) этапом Реформации, но особенно истоками и следствиями событий 1993 года.

Раздел второй

НЕСЛЫХАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Авторская вводка.

Главы, которые я предлагаю в этом разделе, носят тематический, в известной мере, автономный характер. Это скорее самостоятельные очерки. Они являются попыткой осмыслить происходящее с разных сторон — и не только в национальном масштабе.

Судьба России, ее тревоги, связи с внешним миром, место идеологий в условиях победы разума в холодной войне, национализм и сепаратизм, перспективы российской демократии, угроза реванша и возможности новой трагедии народа, поскольку большевизм еще живет.

Иными словами, эти главы о тех острейших проблемах, их противоречиях, возникших в период радикализации реформ.

История августовских дней 1991 года в общих чертах давно обрисована. Известны многие выразительные и волнующие детали, герои и антигерои, властолюбцы и шуты той поры, которая, как водится, постепенно окутывается туманом легенд и спекуляций.

Верю, что в конце концов все встанет на свои места, скрытое станет известным, туман рассеется и точные ответы на вопросы «Кто есть кто?» в российской политике до августа и после августа будут получены.

Рельефнее будут выглядеть и события осени 1993 года.

Меня интересует не история многочисленных авантюр — открытых и ползучих, мелких и больших. Предмет моего анализа — истоки, суть и формы упорного сопротивления большевистской реакции оздоровлению России на основе свободы и демократии.

Осенью 1990 года Политбюро и Правительство сумели «прижать» еще не оперившуюся президентскую власть и задушили рыночную экономическую программу, увидев в ней угрозу своей власти.

В августе 1991 года, изрядно обнаглев, заговорщики, а это были высшие руководители страны, полновластные распорядители силовых органов и военно-промышленного комплекса, намеревались устранить или сделать своим «техническим секретарем» Президента СССР, вернуть страну на круги своя, «навести порядок».

Все шансы вроде были на их стороне, но вылазка с всамделишными танками и грозными позами рассыпалась в три дня.

Прямая атака не удалась. Поражение реваншистов в августе 1991 года перечеркнуло их победу осенью 1990 года.

Большевизм, пользуясь неопытностью, ошибками и разрозненностью демократических сил, перешел к тактике саботажа реформ через Советы. Силы реставрации всех направлений увидели возможность восстановить через Советы однопартийную диктатуру.

Самое поразительное лицемерие из всех, когда-либо случавшихся в России, это нынешнее лицемерие большевиков. Не моргнув глазом, они объявили себя «главными защитниками» демократии, при этом таская по митингам портреты Сталина — «величайшего демократа всех времен и народов».

В дурном сне не приснится такое.

И все же демократия одержала очередную победу и получила еще один шанс закрепить оздоровительный вектор развития России.

Выходит, не зря с муками, ошибками, провалами, но и с озарениями шло с весны 1985 года великое дело Реформации.

Выходит, не зря вошли в нашу жизнь гласность и демократия.

Выходит, не зря реформаторы первой волны торили путь к радикальному обновлению страны.

Именно Реформация, принесшая духовное раскрепощение обществу, обрекает всех заговорщиков — открытых и скрытых — на бесславный финал.

Но наивность демократии беспредельна. В 1991 году, например, разом, в мгновение ока рухнула главная опора прошлого режима — КПСС. В узде оказалась репрессивно-сыскная служба. Из армейской верхушки были удалены

самые крепкие «медные лбы», жаждавшие законсервировать свое положение, привилегии и влияние. Наступило «без пяти двенадцать» на часах союзного парламента, так и не выбравшегося из тесной колыбели, сооруженной для него партийно-государственной бюрократией.

Победа пришла к деятелям демократического толка, победа, к которой они звали своих сторонников, но к которой они оказались, увы, не готовы...

К тому же, многих новых руководителей охватила эйфория от победы, которая только казалась окончательной, но, увы, не была таковой.

Здесь необходимо коротенькое отступление в прошлое.

Демократическая оппозиция всемерно ратовала за радикальные шаги, жестко критиковала М. Горбачева за его осторожность и непоследовательность, как бы предлагая: «Что там пестовать всходы, не лучше ли сразу посадить взрослые деревья и тогда зацветет, как по волшебству, сад свободы». К созидательным же задачам демократическая оппозиция только приглядывалась, считая, что придет время — летать научимся. А пока можно было, хотя бы теоретически, учить других искусству полета.

После августа 1991 года необходимо было продемонстрировать и собственное мастерство. Из учебных классов выйти на простор практики. И здесь во весь голос заговорили последствия августовской авантюры.

Центробежные тенденции в стране получили толчок такой силы, что и без того ослабленные союзные структуры не выдержали. Былой колосс рассыпался. Вполне органичные, естественные экономические связи были разорваны. Экономика еще быстрее покатилась под гору.

Очевидная невыгода от такого поворота дел перевешивалась политическими расчетами, а скорее — амбициями некоторых лидеров вновь образовавшихся государств. Национализм, сепаратизм, замешанный на привычном большевизме, стали общеупотребительными наркотиками во многих частях Советского Союза. Пошел дележ, в том числе и неделимого.

По иронии судьбы осуществилось и то, к чему стремились августовские заговорщики и стоявшие за ними военно-промышленный комплекс и феодальный класс на селе: демократическая волна смела Президента страны.

Российским властям приходится действовать в тяжелейших условиях (да и властям в других составляющих Советского Союза).

Самая острая боль — состояние народного хозяйства. Производство продолжает падать едва ли не во всех секторах экономики. Чем это оборачивается для людей, вряд ли нужно пояснять.

Стратегия оздоровления хозяйственной жизни, принятая командой Гайдара, оказалась достаточно смелой. Бесспорна целевая установка на переход к рынку и рыночным отношениям. Похвально стремление экономически включиться в мировое сообщество. Да и сама команда, молодая, образованная, вызывала симпатии в той части общества, что ратовала за реформы.

Из всех возможных вариантов правительство избрало самый кратчайший, но и наиболее уязвимый — шоковый.

Мне лично этот вариант с самого начала показался по меньшей мере рискованным, а по большому счету — обреченным на провал. Либерализация цен требовала конкурентной среды, а ее не было. На рынке не оказалось ни земли, ни жилья, ни средств производства. Не было принято надлежащих законов, защищающих предпринимателя, особенно производителя.

Стержнем радикализации реформ оказалась монетаристская концепция.

Но я не хочу быть ни пророком, ни судьей. При моих сомнениях относительно концепции «шоковой терапии» все же полагаю, что выбора у правительства просто не было. Добавлю, кроме того, что Запад отнюдь не спешил, не спешит и до сих пор взять на буксир грузную, развалившуюся российскую экономику.

И все же реформа начала сдвигать с постамента омертвевшую огосударствленную экономику. Жесткая финансовая политика повернула людей к собственности, бизнесу, к деньгам. Появились симптомы экономического оздоровления.

Все это так. Но одни только монетаристские меры не рождают естественной мотивации, да еще в условиях доминирующей огосударствленной экономики, всевластия чиновничества, фискальной налоговой политики.

Оглядываясь на путь, пройденный с осени 1991 года до осени 1993 года, меня обескураживает то, как ничтожно мало сделано для восстановления в полных правах частной собственности, т. е. создания условий для появления экономически свободных граждан. Будь по-другому, правительству не надо было бы выступать в роли демиурга по сотворению нового постсоветского человека. Оно бы

стало рациональным институтом содействия приращению национальных богатств, повышению доходов своих граждан.

По моему мнению, еще один грех правительства — недооценка российской специфики со всей ее причудливой и тяжкой историей.

Я был и остаюсь сторонником познания и освоения опыта других стран. Считаю, что должно внимательно относиться к рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ). Но для того, чтобы вырастить яблоню в новых климатических условиях, нужно вывести и соответствующий сорт, а не заставлять, как уже было, сеять кукурузу за Полярным кругом.

Поставив теорию Маркса и Ленина выше действительности, выше жизни, мы умудрились искалечить саму эту жизнь. Взяв за путеводную нить взгляды Хайека и Фридмана без всяких поправок на российские реальности, мы рискуем впасть в очередной соблазн навязывания жизни, возможно, даже мудрых схем, но отторгаемых нашим бытием.

Но было бы просто несправедливым сваливать все беды на правительство. Большевизм, сумевший превратить парламент в главную тормозящую силу реформ, нанес, как и в прошлом, огромный вред обществу и делу Реформации.

Состояние хозяйственной жизни в России оказалось благодарнейшей почвой для демагогов-популистов и для сил реванша. А также для чиновничества, уцелевшего старого и быстро плодящегося нового, которое отличается отменным аппетитом на общественный пирог. Это и есть новая бюрократия, которая унавоживает почву для реставрации.

А демократия по неясным причинам впала в спячку, в своеобразный застой. Демократические силы оказались разобщенными, заразились взаимной любовью к компромиссам.

Партии (можно ли все из них именовать партиями?) плодятся методом непрерывного деления.

Понятно, что цепляться за уходящие порядки безнадежно, открыто тормозить движение общества вперед или пытаться повернуть его назад — ущербно, а использовать в этих целях какие-то крайние средства преступно. Но из каких бы политических, социальных предпосылок ни вырастала та или иная разновидность реакции, оценка ее как явления вполне определенная. Еще более гомо-

генна эта оценка применительно к ультраправым движениям — фашизму, шовинизму, национализму.

Крайности примирить трудно. Но после трагической осени 1993 года все неотложнее становится задача расширения согласия в самом обществе, привлечения в оздоровительные ряды всех, кто выступает за демократическую процветающую Россию.

Потенциал свободолюбия за годы Реформации накопился огромный. Чтобы его не растерять, надо видеть несовершенство нашей запоздалой демократии. А в экономической области точно взвешивать социальные последствия предпринимаемых действий, соизмерять их с готовностью или неготовностью общества идти на очередные жертвы.

Реформация продолжается. Конечно, не обходится без серьезных потерь, но основные завоевания удержаны. Россия смотрит не в прошлое, а в будущее.

Россия серьезно оступилась в XX веке. Но на излете столетия она мужественно сменила курс. Беды и трудности огромны, но мы уже другие, у нас другое общество, его созидательные возможности велики.

Что касается образования Содружества Независимых Государств, то объективные интересы будут способствовать сближению к сотрудничеству стран, вставших на путь демократии. Придется переболеть и национализмом, и сепаратизмом, и политическими спекуляциями, и нерасчетливыми упованиями на кого-то со стороны.

Не огнем и мечом, а силой жизненных интересов родится, я верю, общность действительно равноправных государств, добрых соседей и надежных партнеров.

Глава первая

ВЫЗОВ ВЕКА

Столетиями страх свой перед неизбежной смертью человек пытается компенсировать войнами, корыстью и завистью.

Лихорадочно ищет спасение в тщательно сооружаемых иллюзиях. Они тешат, но обманывают. Впрочем, человек знает это, но готов обманываться.

Человек ищет, но никак не находит обители, где бы он избавился от скверны бытия. Ожесточается, теряет веру в себя и людей, заражается ненавистью, нетерпимостью. Но спокойствия и удовлетворения не обретает.

Но это вовсе не значит, что все находится в руках неких демонических сил, что Добро обречено на поражение.

Я не верю в безысходность. Более того, лелею надежду, что XX век завершит полосу человеческого отчуждения. Это возможно, если человек найдет силы преодолеть самого себя, иначе начнется все сначала.

Насколько же проницателен был гений Александра Блока. Еще в начале столетия он писал:

Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующей гибель день и ночь.
Сознанье страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...
Что ж, человек? — За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
О чем — машин немолчный скрежет?
Зачем — пропеллер, воя, режет
Туман холодный — и пустой?

(«Возмездие»)

На пороге следующий век. И снова человечество перед выбором — каким быть ему?

Тревоги очевидны. Одни вполне осознанны, другие интуитивны. Но в любом случае их преследует опыт яростного, взрывного и кровавого уходящего века, включая колониализм, расизм, фашизм, большевизм.

Две мировые войны, десятки и десятки других войн, реки крови и слез, нескончаемый пир насилия и ненависти, распад империй, крах многих тоталитарных режимов, враждой исковерканное сознание — и все это еще в памяти поколений, все это еще не прошло, еще живет.

Это XX век.

Блистательное достижение разума — овладение ядерной энергией — привело неразумных детей Земли к тому, что человечество лишилось дарованного ему от рождения качества — бессмертия.

Это тоже XX век.

С развитием электроники, информатики, генной инженерии люди обзавелись невообразимыми возможностями созидания, но эти чудеса оказались в руках милитаризма.

Это тоже XX век.

Привычным стало планомерное обживание и использование космоса.

Это тоже XX век.

И в то же время мир вещей грозит раздавить мир природы, мир обитания. Всесветная беда стучится в нашу дверь.

Это тоже XX век.

Бессмысленное противостояние двух систем, преступная холодная война, чуть было не закончившаяся вселенским последним побоищем в истории человечества.

Это тоже XX век.

Осмыслить уроки минувшего, оценить победы и поражения, осознать, что у всех у нас есть общие заботы, общие дела — вот, пожалуй, смысл раздумий, охвативших и нашу страну.

Порывать с прошлым всегда трудно, неимоверно трудно. Я не верю расхожему утверждению, что человечество расстается со своим прошлым смеясь.

Идет такое утверждение от непомерной самоуверенности, поразившей человека и человечество.

«Кто уверил человека, — восклицал еще де Монтень в XVI веке, — что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно вращаю-

щихся над его головой светил, этот грозный ропот безбрежного моря, — что все это сотворено и существует столько веков только для него, для его удобства и к его услугам.

Не смешно ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой Вселенной, малейшей частицы которой оно даже не в силах познать, не то что повелевать ею».

Де Монтень оказался во многом прав. Вообразив себя властелином Вселенной, человек в своей самонадеянности губит ее, умертвляя и самого себя.

Это о природе. А знание?

Кому ведомо, а не обкрадывает ли себя человечество, напрочь отвергая в гордыне своей те или иные теории общественного развития, особенно те, что были революционными вчера и стали консервативными, исторически неуместными сегодня?

Здесь далеко не всегда находится та мера терпимости, которая порождает Мудрость, то спасительное чувство самоуважения, которым питается Достоинство.

I.

Сегодня мир прощается с коммунизмом, той системой теоретических взглядов и практических деяний, о которой глупо сожалеть. Прощание неизбежно, ибо безумная практика затоптала в грязь красивую социальную гипотезу.

Но не будет ли новым безумием смеяться над «безумством храбрых», над заблуждениями, над теми, кто, как и первые христиане, верил в справедливость, в победу Добра, в осуществимость общечеловеческих заповедей, следование которым и делает человека Человеком?

Да, на глазах живущих переворачивается тяжелая страница истории — «холодная война», в которой не оказалось и не могло быть победителей. Ядерное чудовище тоже уползает.

На этой стезе победа разума очевидна.

Но с какими же чувствами человек открывает окна и двери, чтобы свежий воздух истории принес ему другую жизнь?

С ощущением интеллектуального и нравственного прозрения?

Со способностью видеть и понимать мир и самих себя гораздо лучше, чем раньше?

Со вновь обретенной мудростью и ее готовностью сочувствия, сострадания, прощения?

С просветлением в душе и успокоением в сердце?

Или же, напротив, с темными, разрушительными чувствами душевной опустошенности, обидой, озлоблением, что ходят в обнимку с местью и пахнут кровью?

Горько думать, что мифы, а не здравый смысл, властвовали над тобой в течение многих десятилетий.

Возразят — мифы разные. Верно, мифы античности до сих пор будоражат воображение. Реминисценции загадочных и грозных греческих богов до сих пор живут в художественно-интеллектуальном творчестве человечества.

А коммунистические?

Да разве не завораживали сознание обиженных и униженных, обожженных жизнью людей романтические грезы о лучшей жизни?!

Разве не снились голодному ребенку сладости, бездомному — прекрасные Города Солнца, измученному нескончаемой работой — синие дали отдохновения, оскорбленному несправедливостью — царства равенства и братства?

Но дело не только в естественной боли от несбывшихся надежд. Вся история цивилизации — это история непрерывного прощания с мифами и мечтами, восхождения к знанию и мужеству реализма. И боль тоже естественна, когда рождается новое.

Но прощание со старым — еще не выбор нового. Хотим того или нет, но мы, в России, снова оказываемся перед необходимостью выбора. Притом выбора неопределенного, тумана и ночи, ибо в прошлое вернуться нельзя, а будущее пока не поддается прогнозу.

Эмоциональная сторона этого выбора исторически преходяща, мимолетна, хотя для человека крайне потребна. И очерствевшие, и просветлевшие души ищут для себя разные бухты Провидения, по-разному видят и свои возможности.

Опрометчиво забывать, что у истоков коммунистического выбора стоял в свое время «разум возмущенный», особо чувствительный к социальному злу и несправедливости. Он кипел от переполнявших его обид и протеста.

Видение прекрасного будущего было расплывчато, даже примитивно и само по себе мало кого могло подвигнуть на революционный выбор. Отчаяние же от реальной жизни, разочарование в ней и ее отвержение, презрение к опо-

стылевшим нормам бытия, институтам власти, обанкротившимся лидерам действовали куда более мощно, чем красивые сны. По крайней мере, так было в России.

Смысл и логика социальных альтернатив, с которыми столкнул нас XX век, еще ждут разгадки, общественного «приговора». Но в любом случае уже сегодня необходимо видеть и без идеологической предвзятости оценивать просветляющее начало даже в проигранных вариантах и утраченных возможностях.

Все мы так долго жили в духоте политической, идеологической, военной и всякой иной конфронтации, что многие люди просто не представляют себе иных принципов и форм организации мира. Почти три четверти века эта конфронтация определяла не только взаимоотношения двух систем, но и во многом — их внутренние структуры, внутреннюю жизнь, и прежде всего их самоидентификацию.

На вопрос: «Кто я такой?» — каждая сторона отвечала, указывая на противоположную: «Я — не такой. Я совершенно иной». И это было правдой.

Такая конфронтационная самоидентификация оставляла нас с набором самых разнообразных противопоставлений: социализм — капитализм, тоталитаризм — демократия, контроль — свобода, план — рынок, общество — личность. А в нравственной сфере — с противопоставлением Добра и Зла, естественно, каждой из сторон понимаемых по-своему, в меру своего знания о них.

В октябре 1917 года оформились два пути, и с тех пор они расходились все дальше и дальше. Конфронтация искусственно суживала диапазон видимых альтернатив — если не всегда на практике, то всегда идеологически. Конфронтационная самоидентификация была далека от реальности. Хуже того, мешала эту реальность понимать.

Сейчас, когда военная конфронтация позади, мы яснее видим ее моральную ущербность, политическую бессмысленность и экономическую преступность.

По инерции и в угоду психологическому комфорту обе стороны еще продолжают подчеркивать свои различия, которые, конечно же, остаются. Но одновременно вынуждены признать, что системообразующие признаки одного уклада — любого — непременно присутствуют и в другом.

Однако для самоидентификации и этого уже недостаточно. Наше общество бьется над тяжелейшим из вопро-

сов: «Кто мы такие?», пытается отыскать ответы и в своем прошлом, и в мировом опыте, и в мерцающем будущем.

Есть и западные публикации, в которых тот же вопрос ставится применительно к западному обществу: куда оно пойдет и чем станет в условиях, когда антипод по миропониманию в этом качестве исчерпал себя.

Возможно, это естественные стадии процесса социализации и личности, и нации, и человечества в целом. Вначале осознать себя через противопоставление кому-то другому. Затем задуматься о своем собственном «я». А уже потом постараться найти общее, объединяющее. Об этой специфике понимания самих себя необходимо помнить, когда речь идет об оценках социальных вариантов цивилизационного значения.

XX век начинался вовсе не с противопоставления социализма и капитализма. И даже, пожалуй, еще не осознавалось, какой выбор вскоре предстояло сделать.

Рубеж XIX и XX веков я бы назвал периодом абсолютизма Европы в мировом развитии.

Двухтысячелетние духовные традиции и достижения Европы определяли ее собственную жизнь и во многом то, что было тогда стержнем мировой политики, науки, культуры. Европейская модель промышленного развития приносила впечатляющие плоды. Ведущие страны Европы задавали стандарты внутренней и внешней политики, критерии цивилизованности, технического прогресса. И не только задавали, но имели возможность навязывать их миру.

Через систему колониальных империй они господствовали политически и экономически, занимались христианским миссионерством, влияли на мировое развитие через экспансию культуры, быта, образа жизни.

Европа ощущала себя центром и высшей точкой развития, взирая на остальные части мира как на районы, которые ей предстояло поднять от разной степени варварства до цивилизованности, то есть до самой себя. И прямо, и косвенно, и явно, и неявно; и самыми жесткими, и действительно гуманными средствами; и к Добру, но и во Зло.

Это не хвала и не осуждение, но констатация факта.

Правда, развитие самого центра еще раньше прошло через определяющие исторические развилки, понимание которых пришло не сразу.

Первой такой развилкой стали Реформация и Просвещение, по сути, открывшие путь к современной Европе.

Путь к торжеству рационалистического мышления и рационалистической морали над религиозно-фундаменталистскими.

Путь к накоплению знаний, становлению наук и образования.

Путь к подрыву нравственных, идейно-теоретических и политических основ абсолютной монархии и клерикализма, зарождению современных демократий.

Путь к превращению значительной массы населения из физического тягла в работников квалифицированного труда и квалифицированного управления, которым в массовом порядке потребовались образование, информация.

Внешним проявлением этого процесса стал мощный выход Европы в остальной мир, в том числе и выход колониальный. Но все же главные его последствия до поры до времени оставались внутри самой Европы, по-разному преломляясь в жизни и истории европейских стран и народов.

Второй развилкой, на мой взгляд, стало оформление в XVIII веке такого государства, как США.

По существу, все самоновейшее, что было тогда в европейской мысли, культуре, производстве, политике, религии, мироощущении, — все это оказалось перенесенным на почву беспрецедентного эксперимента на новом месте, причем в условиях, в которых сословность, консерватизм, инерция имели ограниченную возможность тормозить развитие.

Это была перестройка европейского опыта почти в чистом виде, без необходимости предварительно ломать отжившее, косное, преодолевать ради этого колоссальное сопротивление.

С формированием США европейско-христианская культура, испытавшая на себе благотворное воздействие Реформации и Просвещения и продолжающая накапливать их плоды, пошла в своем развитии двумя путями.

Собственно в Европе — через борьбу нового с глубоко укоренившимся, разветвленным и могучим прошлым (здесь прямая аналогия с условиями перестройки в советском обществе).

И в Северной Америке, где такое развитие складывалось в относительно благоприятных условиях, не столь отягощенных инерцией.

Но к рубежу XX века мир был еще далеко не таким тесным и маленьким, как сегодня. Новый Свет оставался

далеко за океаном, его потенциалу еще только предстояло раскрыть себя. А Европа продолжала смотреть на рвавшиеся вперед Штаты со смешанными чувствами патерналистского высокомерия, смутных страхов, предчувствий, но и надежд.

Между тем в Европе к тому времени оформились теоретические, политические, социальные предпосылки следующей, третьей развилки. Быстрая модернизация в условиях общества, перегруженного пережитками, устаревшими структурами и всевозможной реакцией, привела к кристаллизации социалистической мысли и зарождению коммунистического движения.

Вопрос заключался лишь в том, где и когда эти предпосылки обретут политическую реальность.

Это и случилось в России в силу стечения самых разных обстоятельств. Изнурительная война, приведшая к разрухе. Вырождение самодержавия, его способности управлять, варварские методы первоначального накопления капитала. Безразличие к происходящему огромных масс населения. Стремление нарождающегося буржуазного класса покончить с феодализмом. Привлекательность лозунгов революционных партий.

Родился новый порядок. Его назвали социализмом, хотя еще вчера страна была преимущественно феодальной.

Он провозгласил полное отрицание породившего его общества. Он разрывал не просто с демократией, экономикой свободного рынка, но и с Европой, с христианством (в большей мере, чем с другими религиями). И с Америкой, как частью христианско-европейско-буржуазной цивилизации. Это максималистское отрицание сформировалось в недрах самой этой цивилизации, выросло из ее внутренних противоречий, из тяжести попытки прорваться к модернизации.

На каждой из пройденных европейской цивилизацией исторических развилок прошлое бурно восставало против нового. Даже США пришлось вести войну за независимость, а потом и гражданскую. О кровопролитной истории европейских государств не стоит и говорить.

Но никогда еще столкновение не было столь губительным, столь опасным, как конфронтация между социализмом и капитализмом, Востоком и Западом. Ядерная ночь — сколько до нее оставалось?

И почему вообще мы стали вооружаться в иррацио-

нальных масштабах, иррациональными средствами, в иррациональных целях? От дикости или от неспособности общества контролировать интересы и влияние отдельных его групп? А быть может, и потому, что два полюса конфронтации после 1945 года — СССР и США — достаточно далеко отстояли друг от друга географически, и война никогда не казалась им чем-то реальным?

К счастью, иррациональность не до конца изгнала здравый смысл. Реформация в СССР сыграла здесь первостепенную роль.

После октября 1917 года в европейской цивилизации можно видеть две качественно разные модели развития.

Одна — американская. Ее отличительный признак — **неэкстремальность** внутренних, но особенно внешних условий развития на протяжении длительного времени. И в частности, дарованная географией высокая степень безопасности от вторжения извне.

Другая — евроконтинентальная, для которой, напротив, характерна **экстремальность** условий — как внутренних, так и внешних. Мера этой экстремальности в Западной Европе была одна, в СССР — иная, существенно более высокая.

Развитие США, далеко не свободное, конечно, от собственных проблем и противоречий, шло в целом более естественным путем, если за критерий естественности брать реально доступный человеку и обществу диапазон свободы.

Рубежом качественного перелома, как мне представляется, стал «новый курс» Рузвельта, в ходе и после которого в США на практике стали в известной мере доминировать решения и подходы социал-реформистского характера.

Можно было наблюдать, что в условиях острой, в том числе идеологической, конфронтации с СССР руководство США оказалось уязвимым для обвинений справа в «протаскивании» социализма у себя в стране. В этой связи, на мой взгляд, США могли, не будь конфронтации, продвинуться дальше в решении многих вопросов социально-экономического плана. Впрочем, судить самим американцам, нужно ли им вообще ускоренное движение.

Западная и Центральная Европа пережили вспышку фашизма, которая стала ответом на неспособность старых структур справляться с грузом проблем и необходимостью модернизации. После поражения фашизма доминирующей

в Европе оказалась социал-реформистская линия развития, линия, которую мы только еще начинаем осваивать. Экстремальность внешних и внутренних условий постепенно сходила на нет.

В Советском Союзе, на мой взгляд, именно экстремальность внутренних и внешних условий, нередко искусственная, предопределила:

— во-первых, становление и закрепление сталинско-большевистской модели системы;

— во-вторых, сохранение ее даже тогда, когда уже немало людей в СССР, в том числе и в правящем эшелоне, понимали необходимость ее постепенного демонтажа, а в идеале — и слома;

— в-третьих, экстремальность условий и спекуляции на этой экстремальности обрекли на поражение доперестроечные попытки реформ в странах социалистической ориентации, включая «венгерскую революцию» 1956 года, «пражскую весну» 1968 года, «хрущевскую оттепель» и «косыгинскую реформу».

Все мы помним также противоречия и парадоксы разрядки.

Реформация в Советском Союзе, начавшаяся в 1985 году, кардинально изменила вектор мирового развития, исторические развилки начали политически сходиться, сохраняя своеобразие сложившихся вариантов. В результате образуется цивилизационное многообразие, которое является непременным условием жизнеспособности мирового сообщества.

Сейчас, в новом политическом и нравственном климате, в новых международных условиях, процессы взаимодействия пойдут интенсивнее, быстрее. И потому я отважусь на вывод, что, пройдя долгий и мучительный путь, подвергнув себя тяжелейшим потрясениям, европейская цивилизация в своеобразном плане возвращается к самой себе, к историческому взаимопрощению и примирению.

Центробежная историческая тенденция сменяется центростремительной, сохраняя и умножая внутреннее многообразие, она обретает и новую целостность, новое единение. Объемлет сегодня весь свой опыт: позитивный и негативный, созидательный и разрушительный, печальный и трагический, ультранационалистический и интернационалистический, европейско-социалистический, американо-либеральный и российско-коммунистический, многообразие демократий и универсализм тоталитаризма.

Складывающемуся общему порядку необходимо осмыслить этот опыт не по частям и не по линиям конфликтов только, но именно как единое историческое целое.

Не будем предвосхищать итоги такого осмысления — это все равно невозможно сделать. Но сохранить и укрепить условия, в которых тенденции к распаду, самоуничтожению цивилизации сменяются тенденциями ее сохранения и развития — это вопрос выживания. Европейско-христианская цивилизация заслуживает такой судьбы. А главное, она очень нужна нам самим и способна служить всему человечеству.

Уникальность XX века не только в том, насколько сильно сконцентрированы в нем гениальность и материальный прогресс человечества — от пара до космоса, от электричества до информационных систем, от сохи до генной инженерии.

Но все это, на мой взгляд, не может претендовать на роль определяющего символа уходящего столетия. Не знаю, какое прилагательное здесь уместнее употребить, но суть века в том, что он обрушил на человека такую массу социальной информации, с которой тот пока не справляется или справляется частично.

И с текущей, когда новость летит по планете.

И с той, которая накоплена годами, десятилетиями по всем отраслям жизнеобеспечения.

И с той, что пришла из глубины веков, из открытий и новых осмыслений истории, антропологии, многих других наук.

И с той, что черпается из попыток прогнозировать, из усилий связать земную историю с космическими событиями и процессами.

Никогда раньше человечество в целом не обладало способностью увидеть само себя столь полно, объемно, во всем противоречии своего существования, проследить свой путь в прошлом и, насколько возможно, осмыслить дорогу в грядущее. И пожалуй, только в конце XX века вопрос о социальной вариативности становится перед нами во всей глубине и сложности его.

Сказать «альтернатива» — не более чем признать, что развитие в принципе может пойти разными путями. Важен выбор как осознанный акт человека, народа, страны.

Но вряд ли можно с достаточным основанием называть выбором то, что идет от насилия, предпринимается

от жестокости бытия, от скудности знаний, от ограниченности исторического и социального кругозора.

II.

В каких же категориях можно рассматривать этот выбор?

Привычные идеологические категории с готовностью возвращают нас к началу XX века. Спор «социализм — капитализм» неминуемо сворачивает туда.

Если, скажем, социалистическая ветвь развития оказалась тупиком, то из тупика есть только один путь — назад, на ту магистраль, с которой когда-то сошли через революционное насилие.

Не будем говорить о том, какие эмоции самого иррационального плана пробуждает подобное предположение. Перед глазами опыт народов, вражда и войны между которыми продолжались десятилетиями и даже столетиями.

Но в таком механическом распоряжении привычными категориями скрыт порок более серьезный: явно или неявно, сознавая это или нет, оно исходит из предположения, что историческое развитие дискретно, что в любой момент его можно прервать и направить по собственному выбору в иное русло. Но весь опыт таких попыток свидетельствует как раз об обратном, поэтому картина прямолинейного и автоматического возврата из тупика неверна в корне, в принципе.

Приводят нас в мир банальностей и привычные категории политики.

Верно, что победу сейчас чаще одерживает демократия — против тоталитаризма, приоритет прав человека — против приоритета интересов государства, здравый смысл — против идеологического догматизма и так далее. Хорошо, что так происходит, и будем надеяться, что перемены оздоровительного характера станут господствующими.

Но в наше время перечисленное — вряд ли показатель выбора. В современном политическом мышлении демократия, ненасилие, права человека, свобода, инициатива, предприимчивость, социальная защищенность слабых, справедливость — суть аксиомы, по крайней мере в теории. С этим мало кто спорит.

Но даже в оптимальном варианте все это не образует социального выбора. Социальная альтернатива — вопрос

не политического маятника: пойдет ли общество вправо или влево, к демократии или от нее, к экстравертности или интравертности. Право же, это не более, чем внешняя сторона явлений.

Социальная альтернатива предполагает выбор качества общественного развития. А тем самым и качества того человеческого потенциала, который образуется естественным ходом новой социальности.

Но что значит говорить о новом качестве общества? О политическом устройстве? Экономической эффективности? Научных достижениях? О богатстве?

Нет. Новое качество общества — возвышение человека через его нравственность, его суверенность.

Но и тут есть своя объективная «ловушка». Одна сторона нравственности производна от категорий Добра и Зла. Но только этой меркой судить XX век невозможно. Сколько сотворено в нем не просто Зла, но тяжелейших и намеренных преступлений!

Но можно ли сказать, если судить только этой меркой, что предыдущий век был нравственнее, чище? Я бы не рискнул. Наивнее — да, безусловно. Во многом более нормативным, более пуританским.

Вопрос, как мне представляется, гораздо глубже. В историческом масштабе времени человек все же идет от дикости к цивилизованности, от инстинктов — к разуму, от иррациональности — к ответственности. Этим определяется качество развития, нравственная оценка социального выбора.

По этим критериям, думаю, XX век в целом продвинул нас вперед. Более того, именно сейчас, в конце века, совершается важнейший прорыв, общими усилиями меняется парадигма мировой политики. По-разному и с разными результатами, но европейская цивилизация делает заметный шаг к тому, чтобы в своем самодвижении избавиться от опаснейших источников иррационализма, его движителей.

Я имею в виду безусловное преодоление конфликта между Востоком и Западом. Притом преодоление его не в форме «победы» одной из сторон, но через совместное осмысление итогов обретенного опыта.

Я имею в виду и преодоление региональных конфликтов на национальной почве, которые служат прошлому. Но не будущему.

Я имею в виду и преодоление предрассудков, взаим-

ных подозрений, избавление от хлама в психологии, накопленного за годы и столетия вражды.

Один из ключевых для европейской цивилизации вопросов, притом прежде всего нравственный, — о соотношении эволюции и революции в выборе путей развития.

Сторонники революции везде и всегда оправдывали свой выбор в пользу насилия тем, что не было иных средств вырваться из пут угнетения, несправедливости, бесчеловечности старых порядков, сломать окаменевшую и тем сильную крепость реакции.

Сторонников эволюции, напротив, отвращало именно насилие. Не отрицая необходимости прогресса, отвергая несправедливость, они тем не менее обоснованно указывали на то, что революции, деформированные логикой насилия, часто пожирают собственных детей.

Может, и верно, что революции готовят романтики, делают их фанатики, а плодами пользуются негодяи.

В этом споре, однако, есть одна изначальная неточность. Что такое революция? Только лишь заговор ограниченной группы людей — неважно, действуют они при этом из самых благородных или, напротив, самых низменных побуждений, или же ими руководят добросовестные заблуждения? Или революция все же нечто большее, чем заговор — и тогда где граница, разделяющая эти явления? Человек совестливый никогда не мог отбросить подобные аргументы, пройти мимо них.

У истории судей нет. У всех революций были свои грешники, свои герои и пророки. Да и революции были разные — кровавые, бескровные, «бархатные». Последствия тоже неоднозначны и часто противоречивы. Одни революции обозначали прорыв вперед, другие перерождались в контрреволюции.

Насильственные кровавые перевороты отвратны.

Но и выбор в пользу эволюции, как говорит опыт, не всегда оказывается гуманным и легким. Эволюция по природе своей предполагает постоянные перемены, естественный отбор, борьбу за существование.

Все это может предъявить и человеку, и обществу в целом непереносимо высокие и жесткие требования. Настолько высокие и жесткие, что места для нравственности не остается. И тот, кто избирает эволюцию, обязан видеть отсроченные опасности, сознавать их взрывчатость, понимать, что жизнь в кредит все равно предполагает расплату, только с процентами.

По-видимому, опыт европейской цивилизации, ее материальное и духовное развитие подвели нас к тому рубежу, когда необходим новый синтез и в понятиях, и системе поведения. Цивилизованность требует накопления материальных и духовных богатств.

Но это затрудняется в условиях прерывности развития, вызывается ли она внешними обстоятельствами или революционными взрывами, иными потрясениями. Чтобы избежать этого, надо коллективно уходить от экстремальных внешних условий, даже их вероятности, пресекая любую такую опасность в зародыше.

Одна из причин, почему Реформация идет так трудно, сопровождается нестабильностью экономической и общественной жизни, заключена в том, что отмирающая система возвела невероятно прочную стену против любых и всяческих перемен. Сломать ее не просто.

Пока в ней проделаны лишь отдельные бреши, не более того.

Тем не менее вывод очевиден: эволюционные перемены должны стать образом жизни, а способность к ним — основополагающим критерием нравственности любой системы, ее жизнеспособности с точки зрения экономики, права, политического устройства.

Если переменам и дальше предстоит пробиваться через базальтовые наросты консервативных интересов, идеологического фундаментализма, бюрократической инертности, общественного равнодушия — нас ждут опасные времена и тяжелые испытания.

Реформация победит не свободными выборами, не переходом к конкурентной экономике и не политическим плюрализмом. Все это не более чем кирпичи, которые окажутся беспорядочной свалкой, если из них не построить прочное здание. Имя ему общество, стимулирующее перемены и готовое их принять.

Борьба за существование — следующий барьер, который предстоит взять. Нередко слова эти отождествляются с чем-то вроде «закона джунглей» и вызывают настороженное к себе отношение. Как если бы бесконечные дефициты, очереди, бюрократизм — не та же борьба за существование, только вывернутая наизнанку, опустошающая человека нравственно.

Цивилизованная борьба за существование в цивилизованном обществе может означать только одно: возможность самореализации и необходимость для каждого пол-

ноценного человека самому обеспечивать себя и свою семью, вносить свою честную долю в копилку общества в целом.

Отказ человека от борьбы за существование, стремление к тому, чтобы государство оставалось филантропическим учреждением, распределительной конторой, ведет к массовой люмпенизации во всех социальных слоях и группах.

Кризис в обществе, в промышленности и сельском хозяйстве рожден люмпенизированной идеологией; бессмысленные конфликты в среде интеллигенции — чванством руководящих бездарностей; экологические преступления — разрушительной сущностью системы; Чернобыль — люмпенизированными инженерами и люмпенизированным руководством, отученным от самостоятельности. Сталинистская модель социализма тоже порождена люмпенским миропониманием.

Люмпенизация общества породила некомпетентность и безответственность. Именно здесь, как мне представляется, нашей демократии придется столкнуться с самым трудным для нее испытанием. Ибо демократия, которая формируется, — при всех поправках на ее молодость, неопытность и прочие извинительные слабости, — все же обнаруживает опаснейший дефицит именно компетентности и ответственности. Она слишком легко уязвима перед давлением разных групп и примитивного популизма. С готовностью принимает решения, не подкрепленные материально.

Но есть и другая острейшая проблема переходного периода. Она связана с неизбежностью принимать непопулярные решения в период создания новой общественной системы.

Научимся ли принимать горькое лекарство сами и, как взрослые люди, переносить неизбежную боль? Или же, как дети, будем капризничать до тех пор, пока кто-то или что-то не заставит нас глотать пилюли? Говоря «научимся ли», я имею в виду не только людей, но в еще большей степени систему политических институтов, механизмы и процедуры их функционирования, воздействующие на них стимулы.

В российской и европейской цивилизации в целом за последние 200—300 лет, по крайней мере, не было событий крупномасштабного плана, о которых не предупреждалось бы заблаговременно. В частности, все, чем стал сталинизм и к чему он привел, предсказывалось еще до ок-

тября 1917 года, когда и имя-то Сталина было известно лишь десятку-другому людей. Неверно, что эти предупреждения остались неуслышанными — не остались. Но не было способности и стремления действовать на опережение кризисного и катастрофического развития событий. Как нет его и сегодня, когда речь идет об опасности российского неофашизма.

III.

Суммируя изложенное, я бы сказал так: выйдя изначально из одного общего дома европейско-христианской цивилизации, мы волей обстоятельств и собственных действий оказались разбросанными по разным, подчас остро враждовавшим между собой деревням. Но время снова стягивает всех вместе.

Однако впереди ждут нас два взаимосвязанных и трудных вопроса.

Первый — это новые начала для современной самоидентификации европейско-христианской цивилизации, поиск смысла ее жизни на будущее. Корни ясны и известны, их значимость и ценность по-особому понятны именно там, где эти корни пытались подрубить, отрезать навсегда, выбить саму память о них.

Но будущее?

Очевидно, такие начала не могут лежать в сфере «общества потребления» и не только из-за очевидных духовных издержек такой модели, но и потому, что уже видны ресурсные и экологические ее пределы.

Это особая тема, но ясно, что миссия новой цивилизации неотрывна от того вклада, который она может внести в разумное устроение жизни на планете. Без такого вклада в наше переустройство она вряд ли подтвердит свою состоятельность.

Есть и второй вопрос. Он связан с тем миром, который не входит непосредственно в европейско-христианскую цивилизацию.

Разумеется, в наше время никто не может оспорить значения самобытности каждого народа и культуры, права на такую самобытность. Но и речь не об этом. Десятилетия обостренного идеологического конфликта между Востоком и Западом выработали специфическую психологию, которая исчезнет еще не завтра. Психологию, которая опирается не только на себя самое, но и на

долговременные направления и тенденции европейской мысли.

В упрощенном и самом общем виде проблему можно выразить так: строится ли социально-историческое развитие подобно вектору — пусть со взлетами и падениями, колебаниями и отступлениями, прорывами и откатами, но все же «из точки А в пукт Б»?

Или же мы имеем дело с параллельным развитием разных культур и цивилизаций, моделей общественного устройства — взаимодействующих, в чем-то схожих, заимствующих друг у друга, но в первооснове своей разных?

Если первое, то весь мир рано или поздно должен будет повторить путь передовых стран, и примерно в тех же формах, с теми же результатами. Так мыслил марксизм-ленинизм, так мыслят и многие сторонники западной демократии. В целом это продолжение былого «евроцентризма» в современной психологии и мышлении.

Если же второе, то картина мирового развития обретает куда более сложный вид. В частности, придется во многом переосмыслить и саму категорию «развития».

Представление об истории как несгибаемом векторе заставляет переносить на мировое развитие все то, что было сказано применительно к эволюции, но с гораздо более широким шлейфом сопутствующих вопросов.

В частности, следует ли ждать естественного пробуждения данного народа или нравственно допустимо искусственное его пробуждение? Как гарантировать мирный ход модернизации, особенно в обществах, пронизанных насквозь традиционализмом? Какими средствами контролировать ход, темпы, издержки развития?

Взгляд на историю, как на всепоглощающий вектор, настораживает. В наиболее четкой форме он воплощен в марксизме, и сегодня уже ясно, что жизнь никак не укладывается в линейную схему «рабовладение — феодализм — капитализм — коммунизм».

Не укладывается, если даже взять только три первых, уже состоявшихся звена этой схемы. Настораживает он и неизбежным для векторного взгляда миссионерством, ибо идущий впереди должен испытывать естественное стремление вести за собой остальных. Иначе могут возникнуть серьезные сомнения в собственной правоте, в верности избранного направления.

Но основное, чем настораживает векторный подход к развитию — это то, что он с высокой долей вероятности

выводит нас на авторитарные формы общественной жизни. Поскольку есть заданное движение от «А» до «Б», то неизбежно будут идущие позади. Лидеры и ведомые. Чемпионы и неудачники. И конечно, всевозможные претенденты на роли первопроходцев, пророков и вождей.

Проблема ведущих и ведомых есть и при взгляде на развитие как на историческое сообщество разных культур. Но в этом случае она оказывается в контексте демократического общения и взаимодействия. Или, точнее, коммуникации и сотрудничества между культурами. Здесь каждый проявляет лучшие свои качества и способности. Каждый имеет равные стартовые возможности. Каждый, не теряя достоинства и самоуважения, может стать лидером в одном и ведомым или равноправным участником в чем-то другом.

Во многом от нас самих зависит, как организуем новый мировой порядок, который уже начал складываться.

Направим ли этот порядок вольно или невольно в сторону авторитарности, в которой на первых порах сохранится объективно еврокультурная доминанта, но с неизбежностью ее последующего отрицания и свержения, что может надолго и негативно сказаться на правах и свободах человека, обществ и народов.

Или же сумеем повернуть его в сторону непоказной демократичности, что предполагает и потребует психологической открытости по отношению ко всем социальным моделям, объективной, а не культурно-предопределенной оценки качеств и достоинств каждой из них.

Убежден, что при всем огромном, неоспоримом и бесценном вкладе европейской культуры в мировую цивилизацию, при всех ее духовных и материальных достижениях, при всем ее значении для будущего богатство мира будет прирастать усилиями всех.

В единой и целостной глобальной системе, где человека ждет обострение проблем экологии, дефицита основных жизнеобеспечивающих ресурсов, придется по-новому формировать способность социальных систем к устойчивости, стабильности, к существованию в условиях минимального или нулевого роста в расчете на человека и многое иное.

Итак, векторная, авторитарная схема выводит только на две возможности. Ты выиграл — одно самосознание и одна самооценка. Проиграл — совсем другое дело.

Демократия неизмеримо расширяет этот диапазон, уводя его от игры с нулевой суммой. Появляется возможность

по достоинству оценить уникальность и самоценность каждого человека, каждого народа, каждой страны.

Привычно усматривать истоки безальтернативности в жестких условиях бытия. Нищета, отсталость, болезни, голод. Экономические кризисы, социальные потрясения, природные и рукотворные катастрофы, урбанизация. Войны, гражданские конфликты. Дефицит ресурсов, средств, технологическая отсталость.

Все это так.

Но специфика XX века, особенно второй его половины, еще и в понимании, что безальтернативность может идти от внутреннего мира человека. Притом она-то и оказывается способной перечеркнуть любые возможности выхода из кризиса, если человек не видит или не приемлет эти возможности.

Сама жизнь ставит нас перед проблемой, поистине ключевой в этой завершающей части столетия. Вопрос стоит очень жестко: сумеет ли общество проснуться раньше, чем концентрация взрывоопасных проблем достигнет критической массы? Думаю, даже уверен: это задача не одной только Перестройки и Реформации. Это проблема глобальная.

Как уже подчеркивалось, США начинали этот процесс в благоприятных условиях. Европа имела возможность растянуть его во времени, но прошла при этом через сильнейшие потрясения. Мы только начинаем фазу Реформации, исторического перехода от авторитарного к демократическому образу жизни. Но вряд ли у нас есть в запасе столетия и даже десятилетия.

И опять возникает вопрос о возможности эволюционного ускорения этого процесса на основе кардинальных реформ.

IV.

Великие исторические споры, крупнейшие противоречия духа разрешались в конечном счете не силой оружия (или чего-либо иного), не изничтожением оппонента и его идей, но исключительно способностью человека подняться на ступеньку выше, увидеть и понять вчерашнюю парадигму не как абсолют, но в более широком ее контексте. Взойти к высшей, более сложной истине.

Процесс этот труден, часто мучителен духовно и нравственно. Он требует колоссальных затрат времени на вы-

зревание и объективных условий, и человеческой мысли, состояния духа, моральной и политической готовности действовать.

И тем не менее до сих пор человек побеждал в этой круговерти веков и круговерти страстей, поднимаясь через познание к тому миру, каким он является на подступах к XIX веку.

Что ждет нас?

Мирная, ненасильственная эпоха, в которой не будет места гонке вооружений, угрозе самоуничтожения, позору войн?

Хотелось бы верить.

Эпоха права и достоинства личности, ее свобод, признания человеческой жизни высшей ценностью, обеспечения облагораживающих условий бытия?

Хотелось бы надеяться.

Эпоха торжества здравого смысла, экологической и социальной ответственности вместо безудержного эгоизма?

Это уже вопрос физического выживания.

Глава вторая

ПРОШЛО ЛИ ВРЕМЯ ИДЕОЛОГИЙ?

В совокупности идеологический фанатизм — не что иное, как отрицание личности, покушение на достоинство человека, а нередко и на его жизнь, которая может быть отнята не только физическим убийством, но и растратой неповторимого, невоспроизводимого времени, отмеренного каждому, на деяния бессмысленные и унизительные.

Фанатик и дети его — экстремист и догматик — не заблуждаются. Фанатик свято верует в свою правоту, но и в то, что его правота — единственно возможная, вроде мессии.

Он постоянно ищет врагов, без них жизнь фанатика лишается смысла. Инакомыслящий — пища фанатика, он пожирает его, но без него задыхается и помирает. Он готов учинить насилие над каждым, кто с ним не согласен.

Любое разногласие доводит до конфликта, конфликт — до столкновения, а в столкновении согласен только с уничтожением оппонента.

Игнорирует любые факты, любое знание, которые не вписываются в его догмы. Будет насиловать жизнь, втискивая ее в свои представления, докуда хватит сил и возможностей.

Видит мир только в черно-белых тонах, играет в игры только с нулевой суммой. Предельно удовлетворен собой. Ему чужды мирские радости. Ему ведома только ненависть.

Фанатизм убивает мораль.

Реформация остро поставила вопрос об идеологиях, их судьбе и будущем. В первую очередь в этом сказалась реакция на слишком затянувшуюся монополию марксистской идеологии, сыгравшей разрушительную роль в истории Отечества.

Но что интересно: острое и справедливое отрицание большевизма неожиданно сменяется попыткой теперь уже с некоммунистических и даже с антикоммунистических позиций совершить новый рывок вперед — но рывок. И снова ради великой цели, пусть и проверенной опытом

человечества. Вперед, в лучшее будущее, подальше от нынешних проблем и тревог!

Иными словами, подспудные мины большевизма срабатывают и сегодня.

Похороны предшествующих идеологий — постоянное занятие элит, оказавшихся у власти. Разные интересы — разные взгляды на власть и государство, справедливость и свободу, роль личности и вождей. Но, в сущности, все говорят одно и то же, только мера цинизма разная.

Я коснусь марксистского варианта коммунизма, а точнее — его сталинско-большевистской практики.

Как уже говорилось выше, познание истоков большевизма, его несущих опор, причин влияния именно в России, ловкая эксплуатация наследственного сервилизма помогает понять многие, пока загадочные явления современной жизни.

Не загадка ли, что любая форма авторитаризма принималась большинством преимущественно безропотно, а свобода пробивается тяжко. Многие тоскуют по идеалам, имея в виду нечто неосуществимое, мифологизированное, а свобода остается вовсе необязательной. Без нее можно бы и обойтись.

Идеологию хоронят не первый раз.

Еще в 60-е годы этим занимались сторонники идей индустриального и постиндустриального общества, конвергенции, технотронного общества. По их мнению, современные технологии, охватив весь земной шар и все сферы жизни, настолько сближают между собой разные уклады и политические системы, что социально историческим результатом этого станет образование достаточно однородного по образу жизни и мышления всемирного общества, построенного на началах научного и технического рационализма.

Для идеологий просто не останется места, они окажутся вначале оттесненными куда-то на обочину, потом забудутся.

Наука и технология действительно шагнули далеко вперед — и с точки зрения практических возможностей, и в фактическом освоении современными производствами значительной части земного шара. Но ни конвергенции в том виде, в каком мыслилась она в 60-е годы, ни вытеснения идеологии не случилось.

Вторые похороны происходят сейчас. С падением ком-

мунистических режимов в ряде стран, распадом СССР многие — как в России, так и за ее пределами — провозгласили историческое поражение идеологии коммунизма.

Суть таких взглядов порождена тем, что мир, как кажется, стряхивает с себя шоры и путы идеологии нетерпимости и насилия, избавляется от присущих ей схоластики и иррационализма.

Боюсь, что оптимизм в более широком историческом контексте не оправдан. Ибо зиждется он на эмоциях в большей мере, чем на объективном анализе; питается, на мой взгляд, все еще недостаточно ясным пониманием сути идеологии как явления, того, какое место занимает она в общественной жизни, в исторической эволюции не только цивилизации, но и мышления, сознания, а потому и в политике.

1. Идеология: что это?

Как я понимаю, западная общественно-политическая мысль на протяжении вот уже более полутора веков трактует «идеологию» прежде всего как иллюзорное, в основе своей ложное учение, следование которому способно увести человека еще дальше от истины, заставить его совершить тяжелые практические просчеты.

Как ни парадоксально, но именно в таком смысле употреблял понятие «идеологии» и Маркс, однако придавший затем своему учению об общественном развитии сугубо идеологический характер.

Вероятно, поэтому во многих трудах западных теоретиков слова «коммунизм» и «идеология» употребляются фактически как синонимы. А в тех работах, где речь ведется о «конце идеологии», без колебаний подразумевается прежде всего конец идеологии коммунизма.

В этом случае, может быть, не мудрствовать лукаво и поставить вопрос прямо: прошло ли время коммунизма?

Но это во многом другой вопрос, подробное рассмотрение которого уведет не столько в мир идей и законов сознания, сколько в сферу социальной практики, соотнесения доктрины с ее реальными делами, декларированных целей и идеалов с фактическими итогами, а особенно с ценой, заплаченной за насильственное внедрение утопических идеалов в жизнь.

Да, коммунизм как мировоззрение, социализм как практика переживают тяжелейший кризис. Но делать из этого выводы исторического масштаба пока рано.

Тут все время происходит смешение идей с практикой, злонамеренно объединенных большевизмом воедино.

Идеи коммунизма никуда не исчезли. Их не Маркс придумал. Во многом на тех же или родственных представлениях было основано еще первохристианство. Да и в природе человека живет постоянное стремление к социальной справедливости, альтруизму, гуманизму. Как бы ни относиться к этим идеям и их носителям, нельзя отрицать сам факт их воздействия на мышление и политику.

По этим идеям продолжает жить самая крупнонаселенная страна мира, то есть примерно пятая часть человечества. Верно, что в китайском коммунизме много специфики, если сравнивать его с теоретическими постулатами европейского коммунизма XIX века, или нашего времени, или же с практикой СССР. Верно и то, что Китай уже десятки лет проходит через модернизацию, которая строится иначе, нежели в Советском Союзе. Но отказа Китая от коммунистических идей не произошло.

Для полноты картины надо, наверное, признать, что некоторые идеи и подходы, которым придавалось большое значение в марксистской идеологии, де-факто осуществлены на Западе.

Идея социальной защиты, элементы планового ведения хозяйства, коллективных форм собственности, государственного регулирования экономики и некоторых сфер общественной жизни — далеко не полный перечень возможных примеров. Родство не признается, чаще отрицается. Причины этого понятны, но объективно оно существует, что не позволяет охарактеризовать коммунизм в целом исключительно как совокупность заблуждений.

Но это одна часть идей. Другая, на которую как раз и ориентировался большевизм, деформировала первую, больше того, паразитировала на них. На передовые рубежи борьбы вышли революции, насилие. Цель стала оправдывать любые средства ее достижения. Крестьянство подлежало уничтожению как источник обуржуазивания. Интеллигенция превращена в некую ущербную «прослойку». Гражданское общество отрицалось. Диктатура одного класса, осуществляемая номенклатурой, стала официальной доктриной власти.

В конечном счете, практика социализма в Советском Союзе обернулась ниществом, подавлением личности, инквизицией, геноцидом.

Ничем хорошим не могут похвастаться и политики XX века в целом. Их деятельность была насквозь пронизана идеологическими мотивами.

Две мировые войны, сотни локальных, десятки социальных взрывов, революции. Не было года, чтобы не лилась кровь. Сталинизм органично вписывался в реакционную волну XX столетия, укрепив в стране феодально-крепостнический строй, если говорить о человеческой стороне дела.

Но еще долго будет сохраняться возможность говорить, что виноваты не сами идеалы, а то, как их пытались достичь. И чем дальше будет удаляться в историю Советский Союз, тем более «розовыми» будут казаться отдельные стороны его жизни. И, наверное, нет смысла отрицать это. Справедливый суд истории еще не наступил, он наверняка отвергнет крайние оценки.

Отвергнет оценки, которые диктуются сегодня политикой и политиканством, обидами и демагогией, личной судьбой и большевистским мышлением. Некоторые демократы, особенно назначенные быть таковыми, столь же неистовы в жажде власти, что и большевики. Разного рода «программы возрождения» столь же категорично претендуют на истину, что и марксизм. Дьяволизация сознания и поведения, которая может погубить демократию, — это чисто большевистская идеология и практика.

Ну, а если политический и социальный маятник на Западе качнется заметно вправо, попытается взять социально-экономический реванш по отношению к реформистской практике социал-демократии последних десятилетий? Тогда как?

Дело, однако, еще и в том, что усложняющаяся жизнь упорно требует от людей умения и способности идти одновременно и к большей свободе индивида, и к более эффективному управлению — самоуправлению жизнью общества в целом. Поощрять предприимчивость личности и защищать слабых, обездоленных. Укреплять частную инициативу и развивать коллективные формы труда, собственности, деятельности. Отдавать свободному саморегулированию все большее число сфер, но при этом помнить о стратегии развития района, страны, мира.

Не будет лишним напомнить и о том, что человечество вступает, если уже не вступило, в **кризис самого развития.** Человек до предела обострил свои отношения с природой. Экологическая катастрофа неминуема, если мировое сооб-

щество не встанет на путь материального самоограничения.

Живучесть разрушительных идеологий поразительна. После 75 лет большевистского правления в стране; после всех чисток, репрессий и ГУЛАГов; после того, как несколько поколений выросли в инкубаторе марксистско-ленинского воспитания и обучения; после того, наконец, как страна десятилетиями была изолирована от внешнего мира и собственного прошлого, — после всего этого при первом дыхании свободы оживились идейные, духовные, политические, социальные течения, которые давным-давно казались достоянием истории и которые ныне подхватили большевистскую идеологию антисвободы.

Возродился весь политический спектр идей, от монархизма до анархизма. Зазвучала «русская идея» в редакции 1910-х годов (и контраргументация ей), как бы воскресшая из тех же времен. Заговорили о сообществе цивилизованных государств и народов в противовес «нецивилизованным» — точь в точь, как писалось в учебниках международного права, переведенных в России в начале 1900-х годов. Ожили «оккультные науки», обскурантизм на все вкусы, религиозные секты и ереси, равно как и острейшие споры и столкновения между ними, которые звучат подчас как давно забытые страсти средневековья.

Конечно, много во всем этом курьезного, иногда патологического. Кроме того, ожившие течения даже частично не исчерпывают ни политического спектра России, ни тем более ее духовной жизни, общественных исканий. Но ведь ожили, и не скажу, что малочисленны, сторонники многих из подобного рода течений.

Откуда же тогда уверенность, будто коммунизм испытал такой удар, пережил такой кризис, после которого никогда уже не встанет на ноги и не оправится, не вернется в политику и общественную жизнь?!

Нет достаточных оснований для такой уверенности. А разве любая религия, в том числе и христианство, не переживало за свою историю тяжелейших кризисов, ударов и поражений? Да сколько угодно: и идейно-теоретических, и политических, и социальных, и связанных со скандалами и злоупотреблениями церковных иерархов.

Можно привести примеры другого рода. Разгромлена в военном отношении гитлеровская Германия, фашизм осужден мировым сообществом, состоялся международный суд над главарями нацистского рейха, преступников каз-

нили. Неузнаваемо изменились с тех пор Европа, мир, сама Германия, но нацистское движение существует и сегодня, как известно, во многих странах, в том числе и в России, пользуется вниманием не столь уж малой части общественности.

Почему же так живуче нравственное и физическое людодерство?

Лично я не верю в «животворящую силу» марксистско-большевистской доктрины. Тем более отвергаю как античеловеческую сталинскую модель социализма, основанную на многих марксистских постулатах. Но считаю, что отношение к коммунистическим идеям — дело личных взглядов и убеждений каждого. И в этом смысле я не выступаю ни адвокатом, ни проповедником, ни прокурором.

Убежден, что идея, полтора века мощно влиявшая на жизнь всего мира, не может быстро угаснуть и сгинуть. Так не бывает даже с идеями куда более узкого характера. Нельзя предаваться новым иллюзиям, они, как и старые, полны коварства. Одновременно считаю, что концепция насилия должна жестко преследоваться по закону.

Но вернусь к расширительному толкованию идеологии, к пониманию ее не как синонима коммунизма, но как ложного сознания.

Можно ли сказать, что прошло то время, когда человечество или часть его с легкостью и готовностью становились пленниками сознания, пронизанного идеологией?

Право, не знаю, нужно ли доказывать, сколь податлив современный человек на идеологические иллюзии. И не только в странах, пораженных бациллой коммунистического мессианства, мистического осчастливливания сверху.

Подчеркиваю: именно современный, казалось бы, уже предельно информированный, рациональный, недоверчивый.

Но разве нет такого явления, как интеллектуальная мода? Разве не попадаем мы в зависимость экспертного мнения, разве этим последним не свойственно ошибаться вместе с заблуждениями своей науки? И разве мы не поняли, причем давным-давно, что чем больше узнаем, тем шире становятся и границы нашего незнания?

Я не беру те далеко не редкие случаи, когда сознательно и цинично обманывают людей, побуждая их поверить в миф, химеру, вымысел. Говорю только о добросовестных заблуждениях, которым несть числа. Говорю о той отно-

сительности знания, в том числе и знания социального, что обусловлена логикой процессов его приобретения, когда на вопрос, поставленный в форме общественной гипотезы, ответа приходится ждать десятилетиями и дольше.

Но есть еще и психология человека, народа, с ее собственными таинствами и труднообъяснимыми поворотами. Она диктует иногда потребность в чуде. Торопит человека, превращая его в авантюриста или экстремиста. Подталкивает насиловать природу, деформировать события, пресекать или форсировать тенденции, когда разум ясно говорит «нельзя», но условия кажутся нетерпимыми, а эмоции не могут мириться с бездействием или медлительностью естественных перемен.

Она, психология, делает возможным положение, когда «соловьи», сулящие рай земной, способны увлечь за собой немало подражателей.

Иными словами, время идеологий вовсе не прошло, хотя меняются и сами идеологии, и механизмы, и способы их влияния, и масштабы, и сила такого влияния.

Но коли так, надо отвлечься от конкретных идеологий, абстрагироваться от своего отношения к той или другой из них, и задаться выяснением того, что же такое идеология как явление.

Начнем с констатации явного: идеологии сопровождают человека на протяжении всей известной нам истории. При этом есть интуитивно улавливаемая разница между идеологией и заблуждением. То есть история идеологий, их содержание, эволюция и понимание как явления не могут быть описаны и объяснены только как история движения человечества от прежних заблуждений к новым. Даже в тех случаях, когда та или иная идеология оказывалась ложной, она была гораздо сложнее, чем сумма составлявших ее заблуждений.

Идеология — не просто некий набор идей, представлений, гипотез, принципов, постулатов и так далее. Она непременно организует этот набор в систему, в которой всегда можно выделить несколько постоянно присутствующих компонентов.

Прежде всего, совокупность представлений о том, как устроен мир и каким законам он подчиняется.

Затем, взгляды на место человека в таком мире.

И, наконец, указания на то, как должен вести себя человек, выстраивая отношения и с миром в целом, и с другими людьми.

Естественно, эти непременные части любой идеологии могут сильно разниться.

Под миром может пониматься вся Вселенная или узкий искусственно конструируемый мирок. Под законами движения этого мира — Божья воля, трактуемая как фатум, либо, на ином полюсе — законы науки, предлагающие столь же жесткие схемы, диктат которых фактически и тут не оставляет места выбору, творчеству человека. Правила поведения могут ограничиваться комплексом моральных принципов, а могут быть расписаны до мелочей.

Такая система, особенно в двух первых ее частях — описании мира и места человека в нем, — опирается на доступные людям и достаточно освоенные ими знания, которые в чистом виде ими не являются. Скорее, система использует доступное знание, чтобы создать целостную картину мира, компенсируя в необходимых случаях дефицит знания гипотезами, догадками, утверждениями, мифами. Собственно, и термин «знание» здесь условен.

Однако на каком-то этапе — с практической точки зрения — определенного знания было достаточно, чтобы человек мог справляться с повседневностью, не наталкиваясь слишком часто на собственное незнание и сомнения, парализующие волю и действия.

При этом неизменными остаются основные функции идеологии.

Первая. У человека, обретшего разум, она организует сознание в нечто целостное, что открывает возможность осознанного поведения, а не психологических метаний; позволяет использовать любой запас жизненного опыта и знаний — как скудный и неточный, так и обширный, в значительной мере испытанный, закрывая прорехи и «белые пятна» в том и другом собственными домыслами и такой ценой как бы оправдывая и благословляя целенаправленность усилий человека и общества.

Формирование представления о целях жизни и деятельности общества и человека — **другая функция.** Не тех целей, которые могут быть сформулированы прагматически, такие намечает себе сам человек. Но тех, что относятся к категории смысла жизни: для чего живет человек во Вселенной, что должен он подтвердить или доказать своей жизнью, в чем видеть высший смысл своей деятельности.

Естественно, что разные идеологии формулируют такие цели по-разному. Одни делают это прямо и ясно, апелли-

руя к рационализму человека. Другие — иносказательно, через моральные принципы и общие пожелания, обращаясь ради этого не столько к доказательствам, сколько к внушению, воздействию на чувства.

Вариантов множество, но любая идеология предполагает целеуказание, целеполагание. Во многом ради этого она и создается, ибо идеология сама по себе не наделяет людей знаниями. Она берет имеющиеся знания и представления и в этих рамках формулирует указание: «что надо» и «как надо», чтобы жизнь человека и общества можно было признать осмысленной, праведной, не растраченной попусту.

Но указать цель и пути движения к ней, убедить в полезности и необходимости ее достижения все же недостаточно. Нужна еще организация общественной жизни и деятельности таким образом, чтобы декларированные цели были признаны и приняты обществом, получили соответствующую основу. Организация нужна и для того, чтобы обеспечивать сохранение, преемственность, развитие самой идеологии. Это **третья функция** идеологии.

Если идеология не способна организовать достойную социальную практику, она перестает существовать как идеология. Такая судьба постигла идеологию марксизма в СССР.

Теория идеологии как явления — большой самостоятельный вопрос. Подчеркну только, что, на мой взгляд, каждая религия — это тоже идеология, выполняющая все названные функции в своей духовно-этической и практической сферах, на своем уровне исторического, социального опыта, научных и практических знаний человека.

Коммунизм же — своего рода неорелигия, то есть один из конкретных вариантов такой идеологии, в основных компонентах которой ведущие роли играют гипотезы и вера. Гипотетическое истолкование прошлого, гипотетическая картина будущего, вера в истинность этих представлений и всего, что из этого вытекает.

Можно ли критиковать идеологии за такую веру?

В рамках процесса познания, приращения новых знаний через критическое восприятие опыта — можно и нужно. Но необходимо понимать, что никогда, ни при каких обстоятельствах человеку не избавиться от необходимости что-то принимать на веру. Не только в социальной практике, но и в любой точной науке основные исходные ее аксиомы суть не что иное, как гипотезы, принятые в

известной мере на веру. И как бы ни раздвигались горизонты опыта и знаний, в принципиальном плане так будет всегда.

Но отсюда с неизбежностью вытекает, что без идеологии человеку в принципе не обойтись. Идеология обречена быть его вечным инструментом, при помощи которого человек выстраивает свою деятельность. Поскольку, однако, различные виды и сферы его деятельности становятся все более специализированными, то надо быть готовым к тому, что придется столкнуться с идеологиями не только общественно-политическими, но и более узкими, частными, профессиональными.

И это закономерно. По масштабам вовлекаемых ресурсов, человеческих усилий, знаний и информации, по результатам и последствиям прошлая активность целых стран и народов в целом «меньше» того, что происходит сегодня в таких специализированных сферах, как информатика, энергетика, освоение космоса и других. Сотни тысяч и миллионы профессионалов, работающих в подобных сферах, не могут ни управлять, ни координировать между собой свою деятельность, опираясь только на административные и экономические средства управления.

При таком масштабе деятельности и объеме информации возникает объективная потребность в управлении, опирающемся также на определенное единство во взглядах, на общее понимание целей и направленности такой деятельности. Все это и обеспечивает идеология уже просто тем, что включает большие массы людей в одно общее для них интеллектуальное, информационное, мотивационное поле.

А это означает, что время идеологий по-настоящему только наступает. И надо успеть извлечь максимум полезных уроков из накопленного опыта.

2. Догматизм и фанатизм

Что раздражает нас в идеологиях и идеологизированной политике? Что вызывает неприятие, независимо от того даже, о какой именно идеологии идет речь? Что оскорбляет нашу мораль и разум?

Нет, не заблуждения сами по себе. Как бы ни было неприятно признаваться себе и другим в собственных иллюзиях и заблуждениях, все же понятно, что в той или иной степени заблуждается каждый, любой может оказаться жертвой собственных иллюзий, утопических пред-

ставлений, нереальных целей, неверно выбранных ориентиров или ложно оцененных возможностей.

К различным взглядам в современном мире терпимость достаточно высокая. И пусть они не разделяются — это еще не повод для негативного отношения к ним, как таковым. Тем более, что вербальная сторона идеологии нередко выглядит вполне приемлемо, даже привлекательно, да и рассчитана на такое восприятие. Что можно возразить, например, против таких постулатов коммунизма, как требования социальной справедливости, достойной жизни для всех членов общества, равноправия и других?

Если даже появляется коренное несогласие с теми идеями и принципами, что составляют суть какой-либо идеологии, то у человека, воспитанного в традициях терпимости, это не вызывает желания расправиться с такой идеологией. Интеллектуальное несогласие — да. Нежелание следовать ей, присоединяться к числу ее адептов и сторонников — да. Но не больше.

Не беру в данном случае те идеологии, которые предлагают антигуманные цели, проповедуют нравственную неразборчивость, откровенную аморальность средств их достижения. В подобных ситуациях отторгающая реакция естественна, например, идеологии расизма, нацизма, большевизма, любого насилия, представляющего угрозу безопасности человека, унижающего его достоинство.

Я имею в виду более сложные случаи, когда явных, очевидных причин и поводов для отторжения нет; когда система представлений, заложенная в идеологию, может казаться странной и чуждой, но имеет право на существование; когда намерения и цели идеологии благопристойны или хотя бы не дают оснований заподозрить данную идеологию в чем-то предосудительном.

Негативное отношение чаще всего вызывают не идеологии как таковые, а облик и поведение их носителей, средства и методы, какими идеология претворяется в жизнь. Если идеология проводится в жизнь методами насилия, унижения человека и народа, попрания их прав, то сколь бы добросовестно ни заблуждались ее пророки, такая идеология разрушительна.

Здесь есть, правда, крайне сложный в научном плане и весьма чувствительный в практическом отношении, вопрос: всегда ли мы вольны выбирать идеологию, отдавая предпочтение одной и отклоняя другие? В нашей ли власти делать такой выбор? И насколько осознан, рационален он

может быть в обстановке, когда давит непомерный груз проблем, бушует социальный кризис, а времени для выбора недостает?

Если брать крупнейшие и наиболее влиятельные в истории идеологии, в их появлении всякий раз было нечто объективное, неподвластное конъюнктуре и далеко не полностью осознаваемое современниками в периоды рождения каждой такой идеологии.

Уже потом, спустя десятилетия, а иногда и века, приходило более или менее ясное понимание того, что стоит за появлением той или иной идеологии, какие сдвиги в сознании и практике она произвела, какие желательные или отрицательные последствия принесла. В периоды же рождения и становления идеологий они — стихийная сила. И чем мощнее такая сила, чем большее число миллионов увлекает за собой, тем, следовательно, глубже и серьезнее причины, вызвавшие к жизни эту идеологию.

Я не сторонник той точки зрения, когда идеологические течения и их последствия списывают только на субъективную сторону исторического процесса. Одни что-то придумали, другие подхватили, а в итоге получилось нечто малоприятное и неприемлемое. Или наоборот, что-то весьма важное и благотворное.

Теоретик способен придумать многое. Но если за его творением пошли миллионы людей, значит, было в них нечто такое, что отвечало духовным потребностям этих миллионов, создавало у них соответствующие социальные ожидания, вдохновляло на какую-то деятельность.

Хотел бы подчеркнуть еще раз: идеи чаще всего компрометируются средствами их осуществления. Отталкивает прежде всего фанатизм их приверженцев, отрицание морали и здравого смысла, воинствующий догматизм, противопоставляемый науке, опыту, разуму.

Замечено давно и, думаю, справедливо: прежде, чем идеология начинает влиять на жизнь, она сама зарождается в этой жизни. Прежде, чем обрести внутреннюю склонность к тому или иному эмоциональному настрою, типу мышления и доказательств, способу самовыражения и поведения, идеология впитывает в себя психологические особенности той социальной среды, в которой она появляется и становится на ноги.

Самоощущение, самосознание, самооценка идеологии складываются под влиянием той же среды — не механически, конечно, но и не в отрыве от нее.

И, наконец, когда идеология начинает играть в общественной жизни и политике хоть сколь-нибудь заметную роль, то действует она через определенных людей, социальную группу, с их характерной психикой и психологией.

Психология же задается отчасти механизмами наследственности, в том числе и социальной, отчасти — непосредственными условиями жизни и опытом.

Конечно, никакие условия сами по себе, сколь бы хороши или плохи они ни были, не снимают ответственности с конкретного человека за его собственный выбор, за его личные моральные стандарты, за его поведение и итоги деятельности.

Но, во-первых, жизненные условия формируют представления человека, сообщая ему социально принятые ориентиры, критерии оценок. Иными словами, «программируют» человека на определенные стандарты мышления и поведения.

Во-первых, — и это в данном случае наиболее существенно, — социально значимые результаты жизни общества складываются не на уровне отдельно взятого человека. Механизмы формирования таких результатов сложны и в основном еще не познаны, даже не описаны достаточно полно и адекватно.

Отдельно взятого приверженца любой идеологии, доктрины можно расспросить весьма подробно, с пристрастием, добиваясь обоснования того, почему он верит, поступает и оценивает так, а не иначе. Возможно, даже в чем-то переубедить.

Но когда речь идет о массовых, статистически значимых процессах, подобный подход бессмысленен. Никакую идеологию не удастся убедить в ее ложности, неправоте, не заставить кардинально изменить ее устремления или поведение, если предварительно не обеспечить необходимые социальные условия внутри общества.

И даже, когда такие условия будут созданы, соответствующие перемены не могут быть гарантированы автоматически, в лучшем случае потребуют немалого времени.

Изложенные соображения позволяют сделать вывод: коль скоро в общественной жизни в любом случае идеологии не избежать, то реалистическая постановка задачи — постараться выяснить, что нужно сделать, чтобы избавить жизнь от идеологий, исповедующих насилие, фанатизм, экстремизм, презрение к разуму.

3. К рациональным идеологиям

К концу XX века мир вступил в такой этап развития, когда он особенно сильно нуждается в ответственной и разумной долговременной доктрине созидания свободного глобального сообщества. Подлинный вызов эпохи после холодной войны заключается, на мой взгляд, в том, сможет ли еврохристианская цивилизация предложить миру современную идеологию совместного развития в интересах всех и каждого.

Сегодня, когда противостояние Востока и Запада близится к завершению, в высшей степени важно осмыслить весь опыт этого противостояния, идейный багаж обеих его сторон, и уже на этой основе искать синтетические концепции грядущего мира.

Потребность в идеологии диктуется не только природой нашего сознания, но и тем, что имеющегося сейчас научного знания по проблемам общества, цивилизации, мирового развития явно недостаточно в сравнении с теми задачами, что объективно встают перед миром.

Предстоит научиться более уверенно и с меньшими издержками, чем ныне, управлять сложными социальными системами и процессами, в том числе процессом движения в будущее. Научиться моделировать доступные альтернативы развития, избегать социальных тупиков. Демократия и самоуправление способствуют получению таких знаний, но никоим образом не заменяют их и не гарантируют их автоматическое обретение.

Повторяю, пока таких знаний объективно не хватает, а жизнь ставит проблемы, требующие решений, реальный выбор суживается до опасного «или-или».

Либо дефицит знаний будет восполнен гипотетическим началом при ясном осознании факта, что практика потребует постоянной коррекции гипотезы. Следовательно, ничто в содержании этой гипотезы, в средствах ее проверки не может быть неприкасаемым.

Либо такой дефицит будет восполнен тем или иным вариантом социального шаманства, кликушества, демагогии, которые без «священных коров» не обходятся и станут упорствовать в их защите, вновь возвращая нас к обстановке моноидеологизированной жизни. Идеологизированной в худшем виде: то есть не на основе прагматического и рационального мировосприятия и мышления,

а на базе слепой, инстинктивной, нерассуждающей защиты чьего-то самосознания и самооценки, чьего-то «Я».

Возможно, слова о гипотетическом начале в политической стратегии и идеологии покажутся призывом к построению новых утопий и заблуждений. Но тут важно подчеркнуть следующее: утопии формируются не тогда, когда высказываются гипотезы. Но тогда, когда гипотезы принимаются за знание, притом всеобъясняющее. И бороться с этим эффективнее всего можно, на мой взгляд, противопоставляя иррациональному гипотезированию — прагматическое, осознанное.

В конце концов, любая религия — это тоже социальная гипотеза, только своеобразно выраженная. Более того, без гипотетической части не обойтись ни в сегодняшней, ни в перспективной политике: любая политическая программа неизбежно должна включать в себя и гипотетические моменты если не в явной, то уж обязательно в имплицитной форме.

Но делая это осознанно, намеренно и прагматически, мы тем самым открываем путь к рациональному отношению к идеологии, к привычке воспринимать ее критически, постоянно проверять на соответствие ее исходных положений и рекомендаций с практическими результатами. На этом пути существует возможность постепенного избавления от идеологий иррациональных в пользу прагматических.

На протяжении XX века именно коммунизм, а затем фашизм воспринимались на Западе как главные идеологические угрозы. Это не значит, что других угроз не существовало: просто они отступили в тень, испытали на себе воздействие осевых противостояний, ибо воспринимались как на Западе, так и на Востоке почти исключительно сквозь призму всемирно-исторического противоборства.

Государственный фашизм разгромлен в войне, хотя идеология его осталась. Противостояние Запад — Восток тоже позади. Но идеология большевизма жива.

В это же время мы видим, что иррационализм не только не потеснен, но мощно проявляется на многих других направлениях. Например, по линии противостояния модернизма и традиционализма.

Исторически получилось так, что современные формы политической демократии и свободного хозяйствования сложились в странах, преимущественно мононациональных и монорелигиозных — если не в принципе, то де-факто.

Но и там, как известно, процесс этот шел долго и болезненно.

В нынешнем, все более тесном мире государственные границы ревностно защищаются политически, но все больше размываются в повседневной жизни, а сам мир, да и большинство наиболее влиятельных в нем государств оказываются многонациональными и полурелигиозными. И возврат к мистическому иррационализму и обожествлению традиционализма — явление, лежащее не столько в области идей, сколько в социальной сфере: такой иррационализм объективно выступает как средство сохранения традиционализма в образе жизни, социальном и хозяйственном укладе, политических системах и структурах, националистической психологии.

Вообще здесь слово «иррационализм» — не самое точное, я пользуюсь им лишь за отсутствием лучшего. То, что в прагматической, рационалистической системе координат представляется иррациональным, на деле порой вполне рационально — но только в тех социальных и духовных координатах, в том типе и уровне мышления, к которым это «что-то» принадлежит.

По сути мы имеем дело с первым в истории крупномасштабным столкновением культур, из которого не может быть иного выхода, кроме взаимной терпимости.

Но источники иррационализма лежат не только в социальной сфере и в разностях культур. Они еще и в глубинах человеческой и общественной психики.

Вряд ли кто будет отрицать, что фанатичное крыло представлено достаточно заметно и влиятельно во многих традционных идейных направлениях. Впрочем, иррационализм не обязательно исходит от чего-то старого, изжившего себя, реакционного. Он вполне способен приживаться и на самых авангардных, современных течениях и тенденциях.

Высказываются мысли о связи между завершением эпохи экономического роста и социального оптимизма в развитой части мира и нарастанием тут иррациональных общественных реакций, идейных и политических течений в ответ на ее окончание.

Думаю, время бесспорного исторического суждения еще не пришло; но если мысли эти подтвердятся, то надо действительно быть готовыми к взрыву иррациональных настроений и ожиданий. Одно то, что сами эти мысли обсуждаются и имеют под собой определенные основания,

уже способствует усилению иррационализма на этой почве.

Всемирное соприкосновение, взаимное притирание культур обязательно потребует от каждой из них более высокого уровня самосознания, чем это имеет место ныне.

Кризис самосознания, предшествующий его подъему, по разным внутренним причинам существует сегодня, например, в России и исламском мире. Подкрепленный факторами международного и межкультурного порядка, он также способен породить и уже порождает различные проявления политического иррационализма, имеющие достаточно объективную природу.

В рамках утверждения демократии в мировом сообществе в политический диалог как внутри отдельных стран и регионов, так и в международных отношениях вступают, в числе прочих, и такие социально-политические силы, движения, которые привыкли воспринимать и оценивать течение жизни исключительно в религиозных понятиях и концепциях.

Трансцендентные объяснения, причинные связи, цели и мотивация для них — естественное и единственно известное состояние, производящее эффект иррационализма в более привычном нам мире. Их позиции, особенно в мусульманском мире и в Латинской Америке, подкрепляет сочетание нескольких кризисов: критического социально-экономического положения; кризиса модернизации и развития в их экономическом понимании, как оно было зафиксировано в соответствующих программах последних десятилетий; кризиса как коммунистической, так и антикоммунистической идеологий — первая потерпела серьезное стратегическое поражение, а вторая, со всей очевидностью, не приживется на духовной и культурной почве стран и народов с иными жизненными и идеологическими ценностями и традициями.

Можно, таким образом, сделать вывод, что те самые процессы мирового развития, которые всегда приветствовались на Западе и к которым присоединяется сейчас Россия, — то есть демократия, экономические свободы, открытость обществ и мира, политический диалог и компромисс, — в решающей степени, как это ни парадоксально, способствовали тому, что в мировую политику, в жизнь мирового сообщества усиливается приток идеологизированного и иррационального начала как фактор противоборства с доминирующей идеологией демократии.

И в этом смысле нас действительно ждут непростые времена.

Как же быть?

Военная победа над идеологией невозможна, политическая — неизменно оказывается недолговечной. Но надо ли непременно ставить своей целью достижение победы и стремиться к ней? Не возвратит ли подобный подход к тем самым играм с нулевой суммой, которых было достаточно в отношениях между Востоком и Западом?

Мне лично ответ видится в том, чтобы постараться создать реалистическую гипотезу нового мира, нового порядка на пути к нему. Мира, который открыт всем и от участия в котором каждый выигрывает больше, чем от отказа от такого участия.

Потребные для этого знания о закономерностях социально-исторического развития, политическая стратегия, меры и институты, направленные на воплощение такой гипотезы в жизнь, — в совокупности могут образовать ту новую рационалистическую идеологию, о целесообразности которой я уже говорил.

Но, наверное, проблему в целом можно поставить и иначе: что могут ожидать взаимоотношения Запада и Востока, США и России сейчас, когда эпоха идеологизированности этих взаимоотношений, эпоха холодной войны позади.

Мне кажется, что если не произойдет реставрации в России, а в США не впадут в иллюзию «одержанной победы», то ничего сенсационного в этих взаимоотношениях не случится. Будет нормальное сотрудничество по широкому спектру проблем, областей, интересов. Будет соперничество, и политическое, и экономическое, а, возможно, и военно-техническое, не грозящее, однако, войной. Будут частные споры и конфликты, трения и периоды сложных отношений — все, что обычно бывает в рамках одного сообщества.

Реальный вызов в другом. А именно, как истолкуем мы завершение идеологического противостояния двух частей еврохристианской цивилизации и открывающиеся возможности нового этапа исторического развития. В качестве победы одной стороны и необходимости отстаивать предлагаемый ею порядок? Но такой подход вновь поведет к конфликтности в мировой политике, ее идеологизации, иррационализму.

Или же мы поймем, что длительное, крайне затянув-

шееся идеологическое и политическое противоборство шло не только от злонамеренности, но и от исторического невежества цивилизации в целом, в то же время было одним из путей преодоления этого невежества, накопления опыта и знаний. Поняв это, необходимо вместе заняться теоретическими поисками путей в лучшее грядущее, о чем человек не перестанет мечтать, пока обладает разумом.

Когда я говорю о создании реалистической гипотезы нового мира, то вовсе не хочу этим сказать, что весь накопленный опыт должен быть отброшен. Никоим образом. Все, что уже оправдано жизнью, необходимо взять за основу новых размышлений. Например, показала свою жизнеспособность социал-демократическая концепция социального партнерства. Утвердил свою историческую состоятельность институт реформ как единственно приемлемый в цивилизованном обществе.

В то же время сдвиги экономического, социального и культурно-нравственного характера, которые идут в мировом сообществе, неизбежно потребуют новых теоретических идей, новых практических подходов, новой идеологии.

Глава третья

НАЦИОНАЛИЗМ, СЕПАРАТИЗМ: ИСТОКИ И СЛЕДСТВИЯ

Лично у меня нет сомнений, что Советский Союз в прежнем виде был обречен на обновление.
Вопрос лишь в том, какой путь развития был предпочтительнее: национал-большевистский развал или демократическая эволюция на пути к конфедерации.
Но случилось так, как случилось. Захлестнула политическая суета и жажда власти.
Мои слова — не жалоба и не тоска по прошлому, отнюдь.
По-видимому, нынешний этап неизбежен, ибо с историей не спорят ввиду бесполезности этого занятия. Этот этап предопределен многими объективными процессами.
Но он в то же время показывает, по моему мнению, и историческую исчерпанность политических лозунгов национализма и сепаратизма.
Национальное сплошь и рядом оборачивается националистическим.
Вместо социального мира — войны и конфликты.
Вместо любви к ближнему — ненависть к инородцам.
Вместо стремления к собственным достижениям и труду — жажда кого-то бить, за что-то мстить, восстанавливать якобы утраченную справедливость.
Вместо прав личности — их наглое попрание.
Сепаратизм способен завести любое общество в тупики нищеты, нежизнеспособности, конфликтов всех со всеми, претензий на собственную исключительность.
Все это — не путь обновления, а путь еще более глубокого раскола и противостояния.

Реформация в Советском Союзе стала возможной еще и потому, что ее инициаторы сумели сбросить с себя многие идеологические и политические мифы прошлого. Но оказались мистифицированными по такому жизненно-

му вопросу, как национальный, что сыграло трагическую роль в перестройке.

Мы поверили собственной же пропаганде, что национальные республики хотят жить вместе, что Союз нерушим, что интернационализм господствует в сознании. Но случилось так, что националистический угар взял верх, угар, который блокировал эволюционную трансформацию Союза в добровольную федерацию или конфедерацию, взорвал страну.

Рассмотрим этот вопрос в контексте общемирового развития и событий на пространстве бывшего СССР.

Начать с того, что человечество не имеет права называть себя цивилизованным, пока льется кровь в межнациональных распрях, пока столь безнаказанно действует взбесившееся националистическое зло.

К сожалению, политика и политики XX века утратили доверие человечества, ибо уходящее столетие — это время кровавых войн и революций, время бессмысленного ядерного противостояния социальных систем, время милитаризации жизни и мышления.

К концу века правящим силам в мире достало мудрости и мужества покончить с холодной войной. Однако разобщение между нациями, разрыв между бедностью и богатством, между религиями, между знаниями и совестью, между интересами государства и человека продолжается.

Больше того, межнациональные конфликты, организуемые клановыми властными структурами, становятся все злее, а кровь людская — всего лишь средством борьбы за власть.

Расхожая премудрость наших дней гласит: народы СССР и стран Восточной Европы наконец-то прониклись национальным духом и собственным самосознанием, сбросили гнет авторитарной системы, а некоторые — еще и советское имперское господство.

Если говорить о фактах, то они очевидны. Ни в одной из стран Восточной Европы и в СССР нет сегодня чисто коммунистических партий у власти. Нет военного, политического и идеологического доминирования СССР над государствами Восточной Европы. Нет Организации Варшавского Договора. Нет Совета Экономической Взаимопомощи.

Все так. Но иное дело — интерпретация фактов. Картина достаточно разноликая, не допускающая, на

мой взгляд, унифицирования причин и следствий, оперирования категориями безотносительно к их историческому и социальному контексту.

Советский Союз был страной сложного устройства и сложной судьбы. Равно как и современная Россия. Если сравнивать СССР с империями традиционного характера, что часто делают, то нельзя не отметить многих странностей этой «империи». В частности, то, что метрополия не только не обогащалась за счет колоний, но и немало отрывала от себя в интересах их развития.

Что же касается ситуации в Восточной Европе, то она еще запутаннее. Этот регион населяют народы, которые давно, столетия назад, сформировались как этнические целостности, имеющие опыт собственной многовековой государственности.

Здесь есть страны, в которых первые национальные университеты были открыты за несколько веков до открытия Америки. Страны с богатейшим духовным наследием, с многовековой письменностью, с устойчивыми конфессиональными и политическиеи традициями. И пусть они периодически подпадали под иностранное влияние и даже господство, входили в состав различных монархических союзов и империй, но в них сохранялась национальная самобытность, свое отчетливое религиозное, политическое, культурное лицо.

Польша, например, когда она входила в состав российской империи, не только не растворилась в ней, сохранив свой язык, веру, образ жизни, но и сыграла на старте XIX века весьма существенную роль в становлении демократического, антисамодержавного движения в самой России.

Вряд ли можно безоговорочно согласиться и с тем, что коммунистические режимы в СССР или в отдельных странах Восточной Европы пали под напором национализма. Они рухнули под натиском времени, а национализм, за неимением других серьезных идейно-политических течений, занял освободившееся место, не более того.

Говоря так, я никоим образом не хочу принизить ни национальные организации и движения, ни их сторонников и лидеров. Интересы истины требуют, однако, обходиться без преувеличений.

Думаю, не погрешу против правды, если выскажу предположение: не начнись в Советском Союзе процесс глубокой и далеко идущей Реформации, не дай он ощутимых

сдвигов, никакие национальные силы ни в одной из стран региона не смогли бы добиться не только власти, но и сколько-нибудь существенного и стабильного политического влияния в течение ближайших лет, как минимум до конца столетия.

По-видимому, к анализу ситуации, что сложилась ныне в Восточной Европе и в СССР, не подходит безоговорочно ни представление о национализме как форме и способе социально-исторического и духовного самосознания и самоопределения народов — эти процессы прошли здесь намного раньше; ни прямолинейное деление на государства-угнетатели и государства-жертвы: трудно представить себе жертву, живущую в полтора-два раза лучше своего притеснителя; ни столь же прямолинейное противопоставление национализма и коммунизма — вспомним хотя бы предельно националистический румынский вариант.

И уж тем более нельзя, на мой взгляд, отождествлять национализм и сепаратизм, хотя эти два явления связаны теснейшим образом. Выдвижение лозунгов национализма чаще всего неотделимо от требований той или иной формы и меры сепаратизма — и все же связь тут неоднозначная и неоднонаправленная. В Молдове и России, например, уже проявились тенденции к сепаратизму не только на национальной, но и региональной основе.

Нет, в этой, «шестой» части мира мы имеем дело не только с проявлениями общесоциальных и общеисторических закономерностей, но и с весьма своеобразной концентрацией исключений из правил, специфических особенностей, общественных мутаций.

I.

Несомненно, «национализм» принадлежит к числу тех категорий общественной, философской, исторической мысли, определить которые весьма затруднительно, если вообще возможно.

И трудность эта происходит не только от сочетания кажущейся самоочевидности понятия с его глубоким смыслом. Но прежде всего от того, что это явление постоянно развивается, обретает новые грани, все более усложняется внутренне.

Современный национализм вовсе не тождественен национализму, например, Европы XVII века, а тот, в свою

очередь, отличается от национализма китайского, японского, любого иного.

Из всех многочисленных подходов к определению национализма мне лично наиболее близки те, что выдвигают на первый план духовную и психологическую стороны явления.

Простой человек, когда он говорит о своей или чужой нации, национальности, национальных особенностях, всякий раз осознанно или интуитивно, но неизменно обращается к таким характеристикам личности и народа, как язык, традиции, обычаи, взгляды на жизнь, ее уклад и сформировавшиеся привычки, к чему-то особому, что выделяет этого человека или этот народ в стиле мышления, манере общения, способах излагать свои чувства и переживания, строить отношения с другими.

Правомерно утверждать, что история национализма, наций, национального — это история постепенного оформления и расширения культурно-исторических общностей. Расширения физического, происходящего как путем размножения, так и включения в них более мелких образований — племен, родов, народностей. Расширения территориального, когда это позволяли обстоятельства. Расширения социального, через усложнение социальной структуры и включение в общность новых социальных групп.

Но что не менее важно, и расширения духовного: круга ценностей и ориентаций, развития мысли и мышления, приращения не только эмпирического знания, но и знания-интуиции, знания-веры, знания-гипотезы, нравственного развития социума.

Все это и есть саморазвитие цивилизации, т. е. постепенное вытеснение биологических норм и отношений социальными, замена силовых регуляторов общественной жизни нормативными, правовыми, экономическими и прочими, но цивилизованными, усложнение как социальных, так и организационных, управленческих структур, увеличение числа уровней координации общественной жизни, объема обратных связей в обществе.

Становление того, что на Западе принято называть «политическим обществом», наиболее очевидным образом связано с расширением диапазона самоидентификации личности и социальных групп. Оно прошло долгую, хорошо описанную эволюцию — от родоплеменных отношений и первых городов-государств до современного устройства мира.

Не вдаваясь сейчас в исторические экскурсы, подчеркнем только, что современное национальное государство, как оно существует в Западной Европе, — продукт последних пяти веков духовного, материального и социального прогресса.

Из торгово-экономической революции конца XV—XVI веков родились династические государства, те самые, о которых их правитель имел основания заявлять: «Государство — это я!»

Французская революция провела духовную и политическую подготовку к становлению буржуазно-демократического государства и гражданского общества, опирающихся на достижения промышленной революции и порожденные ею сдвиги во всех сферах жизни. И когда сегодня произносят слово «национализм», чаще всего подразумевают именно этот современный его эталон, критерий, наиболее сформированное его выражение в политике и общественной жизни.

За последние 200 лет с этим «национализмом» связаны не только достижения цивилизации, но и крупнейшие войны, включая две мировые; явления империализма и колониализма; множество национальных эгоизмов; современная система международных отношений, политика баланса сил и национальных интересов.

На этой почве родилось и более узкое, преимущественно политическое понимание национализма как права каждой национальности на собственное национальное государство. Но в том мире, однако, это право имело минимальные шансы на осуществление.

Современное мировое сообщество живет или хотя бы пытается жить по иным законам.

Оно активно поддерживает, в числе прочих, право на самоопределение — и это не слова, а реальность, отраженная в составе членов ООН.

Но, на мой взгляд, реализация права на собственное сугубо национальное государство все очевиднее начинает приобретать признаки опаснейшего анахронизма, чреватого непредсказуемыми последствиями, преимущественно тяжкими.

И хотя от сепаратистских вожделений несвободно, пожалуй, ни одно современное многонациональное государство, самая сильная и дестабилизирующая вспышка сепаратизма произошла в «социалистическом мире». Ее последствия при неудачном повороте событий может ощутить вся Европа и весь мир.

Почему же так случилось?

Пусть предшествующие рассуждения послужат ориентиром и точкой отсчета для сравнений в дальнейшем анализе.

II.

В идеологии и политике — как внутренней, так и внешней, — коммунизм выступал в качестве воинствующего проповедника интернационализма. На практике многое обстояло совершенно по-другому.

В частности, коммунизм оказался едва ли не самым благоприятным полем для прорастания национализма. Правда, национализма весьма специфического. Почему это стало возможно и в чем его специфика?

Причин много, но прежде всего хотелось бы удостоверить сам факт. Возможно, многим наблюдателям на Западе все социалистические страны казались на одно лицо. Но на практике, в пределах системы социализма, по крайней мере на протяжении последних двух-трех десятков лет, конкретных — и подчас весьма существенных — различий между странами было множество.

Многие страны в более или менее откровенной форме декларировали и проводили в жизнь политику своей особости, своего специфического пути в социализм. Полагаю, никто не станет отрицать, что такую политику вели Китай и Албания, Венгрия и Югославия, Польша и Восточная Германия. Менее акцентируя фактические различия, но свою особую линию вели и ведут КНДР, Вьетнам, Куба. Вовсе не были механическим слепком с СССР Чехословакия и Болгария. О Румынии я уже говорил.

То есть, на мой взгляд, если позволительно говорить о династическом национальном государстве Европы XV—XVIII веков, о национальном государстве буржуазно-демократического типа XVIII—XX веков, то не меньше оснований признать как реально существующий факт и такие явления, как коммунистический национализм и коммунистическое национальное государство второй половины XX века.

Так было не только в Восточной Европе или в Азии, но и в самом Советском Союзе. При сильном ограничении своего внешнего суверенитета бывшие союзные и многие автономные республики в составе СССР внутренне весьма различались между собой по их общественно-политиче-

скому портрету и были по сути ничем иным, как тоже коммунистическими национальными государствами.

Почему это стало возможным?

Прежде всего потому, что реальные структуры управления оказались почти идеальными для возрождения, укрепления и развития отношений, основанных на феодальной зависимости, клановых традициях.

Антидемократизм, отсутствие нормальных обратных связей в обществе, доведенный до произвола принцип демократического централизма — все это в конечном счете привело к формированию самодостаточной, оторванной от общества элиты, которая оказывалась составленной прежде всего из лиц данной национальности.

Например, Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Туркмения в составе СССР принадлежали к числу тех республик, где была особенно высока доля титульного народа в общей численности населения; где, соответственно, была особенно высока доля этой национальности в составе местной компартии и ее руководства, элиты в целом; где минимальна доля смешанных браков.

Не будем забывать, что некоторые республики и страны к моменту их «социалистического преобразования» уже имели собственную национальную государственность. Так было в Прибалтике. В Восточной Европе. В Китае.

Сложнее была ситуация в Средней Азии и на Кавказе. Но и в составе российской империи эти территории пользовались существенной мерой автономии во внутренних делах, а традиции государственности во многих из них древнее российских (Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Армения).

Политикой Центра в Советском Союзе было опережающее развитие национальных республик и автономий. Это не только декларации. Намерения были искренними, практика — своеобразна. Республики действительно получали немало средств на нужды развития, но использование их контролировалось крайне слабо.

При этом не существовало какой-либо реальной ответственности местных элит перед своими народами, населением в целом. Если отношения с Москвой казались внешне корректными — тут почти все были большими мастерами, — то внутри республик руки были практически развязаны.

Москва страховала от социально-политических рисков, естественных и искусственных. В ситуациях кризиса

она меняла руководителей, но по отношению к номенклатуре в целом выступала фактически гарантом незыблемости ее существования и господства. В то же время на Москву было очень удобно сваливать ответственность за все нелады и безобразия на местах.

На уровне элитного слоя симбиоз национализма с коммунизмом оказался глубоким, прочным и по-своему естественным. Перестройка нарушила этот симбиоз, дестабилизировала его одновременно по нескольким направлениям.

Прежде всего появились ясные сигналы того, что временам безответственности перед обществом приходит конец. Возникла угроза многим личным позициям. Объективно подрывался тот триумвират партаппарата, хозаппарата и силовых структур, который фактически правил страной после смерти Сталина. Москва переставала быть гарантом неуязвимости местной элиты в целом.

Наконец, реваншистские силы в Москве прилагали немало усилий к тому, чтобы мобилизовать сопротивление перестройке в союзных республиках и в странах Восточной Европы. Коммуно-национальным элитам предстояло бороться за свое самосохранение, и это оказалось очень удобно делать под националистическими лозунгами.

По моему убеждению, кровавые конфликты на территории СССР были организованы совместно реваншистскими силами в центре и кланово-большевистскими структурами на местах. Думаю, что исследование действительных истоков событий в Алма-Ате, Сумгаите, Карабахе, Оше, Фергане, Тбилиси, Вильнюсе, Риге, Баку еще впереди.

К сожалению, в распоряжении этих сил объективно оказались два эффективных средства: национальная интеллигенция и национальные движения.

Разумеется, в массе своей национальная интеллигенция и национальные движения были движимы искренним стремлением к национальному самоопределению, к свободе и независимости народов.

Но коррумпированная часть интеллигенции, пригретая и обласканная старой системой, почувствовала, — и достаточно обоснованно, — что в условиях демократии ей придется потесниться.

Что же касается демократической части интеллигенции, то она была движима теми же чувствами, что и все демократические силы в СССР, наивно полагая, что в ус-

ловиях национального суверенитета у них будет больше творческого простора.

Пострадали и те, и другие — одни заслуженно, другие — нет.

Национальные движения казались поначалу вполне контролируемыми средствами управляемой социальной дестабилизации как способа произвести впечатление на Москву. Но постепенно они выходили из-под контроля, набирали силу, их цели из национальных перерастали в националистические, сепаратистские. Локальный коммунизм на уровне элит стал быстро эволюционировать в локальный национализм.

Конечно, причин для развития стихийного, демократического национализма «снизу» было немало. Уродства централизованного планирования и управления; мелочная бюрократическая регламентация; всевозможные пропагандистские, политические, атеистические и прочие кампании — все это и многое другое, особливо тяга к унификации всего и вся, воспринималось в республиках прежде всего сквозь призму национального сознания и культуры.

Следует сказать, что часто люди видели ущемление национального достоинства там, где и не было умысла. Но столь же часто эти чувства намеренно провоцировались в процессе постоянного соперничества местных кланов, а также действиями немалого числа шовинистически настроенного чиновничества в Москве, в том числе и среди интеллигенции.

Убежден: не националистические движения потеснили коммунизм в союзных республиках, а внутриэлитное соперничество, продиктовавшее использование национализма как средства борьбы за власть. Оно позволило обрести влияние местным националистическим движениям, которые постепенно становились тормозящим фактором демократического развития.

Эта внутренняя парадоксальность коммунистического национализма вообще, а особенно когда он впал в кризис, вызванный перестройкой, спровоцировала появление сепаратизма весьма специфической разновидности.

Я бы назвал его иждивенческим сепаратизмом.

Внешне соблюдался весь декорум стремления к суверенному государству. Особое значение придавалось, придается и сейчас всяческой символике такого стремления и такой государственности. Одновременно возбуждалась националистическая истерия, нетерпимость. Оправданием

антирусских настроений часто служили не только реальные факты местного большевистского правления, но и разрушительная деятельность разного рода шовинистических течений в самой России, которая по сути своей носит в первую голову антирусский характер.

Но что меня поражало на протяжении всех лет анархии суверенитетов, так это почти полное игнорирование «суверенитетчиками» реальной жизни, реальных интересов людей, их реальных устремлений.

Хорошо, станет завтра регион или республика полностью самостоятельным государством. Чем и как оно будет жить? С какими экономическими и социальными проблемами столкнется внутри самого себя? Как и за счет чего станет их решать?

На эти вопросы не было ответов. Комическое, драматическое и трагическое сплетались вместе. Доминировала психология, в которой четко прослеживались две ноты, два мифа. Во-первых, что все в материальной жизни почему-то останется прежним: станем суверенными и будем делать все, что хотим, но сохранятся все прежние экономические связи и отношения, дотации и т. п. Во-вторых, что «Запад нам поможет».

Я еще понимаю, если бы где-то существовала ситуация вооруженной борьбы за национальное освобождение. Когда идет такая борьба, здесь, конечно, не до продумывания внешнеэкономических связей, проблем разделенных семей и народов: главное — выжить и победить, а там будет видно. Но ведь в СССР, да и во всем «социалистическом содружестве» в целом не происходило даже отдаленно ничего подобного.

Шла великая ненасильственная Реформация. Реформаторы отвергали в принципе силовые действия, вопреки постоянному давлению реваншистских групп.

На мой взгляд, у сепаратизма в СССР типично социалистическая природа, воспитанная десятилетиями уравниловки, распределительства, тотальной зависимости от государства. Будь в стране нормальная рыночная экономика, не возникало бы демагогических разговоров на тему, что кто-то кого-то кормит, а кто-то живет чужим трудом. Будь страна демократической, не обострились бы с такой силой проблемы национальной культуры, языка, образования, информации.

Тогда и сепаратистский угар оказался бы под контролем реальной жизни. А сегодня это сепаратизм:

— системы, которая внутренне держалась на разнообразном и жестком принуждении и которая рассыпается, когда такое принуждение уже невозможно;

— экономики, основанной не на общем рынке, но на тысячах натуральных хозяйств, возникших как форма защиты от непредсказуемых сюрпризов сюрреалистического тотального планирования;

— иждивенцев, обидевшихся на старые структуры за то, что они оказались несостоятельными;

— безответственных элит и клановых структур, не привыкших задумываться над бедами и страданиями простого человека;

— хозяйственных руководителей, привыкших к команде и произволу, но внезапно почувствовавших, что контроль над ними самими ослаб или исчез вовсе;

— мелкого и преступного политиканства, обрекающего страну и мир на новые беды.

Говоря так, я никоим образом не собираюсь отрицать самого права народа на национальное самоопределение. Право это священно в мире конца XX века.

Но правомерны и другие вопросы: как и в интересах кого будет это право использоваться? Кто правомочен говорить от имени народа? Насколько народ контролирует действия правящей элиты?

К сожалению, по этим пунктам ситуация далеко не столь обнадеживающа и демократична. Более того, опыт наглядным образом свидетельствует, что сепаратизм и национализм в СССР, но особенно — сепаратизм! — возникли и обрели нынешние масштабы не столько как путь демократизации и обновления, а как способ сопротивления им. На местном уровне они часто консервируют прежние отношения, по меньшей мере.

Прискорбный, но факт: во многих частях СССР национализм и сепаратизм оказываются пока что способом мимикрии и выживания прежних элит и властных структур, отбросивших лишь риторику моноидеологии.

III.

Национализм и сепаратизм создают — по крайней мере на территории СССР, но уверен, что и в других местах тоже, хотя, наверное, и не в такой степени, — **острейшую проблему разделенных семей.** Не буду говорить об очевид-

ном: когда человека ставят перед необходимостью выбирать между верностью своей национальности и верностью своей семье, мы имеем дело с аморальным выбором.

Аморальным потому, что власти, претендующие на то, чтобы их считали демократическими, просто не имеют права ставить человека перед подобной дилеммой. Иначе грош цена такой демократии.

Доля смешанных браков в бывшем СССР колебалась от 4 до 28 процентов, в среднем по СССР — это 17,5 процента, более 12 миллионов браков — то есть, считая с детьми, не менее 40 миллионов человек.

К этим миллионам надо добавить еще большее число людей из семей однонациональных, но оказавшихся сейчас невольными «иностранцами» в тех местах, где они сами, а нередко и их предки прожили всю свою жизнь. За пределами России живут 25 миллионов русских.

Ситуация не ограничивается территорией СССР. Во все более сложный клубок запутываются отношения между пуштунами, таджиками, узбеками на территориях Афганистана, Пакистана и некоторых республик Средней Азии. Вокруг молдавской ситуации сталкиваются национализмы не только самой этой республики, но и Украины, России, Румынии. У всех перед глазами Югославия.

Можно вспомнить и историю: через какие войны, какую кровь и какие жертвы прошли национальные государства Европы хотя бы только за последние двести лет.

Вот почему я не считаю нынешнюю вспышку национализма и сепаратизма на территории бывшего социалистического содружества чем-то прогрессивным.

Вот почему я не считаю такое развитие событий благоприятным для человека, приоритет интересов которого неоспорим в демократическом государстве.

Вот почему, на мой взгляд, международное сообщество обязано занять куда более решительную позицию по отношению к тем властям — не только в Восточной Европе и СССР, но повсеместно, — которые продолжают платить за свои властные амбиции кровью людей. Если этого не сделать, волны националистического «домино» могут зайти очень далеко, охватить десятки стран мира.

Нечто эквивалентное нюрнбергскому трибуналу должно стать постоянно действующим международным институтом, с четко разработанной и принятой ООН процедурой, перечнем наказаний, инструментами правового и практического обеспечения.

И каждый потенциальный «воитель» должен знать, что у него нет будущего. Ибо посягательство на жизнь людей — это всегда преступление, совершает его банальный уголовник или же политик, прикрывающий собственный эгоизм и бездарность, нравственную слепоту и презрение к народу псевдопатриотической демагогией.

Смысл призывов к национальному освобождению, национальной государственности, национальному суверенитету состоял когда-то в том, чтобы вырваться из-под гнета колониальных империй, обеспечить народу более достойную жизнь. Но в современном мире невозможно рассадить всех по национальным заповедникам.

И чем глубже будут заходить процессы сепаратизма, тем больше будет нищих и обездоленных, тем сильнее окажутся стимулы в пользу все новых и новых межнациональных дележек, конфликтов, переделок границ.

Я просто отказываюсь верить, что человечество не в состоянии остановить подобное.

Высказываясь столь остро о национализме и особенно о сепаратизме, я хочу подтвердить свою давнюю позицию, высказанную еще в статье «Против антиисторизма» (Литературная газета. 1972, ноябрь), в которой я пытался предупредить общество о возможных трагических последствиях национализма и шовинизма.

Еще и еще раз хочу повторить, что право решать судьбу людей, народов принадлежит самим людям и народам, но отнюдь не политиканам и даже не политикам.

Право нации жить отдельно от других объяснимо. Но и право жить вместе — тоже неоспоримо.

В принципе разделы возможны, но при соблюдении определенных условий:

— если за отделение выскажется явное большинство населения на демократически организованном референдуме под международным наблюдением;

— если последующее принятие решения об отделении осуществляется в соответствии с заранее установленными конституционными и другими нормами;

— если все процедуры по практическому осуществлению отделения, все связанные с этим споры, претензии и т. п. решаются исключительно политическим или судебным, но только не военным путем.

Но в любом случае обязанность правителей — честно, с фактами и цифрами сказать людям, что их ждет, где им будет лучше материально и духовно.

Иначе кризис. Кризис прежних отношений человека и общества с властью и государством.

Но он же порождает и ответную реакцию: беззастенчивую спекуляцию политиков на самых святых чувствах и понятиях; наступление государства на права и жизненный уровень людей, неспособность выступать гарантом и защитником интересов человека в самом реальном и повседневном их выражении — защитником от произвола чиновничества, от преступности, от социального авантюризма и безответственности.

Вот почему в общественном сознании укрепляется мысль, что государство — не самоцель, не священный идол, а скорее недруг, основной источник невзгод и страданий, субъект, которому меньше всего стоит доверять. Не скажу, что такие настроения уже преобладают, но что они заметно усилились под воздействием событий последнего времени — это факт.

Где же выход?

Один, достаточно легкомысленный, — это взвинчивание анархического национализма и шовинизма, кризис не только легитимности отдельных властных структур, но легитимности как явления, как самой способности общества признавать законность в качестве жизнеформирующего фактора.

Куда более разумен другой: поиск рациональных, опирающихся на науку и прагматизм путей построения современной государственности. Таких, которые вели бы к государству сильному, дееспособному, эффективному. Но безусловно подконтрольному обществу, служащему его интересам. Но это станет возможно лишь в том случае, если и политически, и в сознании людей будут разведены понятия «национального» и «государственного».

Есть ли для этого основания и возможности?

IV.

Известно, что все человеческие отношения укладываются в две самые общие категории.

Отношения **неформальные** — те, что складываются и вырастают как бы независимо от воли и намерений людей, эволюционным путем, нередко на протяжении очень и очень длительного времени — веков и тысячелетий, — под воздействием причин, человеку неподвластных, а нередко им и неосознаваемых.

И отношения **формальные** — те, что создает сам человек, выстраивая различные организационные и политические структуры, придумывая для них законы, правила, регламенты, насыщая их линиями подчинения, устанавливая сферы компетенции, и так далее.

Взаимоотношения национализма с государством весьма запутаны и противоречивы. Но ясно, что государство всегда использовало национализм в собственных целях, активно паразитируя на национальных чувствах.

Национализм складывался естественным путем, через долгую и многосложную историю. Он вбирал в себя биологическое и раннесоциальное прошлое человека, его культуру. Порой ему оказываются неспособными противостоять даже люди с высокоразвитым интеллектом, острым и трезвым умом.

Национализм — это не только некая совокупность политических, философских, каких-то иных взглядов, которые можно в принципе изменить просвещением, знанием, переубеждением. Национализм — это во многом и биосоциальная природа человека, природа пока непознанная, неуправляемая.

Было бы аморально требовать силового «искоренения» национализма.

Если сотни миллионов во всем мире так или иначе подвержены этому явлению, значит, оно входит в суть человеческой натуры, удовлетворяет какие-то нужды и потребности личного и общественного характера.

Но можно и нужно сделать все для того, чтобы помешать перерастанию естественных национальных устремлений в националистические уродства, в ненависть к другим, в требования исключительных прав и положения только для данного народа.

Но как это сделать практически?

Вначале о сепаратизме. На мой взгляд, в отличие от национализма, сепаратизм рождается в тех отношениях и структурах, которые создает сам человек. Но особенно там и в тех из них, которые становятся бесчувственными, забюрократизированными, а то и откровенно используются в чьих-то эгоистических, даже преступных интересах и целях. Тогда-то и появляется стимул к разделению.

Конечно, это не единственная причина сепаратизма, но едва ли не самая распространенная.

Рискну высказать суждение парадоксальное, но, на мой взгляд, обладающее определенным смыслом.

Во-первых, как я уже сказал, надо развести понятия национального и государственного. В мире XXI века рационально подвергнуть сомнению право каждого народа на собственную государственность только на том основании, что он, этот народ, — национальное целое.

Это не значит, что надо будет рушить, перекраивать исторически сложившиеся государства. Но процесс формирования новых государств только на национальной основе не должен быть автоматическим, обязательным, императивным.

Народов, находящихся в колониальной зависимости, больше нет. Речь сегодня о другом. О соблюдении прав каждого конкретного человека. И о праве и возможности для людей любой национальности сохранять и развивать свой язык, культуру, обычаи, веру, традиции.

Вот эти конкретные права и должны неукоснительно обеспечиваться, что вовсе не обязательно требует самостоятельного государства. Напротив, как доказывает положение в пространстве СССР, подобные требования затрудняют, а то и делают невозможным обеспечение действительных прав личности.

Землячества, культурные автономии, национальные клубы, школы, церкви, иные конфессиональные дома, издательства, газеты, театры, телевидение, — все это бесспорно, органично. Если люди равны независимо от вероисповедания, политических и иных убеждений, то они равны и независимо от своей национальности.

А национальные государства, образуемые вновь на пространстве, где исторически сложилась многонациональность, — это недостаточно обоснованная, а порой просто дестабилизирующая привилегия.

По мере того, как мир продвигается ко все более тесной взаимозависимости, взаимосвязанности, целостности, к глобализации все большего числа сфер и направлений деятельности, общественных, экономических и многих иных процессов, — по мере этого становится все более очевидной потребность:

во-первых, в переходе к территориально-государственному устройству и управлению, когда государственность оказывается не способом и формой национального становления и самовыражения, но всего лишь организационной структурой в интересах человека и общества;

во-вторых, во внутренне согласованной «лестнице» территориально-социальных структур управления, ступени

которых начинались бы на уровне города, села, района и через область, государство, регион выходили на глобальные структуры.

Какие перспективы ожидают сейчас пост-пространство СССР, если рассматривать их через призму нынешней вспышки национализма и сепаратизма?

Два крайних варианта очевидны.

Один — нарастание тенденций национализма и сепаратизма. Это с высокой вероятностью обрекает людей на межгосударственные и межнациональные войны, на расчленение почти всех союзных республик, включая Россию, на образование нежизнеспособных новых государств, на кровавый передел территорий и границ, который в некоторых местах почти наверняка выплеснулся бы за границы СССР, в той или иной мере захватывая смежные государства.

Это, несомненно, худший сценарий из всех возможных.

Лично мне, однако, он не кажется слишком вероятным. Даже там, где идет война, люди и элиты уже устали от нее и ищут путей примирения. Воюющие стороны теряют престиж и сочувствие в глазах людей и мирового сообщества. Героизация войн испаряется. Люди начинают понимать, хотя и крайне медленно, что в условиях рыночного хозяйства никто не пришлет им из центра средства на залечивание ран войны, что делать это придется самим и из собственных ресурсов и что развитие их стран отбрасывается на десятилетия.

Начинают понимать, как мне кажется, и другое: если некоторые старые элиты рассчитывали таким путем удержаться у власти, а некоторые новые — прийти к ней, то нередко обманутыми в своих ожиданиях оказываются и те, и другие, а выигрывает кто-то третий.

Что же касается собственно России, то здесь ни народ, ни элиты не проявляют в целом склонности решать накопившиеся проблемы через национальную рознь, конфликты и стрельбу.

Опасны, однако, активность и влияние многочисленных провокаторов, неофашистов, национал-шовинистов и национал-большевиков, если социально-экономическое положение в стране будет осложняться и дальше.

Маловероятной мне кажется и надежда на то, что нынешняя вспышка национализма и сепаратизма постепенно выдохнется и сойдет на нет. В каких-то местах — да, безусловно. В других, однако, столь же безусловно —

нет. Процессы национализма крайне инерционны, а джин, выпущенный из бутылки, назад забирается только в сказках. За националистические лозунги и мифы будут и дальше упорно цепляться национал-радикалы, неофашисты разных видов, преступно возбуждая и репродуцируя шовинизм и национализм всех уровней и мастей.

Эволюция государств СНГ будет неизбежно связана с развитием институтов интеграции. Пока функции «развода» еще не завершены. Но на первый план уже выходят конструктивные моменты. Здесь наметились две основные тенденции.

Одна — налаживание сотрудничества, расширение его сфер.

Другая — создание центра, наделенного функциями координации, а в отдельных вопросах — и управления.

Поколение политиков, которое сегодня наверху, конфронтационно, оно пришло к власти на остро оппозиционной волне. Оно уйдет. Уверен, следующее поколение будет прагматичнее.

Грядет сообщество, освобожденное от всевластия КПСС, обретшее нормальный рынок, избавившееся от моноидеологии, моновласти и монособственности.

Оптимально взаимовыгодный вариант — **конфедерация на добровольной основе.**

Такое объединение будет благотворно, кроме всего прочего, уже тем, что сможет нейтрализовать наиболее радикальные националистические силы, не ведающие границ своим амбициям и безответственности.

Глава четвертая

В ПЕРСПЕКТИВЕ — ИЛЛЮЗИИ ИЛИ РЕАЛЬНОСТИ?

Россия преодолела видимые и реально ощутимые цепи тоталитаризма, оторвалась от него. Но большевизм продолжает жить. И не празден вопрос, сумеет ли Россия преодолеть все силы притяжения прошлого. Ибо антидемократизм многолик, он вполне может быть и рыночным, и некоммунистическим. Большинство диктатур в XX веке были как раз такими.

В 1990 году я опубликовал в газете «Московские новости» заметки, назвав их «Ловушки для нашей демократии». Друзья похвалили, а многие и не заметили. Я бы тоже не стал возвращаться к ним, если бы тревоги тех дней, подспудные опасения не стали фактами дней сегодняшних.

О чем я писал тогда, четыре года назад, еще до всех путчей?

Итак, по тексту.

1. Ловушки демократии

«Главная опасность сегодня — в тех ловушках, оказываясь в которых мы обрекаем демократию в нашем обществе на поражение — долговременное и стратегическое.

Истоки такой опасности:

— в обществе, его истории и состоянии, достоинствах и недостатках;

— в проблемах дня: насколько они вообще поддаются демократическим решениям, сопутствующим им методам и средствам;

— в инструментарии демократии: нормы, законы, процедуры, институции; но и достоверное представление об общественном мнении, каналы приемлемого воздействия на него;

— в природе самого народовластия: как и все осталь-

ное, демократия не абсолютное Добро. Она может быть направлена и на Добро, но и на Зло. И чтобы не произошло последнего, надо хорошо отдавать себе отчет во всех недостатках, диктуемых природой этого любимого дитяти.

Демократии у нас пока нет.

А что есть? В чем-то осознанный, а во многом и стихийный отход от прежней авторитарной практики. Понимание того ущерба, который нанес нам тоталитаризм. Хотя здесь эмоции пока доминируют над рассудком, и трезвого, рационального анализа авторитаризма мы еще не сделали.

Есть стремление немалой части общества (но мы пока не знаем, какой именно) к демократии. Есть понимание того, что без серьезнейшего, глубочайшего демократического переустройства всей нашей жизни мы не выберемся из вязкой полосы, в которую угодили.

Все это — хорошие и достаточные предпосылки к тому, чтобы движение в сторону демократии началось. И оно началось, уже достаточно продвинулось. Но не стоит путать это движение с самой демократией, точно так же как переход к рынку еще не рынок.

Демократия в идеале — это единство соответствующим образом построенных свобод и политических институтов; это примат личности над государством — иное однозначно ведет к авторитаризму; это развитая система «правил пользования» демократией, принятых обществом законов, норм, обычаев, морали; и самое главное — люди, для которых демократия стала внутренней потребностью, привычкой, они умеют, хотят и могут жить в условиях демократии, не иначе.

Всего этого у нас пока нет. И когда заходит речь о движении к демократии, надо отдавать себе отчет, что все это и предстоит создавать в процессе такого движения.

Как быстро это можно сделать?

Стремление непременно, пусть из самых лучших побуждений, форсировать приход к демократии обернется ее дискредитацией.

Задача момента — не построить храм демократии, каким бы красивым он ни выглядел. Но сделать все, чтобы стартовавший на наших глазах демократический процесс уже никогда не повернул вспять. Добиться, чтобы в него поверили, научились его ценить и реформаторы, и сегодняшние антиреформаторы, которым демократия по законам нор-

мальной жизни нужна не меньше, чем всем остальным.

Конечно, демократический процесс будет идти рывками, неровно, со взлетами и падениями. К этому надо быть готовыми. Но альтернатива ему — авторитаризм, перманентная гражданская война против инакомыслящих, кто бы ни стоял у руля власти.

Закрепить необратимость демократического процесса как факта жизни можно только одним — результатами. Попросту говоря, с демократией должно житься лучше, чем без нее.

Насколько общество готово к демократии? Не очень готово, это ясно. Но другого общества нет, да и откуда ему возникнуть?

Поэтому разговор «готовы — не готовы» беспредметен, а в чем-то и безнравственен: пока не наступило прояснение сознания, общество нельзя упрекать в том, что оно такое, какое есть. Мы многого не знали, не понимали, жили мифами. Теперь отсчет пошел заново, уже формируется ситуация собственного выбора.

Вопрос должен ставиться иначе: какие качества в себе мы должны развивать, а какие, напротив, приглушать и изживать, чтобы успешнее идти по пути демократии?

Уже приелись оценки: «не хватает политической культуры», «не хватает общей культуры».

Давайте поставим вопрос иначе: а есть ли у нас задатки для нормальной демократической жизни? Есть. Есть ли у нас культура? Есть. Так что же конкретно мы должны еще освоить, чему научиться? Вот это иная постановка вопроса — возвышающая человека, мотивирующая его, подлинно гуманная.

И здесь **ловушка первая** — испуг перед жизнью как она есть. Это начало начал. Испугались чего-то, страх господствует и управляет человеком, обществом, государственными институтами. Рассудок отключается, заработали инстинкты. А они, известно, воспитаны тысячами лет истории: бей, дави, сажай, стреляй, запрещай, не пущай. Болезненное пристрастие к догме — неважно, идеологической или административно-бюрократической — это и есть испуг перед жизнью.

Ловушка вторая — «комплекс институтки». Дескать, все в жизни должно быть по идеалу. А что еще не так, надо во что бы то ни стало довести до идеала. И желательно уже сегодня, в крайнем случае — завтра. Нормативный подход, доведенный до психоза! Но жизнь никогда

не будет идеальной по многим причинам. Нас пугают конфликты, пугает то, что процессы гласности, демократизации сопровождаются пока ростом конфликтности.

Не стану гадать, что впереди — телега или лошадь. Не стану говорить и о том, что иного и быть не могло, коль скоро со всех сфер нашей жизни сняты свинцовые грузы, и пар вырывается наружу со свистом. Не стану говорить и о том, что конфликты — это материализованные противоречия, которыми движется жизнь.

Подчеркну иное: демократия не путь к прекращению конфликтов, демократия — путь к их цивилизованному, ненасильственному, неразрушительному, созидательному разрешению.

Ловушка третья — комплекс самоуничижения. Перекос в эту сторону очевиден. Именно его используют псевдопатриотические реакционные силы. Пытаясь нажить себе спекулятивный капитал, подсовывают социальную увертку: дескать, народ обижают.

Скажем так: народ обидеть просто невозможно.

Проблема сложнее: самоуничижение — естественная реакция на десятилетиями насаждавшееся самолюбование и самодовольство, их диалектическая противоположность. Надо освобождаться от самоуничижения, но не пасуя перед честным, трезвым анализом.

И еще одна ловушка — зачарованность словом, фразой. Умеем и любим поговорить. В народе издавна любили тех, кто умел складно врать, — даже зная, что врун, все равно слушали. Пора научиться мерить всех и все критериями дела, практического результата. Сравнение демагога с шаманом не случайно: тот и другой оперируют словом, жестом, ритуалом. Надо вырываться из этого дурмана.

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, объективны, сильны, не подвластны нашему хотению. Их масштабы, характер, глубина толкают нас к недемократизму, даже антидемократизму.

Об экономике, социальной сфере любые слова уже излишни. Межнациональные отношения и конфликты. Сложность управления в стране столь же огромной, сколь и разнообразной, да еще с плохими коммуникациями. Необходимость перехода к рынку и сложности этого перехода. Объективные сложности конверсии военного производства. Социальная напряженность.

Все это, конечно, не программирует однозначно соскальзывание к жестким авторитарным формам правления

и административные подсистемы, «вставленные» в демократию и ею контролируемые. Но чтобы этого добиться, надо отойти от крайностей, научиться мыслить и действовать во всем спектре проблем, мнений, подходов.

Почему отношу эту ловушку сюда, в разговор о проблемах дня, а не об обществе?

Да потому, что жизнь человеческая, накопление цивилизованности — это преодоление. Накопление знаний — преодоление. Накопление труда — преодоление.

Непреодоление — это хаос, энтропия, распад. «Простые» решения — это непреодоление, это отказ от преодоления, а значит, путь к распаду.

Мы отравлены примитивной, безнравственной люмпенской идейкой, будто можно будет так или иначе, но дойти до общества, которое обеспечит равенство в нищете, причем идеологически нищета будет выглядеть изобилием.

Инструментарий демократии. Наша оснащенность демократии низка. Что сегодня здесь способно дать максимум отдачи при минимуме затрат?

Процессуальные нормы во всем. Не только в парламенте, который без них ничто, но и на митингах, демонстрациях, собраниях, в спорах и конфликтах... Нормы надо создавать и насаждать.

Ловушка возникает в случае, если относиться к ним как к чему-то второстепенному, несущественному. Свобода без норм — это нарастающий разгул стихии, которая в конце концов сметет любую демократию.

Что может помешать сильному несогласию перерасти во враждебность? Культура сторон — да. Но в ожидании ее — твердая верность правилам процедуры, исходящая из понимания, что иначе будет хуже всем.

Оснащенность для демократии — это и наличие у нее прочного экономического фундамента. Пока его у нас нет.

И наша демократия очень легко «ударяется» в безответственные обещания, митинговые и забастовочные страсти, политическое горлоочищение.

Ловушка тут — рассчитывать, что мы сможем построить демократию, если даже нет у человека возможности обычным трудом создать себе и достойную жизнь, и карьеру в широком, не служебно-бюрократическом смысле слова.

Здесь гвоздь трагического отставания экономической реформы от политической, потому что именно экономическая реформа должна была перевести карьеру из сфер

политической борьбы, бюрократических интриг или аппаратного продвижения в плоскость трудовых начал, трудового соперничества.

Ловушка — верить во всемогущество закона. Демократия тем выше, чем беспрекословнее на деле сила закона. Это аксиома. Значит, предстоит воспитать уважение к закону. Но для этого закон должен действовать. А действовать будет только тот закон, который отражает реально сложившиеся в обществе отношения. Закон умозрительный, сконструированный в расчете на то, чего мы хотим, действовать не будет никогда. Ему дано лишь насаждать формализм, лицемерие, приспособленчество, коррупцию и тем дискредитировать саму идею законности.

Ловушка — бояться согласия, бежать от него, самоутверждаться непременно через противопоставление себя другим.

Это тоже понятная реакция на годы принудительного одномыслия, на широко распространившуюся практику так или иначе карать, наказывать любое отличие, своеобразие.

Есть тут и определенная дискредитация согласия, по инерции еще воспринимаемого нередко как деспотическое единство.

Ценности солидарности, ценности согласия приходится утверждать практически с нулевого цикла.

Природа народовластия. Нельзя забывать, что демократия на законных основаниях привела к власти Гитлера.

О чем говорит этот урок и этот опыт?

Ловушка — демократия, отдающая приоритет отрицанию, порождает зло.

Свобода через отрицание — это минусовая свобода, которая в конечном счете, если ее не сдержать, взорвет изнутри саму демократию. Если не откровенным и наглым насилием, то экономическим и социальным хаосом. Плюсовая же свобода — это свобода через позитивный вклад каждого. Ее и не хватает. А в избытке, увы, другое: я пришел сломать нечто. Сломать можно, но что взамен? Бессмысленно, недопустимо, опасно использовать демократию лишь как орудие разрушения.

Ловушка — отрицание управления. Наивно полагать, будто митинги и сессии способны реально управлять страной, государством, обществом. Мы привыкли воспринимать слой управления как деспотический, поскольку он и был таким. Отсюда утвердившееся в обществе презрение к профессиональному управлению. И «снизу» — что понят-

но, и «сверху»: те, кто привык к волюнтаризму, склонны считать профессионального управленца в лучшем случае карасем-идеалистом.

Сегодня очевидно: там, где сферы компетенции определены, в дело должен вступать профессионал. Демократия без профессионального и высококвалифицированного аппарата управления — ничто.

Ловушка — делегирование ответственности. Вся демократия построена и функционирует на принципе делегирования ответственности в разных направлениях. Но далеко зашедшее делегирование ответственности, особенно если оно продиктовано стремлением самому избежать непопулярных решений, чревато своеобразным отчуждением прав и ответственности.

Ловушка — кажущееся неудобство демократии. Да, она нарушает психологический комфорт, сложившийся во времена прошлые. Но именно тогда формировалось мироощущение человека, который сегодня угодил вдруг в демократическую атмосферу.

Можно перечислить и другие ловушки, которые жизнь и логика политической борьбы заготовили для общества.

Избежать их или хотя бы нейтрализовать можно одним — идти вперед в деле преобразований. Иного выхода, как быстрейшее наращивание делового поприща, делового содержания политической свободы, экономической свободы, делового содержания интеллектуальной свободы, создание рынка, скорейшее утверждение на практике всего многообразия форм собственности и ее использования, я не вижу.

Последние три года жизни показали, что все эти ловушки оказались реальными. Обществу, к сожалению, не удалось избежать их.

Упрекать тут некого, кроме самих себя — реформаторов.

2. Победила ли демократия?

Поистине упоительно чувство интеллектуального комфорта, которое наступает, когда подпадаешь под влияние красивой иллюзии или логически безупречной схемы. Но когда схемы рассыпаются, иллюзии исчезают, реальная жизнь становится малопонятной, а действительность вызывает раздражение, как если бы она была виновата в том, что розовые сны не сбылись.

И все потому, что жизнь в очередной раз ставит перед

необходимостью задавать новые вопросы и отвечать на них.

Так описал бы я ситуацию в России, духовную реакцию на сложную, запутанную обстановку, в которой на поверхности — тревоги, нетерпимость, иррациональность, растерянность. А в глубине — трудно поддающееся пониманию и трудно предсказуемое течение событий в переходное время.

Судьба демократии — несомненно, ключевой вопрос. Ответ на него не столь однозначен, как хотелось бы.

Конечно же, она победила.

В том смысле, что нет больше системы, с демократией несовместимой. Нет больше удушающей цензуры, нет приказного единомыслия. Нет прежней изоляции от мира.

Нет абсолютизма КПСС, нет общесоюзного Центра, командовавшего из Москвы огромной державой. Практически исчезли Советы.

Сегодня Россия открыта всем ветрам.

Сегодня в России — реальная многопартийность, настолько безбрежная, что истинного числа действующих партий, объединений, движений не знает, наверное, никто.

По-новому проводятся выборы, от местных до национальных: демократично, с неподдельным накалом страстей, противостоянием политических позиций.

Произошло и продолжается перераспределение власти как по «вертикали», так и по «горизонтали». Произошла и развивается дальше экономическая и политическая децентрализация, складывается система разделения властей.

Суть и результат этих перемен, начатых еще политикой гласности, прежде всего в том, что с людей спала пелена страха.

Повторяю, во всех этих отношениях демократия в России безусловно победила.

Но впадать по этому поводу в торжество преждевременно.

В первую очередь потому, что демократия во многих местах еще только нарождается. На локальном уровне у власти остаются авторитарные структуры, которые лишь рядятся в одежды демократии, фактически укрепляя антидемократические порядки и обычаи, клановые нормы и связи.

После распада СССР миллионы людей оказались вдруг в бесправном или дискриминируемом положении. Это относится не только к русским, хотя русских среди таких

людей большинство. Но ко всем выходцам из других республик, ко всем людям нетитульной национальности.

В ближнем зарубежье полыхают, по существу, гражданские или межэтнические войны.

Для тех, кто находится за тысячи километров от этих преступлений, войны называют «конфликтами». Для тех же несчастных, кто в зоне событий, это настоящие войны — с боевыми действиями, бомбежками и обстрелами, с захватом заложников, расстрелами, пытками, гнуснейшими жестокостями в отношении женщин и детей. О каких перспективах демократии тут можно говорить?

Ответственность за эти преступления несут силы, борющиеся за власть. Ради этого они бросают людей на смерть. Люди для таких политиков — всего лишь глина, возобновляемый ресурс.

Государства, просуществовавшие многие десятки лет, — а Российская империя, потом Советский Союз жили совместно с многими из ныне отделившихся республик минимум 50, максимум 400 лет, — не распадаются сразу. После политического и юридического разделения долго еще будет оставаться, болезненно чувствоваться разрыв связей человеческих, семейных, культурных, эмоционально-психологических и многих других.

Все это, безусловно, влияет и на политическую атмосферу во всех частях СССР. В том числе и на ситуацию в России — тем более, что везде, и Россия здесь не исключение, есть силы, стремящиеся использовать эти конфликты и проблемы, чтобы повернуть страну к прошлому.

Да и в самой России победа демократии еще достаточно относительна. Она пока слабо затронула глубинные пласты общественной жизни и сознания. Сопровождается явлениями и процессами, не только затрудняющими утверждение демократии, но объективно дискредитирующими саму идею демократии как таковую. Демократизация совпала с такими процессами в экономике и социальной сфере, когда люди могут заплатить демократией просто за сносное существование.

Годы, прошедшие после начала преобразований в Советском Союзе, убеждают меня, что демократии в России продолжают грозить серьезные опасности. Среди них: произвол власти, исторически сложившаяся психология, материальные условия жизни. Сегодня каждая из этих опасностей не только не преодолена, но заметно возросла. Особенно первая и последняя.

Говоря о произволе власти, я имею в виду не репрессии, преследования и тому подобное. Этого сегодня, слава Богу, нет. Но произвол власти проявляется в ее непредсказуемости, в правовых, административных, политических последствиях борьбы за власть и собственность. Этот произвол проявляется в мешанине законов, в действии отживших норм права, в конфликте не только новых законов со старыми, но и новых между собой, в противоречивых действиях власти, в ее экономической безответственности за последствия принимаемых решений.

Особенно ощутим произвол на повседневном уровне, там, где живет и работает человек, то есть произвол чиновничества.

Сегодня налицо ничем не ограниченная свобода слова, впрочем, нередко заходящая далеко за самые либеральные нормы морали и этики и часто нарушающая элементарные права личности. Но в остальном человек предельно уязвим. Он не защищен от произвола производителя и продавца, от резко взлетевшей преступности, от коррупции как государственных, так и частных структур.

Это не свобода. Это явление, хорошо известное из российской истории. Для него в русском языке уже много веков существует точное и емкое определение — «вольница». Вольница — это когда человек, от природы не наделенный достаточным внутренним самоконтролем, самодисциплиной и совестью, вырывается из-под власти силы и закона и обретает возможность поступать так, как ему заблагорассудится.

Один подается в преступники. Другой не считает себя связанным законом и служебными обязанностями, хотя и занимает официальную должность. Третий ни в грош не ставит обязательства по контракту или договору. Четвертый, добившись избрания в какой-нибудь представительный орган, воображает себя вершителем судеб, имеющим право принимать любые решения, не сверяясь с законом и конституцией. Не законодатель, а хозяин Закона.

Вариантов миллионы, суть одна: вольница — это наглый анархизм, отсутствие или фактическое крушение власти, глубочайший кризис нравственных норм и авторитетов. Вольница одного неизбежно оборачивается произволом по отношению ко всем остальным.

Нет нужды доказывать, что такое состояние общества — угроза для подлинной демократии, которая не может состояться без закона и самодисциплины.

В чем причины взрыва анархии сегодня?

Они — в переходном состоянии общества, когда старые нормы, законы, отношения действовать перестают, а новые полны противоречий. Эти причины и в том, что нет-нет, да и прорываются революционные замашки в действиях руководящих структур, что подрывает любые опоры любой легитимности. Но они еще и в глубинных пластах национальной психологии, пластах, сила которых недооценена реформаторами.

Один только пример: самые разные по политической и идеологической ориентации деятели сегодня обнаруживают одинаковую нетерпимость к иному мнению, к иной позиции, и одинаковый иррационализм, и одинаковую готовность не считаться с законом, и даже одинаковую склонность к злоупотреблениям и коррупции.

Резко деградировали условия жизни, на чем достаточно успешно паразитировали силы реставрации, объединившиеся вокруг партии Советов. На рубеже 1992 и 1993 года Россия практически вошла в полосу гиперинфляции, причем пока нет вразумительной программы борьбы с ней и практических действий властей, нет даже готовности признать, что это уже случилось.

Хаос стремительно двигался к своему пределу. Возможности сдержать его законными средствами упускались. Фашизм в открытую начал свой марш против демократии. Предупреждения на этот счет по непонятным причинам игнорировались властями. В конце концов большевизм нашел обстановку благоприятной для себя и развязал осенью 1993 года новый мятеж.

Контрреформаторы, неосталинисты вновь просчитались. Но мятеж генералов сам по себе поучителен. Сегодня не так уж трудно представить себе новую трагедию России, если бы замыслы фашиствующих большевиков были осуществлены.

Иногда в политике полезно мыслить не политическими категориями. В сегодняшней России, если сравнивать ее с недавним, а тем более с давним прошлым, политик имеет вроде бы основания говорить о победе демократии. Но не надо песнопений. Мы имеем дело не столько с победой, сколько с трудным процессом эволюции общества, процессом, механизмы которого нам неизвестны, его движущие силы поняты не до конца. Эта эволюция и дала шанс демократии. Не более. Но что будет завтра?

3. Насколько прочна российская демократия?

Речь — о тех ростках демократии, что фактически сложились сегодня. О том, есть ли в России пусть не плодородная, но почва, на которой они могли бы прижиться, вырасти в нечто жизнеспособное, или же семя демократии занесено ветром Истории на голые и безжизненные скалы?

Почва для демократии — это духовный мир общества. Его традиции, как политические, так и общие. Его ценности. Его сегодняшние интересы и представления.

При всем том, что история России до предела заполнена насилием, эту историю нельзя назвать абсолютно несовместимой с идеалами демократии в принципе. Да, насилие побеждало чаще и господствовало дольше. Но демократизм постоянно присутствовал в российском обществе. Как ни парадоксально, он выживал и на его социальных полюсах.

Российская крестьянская община вплоть до начала XX века была построена на своеобразном патриархальном демократизме. Это, конечно, не демократия, рожденная веком Просвещения. Она не поднималась до больших философских обобщений. Последние появились позже, уже в XIX веке, и не в самой общине, а в интеллигентской среде.

Однако ежегодные перераспределения земли, исполнение государственных и местных повинностей, внутриобщинный суд и многое иное строилось со значительными элементами демократизма. На тех же принципах строилась и жизнь религиозных общин, монастырей, поселений. Были в истории России и народные собрания — вече; были и вольные самоуправляющиеся города.

Такой же естественный демократизм, а позднее и сформулированные идеи демократии постоянно присутствовали и в духовном мире верхних слоев российского общества. Показательно, что все реформистские, демократические движения и попытки возникали в России в среде относительно привилегированных групп, в том числе «сверху».

Эти обстоятельства заставляют думать, что преграды к утверждению демократии лежат не только в психологии человека и не только в отношениях между людьми. Такие преграды — и в специфических условиях бытия общества, в том числе тех, что определяются размерами территории, объемами природных богатств, плотностью населения.

По-видимому, чем малонаселеннее страна, чем она просторнее и богаче от природы, тем легче ей жить за счет экстенсивного хозяйствования. И тем естественнее демократические связи «внизу», по «горизонтали»; но тем естественнее и жесткие авторитарные формы по «вертикали», призванные удержать вместе территориально огромную, но социально не насыщенную структуру.

Размышляя о будущем российской демократии, мы еще только начинаем всерьез задумываться об этих объективных факторах, анализировать их. В самом деле, не проклятье же какое-то лежит на России, стремящейся к демократии, но всегда спотыкающейся на пути к ней.

Иными словами, в принципе неправильно, на мой взгляд, говорить об утверждении в России демократии как чего-то если не чуждого, то, как минимум, неизвестного, привносимого извне. Даже выборная механика демократии — и та была в ходу в России еще много веков назад, когда избирали или приглашали князей (а это было тысячу и более лет назад).

Вот почему, принимая достижения нынешней демократии, ее технологии, важно соединить современность с российским опытом демократической жизни.

Еще раз хочу подчеркнуть значение **естественного демократизма** в человеке и обществе.

В любом обществе есть отношения по «вертикали» — между социальными группами, пластами, людьми неравными по общественному положению, власти, богатству и другим признакам.

Но существуют отношения по «горизонтали» — между группами и людьми, равными по многим признакам, притом на всех качественно различных уровнях такого равенства. Вопрос в том, что доминирует в политической и общественной системе и культуре, в конкретном режиме или в данный период времени?

Я не считаю, что в российском обществе совсем не заложена такая ценность, как демократия. Откуда тогда взяться попыткам демократического реформирования, которых в истории России только «сверху» было около двух десятков, а в среднем по две на одно столетие?! Откуда тогда постоянная тяга общества к демократическим переменам и свободам?

Видеть в этом стремлении только подражание Западу, значило бы, на мой взгляд, оскорблять народ, а заодно молчаливо признавать заведомую обреченность любых

практических попыток достижения свободы. Ни одна страна, ни один народ никогда еще не воспринимали у других нечто такое, в чем они не испытывали бы реальной собственной внутренней потребности.

Есть ли потребность в демократии сегодня? Безусловно. Причем даже в тех случаях, когда не осознается в категориях собственно демократии.

Поясню, что имею в виду.

Каждый человек хочет свободно и достойно жить, реализовать себя. И люди в массе своей уже понимают, что в условиях любого авторитаризма, какой угодно диктатуры сделать это невозможно. Не будет не только свободы внешней — не будет свободы зарабатывать, свободы тратить заработанное, свободы бастовать во имя улучшения условий работы и ее оплаты. Все это уже испытано, пережито, знакомо.

Потребность в демократии есть сегодня и в российской элите.

В ней пролегли резкие и глубокие водоразделы, обусловленные не только различиями во взглядах, но прежде всего противоречиями в интересах. И альтернатива проста.

Либо элита найдет демократические пути и средства урегулирования своих внутренних разногласий, и тогда демократия начнет неизбежно «переливаться» и в общество в целом.

Либо произойдет силовое решение. И тогда внутриэлитные противоречия перерастут в острый конфликт вплоть до гражданской войны. Подобное уже произошло в некоторых республиках СССР (Таджикистан, Грузия). Появился всполох войны и в России — в октябре 1993 года.

Но российская элита, имевшая уже много возможностей передраться между собой, отвергла и на сей раз широкомасштабное столкновение. Россияне отказали в поддержке реваншизму.

Для тех, кто следит за положением только по печати, особенно по российской, скажу, что она создает искусственно драматизируемую картину. Почитаешь некоторые газеты, послушаешь комментаторов и удивляешься тому, что власть еще как-то держится, что какой-то порядок сохраняется, страна продолжает работать, поезда ходят и самолеты летают, а дети ходят в школу.

Причем, неважно, какие газеты читаешь: большевистские или демократические, левые или правые. Все ждут Апокалипсиса еще вчера.

Мой оптимизм вовсе не означает, что взрыва не может произойти завтра или послезавтра — в российской истории социальные потрясения вообще трудно прогнозируемы. Но он снова будет ограничен локальной авантюрой.

Думаю, что не только апатия и равнодушие к политике удерживают людей от бунта, хотя их постоянно подстрекают к этому. Еще и то, что люди привыкают делать разумные выводы из своего жизненного и социального опыта. Выводы очевидны для тех, кто не склонен врать самому себе: только работа и ее нормальная организация наладят, в конечном счете, человеческую жизнь.

Вот почему люди постепенно отворачиваются от крикунов и демагогов, независимо от их политического и идеологического оперения.

Вот почему они часто отворачиваются от политики в целом, от партий — и новых, и сегодня уже «старых».

Вот почему происходит стихийное укрепление центристских политических течений и тенденций. Тем самым повышаются шансы на демократию, шансы на естественный ход общественной эволюции.

Если удастся удержать такое состояние на протяжении ближайших лет, можно ожидать прихода нового поколения политиков: более прагматических, более профессиональных, избираемых на основе реальных интересов разных слоев электората, а не идеологической истерии или голосования не столько «за», сколько «против». Если это произойдет, положение демократии в России упрочится.

Разумеется, нельзя исключать неблагоприятные сценарии эволюции России в ближайшие годы. Я понимаю под ними не гражданскую войну — после октября 1993 года я не верю в ее высокую вероятность. Я имею в виду заведомо недемократический или антидемократический курс развития, даже если он будет протекать в законных или преимущественно законных рамках и формах.

Худшее — это установление авторитаризма одной из ветвей власти вместо системы разделения властей.

Худшее — это приход к власти откровенно фашиствующих сил, будут ли это необольшевики или же национал-шовинисты.

Худшее — это перерождение государства как результат правового беспредела и всеобщей коррумпированности.

Все эти сценарии в принципе возможны. Их опасности нельзя недооценивать. Но нельзя и сосредоточиваться

только на них, видеть будущее России лишь в черно-белых тонах: либо идеальная демократия, неизвестно откуда и как свалившаяся, либо диктатура. В конце концов, любая только становящаяся на ноги демократия всегда и везде неизбежно существует в окружении сонма всевозможных опасностей.

Те, кто сегодня проводят параллели между современной Россией и Германией 20-х — начала 30-х годов, забывают, что Россия уже пережила подобный период в те же годы и с теми же результатами, хотя и в несколько другом идеологическом одеянии.

Разница лишь в том, что гитлеризм был разбит во второй мировой войне и на его обломках построено демократическое государство.

Советский народ одержал победу в борьбе за независимость страны. Но на его беду идеологией общества был сталинизм, что и обрекло страну на долгое, трудное, для всех мучительное полувековое загнивание и умирание. Сегодня большевизм близок к смерти, но его конвульсии продолжаются.

Состояние российской демократии не хуже, чем у новорожденного младенца. Она так же слаба и уязвима. Она так же нуждается в защите. Но все говорит за то, что российская демократия, как и появившийся на свет ребенок, наделена немалым запасом жизненных сил. Ведь, в конце концов, она уже родилась. Дальнейшее зависит от нас...

4. Российская демократия и мир

Среди многих факторов, от которых зависит выживание и будущее демократии, я бы на одно из приоритетных мест поставил объективное воздействие на нее внешнего мира. Не только субъективное, выражающееся в политической и моральной поддержке, в рекомендациях и многом ином. Это позитивное влияние как раз наиболее очевидно и понятно, хотя и здесь есть вопросы относительно того, как именно, кому и в каких конкретных целях оказывать поддержку, чтобы наиболее выигрывающей стороной была демократия в России.

История, в том числе российская, говорит и о другом: демократия часто тонула не столько в чьей-то злой воле, сколько в пене столкновений и конфликтов, каждый из которых по отдельности не был чем-то катастрофическим, но все вместе образовывали среду, фатальную для демо-

кратии. Такова ситуация и сейчас на пространстве СССР, где разрастание конфликтов — и количественно, и качественно, — если их не остановить, будет иметь самые негативные последствия для судеб демократии не только в России, но и везде, где мы видим сегодня ее признаки.

Такой же может оказаться ситуация и в мире в целом, если только формирование постконфронтационной системы международных отношений, неконфронтационной цивилизации пойдет таким путем, когда конфликты станут разрастаться даже при очень малой интенсивности каждого из них.

Кроме того, еще сохраняется техническая возможность противостояния и изрядный уровень унаследованного от прошлого недоверия.

Мне кажется, настало время рассматривать процессы ограничения и сокращения вооружений, укрепления доверия не только с точки зрения снижения рисков и уменьшения экономического бремени, но и как одно из непременных условий углубления демократии на мировом пространстве.

Несомненна, на мой взгляд, взаимосвязь между демократией и национальным развитием. Успешнее всего развиваются демократические государства. Но и демократия наиболее прочна и стабильна в странах, ставящих развитие своей целью. Если это так в отдельных государствах, то, по-видимому, аналогичное правило должно действовать и для международной системы в целом.

Впрочем, если в мире сохранится примерно нынешнее положение, то и тогда демократия не станет еще господствующей в большинстве государств. А это означает, что сколь бы ни был весом и значителен поворот России к демократии, он не должен питать эйфорию. Вслед за победой с ее блеском и очарованием приходит рутина, приходят новые вызовы и новые задачи.

Десятилетиями западная система во многом жила тем, что противостояла коммунизму.

Одна из систем перестала существовать.

Но неизбежны новые испытания. Испытания на способность выдвигать новые цели развития в условиях, когда человечество вступает в эпоху неконфронтационной цивилизации, всеобщей перестройки.

Глава пятая

НЕИЗВЕДАННОСТЬ

Кроме всего прочего, схоластический спор «капитализм — социализм» при любом его теоретическом и практическом решении уводит в царство несвободы.

Получается, что выбор возможен только между этими двумя вариантами, а теперь даже меж ними нет выбора, если согласиться, что социалистический эксперимент исчерпал себя окончательно и бесповоротно. Внутри же каждого варианта тоже непонятно, в чем мог бы заключаться выбор.

Естественно возникает вопрос: почему, собственно, не может быть пути развития, иной судьбы? Тем более у такой страны, как Россия. На этой земле своя история и свои традиции у каждого народа, в чем-то переплетающиеся, но во многом и не совпадающие. Разный уровень экономического развития. Немаловажно и то, что и Россия, и Советский Союз испытали тот и другой общественный строй — оба оказались поверженными.

А это означает, что будет складываться какой-то новый, «третий». Вероятно, он впитает в себя все то, что уже вошло в образ жизни народов, в их психический склад, стало привычкой и традицией. Но и приобретет нечто современное, России пригодное, — конечно, при условии, что общественное развитие пойдет по пути естественности и здравого смысла.

Поиски «третьего пути» для России — модная тема. Этим занимались образованные славянофилы прошлого века, пытаясь проникнуть в тайны российского бытия, провести своего рода инвентаризацию неких особенностей характера русского человека, «загадочности» его души. Все это велось в основе своей на грамотном и достойном уровне.

Балуются такими поисками нынешние шовинисты, но уже в русле полуграмотных политических спекуляций. Объявив себя единственными патриотами и радетелями Отечества, они разжигают межнациональную рознь, всяче-

ски отделяя русских от других наций, натужно вытягивают из пальца «особость», «исключительность», «русскость», ниспосланные некими таинственными силами.

Шовинизм, национализм, антисемитизм всегда были политически прибыльным делом.

И жаль, что политические спекуляции на эти темы мешают спокойному и непредвзятому исследованию особенностей в развитии культуры тех или иных народов и государств.

Такие особенности есть и у России. Их не может не быть.

I.

XX век Россия начала бунтом против царского самодержавия. Тому много причин.

Разбуженные реформами 1861 года надежды не принесли ожидаемых результатов. Страна терпит поражение в русско-японской войне. Не пошли на пользу обществу и уроки революции 1905 года, столыпинские реформы тормозились и справа и слева. Бездарное ведение первой мировой войны унижало достоинство народа. Кризис власти и кризис экономики становились все более угрожающими.

Одним из следствий всего этого было феноменальное отчуждение режима от народа. Не только от бедных и обиженных, но и от многих представителей тех слоев, которые называли «третьем сословием», «средним классом».

Общественный кризис раскручивался на глазах, подобно тайфуну. Среди студенческой молодежи считалось просто неприличным не принадлежать к революционерам.

Режим был обречен. В дверь стучалась революция, которая должна была быть буржуазно-демократической. «Должна была», ибо в этом направлении побуждал думать политический опыт Западной Европы. Там, на Западе, новый, динамичный, накопивший силу и амбиции экономический класс требовал своего места и в политической раскладке власти. Итогом стало появление буржуазно-демократических государств как республиканского, так и конституционно-монархического толка. сегодня мало отличных друг от друга.

Иначе получилось в России. Революция февраля 1917 года была скорее результатом внутреннего разложения самодержавия, его отчужденности от общества, нежели следствием осознанной и целеустремленной стратегии новых сил. Ибо когда эта революция свершилась, произо-

шло невообразимое и непростительное. В стране не нашлось компетентной социально ответственной силы, которая была бы готова взять власть в свои руки во имя спокойной жизни народа, нормального повседневного труда.

Экономическая слабость и политическая вялость, гражданская незрелость нарождавшейся российской буржуазии не позволили ей удержать власть, по сути, случайно упавшую ей под ноги.

Эта власть валялась в грязи осенней распутицы, под холодным дождем октября и не была нужна никому из тех, кто был бы способен употребить ее хотя бы не во зло. Ни купечеству, ни заводчикам, ни усталым и обедневшим дворянам, ни равнодушному обывателю.

Лишь интеллигенция громко восторгалась переменами, пела гимны свободе, но не более того.

И мало кто думал, что безвластие удесятеряло страсть к власти у тех, кого нельзя было допускать к ней.

Все происходило второпях. Никто не предостерег общество, что верх в таких случаях берут правые или левые авантюристы, прикрывающиеся радикально-популистской фразой. И не столь важно, правые или левые, а важно, что авантюристы, исторические временщики, носители маргинального сознания. Политические перекати-поле, гонимые переменчивыми социальными ветрами.

Первыми испытали свой шанс правые. И когда корниловский путч провалился, наступил звездный час левых. К власти пришли сторонники социалистического эксперимента: большевики, меньшевики и социал-революционеры. Они по-разному видели путь и даже его конечную станцию. Им еще предстояло сцепиться друг с другом в смертельной схватке за революционную праведность, чистоту догм, а попросту — за власть. Но направление движения — социализм — не вызвало споров.

Это схема. За ней — жизнь страны, ее кровь, нищета, социальные конвульсии, гражданский раскол, многократные попытки реформироваться. И когда сегодня идет спор об итогах последних трех четвертей века, то итоги эти лишь в определенной мере предопределены большевистским переворотом 1917 года.

Почему демократический порыв революций, Февральской и Октябрьской, при всем их принципиальном различии оказался столь кратковременным, столь нежизнеспособным?

Почему именно демократический их потенциал никто всерьез не защищал?

Не хватило ума и опыта у революционеров?

Или же демократия пала под напором люмпенства, которое чем дальше, тем больше задавало тон в общественном жизнеустройстве?

Или же для демократии просто не было объективной основы, которую не давали ни феодализм, ни ранний купеческо-накопительский капитализм, ни сами революции, особенно вторая, отрицавшая все прошлое, и тот опыт пусть несовершенной, но демократии, что уже был накоплен в Западной Европе?

В разной степени действовали все эти факторы, как и многие другие. Они взаимно усиливали и дополняли друг друга.

Но главное все же в ином. Демократия — это цивилизованная форма человеческих отношений, разумное соотношение между управлением и самоуправлением, возможные лишь в обществе, не испытывающем катастрофических угроз извне или изнутри. В обществе с высокой степенью суверенности личности, уже вошедшей в политическую и общую культуру населения. Для общества, в котором у такой личности рациональности и здравого смысла в достатке.

Все это дается опытом многих поколений. И ни одно из этих условий не существовало в дореволюционной России.

II.

Соль преобразований, счет которым пошел с 1985 года, — демократия. Как и в прошлом, дело оказалось гораздо труднее, чем думалось. И сегодня она качается на ветру бушующих страстей, настроений, объективных обстоятельств, связанных с грузом прошлого и нынешним экономическим положением.

Само по себе это не должно разочаровывать: ни в одной стране мира, где есть работающая демократия, в момент ее рождения она не была и не могла быть такой, какой становилась потом, через десятилетия и столетия своего развития.

И у нас в стране немало образованных, рациональных, культурных людей, однако они еще не определяют тон в общественной жизни и содержание политики. Скажем так:

даже они далеко не всегда сами руководствуются здравым смыслом. Других же предпосылок демократии, и прежде всего экономического фундамента под суверенитет личности, пока нет.

Иными словами, Реформация пока еще имеет все шансы повторить судьбу многих прежних революций, вывести страну на новый виток авторитаризма, разумеется, вопреки ее собственным замыслам и намерениям.

Однако преобразования могут и разорвать этот замкнутый круг, если они защитят экономические свободы личности и ее суверенитет.

Это центральный вопрос всего исторического выбора страны, который определит жизнь не меньше чем двух-трех последующих поколений. Пока же демократия медлит, теряет время, упускает возможности.

После августовских дней 1991 года, когда реваншистские силы несколько и, как оказалось, временно притихли, в некоторых местах к власти пришли те, для кого демократия была лишь оппозиционной одеждой, и не более. А поскольку очередной этап острой и открытой конфронтации закончился, они быстро потеплели к консерваторам и повысили настороженность к бывшим союзникам — демократической прессе и демократическим деятелям первой волны.

Некоторые «демократы», оказавшиеся у власти после августа, без стеснения демонстрируют новый авторитаризм: административно-командную систему без партии, тоталитаризм без идеологии.

Как следствие, началась консолидация сил реванша. Необольшевики, неофашисты, псевдопатриоты, охотнорядцы, обслуживающие их писатели и журналисты вновь развернули, как и до августа 1991 года, мощную атаку на демократию, используя каждый ее промах, равно как и действительно тяжелое социально-экономическое положение в стране.

Бездействие властей, их растерянность перед наступлением фашизма обернулось кровавыми событиями в октябре 1993 года.

Позывы к демократии были и у революции в октябре 1917 года. Достаточно почитать документы, работы ее лидеров, другие материалы. Словесные декларации сохранялись и позднее.

Но народу был навязан противоположный строй — тоталитарный, адепты которого понимали, что демокра-

тия — это их смерть. Что любая, самая мелкая и незначительная уступка демократии обернется только потерями для режима диктатуры, а в конечном счете его политическим крахом.

Что, собственно, и произошло после 1985 года.

Даже Н. Хрущев, по разным причинам выступивший против сталинизма, хотя и в зауженном его толковании как режима личной власти, но не сталинизма как укорененной государственно-партийной машины, и не большевизма как насильственной идеологии и практики, как стержня и легитимации этой машины, — даже Хрущев испугался, ибо разоблачение сталинизма с неотвратимостью вело к пробуждению страны.

Итоги брежневской эпохи оказались предельно разрушительными. Сочетание морального террора с массированной коррупцией составило силу, мало с чем сравнимую по разлагающему воздействию на общество.

Но у коррупции была и политическая кислота, не оцененная режимом: в обществе постепенно рушился эффект социального страха.

Время и события объективно расчищали дорогу переменам. Это интереснейшее и совершенно не изученное явление: роза, вырастающая на помойке; демократия, пробивающаяся к свету не в результате долгой и трудной борьбы оппозиции, но из близоруких и самонадеянных действий коррумпированного тоталитаризма.

Известно, что и сам Джугашвили-Сталин, а за ним и его подручные держались сталинистско-большевистской позиции, когда людям через различные каналы разрешалось критиковать всех и вся, кроме сущности власти и ее высшего руководства. Нередко по итогам такой критики руководителей среднего уровня отрешали от должности, отдавали под суд проворовавшихся.

Тем самым создавалась достаточно прочная система, державшаяся не только страхом, но и спекулятивной справедливостью.

Разумеется, одновременно убирались и те, кто ставил под сомнение систему.

Рядом с критикой, которая служила делу запугивания всех нижестоящих, поощрялась и самокритика, то есть практика доносительства на самих себя. На все это был мобилизован колоссальный политический и надзорный аппарат.

Подобный достаточно отлаженный механизм позволял

спокойно существовать очередному режиму личной власти.

Перестройка попыталась прорваться к демократии как главной своей цели, изменив тем самым тысячелетнюю парадигму общественной жизни. По существу, был поставлен вопрос: возможен ли поворот к демократии общества, дошедшего еще только до понимания, не более, гуманистической и практической ценности демократии?

В чем-то такая постановка сродни Октябрю 1917 года — тогда общество тоже разворачивалось в совершенно новом для него направлении. Но тогда — к утопии, причем с негодными средствами. Сейчас к модели, достаточно известной в современном мире. Тогда не только были готовы к насилию, но и видели в этом благо для самого же общества — как в горьком лекарстве или хирургической операции. Сейчас насилие исключалось.

Сама идея перестройки давно бродила в умах интеллектуалов. Но начала претворяться в жизнь теми людьми, что принадлежали к высшему эшелону партийной иерархии. Потом они стали фактически оттесняться в сторону. Верх постепенно брали люди консервативных взглядов. Они укрепились у руля государства и правили вплоть до августа 1991 года.

III.

Реформация прошла несколько этапов:

— этап «улучшения», «совершенствования» социализма;

— этап эволюционных реформ, деформированных сопротивлением сил реванша и приостановленных экономическим путчем осенью 1990 года;

— этап застоя вплоть до августовских дней 1991 года;

— этап радикальных реформ и новой стагнации;

— этап после мятежа в октябре 1993 года.

Эти этапы различаются, среди прочего, и тем, какую роль на каждом из них играли или продолжают играть главные носители тоталитарного и реформаторского начал.

Вначале реформы не могли идти помимо КПСС. Тоталитарный строй можно было сломить только через его стержень — партию. В этом парадокс и уникальность Реформации в Советском Союзе. Это была неизбежность, но и беда. Реформы проводились лишь в той мере, в какой это позволяло сопротивление партаппарата.

С ликвидацией партийной монополии на власть, а позднее — с распадом КПСС и фактическим отстранением ее от власти были утрачены рычаги «революции сверху», они же и рычаги торможения.

Что же именно оказалось разрушенным и насколько это разрушение приблизило страну к демократии или же удалило от нее?

Как ни парадоксально, но из всего наследия сталинско-брежневской системы разрушенной оказалась только ее партийная часть. Притом наиболее сильно на крайних ее полюсах: в центре и на уровне первичных партийных организаций.

Среднее звено сохранилось де-факто благодаря тому, что на местах оно гораздо более тесно и непосредственно сплетается с реальной властью: как прежней, номенклатурной, так и новой, «демократической».

Во всем этом есть своя логика: партия, погнавшаяся за утопией, в том числе и за утопией реформы того, что само по себе было извращенным продуктом насильственного насаждения утопии, просто не могла не остаться у разбитого корыта.

Приблизило ли это страну к демократии?

Да, в том смысле, что были сняты мощнейшие ограничители на пути к ней: инквизиторское охранительство и догматическая зашоренность, устранены организационные структуры, которые все перечисленное охраняли, поддерживали, развивали.

Но само по себе все это — еще не созидание демократии. Это лишь потенциальная возможность, которой предстояло воспользоваться. Вопрос заключался в том, найдутся ли силы, готовые использовать открывшуюся возможность.

Такие силы нашлись, притом шли они, как мне представляется, с двух направлений. Одно — искренне демократическое движение «снизу». Оно было представлено людьми самого разного плана и уровня, преследовало десятки интересов, в том числе и противоположных друг другу, привело к формированию десятков партий, групп, политических движений; добилось для себя удивительных подчас успехов на местных и общенациональных выборах 1989—1990 годов. Но в целом не являло собой чего-то единого, пока не создало собственной программы реформ.

Другой силой стали носители государственного, а в наших специфических условиях это всегда неизбежно означает административно-командного, начала. Коль скоро вся собственность в стране в руках государства, ею невозможно объективно управлять каким бы то ни было иным

способом, кроме централизованного администрирования. И вопрос заключается лишь в том, где, на каком уровне станет располагаться такой центр.

В созданной Сталиным системе он мог, разумеется, быть только в одном месте — на уровне Союза в целом. В условиях перестройки окрепшие региональные субцентры не могли не выставить собственных требований и претензий.

Реформация стремилась изменить, сломать именно систему сталинизма, а значит, и ее прежний центр, который, почувствовав это, с января 1987 года выступил лидирующей силой антиперестройки. В той мере, в какой реформы дали позитивные итоги, они стали возможны только на основе как союза, так и противоборства между собой партийного и государственного начала в Центре.

Проиграли в итоге оба.

Такой проигрыш в практическом его выражении мог означать как минимум два исхода.

Первый — приход вместо прежней монополии КПСС новой системы политического плюрализма, парламентской многопартийности. Вместо командной экономики — экономических свобод при регулирующей роли рынка и правительства.

Другой — выдвижение неожиданной «третьей силы». Здесь-то и вышла на авансцену система Советов.

Формально политический плюрализм и многопартийность состоялись. Но новые партии были слишком малочисленны, слишком заняты самоутверждением, слишком неопытны и некомпетентны, чтобы в полной мере взять на себя ту меру власти и ответственности, которой располагала прежде КПСС.

Экономически старые хозяйственные структуры шли на что угодно, лишь бы не допустить становления новых форм собственности и хозяйствования, ни под каким видом не допустить экономических свобод граждан — этой первоосновы любой демократии.

Сложилось нездоровое противоречие: на поверхности общественной жизни бурлили, казалось бы, самые что ни на есть демократические вихри, потоки и водовороты. В действительности власть все более сосредоточивалась в руках тех, у кого были ресурсы и возможность распоряжаться ими.

С демократией эта власть имела мало общего, но и не считала для себя выгодным открыто выступать против

демократии или даже ввязываться в споры о ней: стихийный демократизм общественных процессов позволял этой власти успешно перераспределять вес и влияние в собственных структурах.

Шаг за шагом борьба между реформаторами и антиреформаторами в старом центре истощила всех и обрела патовый характер.

Как уже говорилось, осенью 1990 года у антиреформаторов забрезжил свет. Им удалось сломить Президента в стержневом вопросе — в экономике. Победа подвигла их к путчу, который взорвал патовое состояние.

На первый план закономерно вышел тот, кто сохранил к этому моменту власть и организацию: республиканские структуры.

Их ультранационализм, их стремление к государственной обособленности — уже не борьба против былого угнетения и притеснения, ибо всего этого не стало, «псевдоугнетатель» рухнул...

Ультранационализм и сепаратизм сегодня — объективно носители нового тоталитарного начала, только на ином организационно-политическом уровне.

После августа 1991 года перестройка полностью перешла к силам, практически не существовавшим на старте 1985 года; силам, которые политически оформились только в результате перестройки. Укрепившись, они сумели отразить и мятеж 1993 года, что имеет важнейшее значение для демократии.

Далее. Если раньше у демократии существовал своего рода концентрированный противник в лице старых структур КПСС, то теперь такого оппонента не стало. Это оказалось очень тяжелым испытанием, ибо демократия в полной мере вкусила плоды своей неорганизованности, разобщенности, взаимного отчуждения и острого дефицита новых идей.

Новые властные структуры очень часто не выдерживают искушения стать новыми монополистами, поддаются этому искушению — и не то чтобы нехотя, но подчас с неподдельным интересом.

Искушение монополией, реальной или потенциальной, всегда опасно. А в нашей стране и с учетом нашего исторического опыта — особенно. Если демократические силы повторяют опыт большевизма 1917—1918 годов, это станет проигрышем свободы и демократии. И, скорее всего, надолго.

Что же касается КПСС, то она, потеряв старые структуры (окончательно или на время, покажет будущее), фактически продолжает обладать влиянием на местном уровне, где правила игры авторитарной власти сохраняются почти в неприкосновенности.

Прикрываясь лозунгами обновления и национального суверенитета, локальные авторитарные структуры получают небывалые прежде возможности определять политику. В глазах общественного мнения они часто воспринимаются как нечто новое, как прямой результат перестройки, материализация ее надежд, как ее законные дети.

Лично я не верю в будущее благополучие народов, ведомых идеями национализма и сепаратизма.

IV.

На нынешнем этапе преобразований резко обострился и кризис легитимности, что напрямую связано с демократической перспективой страны. В латентном состоянии этот кризис тлел постоянно. Но сейчас он вспыхнул с особой активностью и, по-видимому, еще не закончен.

Реформы неизбежно подводили к этому кризису. Рано или поздно, но должен был встать вопрос: как далеко могут простираться перемены, осуществляемые в рамках законов прежней системы?

Возможно ли в принципе изменить систему во всех важнейших ее частях, опираясь на законы и порядки самой этой системы?

Здесь как раз и возникло противоречие, которое привело к кризисному состоянию отношений между законодателями и правительством. Президент России и Правительство оказались зажатыми старыми законами, мешающими радикальным переменам. Советы, созданные в основном еще на номенклатурной основе, встали на защиту старых законов, видя в них гарантию своего существования.

Таким образом, на деле проблема легитимности оказалась гораздо глубже и серьезнее, чем это представлялось. Она привела к двоевластию, с которым покончено только в 1993 году.

Все это не должно, на мой взгляд, ни удивлять, ни разочаровывать. Было бы, по меньшей мере, странно ожидать, что века авторитарного произвола отойдут в прошлое по мановению волшебной палочки, не только не сопротивляясь, но и не оставив после себя никакого наследия.

Анализируя перспективы демократии в России, видимо, неверно концентрировать внимание только на том, что связано с политической жизнью в последние десять или даже девяносто лет.

Известно, что реформаторские начинания происходили в истории России достаточно часто. И тем не менее до демократии всегда оставалось достаточно далеко.

В чем же дело? Или правы те, кто причину причин видит во взаимном отторжении национального характера и демократии?

Не могу с этим согласиться.

Национальный психический склад имеет свое значение с точки зрения формирования устоев жизни. Но признать его причиной антидемократических бед и зол значило бы отыскать очередного виновного. Только теперь уже не человека, не социальную группу, не класс, как бывало до сих пор, а разом весь народ.

Конечно, если страна веками соскальзывает к авторитарным формам общественной жизни и делает это в разные исторические эпохи, при разных правителях и даже при разных общественно-экономических системах, значит, есть в обстоятельствах жизни ее народов нечто такое, что выделяет, питает, делает предпочтительной или более вероятной именно данную тенденцию, придает ей устойчивость.

Это «нечто» — в размерах страны и тяжестях ее социального освоения.

Огромная территория, относительно низкая средняя плотность населения, сложные климатические условия — все это серьезно затрудняет создание надежной сети коммуникаций, идет ли речь об обычных дорогах или же современных видах связи.

Но демократия не может жить без таких коммуникаций, ибо демократия — это прежде всего развитость всех форм общения.

С этим связана проблема физического разрыва между центром и местами, имея в виду не столько даже расстояние между Москвой и окраинами, сколько между селами или аулами и районными центрами.

Собственно во всем этом заключена объективная полезность самого центра, исток его нужности другим, а не только самому себе.

Но когда до ближайшего центра 200, 300, а то и 500 километров плохих дорог или бездорожья, то просто

с практической точки зрения воспользоваться его защитой оказывается нелегко. А это создает значительные возможности для произвола.

По-особому стоит и проблема централизации. На первый взгляд, широкая территориальная экспансия при низкой плотности социального освоения территории объективно способствует как раз децентрализации.

Но в таком случае шел бы распад страны на региональные единицы. В истории России было и такое, что обычно сопровождалось междоусобными раздорами, войнами, смутами. Если, однако, единство страны сохраняется, то его поддержание само по себе требует в этих условиях высокой меры централизации и гораздо большей ее жесткости, чем это было бы в иных обстоятельствах.

Все эти факторы для России действительно внеисторичны и, по-видимому, определяют ее политико-культурную специфику в большей мере, чем это осознавалось и признавалось до сих пор.

Развитие свободного рынка в какой-то мере сгладит их действие, но не сможет отменить совсем. Тем более рынок не обязательно влечет за собой демократию, он может уживаться и с самой жесткой диктатурой.

Демократия требует реалистического учета всех этих и других подобных факторов. В противном случае она рискует превратиться лишь в еще одну умозрительную гипотезу, которая неизбежно дискредитирует связанные с ней ценности.

Мне, например, трудно представить, что в стране столь широкого многообразия культур и условий, особенно в период разбухающего пока национализма, демократический процесс будет развиваться одинаково во всех регионах. Ожидать подобного было бы неразумно.

Исторический опыт России уже многократно показывал: сама попытка добиться униформности на столь обширном и разнородном пространстве обрекает любую идею, даже самую здравую и своевременную, на провал, а людей — на страдания.

Извечный вопрос: как же быть?

Пока что причин для восторгов тут мало. Заметная часть людей все еще высказывается в пользу жесткого лидера, командных методов отправления власти. Тяжелые социально-экономические условия повышают внимание и тягу к реваншизму.

В этих условиях лишь многообразие форм демократии способно обеспечить стабильность развития России.

Наша еще, по сути, эмбриональная демократия более всего уязвима сейчас из-за отсутствия честной, профессиональной и сильной исполнительной власти, которая действовала бы строго в рамках закона и демократического общественного контроля.

Такую власть все еще часто путают с авторитаризмом или же «твердой рукой». Однако здесь нет даже внешнего сходства. Верно, что на Руси авторитаризм и «твердая рука» всегда вырождались в бюрократизм, коррупцию и казнокрадство, а главное, в худшие формы государственного насилия над человеком. Но происходило это только потому, что над высшей властью не было контроля — ни человеческого, ни Божьего.

Исполнительная власть в условиях демократии действует в системе разделения властей, над ней — власть судебная, права человека, избирательная система.

Сегодня одни силы препятствуют становлению сильной исполнительной власти, искренне опасаясь возврата к авторитаризму, возрождения диктатуры. Другие же, отлично зная и понимая, о чем идет речь, в становлении сильной исполнительной власти видят угрозу себе, своим авторитарным привычкам и замашкам, а поэтому стремятся не допустить появления такой власти.

Идея демократии, по крайней мере, в последние полтора века тесно переплетена с широким кругом идеологических, политических, культурных и иных вопросов, связанных со взаимоотношениями по линии Россия — Европа, а в последние 70 лет еще и Восток — Запад. Европа всегда привлекала гражданski мыслящую часть российского общества прежде всего именно тем, как решался в ней вопрос о положении человека в обществе, о взаимоотношениях личности и государства.

Вовсе не хочу тем самым утверждать, будто все в Европе обстояло превосходно, могло служить эталоном. Череда европейских революций, восстаний, внутренних и международных войн свидетельствовала об обратном.

Но по отношению к России Европа на протяжении, по крайней мере, нескольких последних веков оставалась определенным ориентиром. Немало способствовала этому и ставшая традиционной практика укрытия российских инакомыслителей в Европе.

В течение достаточно продолжительного времени все

европейское оказалось слишком тесно связанным с российским двором и высшей знатью.

С другой стороны, именно с Европой связаны на протяжении последних 600 лет российские войны. Образовался водораздел религиозный — между католичеством и православием, притом постоянно пребывавший в возбужденном, болезненном состоянии.

Заимствования у Европы — иногда оправданные, но негодно осуществлявшиеся, а иногда и крайне неудачные — чередовались приступами антиевропеизма. Парадоксом в этом отношении стал перенос на российскую почву марксистского учения, что привело в конечном счете к резкому противостоянию с Западом по всем линиям.

В результате в массовом сознании сложился предельно зауженный выбор: капитализм или социализм.

Если социалистический эксперимент закончился неудачно, значит, надо вернуться назад, к капитализму. Если капитализм, то все должно быть как на Западе, потому что Запад и есть капитализм. Демократия — одна из характеристик Запада, а стало быть, и капитализм. И так далее.

Самое прискорбное, что подобным образом рассуждают вовсе не одни только малопросвещенные политические младенцы. Но и люди думающие, немалое число искренних сторонников обновления.

V.

Единый, целостный мир может быть только сообществом разнообразий. Иначе — деградация.

Даже то, что мы по инерции называем еще сегодня «капитализмом», на деле являет собой широкое многообразие культур, конкретных экономических, политических, правовых решений. Две стороны Атлантики — вовсе не близнецы. Если же ввести в это уравнение Японию, различия будут еще более существенными.

Неисповедимы пути истории, но все же рискну сказать: в России будет складываться какой-то новый, «третий» уклад жизни.

Хочу подчеркнуть: во-первых, постановка вопроса о третьем пути развития продиктована вовсе не психологической блокировкой капитализма, оставшегося в одиночестве после поражения того «социализма», который мы знали. Дело не в субъективных предпочтениях.

Сегодня, когда мир столь тесен и прозрачен для наблюдения, когда при жизни одного поколения происходят

серьезные перемены в самых разных странах, становится предельно очевидным, что социальная культура как явление обладает множеством параметров — политических, экономических, территориальных, демографических, иных. Что она в принципе может сочетать их между собой самым разнообразным и причудливым образом. И что всевозможные интеграции, становление «мировой деревни» не снимают проблемы множественности культур, а в чем-то и придают этой множественности новые силы и возможности. И что множественность эта не умещается в жесткие рамки любой теологической классификации.

Никогда в истории не было какого-то очищенного капитализма, целиком отрицающего образ жизни и экономические уклады предшествующей эпохи. Чистый капитализм — это такая же выдумка, как и чистый коммунизм.

В равной мере ни в одной из «социалистических» стран мира не удалось целиком разрушить исходные фундаментальные основания общественной жизни, предпосылки человеческого общежития и рациональной экономики. Если бы это удалось, то жизнь просто бы иссякла.

Отсюда второе: в моем понимании «третий путь» — не нечто среднее между социализмом и капитализмом, как бы мы ни определяли то и другое. И не их механическое соединение, даже не конвергенция. Это множество возможных путей, объединяемое между собой только тем, что не содержит стремления втиснуть это множество в искусственную схему, загнать — в теории или на практике — в предельно узкие идеологические рамки.

Третий путь — не новая попытка выйти за пределы истории, за пределы возможного. Напротив. Речь идет о максимальном использовании фундаментальных, проверенных историей, оснований общественной жизни, культуры. Речь идет о наиболее целесообразном и эффективном в сложившихся условиях пути развития общества, об ориентации на гуманистические ценности.

Речь идет не о новом строительстве на этот раз капитализма, а об освобождении придавленных большевизмом стимулов труда, творчества, полнокровной духовной жизни.

Речь идет о мотивации всего живого, сохранившихся традиций, многообразия культур, чувств и страстей, на которых держится и развивается социальная жизнь.

Россия призвана найти свой собственный путь возрождения структур и ценностей гражданского общества.

Только в этом смысле я говорю о российском пути развития.

Человек везде человек. Путь к благосостоянию, достатку и социальной защищенности, к процветанию семьи, государства везде один и тот же — это путь свободного труда и демократии.

Только бы и на сей раз, выстраивая жизнь на Руси, не погнаться за новыми утопиями и их пророками, а довериться собственному здравому смыслу.

Глава шестая

НОВАЯ РОССИЯ И ЗАПАД

Вступление России в сообщество демократических стран способно повлиять на положение демократии в мире в целом. И задумываясь сегодня о будущем демократии в России, я прихожу к заключению: шансы на благоприятный исход существенно возрастут, если Россия будет включена в качестве равноправного партнера в систему мирового развития.

Всякая дискриминация России вновь и неизбежно деформирует международные отношения, приведет к новой конфронтации.

События, связанные с перестройкой в СССР, застали мировое сообщество врасплох. Идеологические штампы, которыми была пронизана советология, доминировали над научными оценками. И до сих пор инерция взглядов мешает выработать последовательную и ответственную, рассчитанную на перспективу, политику в отношении России. Эта политика остается в значительной мере выжидательной, а где-то и равнодушной.

Еще нет объемного и глубокого понимания того, что Реформация в СССР и России по своим историческим масштабам имеет общемировое значение, особенно с точки зрения формирования облика XXI века и постконфронтационной цивилизации в целом.

Ключевой вопрос сегодня: куда идет Россия?

Россия и сама еще этого не знает.

Различные политические силы дают разные ответы, вплоть до взаимоисключающих. Кроме того, даже предельная ясность намерений еще не гарантирует правильного ответа.

Гораздо яснее другой вопрос: от чего уходит Россия?

Но и здесь существуют не просто разные точки зрения и позиции, а идет ожесточенная борьба — политическая, экономическая, духовная — вокруг того, что из наследия является неприкосновенным, а что должно быть отринуто.

Однако могу сказать определенно: рынок в России будет. Хотя бы потому, что государство поняло: ему не под силу заниматься всем — от космоса до сапожных мастерских. Оно должно сосредоточить в своих руках наиболее важное, все же остальное — отдать. Но отдать можно только на рынок, и никуда больше.

Каким он станет, диким или цивилизованным, иной вопрос, но Россия в конечном счете будет страной с нормальной экономикой.

Станет ли Россия также и демократией?

Здесь есть место для сомнений, по крайней мере, на видимую перспективу.

Далеко не все в России рассматривают демократию как ценность. Но и те, кто смысл преобразований видит в построении устойчивого демократического общества и государства, тоже могут оказаться жертвами обстоятельств. Да к тому же и демократический блок никак не может найти общую платформу.

Тут некого винить. Такое положение естественно для общества, вступившего на путь глубоких перемен. Оно скорее влекомо ходом событий, чем контролирует их. В такие моменты нормальны спады, душевные метания, эмоциональные всплески, растерянность и разочарования. Но главное — Россия уже определила доминирующую траекторию развития.

I.

На Западе, по моим наблюдениям, пока нет серьезного понимания того, что произошло и происходит в России. То ли потому, что политики поглощены внутренними делами, то ли действительно есть там силы, которые увидели в российском кризисе всего лишь облегчение для себя. Так или иначе, но четкой политики, основанной на реальных оценках происходящего, у Запада нет, что не свидетельствует о дальновидности творцов стратегических концепций, если таковые имеются.

В западном мире нет ясного понимания того, что без Реформации в СССР человечество было бы обречено или на ядерную смерть, или на постепенное истощение демократических ресурсов и ценностей. Реформация прервала движение к мировому авторитаризму в той или иной его форме.

В чем тут дело?

Реформация центральную свою задачу видела в том,

чтобы разорвать более чем тысячелетнюю парадигму насилия как стержня государственной и политический власти в России.

Не берусь судить о том, насколько и в какую сторону выделяется Россия среди других стран по степени повседневного и структурного насилия. Свою горькую чашу испили все народы.

Но если гнет, репрессии, несвобода сохраняются веками; если, отбросив прошлое, начинают строить принципиально новое общество социальной справедливости, а кончают тем, что воспроизводят худшие черты и качества прошлого, выводят несвободу на небывалый в истории уровень, — значит, надо адресоваться прежде всего к истокам и причинам подобной жизнестойкости насилия.

Не поняв их, нельзя будет опрокинуть эту трагическую цикличность российской истории, где периоды реформ нечасты, а реакционность власти стала чуть ли не обычным состоянием и ее самой, и страдающего общества.

Но понять что-то можно только в обстановке свободы информации. Вот почему Реформация сделала упор на гласность: ее стратегический смысл виделся в том, чтобы общество смогло увидеть себя в нормальном, а не в кривом зеркале. Вот почему она стремилась утвердить права и свободы человека, особенно экономические.

Она ставила своей целью создание гражданского общества и правового государства, причем именно в данной последовательности, чтобы общество встало, наконец, над государством, подчинив его своим интересам и потребностям.

Реформация делала упор на постепенный переход к новым принципам государственности, которые позволили бы не только сочетать суверенитет с сохранением федеративного Союза, но и провести реформы в стране, где сопротивление им — это было заметно с самого начала — неизбежно будет весьма долгим и значительным.

Полагаю необходимым упомянуть, что автор этих строк стоял за конфедеративное устройство Союза.

Реформация делала упор на общечеловеческие ценности, понимая, что только они способны будут объединить общество, столь разное по национальным, религиозным, культурным, политическим и многим иным признакам, если общество стряхнет с себя тяжелый груз большевизма и его структур.

И наконец, она твердо встала на путь разрыва с конфронтационной системой международных отношений.

Такова была в основном философия и социально-политическая стратегия Реформации.

Она разделялась далеко не всеми. Больше того, сопротивление фундаменталистского крыла в Политбюро и в других организационных структурах КПСС во многом деформировало эту программу, но главное все же состоялось: народы СССР обрели независимость и личную свободу.

Оставляю сейчас в стороне обсуждение того, не был ли изначально идеалистичен, даже утопичен сам замысел перестройки; поддавалась ли реформам, и если да, то каким, система советского социализма; и многие другие, интересные и очевидные вопросы, производные от этих, либо так или иначе с ними связанные.

Важно иное. Отказ от насилия позволил начать процесс общественных перемен, вопреки яростному сопротивлению многих сил. Процесс, имеющий общемировое значение.

Экзамен на искренность намерений и действий в этом смысле перестройка сдала успешно, хотя и не без серьезных издержек.

Напоминаю об этом для того, чтобы обозначить точку отсчета для последующих рассуждений.

На мой взгляд, главная особенность сегодняшних реальностей в духовной и политической сферах заключается в том, что проблема разрыва с многовековым авторитаризмом сужена до разрыва с большевизмом.

Большевизм действительно преступен, но только ли в нем дело?

В октябре 1917 года рассуждали просто: скинем царя, помещиков и капиталистов — и все проблемы решены, завтра заживем по-новому.

Теперь: скинем большевиков — и снова все проблемы решаются сами собой, опять начинается новая жизнь.

Внешне жизнь действительно всякий раз оказывалась новой. А по существу?

Перед октябрем 1993 года ситуация в стране сложилась весьма противоречиво, причем гены насилия могли одержать верх даже без таких внешне потрясающих событий, как путч, переворот и прочее. А тихо, незаметно, даже в согласии с демократическими процедурами.

Вероятность такого исхода была весьма высокой. Но жажда немедленной власти торопила реставраторов. Амбиции замутили разум. Состоялся скоротечный мятеж генералов, убивший ползучий реванш.

Если перестроечный Советский Союз стремился порвать

мирным путем с тысячелетней парадигмой насилия, то нынешняя Россия стремится прежде всего уйти от большевизма, порвать с ним. Считаю, что первое было наполовину иллюзией, а второе — прагматическая и вполне доступная задача.

Но это далеко не во всем совпадающие ориентиры того, куда пойдет и к чему может прийти страна.

Предреволюционная Россия была авторитарной. К началу XX столетия самодержавное правление исчерпало себя, что и нашло свое выражение в революциях и военных поражениях.

Отрицание авторитаризма привело к загадочному капризу истории: к утверждению большевизма — этой российской формы фашизма, повивальной бабкой которого стало тотальное насилие, сопровождаемое ложью конечных идеалов. Муссолини и Гитлер тоже говорили о социализме.

Сегодня в России дня не проходит без обсуждения проблемы отечественного фашизма: насколько и чем он силен, в чем сходство, в чем различия между современным российским обществом и Германией 20—30-х годов, может ли прийти фашизм в России к власти и когда?

Опасения небеспочвенны.

Аналогии с Германией в чем-то полезны, они помогают обострить восприятие, помогают понять, что суть российской Реформации — не просто преодоление режима личной диктатуры, а отвержение той формы фашизма, которая носит название большевизм. Тогда все остальное становится на свои места. Тогда понятна и точка отсчета, очевидна исходная позиция.

За время, прошедшее с весны 1985 года, в центре политической борьбы в СССР, а потом России оказывались разные проблемы. Соответственно менялся и состав сил, которые определяли ход событий, направление поворота в каждой следующей узловой точке.

Вначале это было противоборство, прежде всего в КПСС, между реформаторами и партийной ортодоксией. Потом добавилось напряжение между партией и прежним государством, то есть союзным Центром, отлично понимавшим, что когда будет сломлена стена внутрипартийного сопротивления реформам, настанет очередь стены государственно-бюрократической, прежде всего центральной. Затем Центру пришлось вести борьбу с нарождающейся самостоятельностью республик, и прежде всего самой большой и

мощной из них — Россией, без которой Союза не могло быть.

В драматические недели августа — декабря 1991 года противоборство на каждой из этих линий достигло кульминационной точки. Победительницей оказалась Россия, точнее, властные структуры российского центра.

Эта победа заметно перетасовала политическую элиту, изменила положение отдельных лиц и групп внутри ее. Но в целом элиту оставили в неприкосновенности.

Как и почему это произошло и что из этого вытекает для перспектив российских преобразований?

С отстранением от власти КПСС, при ликвидации ее центральных структур и фактическом самороспуске первичных организаций состав управленческой, хозяйственной, военной и прочей элиты страны не претерпел принципиальных изменений.

Да, произошли перемены персональные, появились новые лидеры, элита помолодела.

Однако не только костяк элиты, но абсолютно подавляющую ее часть составляют люди, входившие в прежнюю номенклатуру партийных, советских, государственных органов разных уровней, занимавшие в номенклатуре КПСС высокое и высшее положение.

Фактически они как класс или социальная группа обрели после августа — декабря 1991 года более весомую реальную власть.

Пополнение элиты особенно заметно в политической сфере. Однако новопришельцам трагически не хватает социальной и политической базы: назначали их или избирали не столько по личным достоинствам или политическим взглядам, а скорее как альтернативу официальным кандидатам.

Что же касается нового слоя собственников и частных предпринимателей, он имеет пока мало общего с аналогичными социальными группами на Западе. В российской печати проскальзывала цифра, что частных предпринимателей в стране уже около четырнадцати миллионов.

Не знаю, кто и как их подсчитывал. Но является фактом, что государственная собственность продолжает доминировать, а частный сектор развивается слабо.

Надо учитывать и то, что ни до перестройки, ни к моменту распада Советского Союза не было массового демократического движения, из которого сейчас могла бы выкристаллизоваться новая элита. Я не говорю о причинах, просто

констатирую факт. Практически нет такого движения и в настоящее время, когда вроде бы исчезли политические и правовые преграды для его возникновения.

Отсюда, разумеется, не следует, будто страной по-прежнему управляет КПСС. Нет, не КПСС, но прежняя номенклатурная элита продолжает играть первую скрипку в экономике и политике. Она воспитана в прежнем обществе, в духе приказного единомыслия, в партийной среде, и это конечно, сформировало определенный менталитет, выскочить из которого очень трудно.

Когда Указом Президента России были распущены партийные структуры и приостановлена деятельность КПСС, лишь единицы из этих людей выступили против этого решения. Так что на первом плане оказалась мотивация прагматическая, а вовсе не идеологическая. То же самое произошло и в октябре 1993 года.

Эта мотивация диктует сейчас обострение политической борьбы вокруг вопросов собственности и власти. За власть спорят как по «вертикали», так и по «горизонтали». Хочу повторить, что при всей драматичности этой борьбы и ее последствий она идет именно внутри прежней элиты, несколько разбавленной новыми людьми, а отнюдь не между старой элитой и демократическим вызовом ей «снизу». Такого вызова попросту не существует.

По «вертикали» идет борьба за распределение властных полномочий и за право распоряжения ресурсами между новым, теперь уже российским, Центром и автономиями и территориями, входящими в состав Федерации.

По «горизонтали» — тяжба между исполнительной и законодательной властями, а на территориальном уровне — борьба регионов за равноправие.

Правомерен вопрос: почему национальная республика с меньшей численностью населения, в которой к тому же титульное население составляет часто меньшинство, пользуется в отношениях с центром большими правами, чем область с более многочисленным населением, часто с более внушительным экономическим потенциалом, но не имеющая статуса национального образования?

В такой ситуации, если ее не поправить, неизбежны дальнейшее падение авторитета власти, правовая неразбериха, война законов и суверенитетов, соперничество политических и личных амбиций и просто положение, когда одна рука не знает, что делает другая.

Поэтому с огромным трудом выстраиваются любые линии подчинения и контроля.

Положение России осложняется и тем, что в недавнем противоборстве с Союзом, из которого она вышла победительницей, Россия опиралась и на поддержку местнических, сепаратистских тенденций. Ее политики говорили местным руководителям: забирайте себе столько власти, сколько сможете взять. Имелось в виду — забирайте у прежнего союзного Центра. Идея привилась не сразу, но привилась, и в сегодняшней России у нее больше сторонников, чем во вчерашнем Советском Союзе.

Союзный Центр, в свою очередь, тоже вел свою игру с местными властями России, всячески подзуживая их на борьбу с российским руководством.

Есть и еще одно обстоятельство. Политическая борьба определяется не только амбициями личностей. Поскольку большинство из новых политиков были избраны не на собственной базе, а голосованием против кого-то или чего-то; поскольку эту собственную базу до сих пор непросто нащупать и организовать, то в этих условиях политик остается в силе, пока он борется. Неважно или не так важно, с кем и за что: важно, что борется.

Нечто вроде велосипеда, который не падает, пока едет.

Исход борьбы за власть в принципиальном плане еще не определился. И это естественно, потому что вопрос о власти не может быть решен в отрыве от вопроса о собственности: что, кому и на каких правах принадлежит.

Крупная собственность просто не успела появиться в России. Не было для этого условий. Строго говоря, их нет и сегодня, доказательство чему — отлив капиталов из России. Логика отечественного частного бизнеса, будь он честный или криминальный, в этом отношении одинакова: вывозить максимум возможного, ибо в стране нельзя быть уверенным в сохранении обретенного капитала: из-за масштабов инфляции, по политическим, правовым, социальным причинам. Поэтому путь к действительно крупной собственности сегодня один — через государственные структуры. Вопрос лишь в том, что выгоднее будущему собственнику:

— оставить недвижимость полностью в государственной собственности и стричь купоны со своего служебного положения;

— постараться добиться для себя права и свободы распоряжения государственной собственностью, чтобы риски

были на государстве, а прибыли шли преимущественно распорядителю;

— полностью взять собственность у государства?

Процессы приватизации идут пока слабо. И сейчас это связано уже не только с административным сопротивлением. Масштабы инфляции, по сути — гиперинфляции, делают бессмысленным вложение средств в производство. Масштабы коррупции и преступности отталкивают от частнопредпринимательской деятельности основную массу честных граждан, которые были бы готовы что-то производить, но не перепродавать.

Поэтому частный сектор развивается преимущественно в сфере товарных и финансовых спекуляций.

В результате столкнулись три концепции рынка, три взгляда на то, каким ему быть, идущие из сферы собственно экономики (к ним нередко добавляются различные внеэкономические соображения).

В частном секторе есть заинтересованные в становлении нормального рынка некоего усредненно-западного образца (но не во всем этом секторе, потому что многие его компоненты фактически паразитируют на государственных структурах и государственной неразберихе и заведомо обречены на провал в условиях нормального рынка).

Есть заинтересованные в том, чтобы это был рынок монополий, всячески им благоприятствующий и их защищающий.

И есть те, кто прежде всего заинтересован в защитном «зонтике» государства. Они уже не настаивают, чтобы этот зонтик имел прежние госплановские формы, согласны и на то, чтобы он был облачен в рыночные одежды. Главное, чтобы государство давало деньги и заказы, брало на себя риск, обеспечивало сбыт, то есть по сути гарантировало бы непотопляемость предприятия.

На эти интересы накладывается требование социально ориентированного рынка.

Поэтому выбор в пользу конкретной модели рынка определится, в частности, той мерой ответственности, которую захочет взять на себя государство в социальной области и которую сумеют ему навязать общество в целом или отдельные его группы.

Повторю еще раз: рынок в России будет. Вопрос лишь в том, какой именно. Уверен и в другом: заведомо исключено механическое возвращение назад. Там общество уже было.

Однако в мире существовали и существуют десятки госу-

дарств с вполне рыночной экономикой, но с жесточайшими авторитарными, диктаторскими, фашистскими режимами.

В конце концов, рынок — не самоцель. Рынок — всего лишь наиболее рациональное на сегодня средство организации хозяйственной жизни общества. И при всем его значении главное все-таки — качество самого общества, качество жизни.

Как же соотносится все это с перспективами демократизации в России?

II.

Внешне сегодняшняя Россия — страна редкостной свободы. Можно практически все. Даже то, что в традиционных демократиях Запада обычно не разрешается по моральным или этическим соображениям.

Можно оскорблять любую власть, травить любого деятеля, призывать к ненависти, расизму, антисемитизму, взаимному уничтожению, насильственному свержению власти, гражданской войне.

Можно все это публиковать, распространять на любом углу, высказывать с трибун собраний.

Можно собираться на митинги, основывать любые партии и, практически, даже не регистрировать их.

Можно открыто готовить и посылать за рубеж террористов и при этом даже ничем не рисковать.

Казалось бы, может ли «свобода» быть полнее?

Но это не свобода. В русском языке есть для этого гораздо более точное слово: вольница. Об этом я уже писал выше.

Вольница политическая есть, а законной экономической свободы еще нет. Частная и личная собственность, по существу, еще уязвима перед возможностью произвола или некомпетентности власти. Не отменены многие законодательные положения, особенно в уголовном праве, несовместимые с нормальным рынком, экономическими правами и свободами, частной собственностью. И наоборот, эти новые и необходимые для российского общества явления еще крайне слабо защищены законом, и совсем плохо — административно. А это, помимо прочего, означает, что под российской демократией нет главной опоры — надежной экономической базы.

Конечно, отсюда не следует, что шансы демократии в России минимальны.

Но в чем я вижу угрозы?

Первая и главная очевидна. Нынешняя социально-экономическая дестабилизация, гиперинфляционный экономический кризис выгодны прежде всего коррумпированным слоям, преступности и, в более отдаленной перспективе, тем силам, что рассчитывают прийти к власти на развале экономики, страны и общества.

И дело не только в том, что подобные расчеты небеспочвенны, что появление нового тоталитаризма в России не может быть исключено при тех социально-экономических тенденциях, что есть сегодня, и которым всерьез мало кто пока противодействует.

Гораздо опаснее то, что параллельно происходит дискредитация самих понятий «реформа» и «демократия».

Другую серьезную угрозу демократии я вижу в том, что государство продолжает, по существу, держать человека и общество в надежной крепостной зависимости от себя. Оно никак не может согласиться с тем, чтобы человек и общество встали над государством.

Вернемся к началу перестройки, в середину 80-х годов.

Тогда, на первых этапах, совершенствование социализма ставилось во главу угла. Но и тогда для многих было ясно, что на пути преобразований даже в этих рамках неизбежно встанут две силы:

— партаппарат с его идеологической ортодоксальностью и политической косностью;

— военно-бюрократический аппарат государства с его разветвленными и мощными связями и интересами, особенно в хозяйственной сфере.

Партаппарата сегодня нет.

Но вторая сила, по меньшей мере, вдесятеро многолюдней и лучше, укоренена. Она уже одержала ряд побед.

Государство рассчитывает, видимо, решить еще три задачи.

Оно надеется сбросить с себя и переложить на места определенные отрасли хозяйства и те виды социальной ответственности, которые отягощают его деятельность морально и экономически. Но регионы будут этому отчаянно сопротивляться.

Государство надеется восстановить управляемость экономики, прежде всего тех отраслей, которые останутся в его собственности. Принцип прост: выживает лишь тот, кто получает государственную поддержку в обмен на выполнение определенных условий.

Оно надеется также поставить под надежный контроль частный сектор, действуя по той же логике.

Таковы, как я думаю, надежды и расчеты.

Риск огромен, потому что надежных средств контроля дальнейшего спада производства пока не существует. В этих условиях подобная стратегия — если это действительно стратегия — не что иное, как экономическая «русская рулетка».

И потому, что иллюзия «контролируемой дестабилизации» объективно открывает перспективы такого роста коррупции и преступности, справиться с которыми только демократическими и правовыми методами будет тоже невозможно.

И потому, что из-за спины борющихся сил может выскочить какая-то третья, и вряд ли она будет демократией.

Наконец, риск огромен еще и потому, что на карту поставлено доверие людей к власти, политике и политикам. Отказ в доверии, если он произойдет, может в условиях России породить социальную анархию, на фоне которой приход самого жесткого режима будет воспринят как благо.

Таковы, на мой взгляд, основные угрозы российской демократии.

Но у нее есть и свой актив, достаточно весомый.

Демократия нужна прежде всего самой элите. Выбор тут небольшой. Я уже писал об этом.

Либо для урегулирования своих внутренних разногласий и противоречий она сумеет найти демократические пути, средства и методы.

Либо старые структуры навяжут свою волю через парламентские голосования и чиновничество.

Либо внутриэлитные противоречия выльются в гражданскую войну.

В то же время, если проанализировать основные тенденции общественно-политической жизни, то нельзя не заметить, что происходит постепенная изоляция крайних позиций, как правых, так и левых, и выделение того, что в условиях Росссии правомерно было бы признать политическим центризмом.

Пока это еще не традиция политического центризма, столь необходимая для обеспечения конструктивности парламентаризма, но первые ростки возможного формирования такой традиции, возможно, в форме развития социал-демократизма.

Противоборство исполнительной и законодательной властей постепенно и неизбежно выведет на нормальную систему разделения властей: не надо забывать, что как чисто исполнительная, так и сугубо законодательная власть в России находятся еще только в процессе становления и нередко влекомы манией администрирования, столь знакомого для нашей истории.

Заметное нарастание равнодушия людей к политике — тоже не обязательно тревожащий симптом. По-видимому, достаточно высокий уровень такого равнодушия — признак в общем-то нормального положения в обществе, если при этом не происходит каких-то массовых выражений категорического неприятия существующего положения дел.

Ожидать народного удовлетворения было бы в создавшейся обстановке верхом утопизма. Радоваться этому равнодушию, приветствовать его — тоже странно. Понять стоящие за ним причины — гораздо важнее.

Различные опросы показывают: люди продолжают считать преобразования в России необходимыми, они заняты личными делами, то есть ищут свое место в новой системе складывающихся в обществе отношений.

III.

Правомерен подход, при котором внутренние события — особенно если они носят драматический характер и происходят в значимых для мировой политики странах — рассматриваются другими членами международного сообщества с точки зрения их собственной национальной безопасности. В нашем тесном, взаимосвязанном и взаимозависимом мире это и необходимо, и неизбежно.

Представляется, однако, что когда идет речь о политике Запада в отношении российских реформ, хотим того или нет, мы объективно выходим за пределы только национальной безопасности сторон и только двусторонних или многосторонних отношений.

Во-первых, потому, что проблемы безопасности, строго говоря, могут решаться по-разному, в том числе и вне всяких связей с демократией. СССР не был демократическим государством, но по ряду вопросов удавалось договариваться. Достигнутые соглашения выполнялись. Они и сегодня позволяют идти дальше, например, в сфере ограничения и сокращения стратегических вооружений.

Во-вторых, вполне допуская, что могу быть неправ или чрезмерно осторожен, — но, полностью соглашаясь с утверждением, что наибольшая безопасность достижима лишь в окружении демократических государств, я все же настораживаюсь при мысли о слишком прямом взаимоувязывании этих двух понятий. Настораживаюсь потому, что опасаюсь: в выборе между национальной безопасностью и демократией, — если и когда такой выбор возникнет, — предпочтение скорее всего окажется на стороне первой.

При всем значении поддержки, которая может быть оказана российской демократии, мне представляется также, что мы стоим здесь перед проблемой гораздо более широкого смысла. Я бы сформулировал ее так: каким образом отдельные желающие того страны или мировое сообщество в целом могут способствовать демократическому и социально-экономическому развитию тех народов и государств, которые избирают для себя такой путь?

Почему нельзя сводить проблему только к вопросу о путях, формах и методах поддержки российской демократии?

Если оглядываться в прошлое — и в историю последних двух-трех веков, и в самые последние три-четыре десятилетия, — то представляется несомненным вывод о теснейшей **взаимосвязи демократии и развития.**

Демократия выживала, чувствовала себя уверенно прежде всего там, где годами и десятилетиями шли путем развития.

Но и в случаях, когда авторитарные режимы ставили перед собой задачи развития, они неизбежно оказывались перед дилеммой: оставаться верными целям своего развития, меняя при этом авторитаризм на демократию, или же предпочесть авторитаризм, расплачиваясь за него перспективами национального регресса.

В какой-то мере этим путем прошел и Советский Союз. Его приверженность целям развития не вызывает сомнений. Иное дело, как эти цели достигались, какими средствами и методами. Но в конечном счете именно развитие, его логика и потребности поставили СССР, все входящие в него народы перед необходимостью поворота к демократии. И когда прежняя система оказалась на такой поворот неспособной, Советского Союза не стало.

Поэтому, на мой взгляд, демократия в России окончательно утвердится только в том случае, если сама Россия как можно скорее повернется к дальнейшему социально-экономическому развитию. И не иначе, ибо лишь развитие

даст российской демократии то, чего у нее нет сегодня, и что невозможно создать никакими усилиями извне: широкую, глубоко мотивированную социальную и экономическую базу. Пока еще эта база демократии в России чрезвычайно узка, а ее мотивация носит достаточно поверхностный характер.

Кроме прочего России нужно сейчас действительное включение в мировую экономику. Не привилегии, не особый статус, не какое-то благоприятствование. Но включение на общих основаниях, с правовой, политической, практической возможностью зарабатывать себе на жизнь, конкурируя с другими.

Очень уж похожа Россия на пересидевшего дома Илью Муромца, для которого общение с другими, тем более работа с ними станут необходимой встряской и помогут выйти из полудремы, помогут самому решать свои собственные проблемы. Лишь какое-то наваждение мешает ей сбросить с себя оцепенение и пассивность.

России трагически не хватает такого душевного откровения, каким для многих стран Европы стало в свое время протестантство. И каким могла бы стать, а возможно, со временем и окажется Реформация.

Хорошо понимаю, что когда другие страны чуть-чуть теснятся, освобождая место для нового пришельца, естественны вопросы о политических гарантиях и тому подобном. Но, по большому счету, Россия таких гарантий дать не может, пока не достигнет определенной экономической стабильности.

Не потому, что не хочет. А потому, что сегодня не властна над ними сама.

IV.

Никто из нас, к сожалению, не может быть полностью уверен в том, как сложится будущее той или иной страны мирового сообщества через 10—15 и более лет. Особенно тяжело обрести подобную уверенность в период, когда мир вошел в полосу глубокой трансформации, все пружины, механизмы и направленность которой еще не ясны.

Новая расстановка мировых сил подвинула капитализм (название условное) в положение, заряженное потенциалом опасности и для самого капитализма, и для человечества. Это положение монополиста.

Больше того, монополиста, с которым многие связывают,

обоснованно или нет, определенные надежды. Которому склонны сегодня многое прощать и готовы дать широкую свободу действий. Можно сказать, что капитализму неожиданно открыт достаточно высокий кредит психологического и экономического доверия, какого не было за всю его историю.

Такие кредиты крайне рискованны и для дающего, и для берущего, ибо история не раз доказывала, что любой монополизм деструктивен, разрушителен.

Не отношу себя к числу восторженных поклонников капитализма, равно как и его противников.

Основную часть своей жизни потратил на то, чтобы содействовать осуществлению социалистической альтернативы. Крах советского большевизма вовсе не отождествляю с кончиной социалистической идеи. Но пусть споры, сомнения и прогнозы подобного рода решает история.

Все, что имеет начало, имеет и конец. Ясно и другое: мир в перспективе станет еще более тесным, взаимосвязанным, целостным, чем сегодня. И монополизм в таком мире может стать едва ли не самой серьезной угрозой.

Часто говорят, особенно в безумное время XX века, что когда Бог хочет наказать кого-то, он лишает его разума. Но самая страшная разновидность потери разума — это всерьез уверовать в собственное превосходство, непогрешимость, всемогущество.

Уже вовсю слышны самодовольные голоса, трубящие о крупнейшей победе над коммунизмом. О том, что удалось отстоять демократию, защитить мир свободного предпринимательства, взять верх в военно-экономическом сражении.

И формально-фактологически здесь трудно с чем-то категорически не согласиться.

Настораживает иное.

Во-первых, если картина действительно такова, то почему преимущественно консервативные силы Запада стремятся приписать себе эту победу? Ибо если согласиться, что победил Запад в целом — то, вероятно, в этом существует немалая заслуга и других политических, идеологических течений, включая социал-демократические, социал-реформаторские.

Тем более, что кремлевские реформаторы, я знаю это по себе, куда больше склонялись к социал-демократической ориентации, чем к чему-либо другому. И, наверное, тоже сыграли свою роль в кардинальных изменениях. Да, и о какой «победе» может идти речь, если мы, реформаторы, сами

укротили взбесившийся тоталитаризм. Более того, государственные структуры Запада уже давно смирились с существованием противоположного военного лагеря, а военно-промышленные комплексы давно нашли общий язык в гонке вооружений.

Было бы в общих интересах избегать вульгарных оценок, питающих только силы реакции в России и шовинизма на Западе, причем в условиях еще неоконченной борьбы за демократию.

Во-вторых, вольно или невольно, но снова имплицитно навязывается представление о вечно борющемся, воюющем с самим собой мире. Сегодня победили одного оппонента или противника, завтра возьмем верх над другим. Опасно оживляется та самая психология, которая и ввергла мир в холодную войну, гонку вооружений, многое иное. И которая никогда, ни при каких обстоятельствах не останется без врага, ибо она без него жить, существовать не может.

Заклинаниями о «победах» в холодной войне и над коммунизмом, на мой взгляд, незаметно снимаются те психологические тормоза и ограничители, что преграждают путь к духовному, идейному, а затем и политическому авторитаризму. Основная из ожидающих нас на старте XXI века опасностей лежит именно здесь, если, конечно, человечество не сумеет расстаться с конфронтационным сознанием.

Проблемы миропорядка остры и серьезны. Но все они: голод, отсталость, невежество, войны против природы и человека, в принципе решаемы уже сегодня, на уровне имеющихся знаний, опыта и технологических возможностей. Авторитаризм же способен только заблокировать использование таких возможностей. Особенно авторитаризм глубинный, неосознанный, идущий от строя души и сознания, от особенностей психологии, от прошлого опыта. Трудный путь Европы, включая Россию, их Реформации позволяет говорить об этом с уверенностью.

Обращая внимание на эту сторону вопроса, я отнюдь не преследую цель выдвинуть какие-либо политические или иные обвинения в чей бы то ни было адрес. Складывающаяся идейно-политическая «однополярность» мира конца XX века — не результат чьих-то заговоров, но следствие многочисленных и многозначных обстоятельств. Но тем серьезнее надо к ней отнестись.

Новый возможный раскол мира, как и старый, тоже губителен. Опыт деструктивности здесь обширен.

Значит, мы стоим перед необходимостью нового миро-

устройства, новых отношений, которые бы говорили об уходе от любой силовой практики и психологии, от ненависти и нетерпимости, всегда служившие прикрытием государственного или группового эгоизма, интересов власти.

Последние полтора века западная цивилизация жила под знаком борьбы между широким комплексом идей и практики, который для простоты, хотя и весьма упрощенно, ассоциируется сегодня с термином «капитализм», и отрицанием этого комплекса иным, обозначаемым столь же расплывчатым понятием «коммунизм». Элементарная логика подсказывает механическое решение: если «коммунизма» больше нет, остается один «капитализм».

Действительность гораздо сложнее подобной политической арифметики. Но важна и психологическая сторона: если значительное число людей, политиков, государственных деятелей окажется склонной мыслить подобным образом, это неизбежно отразится на всех их действиях, приведет рано или поздно к опасному разладу с реальностью. А тем временем породит сильные и устойчивые авторитарные структуры как в международной практике (во многих странах они уже есть), так и в политическом сознании.

Демократия желательна, но, возможно, в будущем родится нечто новое, более простое или более сложное. Сторонники демократии должны исходить в предстоящие годы не только из характера внутреннего развития стран, но и из тех глобальных духовных, а также политических тенденций, которые будут, не сомневаюсь, заявлять о себе.

Духовное становление и развитие еврохристианской цивилизации связано с продолжающимся спором о том, какому началу следует отдавать приоритет в нравственности, праве, политике: индивидуалистическому — личности или же коллективистскому — обществу.

Видимо, на исходе XX века в принципиальном плане этот спор исчерпал себя. Мысль и практика приходят к пониманию, что интересы стабильности и нормального развития требуют разумного сочетания индивидуализма и коллективизма, способного защитить основные права человека, стимулировать его к инициативной деятельности, поддерживать необходимый уровень цивилизованности через организацию общества в целом.

Спор переместился в иную плоскость: каждой стране или группе стран предстоит определить конкретное содержание такого оптимума применительно к своим условиям, проблемам, потребностям.

И в этом смысле «крах коммунизма» — не отказ от коллективистского начала, но закономерный провал абсолютизации этого начала. Тем более абсолютизации насильственной, которая осуществлялась тоталитарными средствами и была доведена до кровавого абсурда.

Естественное, здравое начало в жизни имеет возможность вернуться к здравым пропорциям индивидуализма и коллективизма.

Проблема, как я ее вижу, заключается сейчас в том, осознает ли себя западная демократия как нечто, обнимающее и стремящееся гармонизировать между собой оба эти начала. Или же маятник качнется в противоположную сторону, и капитализм станет отождествляться только с индивидуалистическим началом, усиливая таким образом другую крайность.

Но с другой стороны, чрезвычайно важно, чтобы и страны бывшего «социалистического» пространства, преодолевая крайности коллективизма, не проявили спешки и неразберихи в борьбе за индивидуальное начало, за автономию личности.

Глава седьмая

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ЭТИКА

Веками и тысячелетиями мораль и этику осознанно, интуитивно или де-факто относили к чему-то в высшей степени непрактичному, оторванному от жизни, отстраненному от нее, заумному.
Конечно же, их понимали и принимали на уровне философии культуры. Но как-то считалось, что за пределы этих резерваций этике и морали выходить неразумно, да и незачем.
XX век предъявил даже не доказательства, а счет: человечество не выживет, если нравственные и этические категории не войдут в повседневность, в живую жизнь, не станут реально действующими нормами.

Не хочу впадать в очередное романтическое заблуждение, но все же полагаю, что спасение от разрушительных крайностей любого мироустройства следует на этом этапе цивилизации искать в этике, в этическом начале жизни, да и политики.

Не общественные формы жизни выделяют человека — они есть и в стаде. И не материальные достижения, как таковые.

Но именно этическое начало, присущее только человеку, его накопление и развитие и есть цивилизованность, основа человечности.

I.

Оглядываясь в прошлое, особенно ясно видишь, что каждый принципиальный поворот в истории цивилизации был не просто связан с переменами в этической сфере, но и во многом предопределялся такими переменами. Этическими соображениями, вероятно, более, чем какими-либо иными, было обусловлено в свое время общественное принятие христианства. Этическими соображениями вызывались последующие важнейшие его реформации. То и другое оказало большое

влияние на политические институты, общественную организацию Европы и ее народов.

Рождение капитализма также было связано с очередным шагом в эволюции практической этики, равно как позднее нравственные, этические факторы вызвали появление идей отрицания капитализма.

Да и перестройка в СССР, положившая конец сталинистскому эксперименту, тоже начиналась не с компьютерного пересчета экономических, военных или каких-то иных альтернатив, но с простого нравственного убеждения — «так дальше нельзя!».

Сегодня в России громко говорят о том, что демократия привела к падению морали, к утрате этических норм, к разгулу преступности. Как если бы при демократии и родились носители аморализма, а сталинистский режим насаждал первозданную чистоту в человеке и человеческих отношениях.

Полноте, господа! Все, что сегодня взорвалось, заложено раньше, накапливалось раньше, поощрялось властями. Преступный мир большевизма и не мог ничего рождать, кроме аморализма и преступности.

Подлинная демократия — это чистилище душ, она не может быть полной, если не опирается на этические начала.

Другой вопрос, с какой мерой мудрости и рациональности решает демократия нравственные проблемы. Думаю, что в российской демократической практике нет их достаточного понимания.

Капитализм принес с собой этику прагматизма, этику здравого смысла. В его лозунгах свободы, равенства, братства жил высокий идеализм, но опирающийся на трезвый, приземленный учет реальностей. Догмы, мифы и условности, насажденные клерикально-монархической традицией, должны были потесниться или вовсе уйти там, где здравый смысл, жизненные потребности, проверенные знанием, диктовали нечто иное.

Двойной парадокс состоит в том, что появление коммунистического учения было по своему справедливой реакцией на крайности раннего, классического, слабого еще капитализма. Оно отрицало эти крайности этически и предполагало бороться с ними на том уровне понимания и возможностей, которые были реально доступны в то время.

Когда же марксизм трансформировался в идеологию насильственного завоевания власти, когда он начал насаж-

дать собственные догмы, мифы, ритуалы, тогда здравый смысл обошелся с ним точно так же, как до этого обходился с другими посягательствами на самоутверждающую силу жизни.

Но здравый смысл и прагматизм, если они обретают формы квантифицированной рациональности, способны приводить и к прискорбным результатам. В погоне за узко понятой экономической эффективностью, экономическим ростом, за прибылью совершаются многие несправедливости, неразумно тратятся огромные ресурсы, наносится непоправимый ущерб природе. И в то же время появляются примеры извращенной рациональности. Лишь один из них — подсчеты военными и учеными наиболее эффективных вариантов военных действий с минимизацией затрат. Этика пасует, совесть притупляется, логика насилия остается.

Иными словами, здравый смысл, освоившийся в одеждах рациональности, способен завести и в аморальность, независимо от того, делает ли он это на основе индивидуалистического или коллективистского начала, на базе элементарного эгоизма личности, группы или же эгоизма массового, выраженного, скажем, в классовых интересах или в интересах национальной безопасности. Подтверждений тому в истории нынешнего столетия множество.

Даже благословляемый этическими соображениями, здравый смысл за какой-то незримой чертой способен обращаться в свою противоположность. Ему тоже, как и всему остальному, нужны свои противовесы. Искать такие ограничители, как свидетельствует опыт, необходимо в сфере этики, основанной на общечеловеческих ценностях.

К сожалению, во многих случаях безнравственность пока держит верх, пока топчет человечность. И нигде еще не построено нравственного Храма.

Обратимся к наиболее ярким примерам.

Переворот 1917 года, объявивший достаточно благородные вроде бы идеалы и цели, без промедлений отбрасывает этические нормы, окуная себя в море лжи и крови.

Не здесь ли заложены первопричины глубочайшего кризиса коллективистского начала, через который проходит Реформация в России?

Рационалистическое мышление и здравый смысл, приняв политику конфронтации как образ жизни, начали создавать и просчитывать сценарии ядерной войны, разрабатывать и накапливать ее средства. Человечество оказалось

на грани, за которой — всеобщее небытие. Критерии морали и этики снова оказались в стороне.

А разве не то же самое по сути происходит сейчас в отношениях человечества с природой? Конечно, были и есть откровенные, циничные экологические преступления. Но основная часть экологического кризиса порождена все же не ими, а якобы «рациональными» экономическими, финансовыми, технологическими соображениями. При принятии большинства таких решений учитывалась масса факторов, кроме одного, очень простого: нельзя так обращаться с природой, не по-человечески это и не по-божески.

Нарочно выделяю эти примеры, чтобы подчеркнуть простую мысль: острый дефицит этического начала — не всегда результат чьих-то злых происков, чьей-то вины. И не органический порок какой-то одной социальной системы, с уходом которой исчезнет и этот порок.

Нет, это прямое следствие исторического состояния человека, человечества, цивилизации. Состояния материального, когда ресурсы и возможности велики, но не беспредельны. Но в еще большей степени состояния духовного, психологического, культурного, ибо и с наличными ресурсами можно было бы сделать немало при ином расположении умов и душ.

II.

Говоря об исторической обусловленности состояния умов и душ, я имею в виду прежде всего тот факт, что вся история человечества вплоть до нашего времени — это история насилия. Не будем вторгаться в причины, сейчас важен сам факт: мир конца XX века в значительной мере еще мир повседневного насилия. О прошлом и говорить не приходится.

Насилие в истории человечества всегда было тотально. Оно выражалось не только в войнах и конфликтах. Но и в диктате слаборазвитой экономики. И во всемогуществе сил природы и в страхе перед ней. И в малости и слабости знаний. И в неспособности — по социальным и иным причинам, — организовать достойные общественные формы жизни. И в уязвимости человека перед мириадами им же самим сотворенных зол.

Ответом на этот мир насилия и средством защиты от него могла быть и выступала прежде всего утопия. Вначале — религиозная, а позднее, по мере накопления знаний, — и наукоподобная.

Думаю, впереди нас еще ждут утопии чисто научные, потому что и уязвимость рода людского перед неподвластными ему силами будет оставаться, и ограниченность познанного по сравнению с непознанным.

Утопия — неотъемлемая часть процесса познания, социальная, историческая, космологическая макрогипотеза. Эту загадку природы предстоит разгадывать многим последующим поколениям. Утопия способна давать утешение человеку в его духовной и практической слабости. Она может и возвышать его, ибо обращается к более сложным и долговременным мотивам, представлениям, идеалам человека.

Естественно, за все надо платить, и плата за утопию — это необоснованные надежды, разочарования, иллюзии и мифы, практически неизбежные ошибки, кризисы. Но иного пути обретения знания и особенно социального опыта мы пока не знаем. Нам еще суждено столкнуться с новыми утопиями. В том числе и такими, которые смогут овладевать умами и чувствами большого числа людей, подчинять себе их сознание, волю, помыслы, которые откроют опасные возможности нравственных и политических спекуляций, манипулирования людьми.

Все это неизбежно, ибо в историческом смысле разум человека делает пока только первые самостоятельные шаги.

И если кто-то в современном мире уже видит пределы философии чистого здравого смысла, начавшуюся стадию его самоотрицания, то основная масса человечества в повседневной своей жизни, в своем сознании и психологии не дошла до границ признания и принятия его глубокого содержания. Подтверждение тому: взрыв иррационального, темного, инстинктивного в нашей стране именно тогда, когда начатые в обществе преобразования на основе свободы, казалось бы, открывали все шлюзы прежде всего для торжества здравого смысла.

Говоря об исторической неизбежности утопий, о том, что они выполняют и те позитивные функции, которые мы пока не умеем осуществлять иным путем, я постоянно помню о необходимости принципиальных оговорок.

Одно дело — утопия, овладевшая массами, которые начинают действовать в состоянии добросовестного заблуждения. Но совершенно иное, когда утопию насаждают силой, тем паче не останавливаясь перед самыми бесчеловечными средствами. Никакая утопия не может

оправдать даже малое преступление. Можно сколько угодно верить в осуществимость коммунизма и его конечное торжество. И не только верить, но и пытаться построить его практически. Но как только ради достижения этой цели подвергается насилию человек, утопия превращается в преступление.

Сегодня можно говорить с полным знанием дела: крестовые походы, инквизиция, преследования еретиков, иконоборцев, сектантов, сжигание ведьм и все прочие насильственные утверждения правоверности, в какой бы религии это ни происходило, не приблизили человека к Богу, не сделали жизнь его чище, нравственнее, возвышеннее. Как не сделали и не могли сделать это и уничтожения иноверцев в религиозных войнах.

Лишь там, где человек обращается к самому себе, а не к другим; где он берет на себя бремя дополнительных душевных и физических усилий — там, и только там, он возвышается как человек, обретает достойный образ жизни.

III.

На смену продолжительной и трагической эпохе насилия неизбежно придет новая, когда ненасилие станет императивом, центральным условием выживания и развития.

Но ненасилие может держаться только на этике.

Возможно, на протяжении какого-то переходного периода отдельные меры ограниченного и применяемого строго по закону насилия могут оказаться необходимыми. Но и на перспективу ненасилие как принцип жизни сможет удержаться, укрепиться только на признании этических критериев цивилизованности и, главное, превращении их в повседневную норму поведения. Только так, не иначе. В этом убеждают и многоплановые, в высшей степени поучительные уроки российской Реформации.

Придет время и будет достаточно точно выверено, какую роль этические принципы играли и играют в событиях, связанных с Реформацией. Но ясно уже сейчас, что начавшийся великий поворот от рефеодализма к гражданскому обществу немыслим без этических принципов, без морального камертона.

Для нас, реформаторов, кто начинал перестройку, кто бросил вызов тоталитаризму, кто без оглядки, презрев завораживающую силу собственной власти, бросился в круговерть формирования демократии, кто решительно отри-

нул как нравственное заболевание международную конфронтацию, наступили нелегкие времена.

Но тут трудности очевидны и наглядны. Например, не является праздным вопрос о том, почему многие реформаторы, еще недавно именовавшиеся большевистской прессой и крайне правой частью прошлых структур не иначе как ревизионистской «кликой», сегодня, после поражения сталинистских сил, оказались не у дел.

В данном случае речь идет не о личных чувствах участников великой драмы, а о тайнах движения тех социальных пружин, которые придают импульсы тем или другим поворотам истории. Это тоже вопрос этики.

Смею утверждать, что многое, чего удалось достичь реформаторам апрельской (1985 года) волны, отмечено высокой нравственностью.

Зигзаги истории, а они неизбежны, угадать трудно. Но ясно, что развитие уже приобрело во многом необратимый характер. Оно, это развитие, вырвавшись на волю, теперь само учит нас, рассказывает о том, о чем и не думалось раньше, будит мысли, сомнения, выстраивает бесконечную череду вопросов.

И среди них самый важный: «Не жалеем ли, что начали перестройку?», «Удовлетворены ли сделанным?», «Возможны ли были другое начало и другой исход?».

Не буду говорить о себе. Я себя не корю. Больше того, я счастлив. Хотя думаю, что надо было жестче и решительнее проводить курс на демократические преобразования в сфере культуры, науки, информации, не надеяться на автоматическое пробуждение совести у тех, кто открыто пошел в бой против курса на свободу и гласность. Это была ошибка. Совести у большевиков не обнаружилось.

Реформаторы хотели, чтобы наш народ сбросил с себя оковы тоталитарного режима, и мы добились этого. В стране в основном восторжествовала свобода слова, собраний, пользуются уважением основные права личности.

Еще никогда, я повторяю, никогда за всю историю государства Российского не был так свободен до бесконечности уставший, измученный человек. Свободен от химер большевистской идеологии.

Открылась реальная возможность вернуться в естественную историю. Многое сделано, хотя и далеко не все, чтобы закрепиться на рельсах нормального, цивилизованного развития.

Демократия молода и неумела, перенасыщена личной амбициозностью, самоуверенностью, делает вид, что не помнит, откуда взялась. Около новых властей замелькали временщики, суетные люди. Да и избиратели еще не научились отличать громкий голос лидеров от деловых качеств.

Неприятие реформ, разочарования, связанные с ближними последствиями, а то и озлобление людей, вскармливают неофашистскую демагогию. Механизмы управления, сформированные сталинизмом, остаются во многом нетронутыми. Отчуждение человека от власти, несмотря на свободные выборы, не преодолено. Человек боится брать ответственность за собственную судьбу, он продолжает мифологизировать власть.

Иными словами, дорога к свободе не становится короче, а тем более проще.

Мы, реформаторы, мечтали о том, чтобы покончить со смертоносным ядерным противостоянием, расколотостью мира между Востоком и Западом, остановить безумие гонки вооружений и «холодной войны». И мы добились этого. Ушла эра подозрительности и вражды. Россия возвращается в Европу, мировую цивилизацию, если, конечно, ее политики и политики Запада и Востока не сделают фатальных ошибок.

В результате новой внешней политики страна вернулась в систему нравственных и гуманитарных координат, которые позволяют людям самим отличать добро от зла, истину от лжи.

Мы стремились к тому, чтобы не повторились трагедии в Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.), Афганистане (1979—1989 г.г.), чтобы Европа избавилась от позора берлинской стены, чтобы народы Восточной Европы могли развиваться на основе свободного социального выбора, на основе своих политических и культурных традиций.

И теперь мы имеем право говорить о том, что сделали все возможное, чтобы не только не мешать, но и способствовать мирным революциям в странах Восточной Европы, чтобы произошло мирное объединение Германии.

Утверждаю с убежденностью: сделанного вполне достаточно, чтобы уйти с политической арены с чистой совестью, без обид и упреков. Мы никогда не видели в насилии средство удержания власти, это был вопрос чести.

Скажу так: мы старались соизмерять свои поступки и решения не столько с сиюминутными политическими сооб-

ражениями, сколько с долговременными интересами демократического развития страны, интересами утверждения основ демократии, прав и уважения к достоинству личности. Эта стратегия себя оправдала.

Можно было сползти и на путь спекулятивного популизма, но пожертвовать при этом далеко идущими целями.

Лично я верю в конечную справедливость истории, которая не ошибается в своих оценках, играет по собственным, хотя и загадочным нотам.

Конечно, начиная перестройку, мы многое не предвидели, да и не могли предвидеть. Не представляли себе, насколько далеко зашел процесс разложения социальных тканей общества, насколько утрачены этические принципы жизни. Отсюда иллюзии о возможности совершенствования социализма. Споры шли лишь о характере, масштабах и глубине совершенствования.

Только где-то в 1987 году, я говорю о себе, стало ясно, что общество, построенное на насилии и страхе, реформировать нельзя, что мы стоим перед сложной исторической задачей демонтажа системы со всеми ее идеологическими, экономическими и политическими корнями.

Уже тогда резко обозначилась необходимость глубочайших преобразований в идеологии, преодоления ее мифов и утопий.

К сожалению, времени и сил на политику «совершенствования» было потрачено слишком много, в результате перестройка «съедала» сама себя, недостаточно эффективно расходовала свой потенциал.

В то же время далеко не все реформаторы поспевали за ходом событий.

При М. Горбачеве в Политбюро ЦК КПСС была достаточно демократическая обстановка. Она помогала, но в известном смысле и «мешала» реформам, делая их половинчатыми, расплывчатыми, замедленными. В Политбюро я не чувствовал каких-то подсиживаний, заушательства, но подходы к реформам были разными, порой просто несовместимыми друг с другом. Вытекающие отсюда бесконечные компромиссы крайне отрицательно сказывались на темпах и результатах преобразований.

К трагическим результатам привела кадровая политика, которая находилась в вопиющем противоречии с новой духовной и политической реальностью. Наверху оказывались люди, лишенные нравственных норм и даже элементарных этических принципов.

По своему идеалу гласность вернула истинную ценность таланту, компетентности. порядочности. Но именно в это время, когда впервые за все годы советской власти появилась возможность для нормального подбора людей, когда должна была отмереть практика социально-идеологической селекции, т. е. практика номенклатуры, к руководству на всех уровнях приходили нередко ограниченные и консервативные представители старого аппарата, по сути, политические противники перестройки.

В результате зашатался престиж реформ, начался опасный процесс отторжения от руководства страны наиболее влиятельной части интеллигенции, демократических сил. Сокращалась социальная база поддержки преобразований, падала вера в способность руководства проводить их.

Да, реформаторы допустили немало ошибок. Но грех сваливать их на кого-то одного. Это так легко, но вульгарно. Субъективные факторы, разумеется, сыграли немалую роль. Но равно как и мощные объективные обстоятельства. Суть демократических преобразований, несовместимых с большевизмом, требовала нового качества мышления, овладеть которым мешали кандалы прошлых взглядов и привычек.

Еще долго будет бродить по стране вопрос, а возможен ли был качественно иной ход событий, например, более радикальная политика реформ.

Сегодня много пишут о том, что непоследовательность и нерешительность М. Горбачева размывали авторитет преобразований и веру в них.

Да, без просчетов не обошлось. Порой М. Горбачев медлил с принятием решений, не выдерживал натиска наиболее агрессивных «вождей», дал запугать себя недовольством военных, пытался примирить непримиримое: демократию и централизованное руководство, рынок и госторговлю, разные фракции в партии и многое другое. Он слишком долго верил, что партия может стать ведущей силой реформ.

Он был главным — с него и спрос.

Ну, а где остальные были?

Политическое бюро партии пошло на крупнейшие в истории преобразования. История наверняка оценит этот шаг как смелый и честный. Но состав высшего эшелона был настолько разношерстным, разноликим и разноголовым, что единомыслия по коренным вопросам реформ быть не могло.

Никого упрекать не могу, да и не хочу. Зломыслия не видел, оно появилось, полагаю, потом, где-то в 1989—1990 годах, когда из-под ног совокупного аппарата — партийного, государственного, военного, надзирательного — начала уходить власть.

Сейчас многие из бывших руководителей горазды писать воспоминания. Конечно же, комплиментарные к самим себе. Ну, а если говорить всерьез?

Не так уж трудно вспомнить, сколько времени ушло на бессмысленные разговоры и споры о «деструктивной роли» средств массовой информации, вместо того, чтобы шаг за шагом продвигаться по стратегическим направлениям реформ. Сколько страсти потрачено на то, чтобы выяснить, что первично, а что вторично — политика или экономика.

А время шло-шло, да и ушло. Вместо черновой, конкретной повседневной работы — совещания, заседания, длинные речи, пленумы, съезды и прочее. Суета, одним словом.

И не пристало сегодня определять, кто менее виноват, а кто более. Да и стыдное это дело — искать виноватых в условиях, когда содеянным надо гордиться, а не слюни распускать да слезы размазывать.

Свершив великое дело, пусть с ошибками, аморально отрекаться от него, да еще прислоняясь к толпе кликуш, проклинающих любое дело, если они сами не были во главе его.

И все же главное не в этом. Я немало думал на эту тему и пришел, возможно, к парадоксальному выводу.

Во многом, хотя и не во всем, преобразования были обречены на непоследовательность. Последовательный радикализм в первые годы перестройки погубил бы самую идею всеобъемлющих эволюционных реформ. Объединенный бунт аппаратов — партийного, государственного, репрессивного́ и хозяйственного — отбросил бы страну к худшим временам сталинизма, что он не один раз пытался сделать позднее. Контекст времени был абсолютно иным, чем сегодня. Об этом надо всегда помнить, иначе ошибки при анализе перестройки неизбежны.

Не мешало бы помнить и о том, что не будь Реформации, новой политики, ориентированной на свободу и демократию, многие, кто обвиняет сегодня реформаторов первой волны в непоследовательности, кто громко провозглашает принципы радикальной демократии, так бы и закончили свою жизнь правоверными, послушными большевиками или ортодоксальными учеными.

И здесь нет личной вины этих людей, не вижу также их идеологической или мировоззренческой непоследовательности. Они, эти люди, просто раньше не видели того, что они видят сейчас, они тогда были «другими», просто другими.

Драма нашей перестройки — это драма «революции сверху». Не поняв этой определяющей специфики, нельзя здраво судить о том, что произошло, дать объективную оценку кремлевским реформаторам.

Никуда не уйти от той простой правды, что перестройку начал очень узкий круг в руководстве партии и государства, что именно по инициативе «аппаратчиков» высшего звена начался уход от сталинизма, а затем, вопреки аппарату, уход от так называемого реального социализма. В то время не было организованной политической оппозиции существующему режиму, не было и серьезного массового сопротивления неограниченной власти КПСС.

У нас всегда и все происходит по-другому. Если в Польше все начинала оппозиция — Валенса, Куронь, Михник, то у нас все начинали «аппаратчики». Реформаторы создали сами себе и оппозицию.

В Польше и Чехословакии люди, оказавшиеся способными возглавить реформаторское движение, были вне партии, а потому с самого начала их политическая активность была направлена на разрушение партийных и государственных структур. С самого начала борьба шла против партийной легитимности в этих государствах, за выход из общественного тупика.

У нас все обстояло иначе. Перестройка в Советском Союзе, повторю, началась внутри правящих партийных и государственных структур, и она могла заявить о себе только как инициатива, направленная на совершенствование социализма — на основе демократии, неискаженного прочтения марксизма-ленинизма, установления «истинной» социалистической и коммунистической идеи.

Путь реформ сверху имеет свои преимущества, но и свои ухабы. Реформы сверху обеспечивают сохранение старого консенсуса, какую-то преемственность в развитии, позволяют удерживать стабильность, избежать распада общества. Они дают возможность привлечь к преобразованиям демократически настроенную часть партийного и государственного аппарата.

Но одновременно политика реформ в рамках старой партийной легитимности государства связывала руки, сковывала намеченные демократические преобразования. Она

мешала сказать всю правду о рефеодальном социализме, его пагубных результатах, ибо мощная партийная иерархия не могла допустить такого хода вещей. Вот почему сама идея кардинальности реформ была обречена на половинчатость, а в известной мере и на поражение.

В то время, когда в Польше, Чехословакии, ГДР, Венгрии ставился вопрос о денационализации, приватизации, рыночной экономике, мы застряли на идее хозяйственного расчета государственных предприятий или регионов, пытались скрестить синицу с крокодилом, т. е. рынок с государственной монополией производства, с государственной торговлей, а большевизм — с демократией.

Конечно, это было известным топтанием на месте. Но шел одновременно и другой процесс. Благодаря гласности начались необратимые процессы в психологии людей. Они свыкались с новой реальностью, постепенно уходили из мира традиционного устройства общества в другой мир, в другие измерения жизни. Каждый день свободы и гласности, который отвоевывался у ортодоксальной моноидеологии, работал на реформы, углублял психологическую пропасть, отделяющую старое общество от нового.

В конечном счете то, что у нас произошло, является еще одной из известных истории человечества революций совести, этической революцией.

Но здесь, пожалуй, самое время для исповеди. Понятно, что большевизм лицемерен, двуличен, лжив. Но борьба с ним была бы обречена на провал, если бы она велась прямолинейно, била в лоб, презирала компромиссы, уступки и т. д. Такой путь был бы внешне честен, этически чист. Но в конкретных условиях борьбы с большевизмом — эгоистичен. Приходилось лукавить, о чем-то умалчивать, хитрить, изворачиваться, но добиваться при этом таких целей, которые в «чистой» борьбе были бы недостижимы.

Этический конфликт очевиден, но, увы, так было: ложь во спасение.

Однако же главный этический принцип для меня лично в самого начала состоял в том, чтобы всеми мерами в период перехода к новому качеству жизни избежать силового гражданского конфликта.

Реформация ни до августа 1991 года, ни после него, ни до октября 1993, ни после него не укладывается в традиционную схему классовой борьбы и связанных с ней политических революций. Идут благотворные процессы

отвержения Зла, накопления Добра, позволяющие в конце концов избавиться не только от внешних оков тоталитаризма, но очиститься от ржавчины в душах.

Реформация и Этика, гулко шагающие по нашей земле, неразделимы. Реформировать общество, вытащить его из трясины отсталости и нищеты невозможно холодными руками. Нравственность, этика не приемлют голого расчета. Вот почему наши оценки преобразованиям необходимо просвечивать нравственными лучами.

О материальных тяготах будут, если будут, вспоминать с сожалением и раздражением.

О нравственном богатстве свободы будут помнить всегда.

Знаю, что закономерно возражение: «О какой этике можно говорить, если вокруг творится невообразимое — кровь и грязь? А этот аморализм в высших эшелонах власти (назвать хотя бы «героев» октября 1993 года)? Разве можно закрывать глаза на вакханалию преступности? Не замечать, что повседневность буквально вопит, общество нравственно больно, моральный кризис пострашнее политического и экономического кризисов?».

Да, все это так.

Мы мучительно трудно выбираемся на прямую и твердую дорогу. Но свободу уже не заглушить. Она входит в народное, общественное сознание, и это гарантия того, что дело Реформации будет жить, что никакая стужа не убьет всходы Добра, Нравственности, Человечности, поднимающиеся в России.

Человечество долго спорило о целях, конечных ориентирах своего исторического движения. Этот спор был начат философиями древних, продолжен мировыми религиями, а потом — позитивистской, прагматической, идеалистической, материалистической и другими направлениями общественной мысли. В многовековом тигле духовного и социального опыта к концу XX века отлилось, мне кажется, простое понимание: действительная цель состоит в создании условий для полной самореализации личности, что и сделает жизнь достойной, свободной и счастливой.

Накормить голодных. Излечить больных. Научить неграмотных. Дать возможность желающему трудиться. Побудить к труду нежелающего, ленивого. Защитить слабых и обездоленных. Вселить в человека уверенность в завтрашнем дне, но не дать ей перерасти в иждивенчество. Найти надежные средства социальной мотивации, совмес-

тимые с идеалами гуманизма. Научиться действенно, но без насилия, противостоять социальной несправедливости. Избавить народы от войн и насилия.

Кажется, с этими целями соглашаются приверженцы всех религий, идеологических доктрин, политических течений.

Спор сегодня идет о приоритетности и соподчиненности этих целей, но главное — о путях и средствах их достижения. Все Реформации провозглашают практически одно и то же, но средства, пути избирают разные и действуют по-разному.

Вопрос о средствах — вопрос в высшей степени этический.

IV.

Этика классического капитализма была этикой наступательного индивидуализма. Ходом событий, усилиями партий и деятелей консервативной ориентации эта тенденция, это наследие общества свободного предпринимательства получает сейчас новый импульс, новый приток жизненных сил. В этой связи я и призываю не к противоборству с консерватизмом здравого смысла, а к пониманию исторических пределов стоящей за ним духовной и этической концепции.

Она имеет здравое начало — идеал деятельного, инициативного, ищущего человека, признание его прав и свобод. Без такого человека общество вперед не пойдет. Сегодня это уже аксиома.

Но в век небывалой взаимозависимости мира не обойтись и без коллективистского начала: регулирования, координации, разумных ограничений, социальной защиты. То есть индивидуализм уже не может быть абсолютным, всеподавляющим. Но и общественное начало не должно доводиться до отчуждения человека, фактического его отрицания.

Мне представляется, что достойный человека мир может быть создан лишь на базе этики разумной уверенности в себе, чувства собственного достоинства и взвешенности поступков, требований и ожиданий. Все это применимо и к обществу, и к человеку. Три компонента такой этики я бы выделил особо.

Во-первых, признание самоценности человека, его безусловного приоритета над любой формой организации

общества, неотъемлемости его прав и свобод, уважение к нему как личности, законодательная и нравственная защита его чести и достоинства.

Во-вторых, утверждение деятельного, созидательного начала в жизни личности и общества, культ труда и достижений, поощрение всего, что ведет к приросту мыслительного материального потенциала человека и общества, к росту знаний и культуры, к гармонизации отношений с природой и приумножению ее богатств и жизненного потенциала.

В-третьих, неукоснительное следование правилу «не навреди!» везде и во всем, где наши знания еще незначительны, последствия начинаний не могут быть спрогнозированы уверенно и надежно, а цена ошибки может оказаться недопустимо большой.

Эпоха великих социальных начинаний еще не пришла. Но эпоха плавания по волнам социальной стихии завершается.

Признать это со смирением, без высокомерной гордыни — значит нравственно вооружить себя для дальнейшей жизни, открыть свои души новому постижению Мудрости, подготовить себя к неожиданностям. А в конечном счете более эффективно и с меньшими издержками противостоять грузу накопленного зла и человеческого несовершенства.

Глава восьмая

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Разрыв с насильственной традицией российской жизни был искренен, и он был начат. И не просто начат: мало ли мы знаем начинаний, быстро куда-то исчезавших, как пропадает река, иссыхающая в пустыне. Нет. Преобразовательный порыв в этом отношении состоялся.

Реформацию можно упрекать за многое, а задним числом совсем легко, даже сладостно и упоительно. Я и сам это делаю, попрекая самого себя, прежде чем кого бы то ни было. Но одно надо признать за ней без оговорок: она была честной в стремлении изменить стержневую парадигму российского развития и продвинулась по этому пути достаточно далеко.

Увы, современникам не удаются попытки понять подлинный смысл крупных общественных событий, особенно их последствия. Настоящее как бы ускользает, затуманивается суетностью повседневности. Содержание, масштабы событий подменяются очень часто пошлостью политиканства, корыстных интересов, амбициозностью, неуемной жаждой власти.

В 1985 году был достаточно определенно поставлен вопрос о том, от чего уходит страна, с какими принципами общественного устройства она прощается. Очерчен был и вектор поиска того времени — усовершенствование социализма на принципах демократии.

В самой постановке вопроса не было ничего необычного — риторически он был привычен, об этом говорили и раньше. Однако в содержательном плане подходы ортодоксального большинства и реформаторского меньшинства в руководстве коммунистической партии далеко не совпадали даже на первом этапе объявленных преобразований. Такое несовпадение отражало общую и давно существовавшую обстановку в партии.

Схема весьма незатейлива.

Ортодоксальное большинство, признавая в целом необходимость частичных перемен, видело их главную направленность в дальнейшем укреплении моновласти, монособственности и моноидеологии.

Полагалось также, что дозируемые сверху демократические подходы смогут выполнить эту функцию.

Реформаторское меньшинство восприняло идею преобразований во многом по-другому. На первых порах еще жила иллюзия о возможности совершенствования социализма, но на основе радикальных изменений. Серьезное значение придавалось развитию демократии. Жесткая борьба развернулась вокруг гласности, в которой фундаменталисты правильно уловили угрозу большевизму.

Гласность взорвала привычные штампы, открыла возможности для свободы слова. Страх перед властью быстро исчезал. Ее всемогущество становилось все более призрачным. Общество забурлило, буквально заболело новыми надеждами. Наступил этап эволюционного переворота, исторически уникального по своей сущности бескровного перехода общества из одного качества в другое, от диктатуры к свободе.

Осознание консервативным крылом в руководстве партии и государства того, что демократия, начавшая развиваться по собственной логике, с неизбежностью сокрушает моновласть и моноидеологию, пришло с запозданием. В этих условиях августовская 1991 года попытка повернуть общество назад уже не могла не быть авантюрной.

Она принесла много бед. Хаотичный распад Советского Союза, болезненный разрыв связей между республиками, парад торопливых и безответственных решений на всем пространстве СССР. Во многих местах восторжествовала эклектика союза полуфеодальных и большевистских структур.

Эйфория победы застила глаза и многим демократам, оказавшимся у власти в России. С первых же дней началась лихорадочная возня вокруг распределения власти и имущества. Приостановились демократические реформы. Свободной оказалась только бюрократия — свободной от ответственности за произвол и беззакония, на которые она всегда горазда.

Если Октябрь 1917 года строился на отрицании всего предшествовавшего периода развития России в пользу гипотезы коммунизма, то август 1991 года столь же безоговорочно начал отрицать три четверти века послереволюционной жизни, включая перестройку, в расчете выйти на

симбиоз предоктябрьской России и некоего подобия неокапитализма. Снова концепция прерывности истории взяла верх.

Сегодня, после трех мятежей, — 1990, 1991, 1993 годов — куда актуальнее, чем даже в 1985 году, стоит вопрос: от чего уходит Россия? Куда и к чему она идет? Существует ли согласие в обществе по этому вопросу? И чем является для нее настоящее: стихийным камнеградом или приходом долгожданных перемен?

Ибо, если нет ясности по этим проблемам, то будущее туманно, трагично, а направленность продвижения лишена объективных ориентиров.

Ясность по этим вопросам нужна не только россиянам, но и внешнему миру. Дабы добросовестные заблуждения и психологически понятные иллюзии, равно как и безответственные действия некоторых политических групп, не стали причиной нового разочарования, раскола и конфронтации.

I.

От чего уходит Россия? Здесь за последний год произошла кардинальная смена понятий. Разорвать более чем тысячелетнюю парадигму насилия в самих принципах построения власти — такова была главная установка перестройки.

Разумеется, в том, что власть, государство, социальная организация в целом, держалась прежде всего на насилии, Россия не была одинокой. Трудно определить, была ли мера повседневного насилия в России всегда выше, чем в других странах, ибо никто не знает «норму» этой меры. Но Россия безусловно оказалась уникальной по результатам многовековой эпохи насильственной истории. Например, по исследованиям историков, при Иване Грозном население России сократилось с 6 до 4 миллионов, при Петре Первом — с 16,5 до 14, при Сталине — еще предстоит узнать.

Уникальной и тем, что сложились устойчивые и мощные государственные, социальные, психологические, духовные структуры, фактически закреплявшие господство насилия в жизни. Конечно же, это не вина России, но ее беда и трагедия.

И во все времена — от самых первых летописных свидетельств и до нашего времени — шла отчаянная борьба за освобождение народа от насилия и угнетения.

Но короткие вздохи надежд и кажущиеся сдвиги сменялись новыми приступами гнета, репрессий, несвободы. Начинавшиеся реформации заканчивались контрреформациями. Власти становились все более самонадеянными и слепыми.

И если подобное происходило во все времена на протяжении почти тысячи с лишним лет — беру только тот период российской истории, который в целом известен более или менее хорошо, хотя и имеет еще «белые пятна», но все же не «белые материки»,— если это происходило с поразительным постоянством в совершенно разных социальных, исторических, экономических, культурных, внешних и прочих условиях, то можно сделать только два допущения.

Либо народы, проживающие на российских просторах, причем не только русский народ, а все, по каким-то таинственным причинам органически непригодны к нормальной жизни. Но подобное допущение абсурдно и аморально. Измышления о том, что народы России будто бы по природе своей не созданы для жизни в нормальном демократическом обществе — глупы, а скорее — злонамеренны.

Тогда справедливо второе допущение. А именно: в природе и истории российского общества и российской государственности есть «нечто» весьма важное, своеобычное, но пока нами не понятое, не исследованное. И несправедливо, на мой взгляд, упрекать реформаторов в том, что они начали крупномасштабные преобразования, не обладая знанием этого «нечто». Такое знание и до сих пор не заявило о себе, из чего правомерно сделать вывод, что, по крайней мере, на данный момент никаких принципиально новых открытий в понимании социально-исторической причинности российского бытия не произошло.

Становилось, однако, все более очевидным, что господствовавшее насилие на протяжении веков тормозило развитие России.

В этих условиях действенным лекарством могла быть только свобода слова.

Ибо это — первое условие, чтобы общество смогло разобраться, где реальность, а где иллюзии.

Где порождаемые жизнью вопросы, а где праздное жонглирование словами или циничная демагогия.

Где компетентная работа, а где ловкий обман, поза и чванство.

Где напряженная работа ума и сердца, а где приверженность догме, параграфу, бездумное исполнительство.

Где творческое развитие общественной теории, а где холодные концепции без воздуха и света, основанные на схоластических конструкциях.

Где честное стремление служить народу, а где бессовестная и грязная драчка за власть.

Ну, и так далее.

Да, в период утверждения гласности, а пробивалась она с неимоверным трудом, упор делался на ценности практических ее сторон в борьбе со всякого рода злоупотреблениями, нарушениями законов, безхозяйственностью. Все это имело первостепенное значение в той обстановке, что существовала тогда. Но стратегический прицел с самого начала был ясен: общество должно увидеть себя в зеркале живой жизни, а не в искривленном ее изображении.

Только после этого можно было говорить об утверждении прав и свобод личности — экономических, политических, духовных. В свою очередь только на сочетании гласности и личных свобод могло выстраиваться гражданское общество и правовое государство, причем именно в таком порядке — общество над государством, общество, контролирующее государство и все его институты.

Убежден, если бы гласность не вспахала почву для реформ, они наверняка закончились бы крахом, если не кровью.

Наконец, преобразования ставили своей целью осуществить все перечисленное не в мононациональной стране, что создавало дополнительные проблемы.

Прежде всего, это означало, с моей точки зрения, во-первых, неизбежность постепенного перехода к конфедеративным принципам, что давало бы возможность обеспечить реальный суверенитет республик, территорий, при сохранении Сообщества и придания ему действительно нового характера добровольности и взаимной заинтересованности.

К сожалению, эта позиция не нашла поддержки в правящем эшелоне.

Коллективное руководство партией и страной было лишено дара предвидения и способности действовать на опережение.

И, во-вторых, осуществить такую беспрецедентную в отечественной истории реорганизацию государственности можно было только на основе поворота к общечеловеческим ценностям как нравственному фундаменту внешней и внутренней политики.

Обращение к общечеловеческим ценностям не означало отказа от собственного общенационального, государственного лица. Не было оно и пропагандистской упаковкой старой политики. Такое обращение диктовалось как моральными соображениями, так и весьма практическими. Пониманием того, что стране, которая сбрасывает с себя груз сталинизма и его структур, потребуется идея, которая бы разделялась всеми, независимо от национальности, политических или религиозных убеждений.

Полностью осуществить эти замыслы было не суждено. Почему?

То ли потому, что был изначально идеалистичен, даже утопичен сам замысел преобразований, само их стремление реформировать то, что никаким реформам не поддается по сути и природе своей?

Или же потому, что при исторической и моральной правоте замысла Реформация оказалась недостаточно оснащена знаниями, действовала не лучшим образом?

Либо проявились какие-то иные причины, которые еще подлежат исследованию?

Несомненно, Реформации объективно не хватало и научной теории отечественного общества, и точного знания многих развивавшихся в нем процессов. Несомненно и то, что любая кардинальная реформация «сверху» на каком-то своем этапе оказывается перед дилеммой: пойти навстречу демократическим тенденциям «снизу», рискуя тем самым утратить свое «верхушечное» положение, или же начать насаждать свои установки насильно, вырождаясь в очередной вариант диктатуры.

Реформация не пошла на последнее, что свидетельствует о ее демократическом первородстве. Но она не смогла переломить себя в первом, обрекая себя, в конечном счете, на неудачу в существенных вопросах.

С тех пор, как произошло риторическое свержение перестройки и фактическое — ее лидеров, свержение, парадоксальное по форме, когда один контрперестроечный переворот был сметен другим, но уже с иным содержанием, более мощным и более удачливым, — почти все привычные темы звучат в измененной тональности. Многие говорят о совершенно новой политике, но новых крупных идей так и не появилось. А тема обновления России, хотя и повторяется ежедневно, но трактуется во многом иначе, чем это было в политических и духовных рамках Реформации.

Не буду гадать о намерениях и целях тех или иных конкретных политических деятелей и сил: в конце концов, такие намерения по-настоящему известны — если вообще известны и понятны, — только им самим. Скажу лишь о том, что представляется лично мне объективными характеристиками и тенденциями сегодняшней российской жизни.

Прежде всего отстранение КПСС от власти.

В принципе это логично и вызвано многими объективными и субъективными причинами. Отколовшись от социал-демократического движения, большевики превратились в организацию борьбы за монопольную власть тоталитарного типа с идеологией насилия. Система диктатуры была обречена на поражение, ее разложение началось давно, но реальный процесс ниспровержения состоялся лишь в годы перестройки.

Надо обратить внимание и на тщетность попыток отделить руководство КПСС от преступной практики сталинизма. Эта ответственность очевидна. Моя позиция по этому вопросу достаточно хорошо известна. Напоминаю об этом только ради того, чтобы последующие рассуждения воспринимались в контексте данной констатации.

Исторически бесспорен и тот факт, что процессы реального обновления были начаты и далеко продвинуты реформаторскими силами внутри КПСС, а не кем-то другим.

Реформация совершила немало просчетов и ошибок. Но обвинение ее в том, что она не сумела покончить с диктатурой КПСС, по меньшей мере легковесно. Парадокс исторического момента состоит в том, что только с использованием всевластия КПСС можно было начать постепенную и предельно осторожную демократизацию государственных и общественных институтов и структур. Постепенную и осторожную в интересах успеха.

В основном это удалось. Здесь сыграла свою роль дисциплина, привычка к практике, когда новый Генеральный секретарь ЦК КПСС обязательно выдвигал новые идеи, но быстро забывал о них. Все знали об этом.

Прогрессивная риторика с давних пор служила музыкальным оформлением прогрессирующего консерватизма руководства партии и государства.

На этот раз очередного спектакля не получилось. Преобразования начались всерьез, что вызвало яростное сопротивление реваншизма.

Большевизм не мог жить без «врага» — внешнего и внутреннего. Он его искал всегда, включая годы перестройки. Алма-Ата, Сумгаит, Карабах, Ош, Фергана, Тбилиси, Вильнюс, Рига, Баку — вот они кровавые послания прошлого.

Нынешние российские неофашисты — тоже в лихорадочном поиске «врагов», коими считают в первую очередь демократов, евреев и правительство.

Глубоко убежден: поиск политического врага — предположительно истинного или ложного, только отыскиваемого или уже найденного, впервые названного вслух или уже подвергнутого травле, — поиск любого «козла отпущения» неизменно разрушителен для духа и здоровья общества. Он отравляет сознание продуктами собственного распада — нетерпимостью, злом, ненавистью.

Слава Богу, в России нет личной травли коммунистов, которая развернулась в некоторых других странах. На президентском уровне сказаны нужные слова о различии между ответственностью организации и ее отдельных членов. И тем не менее постоянно бросаются в почву семена общественного раскола.

Пронесет ли?

Если подлинное обновление требует напряженной работы мысли, решения трудных и порой неприятных вопросов, поиска честных ответов на них, продвижения в знаниях и в способности перевести их на язык практики, то появление «врага» — ответчика за все и вся — делает подобные усилия не только ненужными, но и смешными.

Главная мечта моей жизни — успех Реформации. Но пока, к сожалению, не все ладится.

Замедлилось движение к здравому смыслу. После того, как политически «похудела» борьба между крайними тенденциями, многие общественно-политические группы ринулись в центр политического спектра. И неудачно. Центр продолжает держать свою нишу открытой. Но именно здесь спрятан ключ к политической стабилизации. Тревожит напористая идеализация самодержавной России и, одновременно, окрашенное ненавистью отвержение всего и вся в советском периоде.

Здесь ли правда?

Тревожат и попытки механически заменить одни догмы на другие.

Иными словами, реальные тенденции общественного бытия весьма противоречивы, а порой и настораживающи.

Например, без конца говорят о демократии, правах личности, правовом государстве.

Но права человека никак не могут быть реальными без признания на деле одного, но принципиальнейшего права — свободы экономической деятельности индивида. Все остальные на практике наталкиваются на произвол и коррумпированность властей.

Институты демократии формируются опасно медленно, а государство хотя и обставляет себя частоколом новых законов, но обнаруживает нарастающие тенденции авторитаризма по всем линиям, на всех уровнях. В российской глубинке и вообще мало каких-либо существенных перемен.

Внешне вроде бы свобода слова, но журналисты, литераторы, ученые все чаще обращают внимание на невозможность опубликовать работу, которая не относится явно и определенно к одному или другому из крайних идейно-политических течений. Политическое давление в этом смысле сменилась на экономическое.

Понятно, что объемные, ощутимые результаты столь радикальных перемен сформируются через годы, возможно, десятилетия. Понятно и то, что в ходе любого общественного перелома неизбежен период, когда силы прошлого и будущего находятся примерно в равновесии.

А настоящее зыбко, изменчиво, подчас уродливо. Обширны возможности для политического паразитизма. Чаша весов может быть склонена как в одну, так и в другую сторону. Именно через такой период проходит сейчас Россия и ее реформы.

Раздражающие несуразности событий перед глазами. Бесконечные тяжбы властей на всех уровнях. Политическое бескультурье. Крикливые митинги на улицах с большевистскими лозунгами: «на рельсы», «под суд», «враги», «предатели». Над ними — портреты «гениального вождя и учителя всех времен и народов». А с другой стороны, требования не допускать к государственной деятельности бывших «номенклатурщиков» — вот так, всех подряд! И снова «враг» найден.

Господи, доколе же в нас будет сидеть зараза нетерпимости.

И все же при всей субъективной окрашенности этой суеты, считаю, что тревожные тенденции, а они действительно тревожные, — не результат чьей-то злой воли, но

объективно обусловленный ход развития. Но и субъективно тоже.

Нет особой загадки в том, что новые силы и деятели (не все, конечно) заражены нетерпимостью, действуют большевистскими методами, жадны до власти. Они же не с летающих тарелок сошли. Здесь проявляются качественные характеристики общества в целом, отдельных социальных слоев, их реальные интересы.

II.

Смысл общественной эволюции становится более понятным лишь тогда, когда более или менее проясняются политический и экономический фон этой эволюции, а также важнейшие ее компоненты и факторы: структура экономики, состояние права, суть идеологии, состав и характер деятельности наиболее активных социально-политических сил. Все это — явления объективные, мало поддающиеся быстрым переменам, весьма инерционно реагирующие на устремления политиков и решения властей.

Политический фон в России и на всем пространстве бывшего СССР определяется тремя основными обстоятельствами:

1. Как уже говорилось, **отстранением от власти на всех уровнях КПСС** и ее дочерних образований, лишением ее прежней собственности. Однако значительную часть сегодняшней управленческой, хозяйственной, военной и прочей элиты страны составляют не просто вчерашние члены КПСС, но люди, занимавшие в ее номенклатуре высокое и высшее положение. Фактически быстро и без грусти открестившись от КПСС, эти люди как класс или социальная прослойка обрели в результате событий августа — декабря 1991 года такую власть и свободу рук, которой они не обладали прежде.

2. **Развалом политических и государственных структур бывшего Центра,** формальной ликвидацией СССР и распадом его на ряд самостоятельных субъектов. При сохранении, однако, большого числа внутренних связей — от технико-экономических до человеческих и семейных, — фактически удерживающих пока основную часть страны вместе.

Это обстоятельство делает политически и технически возможным образование конфедерации, конечно, на сугубо добровольной основе, без КПСС и без всесильного Центра.

3. **Резко обострившейся борьбой в элите** за передел **власти** как по «вертикали», так и по «горизонтали», на всех направлениях. При всем драматизме этой борьбы, при всех конфликтах, к которым она уже привела, необходимо подчеркнуть, что в своей основе — это борьба именно внутри прежней элиты, несколько «разбавленной» новыми людьми, а отнюдь не между старой элитой и демократическим вызовом ей «снизу».

Экономический фон непосредственно определяется этими политическими обстоятельствами. За нынешним экономическим кризисом стоят, по крайней мере, три группы причин.

Во-первых, командная экономика неминуемо должна была прийти и пришла в состояние дезорганизации, как только рухнули традиционные линии командования. А это началось с войной традиционных бюрократических структур Центра СССР против Реформации, и особенно с борьбой этого Центра против самостоятельной России, а также с возникшей возможностью местных элит получить собственную бесконтрольную власть.

Во-вторых, внутриэлитная борьба за власть, принявшая форму «войны суверенитетов», дополнительно разорвала хозяйственные связи, создала правовую неразбериху, открыла широчайший простор произволу чиновничества, коммерческой недобросовестности и необязательности, поощрила экономические преступления и преступления против собственности. В сочетании с непродуманностью некоторых реформаторских решений это привело не только к сокращению производства, но и к его относительной невыгодности по сравнению с финансовыми операциями и махинациями, что подрубает возможность и заинтересованность всех видов предприятий, как государственных, так и частных, в средне- и тем более долгосрочных капиталовложениях.

И, в-третьих, все сильнее начинает сказываться многократное падение платежеспособного спроса как со стороны населения, так и самих предприятий.

На этом фоне общая структура экономики в России и на всем пространстве СССР продолжает оставаться неизменной. Соотношение между производством для нужд самой промышленности и производством для населения принципиально не изменилось, да и не могло измениться за столь короткие сроки.

Львиная доля собственности по-прежнему находится

в руках государства, меняется лишь ведомство-распорядитель ею.

Объективно это означает, что либо государство должно как-то управлять своей собственностью, ее функционированием, а для этого восстанавливать соответствующие рычаги. Либо эта собственность окажется брошенной на произвол судьбы, и тогда наступит полный крах.

По закону человек получил право основывать свое дело, но не во всех, однако, областях. На практике это связано с огромным числом административных и финансово-экономических трудностей, с необходимостью взяток, которые, однако, тоже не гарантируют желаемого решения.

Приватизация государственных предприятий наталкивается уже не столько на прямое сопротивление, сколько на всевозможные махинации, цель которых — обеспечить фактические преимущества нынешней хозяйственной элите. Причем в таком варианте, чтобы их права и свобода действий как распорядителей собственности были бы максимальными, а экономическая ответственность за ее использование оставалась либо на государстве, либо на коллективе работников.

Формирование частного бизнеса идет в заторможенном виде. Частник-производитель на практике не поощряется. Никак не может уйти от современных помещиков-крепостников фермер. Мелкий и средний бизнес лишен уверенности. Ладно бы торгово-посреднический, но и производственный.

Процветают миллионы чиновников и мздоимцев, требующих своей доли в перераспределении богатств. Сверх чиновничьего, т. е. официального рэкета, давит бандитский. Он постоянно умножает размеры своих ставок, стремясь выкачать как можно больше и как можно скорее. Если официальные налоги забирают сейчас у предприятий 90 процентов прибыли, то остальное выгребают рэкетиры всех мастей.

В результате частный сектор предпочитает преимущественно спекулятивные формы. Здесь еще один из главных каналов нагнетания инфляции. Здоровая экономика и здоровые реформы просто не в состоянии работать в таких условиях. Не говоря уже о том, что подобное положение подрывает престиж и реформ, и демократии.

Конечно, принятие в декабре 1993 года новой Конституции качественно изменило ситуацию в стране. Но в основном и главном продолжает оставаться неизменной

структура права, созданная в свое время для нужд и целей «социалистического общества», а не общества и экономики, основанных на принципах свободы личности и суверенитета частной собственности.

Главная особенность этого права в том, что государство, его органы, институты, организации и по закону, и на деле стоят выше личности. Интересы государственных структур автоматически рассматриваются как приоритетные по отношению к интересам сектора негосударственного — личности, частного предприятия, общественной организации.

Намного возросла экономическая безответственность государства как перед обществом в целом, так и перед конкретными субъектами, в том числе и государственными предприятиями в случаях, когда им наносится ущерб теми или иными действиями, решениями официальных структур.

Широко используется практика создания «законных» трудностей частному сектору.

Судебная власть, которая в условиях демократического гражданского общества и разделения властей должна быть высшим арбитром, на деле вообще не может сегодня быть названа властью. Она стиснута материальной нищетой и зависимостью от местных органов власти.

Создано огромное количество противоречий между новыми законами последнего года-двух и старым советским правом; между законами РСФСР, РФ и прежнего СССР; между сегодняшними законами РФ и актами местных властей. Это открывает неограниченные возможности для любого политического, хозяйственного и правового беспредела. Такое положение останется и впредь, если с той же необузданностью будет продолжаться борьба внутри элиты.

Моноидеология рухнула. Формально существуют партии и движения на любой вкус, любой политической и идеологической окраски, хотя реально ни одна из них не пользуется сегодня не только общенациональным влиянием, но порой о них даже мало что знают. В целом здравого плюрализма нет, налицо идеологическая и политическая эклектика.

Попытки искусственно насадить антикоммунизм в качестве идеологии вызывают равнодушие.

Но что такое российский антикоммунизм сегодня — в отличие, допустим, от антикоммунизма западного?

Если антикоммунизм на Западе всегда опирался и опи-

рается не только на определенную систему взглядов, но и на столь же определенную систему собственности, общественного устройства, социальных интересов и прочих очевидных и понятных вещей, то в России все эти объективные основы пока отсутствуют. Нет сомнения в том, что в СССР было немало людей, истово отторгавших коммунизм. Но вряд ли таких людей было много в элитной части общества.

Фанатизм и одномыслие одних всегда сочетались на Руси с поистине византийским многомыслием других. При подобных традициях в смутные времена люди стараются руководствоваться своими текущими интересами и тем, что они считают здравым смыслом. Но если учесть, что сами интересы формируются структурой социальных и экономических реальностей, а здравый смысл — культурой, духовным и психологическим наследием собственной жизни и жизни родителей, то можно понять трудности формирования новой политической культуры.

Необольшевизм, который вылезает сегодня изо всех щелей, со всех сторон — от коммунистов и антикоммунистов, демократов и национал-шовинистов, старой номенклатуры и новых политических назначенцев, рыночников и антирыночников, националистов и нуворишей, — на самом деле только весьма условно можно назвать необольшевизмом. Это социальная психология, во многом наследственная, но сегодня в значительной степени очищенная от идеологического всевластия. Эта психология чрезвычайно живуча на всех уровнях власти и обыденного поведения.

По экономическим интересам в правящей элите есть группы, которые ориентируются на деятельность в государственном секторе (или вынуждены это делать, работая в соответствующей отрасли), и те, которые уже ощутили значение рынка, причем среди последних тоже широкая гамма настроений и предпочтений: одни хотят иметь свободу рук на рынке, но при этом переложить риск на государство, другие предпочитают «дикий» раннекапиталистический рынок. В зависимости от колебаний политической и хозяйственной конъюнктуры немалое число, например, директоров предприятий, могут быстро переходить из одной группы в противоположную.

По признаку «государственности» элита может быть подразделена на тех, кто отдает предпочтение сильному российскому центру, и на различные местнические группы и интересы. Тенденция сепаратизма пока живет. Она

служит интересам власти местных элит, а вовсе не демократическому обновлению. Политические водоразделы в центре и на местах проходят в этих условиях не по границам интересов, представлений или убеждений, но прежде всего по линии клановых связей и группировок.

Постепенно оформляются вербально и программно позиции тех, кто хотел бы даже «русскую Россию» видеть разделенной на несколько самостоятельных частей, вплоть до требований суверенности, например, для Сибири. Экономический кризис действует тут двояко. В сиюминутном плане он заставляет регионы спасаться самостоятельно. Но чем дольше он длится, тем очевиднее становится, что стратегический выход из кризиса — только на путях рынка и теснейшей экономической интеграции.

Четко оформился демографический водораздел, который носит по преимуществу психологический характер. Для молодежи характерны крепнущий прагматизм, рационализм мышления, агрессивность, готовность идти прямо к цели, не отвлекаясь на маневры. Попадая в старые структуры, молодежь вносит в них резкость действий в пределах сложившихся интересов этих структур. В новых, особенно коммерческих структурах она вырабатывает собственные интересы и собственное их понимание, но еще, как минимум, не очень близка к власти, к заметному политическому влиянию.

Какие выводы все это позволяет сделать?

Заведомо исключено возвращение назад, в прошлое. И по структуре интересов, сложившихся в элитной части общества, да и просто в практическом смысле вернуться вновь в прежний СССР с руководящей и направляющей ролью КПСС невозможно. Любые попытки на этот счет просто несерьезны.

Но нельзя и сказать с уверенностью, куда именно идет страна, ибо нарушенная социальная стабильность создает условия поворота к чему-то новому, чего знать нам пока не дано. Возможен и вариант, при котором силы и тенденции, социально-исторические гены прошлого возьмут верх, хотя и отольются в какие-то новые формы.

Сейчас тот самый момент между прошлым и будущим, когда судьба народа и страны определяется часто мелкими, конъюнктурными, сиюминутными сдвигами и переменами. Круговерть суеты.

Но, как говорится, дьявол всегда в деталях.

III.

Один из интереснейших вопросов, поставленных нынешним этапом российского развития, — как нащупать оптимальное соотношение между социально-политическим идеалом и приземленной жизненной прагматикой.

Крайний идеализм чреват утопией и фанатизмом, крушением начинаний, дискредитацией самых полезных идей.

Крайний меркантилизм способен лишить душу полета, сузить социально-исторические горизонты, а в наших условиях просто выродиться в примитивную и злобную борьбу всех со всеми за существование.

Все знают старую притчу о каменщиках, когда один просто кладет кирпичи, другой возводит стену, а третий строит храм. Но храм, а не Вавилонскую башню и не лестницу в небо. Мы долго возводили лестницу, ведущую в рай, но сейчас духовная сверхзадача — удержаться от того, чтобы не начать просто класть кирпичи, неважно где и для чего, лишь бы больше платили.

Скажут, а что же остается делать? Ведь к этому толкает нужда, элементарное стремление выжить.

И все же не потерять бы в этом хаосе главное, без чего будущее пусто. Это — создание свободного, демократического, гражданского общества, интересам которого служило бы эффективное, но подчиненное обществу государство, основанное на принципе разделения властей.

Такие государство и общество — не нечто, достижимое одномоментно и навечно. Это процесс, у которого есть начало, но нет видимых пределов. Он начался, но пока еще может быть повернут в иную сторону. Задача — сохранить этот росток, дать ему укрепиться, не допустить, чтобы средства в очередной раз взяли верх над целью.

Сегодня в России очень много разговоров о реформах, но декларациям слишком часто, подозрительно часто, не хватает четких положений, о каких именно реформах идет речь.

Много говорится и о рынке.

Но одно дело — социально ориентированный рынок с развитыми правовыми и другими механизмами экономической, социальной, политической ответственности.

И совершенно иное, когда рынок является орудием экономических репрессий всевластного, ни за что не несущего ответственности государства, направленных против общества и личности.

Реформация в основном определила цели и направленность перемен.

Но сегодня, во многом уже ретроспективно, реально доступные возможности в российском развитии смотрятся с несколько неожиданной стороны. Упрощая и спрямляя — лишь для того, чтобы подчеркнуть главную мысль — рискну сказать так.

Для Запада на первом по приоритетности месте стояла задача способствовать избавлению России от тоталитарного сталинизма. Именно поэтому многие на Западе сейчас испытывают эйфорию от победы, которую мало кто ожидал. Утверждение рынка рассматривается как гарантия против реставрации прошлого. Демократическое будущее России приветствуется, но при этом как нечто само собой разумеющееся.

Между тем следует напомнить, что в самодержавной России был и рынок, и частная собственность, но она оставалась авторитарной.

Все реформы и преобразования в сегодняшней России могут измеряться одним главным критерием: не тем, ведут ли они к рынку (спора нет, без рынка не прожить), но тем, приближают ли они перспективу гражданского демократического общества, которое стояло бы над государством. Или же отдаляют, закрывают такую перспективу.

И надо еще раз сказать: если строить рынок как орудие в руках государства, или же как институт, обслуживающий только чьи-то узкие групповые интересы, а не интересы общества в целом, то Россия с высокой вероятностью может повторить то, что произошло во многих европейских странах: бонапартизм во Франции, фашизм в Италии, франкизм в Испании, национал-социализм в Германии. Тем более, что в России уже немало людей, готовых приветствовать такую перспективу и способствовать ее материализации, продолжить дело большевизма.

Но это лишь закрепит и разовьет тысячелетнюю парадигму насилия в российской истории. И потому новый старт для демократии окажется со временем делом гораздо более трудным во всех отношениях, чем сегодня.

Перефразируя Столыпина, можно сказать: нам действительно нужна великая Россия. Но великая не имперскими амбициями и военной мощью, устрашающей мир, а великая достоинством народа, его свободой и качеством жизни. Такое величие Россия может обрести только в условиях демократии, только поставив человека и общество над государством.

Глава девятая, заключительная

СТАЛИН УМЕР ЗАВТРА

Большевизму нет оправдания. В условиях России в нем сплелись и традиции авторитаризма, и тяга к утопиям, и почва, унавоженная мерзостью бытия, и спекулятивная политическая теория, и смещение разных культурных эпох и экономических укладов на одном государственном пространстве, и субъективные особенности пророков и вождей, многое иное и все вместе взятое.

Но история есть история. Кто ее исправит?

И как бы ни сильны были эмоции, невозможно уйти от того, что, вроде бы, осталось позади. Так ли?

Идеология нетерпимости блестяще превращена большевиками в государственную.

А вот уже многие десятилетия мы ожесточенно боремся, не жалея ни желчи, ни чернил, ни ярлыков, ни оскорблений, не страшаясь ни Бога, ни черта, лишь бы растоптать ближнего, размазать его по асфальту как грязь, находя от этого пещерного садизма сладостное удовлетворение.

Так кто же мы такие? Когда же конец-то будет? Ну, большевистским вожакам сама «повивальная бабка истории» приказала это делать. А демократы? Им-то зачем все это? А, может, они вовсе и не демократы?

Вот уже воистину история бьет копытами по черепам дураков.

Кто безгрешен, пусть поднимет руку. Все грешны, иначе не было бы ни покаяния, ни исповеди.

Но грех большевизма особый. Он замешан на крови миллионов.

В нынешней Москве развлекаться можно так, как душа твоя того желает. Были бы деньги.

Есть, однако, и бесплатные зрелища. Катания на танках, например. Два раза катались по первопрестольной на этих, отнюдь не прогулочных машинах, и никто, заметьте, за это не ответил.

Гэкачеписты, устроившие массовые танковые гуляния по Москве, давно отпущены на свободу, а теперь и амнистированы. Октябристы, устроившие на некоторых столичных улицах и площадях пальбу, спокойно разгуливают по этим же улицам и площадям. Итак, погибшие и раненые есть, а виновных нет.

Танковые прогулки влетели стране в астрономическую сумму, а платить некому. Все сходит с рук. Надежда на пришествие правового государства обрастает сомнениями.

В дневнике у гоголевского Поприщина сообщается, что «день был без числа». В политическом издании «Записок сумасшедшего» 19—21 августа 1991 года и 3—4 октября 1993 года — это дни тоже «без чисел». Ибо эти дни — дни танковых катаний. Этакие «невинные» развлечения, за которые милуют, амнистируют, а заодно и всему миру демонстрируют.

Бедного Поприщина за его дневниковое самовыражение все же били. А сегодня?

Еще раз большевизм продемонстрировал, что без крови жить не может, к власти прийти без насилия тоже не может.

Но боюсь, что чисто «российская» слезливость снова взяла верх. Политическое бесчестие превращает в геройство, а фашистов — в защитников демократии. Запрещенные газеты уже называют «оппозиционными», хотя таковыми они не являются. Опять готовы забыть тех, кто цинично, пользуясь свободой печатного слова, разжигали межнациональную рознь, толкали общество к гражданской войне, прививали людям чуму фашизма. «Бесстрашию» подобных авторов статей не было границ, поскольку они хорошо знали, что в правоохранительных органах у них много сторонников.

Я решительно выступал и выступаю за то, чтобы в демократическом государстве была сильная демократическая оппозиция, но категорически против того, чтобы именем оппозиции прикрывался фашизм, национал-большевизм, исповедующие насилие.

Итоги парламентских выборов 1993 года удручают, но вовсе не являются неожиданными. Власти оказались удивительно благодушными к росту фашизма, настроений реванша, к формированию антиправительственных боевых отрядов.

Итоги выборов еще раз показали, что кризис, пережи-

ваемый Россией, существенно глубже, чем это представлялось в достаточно хмурых, но внешне вполне трезвых оценках политологов, специалистов, зарубежных экспертов.

Спад производства продолжается едва ли не во всех отраслях. Остановы предприятий растут лавинообразно. За порог бедности и нищеты переступают новые и новые слои сограждан. О стабилизации рубля можно говорить только весьма и весьма приблизительно. Правительственные программы выхода из кризиса остаются туманными. Во всяком случае населению они по-прежнему неизвестны, непонятны.

Верно, что предвыборная кампания велась демократами бестолково и высокомерно. Но причины их поражения не в этом, а в нарастающих негативных последствиях реформ для населения, проводимых без продуманной связки вполне здравых экономических воззрений с отечественной действительностью. Люди утомлены, измаялись от нужды и безделья, от политических игр, тотального воровства, самоуправства больших и малых чиновников, разгула преступности.

Это, как говорится, на ладошке, копать глубоко не надо.

Разброд среди демократов, безусловно, ослабил их в целом и порознь. Но более тревожна другая причина, намного более серьезная, чем тактическая незрелость демократического стана. Это бойкот выборов наиболее активной по возрасту частью населения. Молодежь, люди средних лет не пошли на избирательные участки. В стороне остались многие инженерно-технические работники, учителя, медики и прочие — наш потенциальный средний класс, опора демократии.

Итоги декабрьских выборов — известный успех антиреформистских сил. Они будут стремиться развить его. Их главная цель — президентские выборы 1996 года.

С практикой военных мятежей, судя по всему, покончено. Тактика меняется. Наступило время парламентского ползучего реванша. Это может быть тяжелейшим испытанием для демократии.

Анализировать собственные просчеты демократия обязана жестко. Но для самоистязания нет причин. Я думаю, что социальная обстановка могла сформировать результаты и похуже.

Крупным успехом демократии является принятие но-

вой Конституции, первой демократической Конституции в истории страны. В ней конституционно закреплены право частной собственности и многопартийность.

Как следствие всего этого, появились первые признаки политического успокоения.

Но колокол тревоги продолжает звенеть — иногда громко, иногда потише.

I.

Да, Сталин пока не совсем умер — он в глубоком обмороке. Но идолопоклонники Сталина все делают для того, чтобы оживить дело «великого вождя», пользуясь равнодушием общества, придавленного тяготами повседневности. Они таскают по митингам портреты Сталина — эти сгустки крови и грязи.

Продолжаю настаивать на том, что известная доля ответственности за три мятежа — мирного экономико-политического в октябре 1990 года (удушение программы «500 дней»), военно-политического в августе 1991 года и военно-политического в октябре 1993 года — лежит на демократических силах. Это расплата за благодушие, за эйфорию от «побед», за иллюзию, что большевизм и его идейная основа — марксизм уже позади, что с ними общество уже распрощалось. Так не бывает в истории.

Уже сорок лет минуло с тех пор, как страна раскололась — в который раз в своей истории — на две далеко не равные части.

Одна, куда более многочисленная, искренне скорбела по тирану, веря, что утратила «гениального вождя», ведущего страну и весь мир в светлое будущее, которое вот-вот откроется за ближайшим холмом. Мало кто сомневался, особенно на периферии, в безупречности «кормчего», полагая, что если и случались ошибки, то только по вине «врагов народа», «шпионов» и «диверсантов».

Общество было приучено к самому страшному — к тому, что на митингах, собраниях, в резолюциях, в газетах истошно требовали смерти для всех несогласных, сомневающихся, «умничающих» и прочих, кто путался под ногами, мешая идти вперед, к общему счастью. Посмотрите кинохроники тех лет, почитайте газету «Правда». Ненависть и нетерпимость стали государственной идеологией.

Другая часть — количественно очень маленькая — про

себя радовалась, что ушел из жизни злодей, пожиравший людей миллионами.

Конечно, это было попервости, потом ситуация менялась. И тем не менее с 1953 года страна находится в конвульсиях затянувшегося переходного периода. Кардиограмма больного общества в течение сорока лет мечется как шальная — то надежда на свободу, то страх возврата сталинизма.

Ночью с 3-го на 4-е октября страх посетил и меня, пожалуй, впервые в жизни. Страх за Россию, за то, что ее народы будут снова обмануты политической шпаной.

Я был за городом. Когда по телевидению показали беснующихся «трудовиков», я понял, что затевается нечто серьезное. Повышенная агрессивность толпы говорила о многом.

Я немедленно поехал в город. Он был пуст. Ни милиции, ни прохожих. Лишь семафоры управляли порядком. Никак не мог понять, что же происходит. Позвонил в «Эхо Москвы», дал интервью, предупредив москвичей, что по городу шагает фашизм во всей его мерзости. Дальнейшие события — атака «Останкино» и мэрии — и вовсе повергли меня в растерянность.

Давно крутится на Руси карусель дьяволизации.

Сама жизнь, развитие культуры, христианская мораль пробуждали личность, а с ней — и стремление к свободе. Но многовековые традиции государственного насилия держали человека в рабстве, обильно политом кровью подневольных.

В XX веке этому противоборству суждено было принять в России чудовищные формы. Масштабы преступлений сталинизма против собственного народа неизмеримы. Миллионы расстрелянных, умерших от голода, замученных в застенках. Искалечены судьбы целых народов. Нынешним сталинистам — необольшевикам полезно напомнить, что Сталин убил больше коммунистов, чем все фашистские диктаторы в мире, вместе взятые.

Спросим себя, что же держит на плаву в политике и общественном сознании явление, суть которого — смерть, химера на костях?

Достаточно многое.

Прежде всего то, что Сталин не был просто еще одним тираном, которых в истории сотни и тысячи. Он создал **систему** тирании, **систему** тотального подавления личности и общества.

Еще три момента заслуживают внимания.

Известно, что сталинизм держался не только на крови, но и на мифах. Это, во-первых.

Миф о великих свершениях: отсталая аграрная страна стала индустриальной, освоила огромные территории, стала грамотной. Вскорости после смерти Сталина вырвалась в космос.

Это верно, если отмахнуться от того, какими средствами все это достигалось, если пренебречь моралью. Да, сделано многое, но за счет миллионов умерших от голода, уничтожения крестьянства, за счет рабских лагерей, за счет гибели рек, лесов и земли.

Могилы людей и могилы природы — такова флора и фауна сталинизма-большевизма.

Во-вторых, потрясение от победы в Отечественной войне. До сих пор во многих семьях кровоточат раны той — второй мировой. Горе неизбывно. Острота этих чувств естественна, память о погибших священна.

Непонятно другое. Почему законные чувства горя и радости мешают задаться простыми вопросами: неужели народ не победил бы без диктатора, который уничтожил профессиональную верхушку армии еще до начала войны? Почему гитлеровские войска, наступая, потеряли пять миллионов, а мы, сражаясь на своей территории, — более тридцати?

Неужели не обидно и не больно за то, что результаты величайшего напряжения всего народа, его героизма и самоотверженности оказались по сути украденными и были использованы для мифологизации режима, который узурпировал победу.

Подумать только: сколько в войну и за послевоенное время погибло, ушло из жизни ярких талантов, гениальных ученых, щедрых и совестливых людей.

Но часто ли вспоминаем о них?

А вот посредственность, поднявшуюся интригами, предательством и злодейством до изверга мирового масштаба, помним.

Горько видеть, что и сегодня часть ветеранов с надеждой смотрят на портреты Сталина, как бы забыв о том, как часто гибли понапрасну молодые ребята, товарищи по окопам, по прихоти полупьяного начальства.

К сожалению, система из-за нашей простоты, которая хуже воровства, живет дольше своего создателя.

Сегодня оценка дел Сталина — вопрос совести каждого, своего рода мерило ответственности и психологической полноценности.

Но нельзя не видеть: тысячелетняя парадигма насилия, господствовавшая в российской истории, способна вновь рождать безумных претендентов на диктаторский престол. И только в случае, если поймем причины этого, можно будет отвести общественное развитие от угрозы новых насильственных потрясений и революций, превозмочь эту напасть.

Может быть, из-за многовековой привычки к государственному насилию, из-за страха, изувечившего нашу психологию, мы и сегодня можем забыть об угрозе неофашизма, неосталинизма, лишь поохать и поахать по поводу профашистских и фашистских изданий, боевых отрядов, разного рода планов по установлению фашистских порядков в стране.

Рано, очень рано утверждать, будто мы распрощались со сталинизмом. Диктатуры Гитлера, Муссолини, Франко рухнули со смертью тиранов. Труп одного сожгли, другого — повесили, третий — сам умер, благополучно похоронен.

Со сталинизмом — иное. Во-первых, он преодолевается сегодня не войной, не революцией. Во-вторых, ему удалось засеять поле, дающее новые и новые всходы сорняков, по природе своей весьма живучих.

И все же двери к свободе в России распахнуты. Перспективы демократии реальны. Былая социальная наивность испаряется. Что свершилось — значительно.

Но анализ случившегося психологически толкает к аналогиям, к положению в России после 1825 и 1861 годов. Провал отдельных частных реформ. Разочарование в прежних властных структурах, субъектах, отношениях. Неодолимое стремление к обновлению. Побуждение одним махом разрубить гордиев узел проблем, найти магические формулы и решения. Сумятица в умах, неспособность теоретически объяснить происходящее.

Обретенная возможность быть свободным от догм и лжеучения — достижение немалое. Но эта свобода должна еще перерасти в сознательное устроение жизни на началах разума и нравственности.

На этот путь способна выйти Россия. Она выкарабкивается из чащобы сталинистского зла. И как ни тяжек

сегодняшний день, сколь ни сложны проблемы, общество вырвалось из капкана. В России не должно быть места новым диктатурам, но сегодня это зависит только от нас самих.

II.

С наследием сталинизма, как оказалось, шутки плохи. Ибо сталинизм — еще и мифология. В этом и суть.

Сегодня уже предельно очевидно, что марксизм не способен удовлетворить острейшую потребность в переосмыслении уникального духовного опыта XX века. Со своей ориентацией на насильственные революции, на классовые различия, на сугубо внешнюю экономическую сторону жизни он не соответствует требованиям к качеству социального мышления.

Марксистская модель социализма, ориентирующая на упрощение общественной жизни, на равную бедность, призывающая человека расстаться со многими радостями его бытия, истощила свою притягательную силу и мобилизационную способность.

Наиболее общие определения целей социалистического преобразования общественной жизни, выведенные Марксом путем отрицания черт досоциалистической формации и служившие источником политической активности для первых послереволюционных поколений, оказались ошибочными.

Сегодня, видимо, трудно понять, почему надо обязательно преодолевать различие между рабочими и крестьянами, между городом и деревней, между умственным трудом и физическим, почему мир единообразия более привлекателен, чем мир многообразия.

Жизнь показала воочию, что «преодолевать существенные различия между рабочими и крестьянами», раскрестьянивать крестьян, изводить ремесленников и мелких торговцев, изничтожать «буржуев» и распространять на все общество фабричный режим, да еще сближать умственный труд с физическим является пагубным делом.

Наоборот, надо бежать, как от огня, от социальных экспериментов, идущих не от здравого смысла, не от ума, а от горячечных идеологических фантазий, от бесовской гордыни, от инерции того социального и политического мышления, которое ориентировано на революционные бури.

В советском социальном эксперименте трагически сошлись воедино, наложились друг на друга, многократно усилили совокупный разрушительный эффект:

и теоретические несообразности марксизма;

и изначальная его фундаменталистская направленность;

и добросовестные заблуждения истовых фанатиков счастья через насилие;

и многовековой авторитаризм жизненного уклада и сознания;

и преступность большевистского правящего клана, безнравственность его воспреемников;

и давящий груз созданной ими системы во всех ее ипостасях — административной, духовной, политической, экономической, иных.

Истоки нашей трагедии, равно как причины и цели преобразований, в этом запутанном клубке.

Оценки того, что случилось, будут неполными, если не сказать о том, что система порождала адекватных ей руководителей, «творящих» историю.

Более тысячи лет славянские племена, народы Киевской Руси, Московии, других образований поклонялись своим владыкам, сиятельствам, превосходительствам, князьям, царям, императорам, вождям, генсекам, президентам. Они боготворили их, надеялись на их способность нести людям счастье, не оставлять в горести, отводить беду. Верили, что только эти люди обладают тайной жизнеустройства.

И несмотря на самые жестокие разочарования, эта вера продолжает жить и сегодня в людской психологии.

В советское время, когда установился режим личной диктатуры, сложились и свои «правила игры». Сначала «вождь» отбирал себе в помощники тех, кто был угоден ему, а потом сложившаяся узкая группа людей «выбирала» себе «вождя».

Так или иначе, но у руля правления оказывались люди, все менее и менее значительные, но обязательно ортодоксальные большевики. Жизнь шла вперед, выплескивала наружу все новые и новые противоречия, решение которых требовало социального воображения и исторической ответственности, а наверху тем временем образовывался политический аквариум, куда все меньше поступало кислорода.

Страна была беременна переменами. Они были неизбежны.

Как у нас в стране, так и за ее пределами, происходящие изменения оцениваются по преимуществу через призму того политического, военно-экономического и идеологического противостояния, которое определяло жизнь человечества в преобладающей части XX века.

Социализм или капитализм? Коммунизм или антикоммунизм? Происходит ли крах коммунизма, или же такой крах уже случился? И крах ли это, или просто один из тех кризисов, из которого можно найти выход? Если крах, то укрепит ли поражение коммунизма стабильность в мире?

Подобных вопросов много — и серьезных, но особенно спекулятивных, выпестованных идеологией противостояния.

Ответить на них сегодня невозможно, равно как и отделить зерна от плевел. Необходимо некоторое временное удаление от событий.

Поиск быстрых и простых ответов грозит новой схоластичностью, искусственной замкнутостью на споры и конфликты вчерашнего дня. Чрезмерно прямолинейные ответы способны оживить близкое прошлое, вновь сделать его настоящим, а в чем-то, возможно, и будущим.

Но и не задаваться такими вопросами уже сейчас, не искать ответы на них тоже было бы лекомыслием.

История непрерывна. Это аксиома. Самые драматичные и неожиданные повороты событий всегда имеют и глубокие исторические корни, и отдаленные последствия. Вырвать сегодня большевизм из общеисторического контекста, ограничиться только рассмотрением последних 75 лет — значит почти наверняка гарантировать себе новое непонимание, новое полузнание.

Тема безгранична, но напомню еще раз: большевизм не только отрицал все, что было в России до него. Немало и взял, не всегда признавая это открыто, не всегда даже сознавал, что и почему заимствует, нередко отрицая сам факт заимствования.

Но взял многое.

И прежде всего центральный узел старой, предреволюционной и даже дореформенной России — идею и практику государства, целиком и полностью подчинившего себе общество, подмявшего и поработившего человека.

Иногда говорят, что это было вдобавок милитаристское

государство, созданное для обслуживания правящих сил, их внутренней и внешней политики. Верно. Но, думаю, все было сложнее. Например, российская внешняя политика была гораздо многомернее военной экспансии.

Дело в том, что государство, оседлавшее общество, просто не может быть немилитаризованным: иначе ему не удержаться. Мощная военная машина нужна ему и во внешних целях, и в целях внутренних.

Такая машина существовала в России еще до реформ Петра I, укрепивших и модернизировавших ее.

Октябрьский переворот и курс на построение утопии потребовали дальнейшей милитаризации общества. Того же требовали и цели мировой революции, хотя они были несбыточными с самого начала. Потом свое слово сказали вторая мировая и «холодная» войны. Гонка вооружений доконала страну, безрассудно и безжалостно ограбила народ. Только репарации теперь брать не с кого.

Несомненно, что сама идея и практика суперцентрализованного, милитаризованного государства, для которого не только отдельно взятый человек, но и целые народы, все общество в целом — не более чем легко возобновляемый естественный ресурс, переживает острейший, небывалый сверхкризис.

Большевизм, погоня за утопией довели идею такого государства до абсурда.

Но если это так — а оснований для размышлений такого рода более, чем достаточно, — то несостоятельность этого государства еще не однозначна гибели мирового большевизма и как идеологии, и как политической психологии. Смерч большевизма и фашизма уже прошелся по земле. Но это не значит, что с гибелью тоталитаризмов они умерли. Они живы. Они всегда готовы к новым авантюрам.

Во всех их проявлениях присутствует взаимное переплетение и взаимоусиление. Но есть и различия, и немалая автономность каждого из начал.

Любое социально-политическое явление можно превозносить или осуждать, но пока не будут поняты его первопричины и механизмы, бессилие перед ним остается.

Мир становится все более тесным и взаимозависимым. И то, что когда-то было своеобразной экзотикой отдаленных стран, неведомыми проблемами неведомых континентов — все это сегодня становится частью повседневной жизни человека.

А пласт цивилизованности пока еще тонок, слаб, хрупок. Он может не выдержать информационной агрессии и чувствительности к ней человека.

Во всех странах победившие революции испокон веков окружались легендами, а их идеи и принципы еще долго воспринимались как неприкасаемые истины. Но затем приходили новые революции.

Полезно, очень полезно помнить, что революционный потенциал разрушения на планете еще достаточно велик и может увеличиться одним рывком в случае возникновения новых крупномасштабных кризисов, в частности, на экологической, демографической или религиозно-идеологической почве.

Эпоха взаимного согласия придет лишь в том случае, если победит сдержанность, ответственность, компетентность и способность к самоограничению и самодисциплине. Деловые качества должны прийти на смену идеологическим клише, от какой бы революции эти последние не вели свой отсчет — от американской, французской или российской. Для этого необходимо преодолеть еще сохраняющееся благоговение перед крайним радикализмом сознания, перед ложной магией утопических гипотез, простых или быстрых решений.

Понимание прогресса, заложенное в идее революций, потерпело крах и поставило перед необходимостью переосмысления многих нормативных критериев, которыми жила общественная мысль последние столетия.

У мирового сообщества просто нет иного выбора, как встать без колебания на рельсы эволюции, когда реформы станут образом жизни, ее непрерывным состоянием.

Начало нового мироустройства и положила великая Реформация в Советском Союзе, в России.

III.

Россия после октября 1993 года получила еще одну возможность свободного развития.

Новые условия — новые проблемы и новые задачи.

В области сугубо политической я вижу возможность нескольких решений:

— нравственная, политическая и правовая постановка вне закона любого насилия как формы политического процесса или государственного управления; насилие про-

тив народа преступно изначально; реформа — единственный путь преобразований;

— институционализированная конкуренция в политике, то есть реальная многопартийность, оформленная в соответствующей конструкции политической системы общества; оптимальной формой многопартийности представляется двухпартийная система.

Однопартийность — монополия, неизбежно тяготеющая к загниванию, сеющая в обществе коррупцию и апатию, безотносительно к тому, какая конкретно партия находится у власти, чьи интересы она выражает и какими методами управления пользуется. Конечный итог ее отрицателен даже в том случае, если намерения партии в целом представляют достаточно широкий спектр общественных интересов и позиций, а методы деятельности не противоречат закону. Цивилизованная монополия гниет медленнее и не так мучительно, как монополия произвола. Но все равно гниет и заражает общество.

Общество не излечится от одолевающих его проблем, если на место в корне дискредитированной однопартийности придет любая иная однопартийность.

Многопартийность, когда число партий исчисляется десятками и большинство из них примерно соизмеримы между собой, способствует не столько поискам компромиссов, сколько раскалывает общество.

Обилие политических партий нигде еще не способствовало политической стабильности. Способность общества двигаться вперед в этих условиях чаще всего обеспечивается внеполитическими средствами, что при нашей многонациональности способно давать самые негативные эффекты. Многопартийность с ограниченным числом партий-лидеров предпочтительнее, но в целом может обнаружить те же издержки, только в смягченных формах.

Иное дело двухпартийность. По-видимому, эта схема ближе к природе общественного противоречия, понимаемого как динамическое взаимодействие противоположных начал. Но одновременно и к разрешению этого противоречия на путях поиска гармонии, компромисса, а не конфликта и противоборства.

Разумеется, речь не о том, чтобы конструировать и тем более насаждать такую схему искусственно. Разумеется и то, что двухпартийная политическая система не должна нести в себе никаких ограничений на появление

третьих партий и возможность их включения в политическое соперничество.

Но фактическая двухпартийность не только придает стабильность процессам реформ в качестве образа жизни, но и позволяет отделять подлинно ценное, жизнеспособное, перспективное от преходящего, экзальтированного, искусственного.

Наше общество перекормлено утопическими картинами будущего и имеет все основания относиться к ним с недоверием. К тому же утопии, как современные, так и дошедшие до нас из глубин истории, удивительно похожи друг на друга. В жанре утопий вряд ли возможно придумать нечто принципиально новое.

Социальные утопии лишают человека способности воспринимать действительность в ее реальных характеристиках. Они резко уменьшают, иногда низводят до нуля способность людей эффективно противостоять реальным трудностям, несуразностям и дефектам общественной и личной жизни.

Надежный научный прогноз социального, экономического, научно-технического и иного развития на перспективу в 10—15 лет и более остается пока недостижимой задачей. В любом случае, чтобы получить такой прогноз и адекватно оценить его, должным образом встретить его предупреждения, общество, политические силы и отдельный человек должны стоять на твердой почве реализма.

Такого реализма в нашем обществе пока мало, ему еще предстоит преодолеть мифологизированность общественного сознания.

Сегодня жизненно необходимо объединение всех, кто нацелен на Реформацию России, кто устал от бездумной схоластики, от пустопорожнего перемывания терминов и понятий, лишенных реального содержания.

Объединение тех, кто не может долее терпеть подмену дела словом, пребывать в созерцании, равнодушии или болтовне.

Тех, кто прежде всего хочет дела и твердо намерен добиваться его. Дела, каждый шаг в котором приносил бы хоть малое, но ощутимое улучшение, реальную отдачу.

Не чудеса, не революционные скачки и глобальные прорывы, а компетентный и честный труд, повседневные усилия способны постепенно, шаг за шагом, привести общество к духовно достойной, материально обеспечен-

ной жизни, стимулировать в обществе высокую этику труда.

И в этой связи императивно возникает вопрос о формировании своего рода политического центра. Наиболее подходящим в этом плане шагом является создание социал-демократической левой партии — движения. В сущности, такое решение напрашивалось еще тогда, когда полностью властвовала КПСС. Но по ряду причин — объективных и субъективных — создание широкого объединения не состоялось.

Почему я верю в реальную возможность такой организации? Потому, прежде всего, что Россия не прошла социал-демократический этап в политике, как не прошла и капиталистический этап развития.

Это не означает, что новая организация будет топтаться на западном социал-демократическом поле, тем более, что оно весьма разнообразно от страны к стране. Многообразие — важнейшее достижение мирового социал-демократического движения.

Нет нужды и в догматическом повторении того, что оставила в наследство российская социал-демократия конца прошлого — начала нынешнего веков. Хотя весьма соблазнительно начать с проведения II восстановительного съезда российской социал-демократии. Возможно, не по форме, а по существу.

Как воздух, необходима новая теория социал-демократического движения, основанная на жизненных потребностях России. В сущности, по своему основному вектору Россия с 1985 года начала свой социал-демократический путь на практике. Но признание и оформление этого факта идет с трудом.

На исходе XX века ставить во главу угла интересы любой социальной общности — будь то класс, нация или профессия — верный путь к расколу общества, нагнетанию антагонизмов. Интересы общественного развития требуют, чтобы во всем и везде главенствовал человек, его права и интересы; а в рамках безусловного приоритета личности предпочтение отдавалось бы человеку нравственному, ответственному, деятельному — человеку созидательному.

Стержневое условие выживания и расцвета страны — возрождение крестьянства. Уничтожение крестьянства как класса привело к закономерному результату: страна оказалась неспособной прокормить себя.

По сути, сегодня закладываются основы того, каким

подойдет наше общество к середине XXI века. Если добьемся на деле, чтобы человек имел возможность строить жизнь по собственному усмотрению, то здоровые потребности жизни потянут за собой и здоровое общественное развитие.

Социальная жизнь, история двигаются конкретным человеком. Если личность не заинтересована в таком движении, если в попытках создать нечто большее и лучшее она наталкивается на сопротивление, запреты, ограничения, преследования, то общество деградирует материально и нравственно.

Подавление личности — путь к уничтожению рода человеческого и самой жизни на Земле даже без войн и конфликтов.

Только демократия, при которой права личности суверенны и неприкосновенны, перевешивают любое давление государства или иных социальных образований, способна на саморазвитие.

Демократическое развитие сегодня включает в повестку дня свободный гражданский договор, основанный не только на автономии разума, на синтезе свободных мнений, которые лежат в основе всякого научного и этического мышления, но и на добровольном гражданском согласии жить в условиях торжества здравого смысла, права и самоуправления.

Далее. В основу обновления должен быть положен прагматизм. Но он неработоспособен без нравственной основы: здоровой жизненной этики, гуманизма, вековечных духовных ценностей человечества.

Праведный труд, нормальная и крепкая семья, уважительные и равные отношения с другими, стремление к собственному совершенствованию — что характеризует цивилизованного человека и цивилизованное общество.

Необходимо радикальное оздоровление нашего повседневного сознания, опасно зараженного примитивным иждивенчеством, механически понятым равенством. Да, общество должно защищать старых и малых, сирых и убогих, больных от природы или пострадавших в жизни. Но оно не должно защищать лень, равнодушие, безответственность.

Цивилизованное общество — это общество широких возможностей личности, но и равноценно высоких требований к ней.

Экономическая свобода личности, коллектива, народа, социальное рыночное хозяйство, прочие атрибуты развитой экономики рубежа XXI века — не самоцели, но средства достойной жизни человека и общества.

В максимальной открытости внешнему миру, международному сотрудничеству на основаниях и условиях, общепринятых в современной мировой практике, — один из важнейших факторов нормального развития страны и один из главных стимулов этого развития.

Необходима твердая конституционность как внутренней, так и внешней политики. Пора понять, что конституционность, помимо прочего, еще и важный гарант национальной и международной безопасности, ибо она делает формирование политики и ее содержание ясными и предсказуемыми. На рубеже XXI века конституционность стала практически мерилом ответственности государства за свои действия перед собственным народом и международным сообществом.

На рубеже XXI века национальная безопасность государства в первую очередь определяется внутренней жизнеспособностью всех его институтов, свободой его граждан.

И как следствие этого — готовностью государства к участию во всех формах международного общения, его реальной дееспособностью в создании и поддержании цивилизованного, правового и демократического миропорядка.

Все это осуществимо, но при определенных условиях. Надо помнить, что общество не простит новых ошибок. Руководство страны сегодня работает в кредит, оплата которого опасно затянулась.

Если смотреть на ситуацию в стране трезво, то нельзя не видеть ее крайнюю противоречивость. С одной стороны, грош цена любым реформам, если они не улучшают жизнь людей. Но как они могут приращивать богатство человека и общества, если народное хозяйство еще милитаризировано, еще не начало работать в полную силу на нужды людей, если еще не создано конкурентной среды в экономике, если налоговая политика уничтожает мелкий и средний бизнес, если в сельском хозяйстве продолжает господствовать тупиковый подход к развитию, если нет устойчивой правовой базы, стимулирующей экономическую инициативу, если чиновник продолжает править бал в обществе.

Правительство сегодня работает с петлей на шее. Осла-

бит кредитный режим — значит новый виток инфляции и народное недовольство. Жесткая финансовая политика — значит остановка новых сотен предприятий, спад производства, безработица и тоже народное недовольство.

В этих условиях жизненно необходимы национальное согласие и политика социального партнерства. Это вопрос и благосостояния людей, и выживания демократии.

Крайне необходимо упомянуть еще о двух моментах, которые сыграют решающую роль в судьбе России.

Один, в решающей мере, в руках правительства. Я имею в виду необходимость коренного изменения практики отношений с интеллигенцией, с культурой.

Много сказано и написано о том, что наша экономика отторгает от себя научный и технический прогресс, подлинную и высокую профессиональную компетентность. Но точно так же экономика в условиях подчинения ее бюрократическому произволу отторгает и культуру. Культура выступает в лучшем случае как внешний антураж, как флер респектабельности и цивилизованности, — но не по сути ее. Потому-то и бедствуют у нас те институты культуры, которые в любой развитой стране мира — основа основ: образование, наука, искусство, библиотеки.

На протяжении десятилетий интеллигенцию убеждали в ее социальной неполноценности, ущербности ее положения в обществе. Она особенно сильно ощущала на себе все органические пороки общества.

Но традиции антиинтеллектуализма продолжают жить.

Второе зависит исключительно от нас, граждан.

Было бы крайним легкомыслием полагать, что силы разрушения сами перестанут действовать, не возродятся вновь.

Разъединяющая нетерпимость будет жить. Ее будут и дальше подогревать необольшевики и неонацисты, их литературная челядь. Призраки врагов, демонов, дьяволов, ведьм не покидают их одурманенное ненавистью сознание.

Будет ли предел безумию? Найдем ли силы остановить самих себя?

И пока не разберемся в самих себе, никакого прока от уроков, которые столь тяжелы, не будет.

Нетерпимость — старая и заразная болезнь.

Но ненависть рождает только ненависть.

Кроме прочего, это социальная пошлость, которая никогда не сделает человека свободным.

Мы, реформаторы первой волны, пытались разрушить

большевистскую церковь во имя истинной религии и истинного Иисуса, еще только смутно догадываясь, что и наша религия была ложной, и наш Иисус поддельным.

Потом все двинулось к местам, отведенным историей.

Бесправие и бескультурье, бедность и богатство, гениальность и разгильдяйство, российские просторы и бездорожье, политические ухабы, болота и кручи — все вперемежку.

Но утопии и трагедии, думаю, уже позади.

Я верю, что российские сумерки предвещают не наступление ночи, а рассвет...

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю 3

Часть первая

НАВАЖДЕНИЕ

(о марксизме и большевизме)

Раздел первый. **Корни зла** 7

Глава первая, вступительная. Вместо исповеди . . 9
Глава вторая. Консерватизм и динамизм, их адепты 27
Глава третья. Революционная предтеча 39
Глава четвертая. Символы мессианства 56
Глава пятая. О противоречиях 77
Глава шестая. Сущность и явление 97

Раздел второй. **Большевизм** 111
Глава первая. Февральская революция — урок не впрок 114
Глава вторая. О, слепцы, поводыри слепцов . . . 126
Глава третья. Кладбищенский крестосеятель . . . 152
Глава четвертая. Не преклони колена 170
Глава пятая. Няньки холодной войны 182

Часть вторая

ИЗБАВЛЕНИЕ

Раздел первый. **Надежда или беда!** 199

Глава первая. Как все это было... 202
Глава вторая. Блуд или молитва? 246
Глава третья. Театр абсурда 257
Глава четвертая. Поражение? Нет, — победа . . . 268
Глава пятая. Семь «Д» 277

Раздел второй. **Неслыханные перемены** 290

Глава первая. Вызов века 296
Глава вторая. Прошло ли время идеологий? . . . 317
Глава третья. Национализм, сепаратизм. Истоки и следствия 337
Глава четвертая. В перспективе — иллюзии или реальности? 356
Глава пятая. Неизведанность 373
Глава шестая. Новая Россия и Запад 390
Глава седьмая. Здравый смысл и этика 409
Глава восьмая. Между прошлым и будущим . . . 425
Глава девятая, заключительная. Сталин умер завтра 442

Научное издание

Яковлев Александр Николаевич

ГОРЬКАЯ ЧАША

Большевизм и Реформация России

Редактор В. Д. Кутузов
Художник В. Н. Куров
Художественный редактор Т. А. Ключарева
Технический редактор В. М. Панфилова
Корректор Т. Л. Козлова

ЛР № 010008 от 17.09.91 г. ИБ № 1574.
Сдано в набор 11.03.94. Подписано в печать 10.05.94. Формат 84×108$^{1}/_{32}$.
Бумага офсетная № 1 Печать высокая. Усл. п. л. 24,36. Уч.-изд. л. 24,99.
Тираж 40 000 экз. Заказ 921. Цена С № 50.

Верхне-Волжское книжное издательство
Комитета Российской Федерации по печати.
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12.

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

КНИГА ЭТА — мое покаяние, свидетельство и мои надежды.

Так уж повелось в нашей истории. Снова и снова повторяются гримасы власти, игры элит, леденящая душу неуверенность. Снова то, с чем совесть мириться не разрешает.

Так кто же мы такие, если выворачиваем себя наизнанку вот уже многие столетия, корчимся в судорогах бесконечной гражданской войны и нетерпимости? И никак не приплывем к берегу, где человеку было бы просто спокойно.